

3-4

0:9

МАНДЕЛЬШТАМ

3-4

O. Mandelstam

0:9. МАНДЕЛЬШТАМ

О·Э
МАНДЕЛЬШТАМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

К 100-летию
со дня рождения
О.Э.МАНДЕЛЬШТАМА

О.Э МАНДЕЛЬШТАМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Под редакцией
проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова



МОСКВА
«ТЕРРА» - «TERRA»
1991

О·Э МАНДЕЛЬШТАМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ТРЕТИЙ
И ЧЕТВЕРТЫЙ

ТОМ ТРЕТИЙ
ОЧЕРКИ, ПИСЬМА

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
СТИХИ, ПРОЗА, ПИСЬМА



МОСКВА
«ТЕРРА» - «TERRA»
1991

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРЕХ ТОМАХ

Под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова.

ТОМ ТРЕТИЙ

ОЧЕРКИ. ПИСЬМА

**Вступительные статьи проф. Юрия Иваска, Никиты Струве
и Бориса Филиппова.**

Международное Литературное Содружество

1 9 6 9

ДИТЯ ЕВРОПЫ

Жестокий век, но снова постучится
Летушня-ласточка в твоё окно.
Добро и зло пусть искажают лица —
Ещё струится красное вино.

Пестра Венеция и смугл Акрополь
И, доживая век, волны жуют.
Не назову некрополем Петрополь,
Где ласточку нетерпеливо ждут.

Его Сибирь ещё не раз приснится,
Цепная, забайкальская, его,
Медовой матовой рекой струится
Пчелино-солнечное волшебство.

Юрий Иваск

Мандельштам занимался поэзией лет тридцать. В ранних его стихах чувствуется влияние символистов, встречаются выражения, напоминающие Блока («Мировая туманная боль»). Но есть своеобразие и в его юношеских стихах. В 20-х годах он начинает в поэзии экспериментировать, пишет «темные» стихи (например, *Нашедший подкову*). Необычные размеры встречались и в его первых книгах («Сегодня дурной день»...), а после 1920 г. его опыты в области версификации поражают смелостью и «характеризуются расшатыванием и

полным уничтожением силлабической схемы стиха». ¹ Но в этом очерке я буду говорить не о развитии поэзии Мандельштама, а о его поэтическом творчестве в целом.

Во многих воспоминаниях о Мандельштаме отмечалась его детскость. Нечто детское есть и в облике лирического героя его поэзии:

Только детские книги читать,

Только детские думы лелеять . . . (1908) —

писал он в юности, когда столь недавнее детство редко вдохновляет. А в другом, тоже юношеском, стихотворении Мандельштам спрашивает:

Неужели я настоящий,

И действительно смерть придет? (1911).

Как будто он не был уверен, что уже вырос и существует на самом деле . . . Есть детскость и в его обращении с разными «недетскими» темами. Карта Европы для него игрушка. Этот материк напоминает ему краба или морскую звезду. Он прихотливо, по-ребячески, перескакивает с одной темы на другую, почему-то выделяет в Европе одну лишь страну:

И Польша нежная, где нету короля . . .

Вообще, нежность — его любимое выражение. Даю только некоторые примеры: «Нежнее нежного / Лицо твое» (1909); «нежный мальчик Домби-сын» из Диккенса (1913); «чаша нежности» в музыке Бетховена и нежная Польша (1914); нежные церкви в московском Кремле и нежная камейка (1916); нежные гроба Архипелага, где родилась греческая поэзия (1918); «Сестры тяжесть и нежность», стигийская нежность в потустороннем мире, соленые нежные губы, нежный луг (1920); тянутся с нежностью (1921); нежные руки Европы

¹ К. Тарановский. Стихосложение Осипа Мандельштама. *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics*, V. (1962), p. 123.

(1922); нежный хрящ ребенка, нежная игра в бабки (1923); нежный воздух и нежный поэт Батюшков (1932); «нежнее моря (1935); «Железной нежностью хмелеет голова» (1937).

Другой излюбленный эпитет — легкий. Например, легкая корона свободы, которую он обещает никогда не снимать (1915). Легкость — качество ласточки, быстрой птицы. В стихии русского языка оно вызывает разные ассоциации. Ласточка в окно влетит — к покойнику (примета). Но ласточка также и милая сердцу (ластушка). Для Державина ласточка символ его души и поэзии:

Душа моя! гостья ты мира:

Не ты ли перната сия? . (Ласточка. 1794).

Для Мандельштама эта птица сама по себе хороша и, вместе с тем, ее легкий образ связан и с вдохновением, с поэзией, может быть, даже с вечностью. В одном его «зимнем» стихотворении ласточка — вестница бессмертной весны и музыки, но прилетела она слишком рано и поэтому падает «на горячие снега»: мороз иногда обжигает («Чуть мерцает...», 1920).

В эллинском царстве смерти он радостно встречает мертвую, но все еще быструю ласточку, которая бросается к его ногам

С стигийской нежностью и веткою зеленой . . .

(1920).

Здесь ласточка воплощает все, что Мандельштам так нежно любил: здесь она его Психея, его Муза (как и для Державина).

Жестокому коммунизму, «сумеркам свободы» Мандельштам противопоставляет легионы ласточек. Их стая в небе «щекочет, движется, живет» (1918). Здесь эти легкие, быстрые птицы — свобода, жизнь, поэзия. В тяжелые 30-е годы он сохраняет верность ласточке: он

говорит о твердых ласточках круглых бровей (1935) и о ласточке купола в Риме и о средиземной ласточке (1937).

Его жалостная песня песней о ласточке в последний раз прозвучала в Воронеже:

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилою
Без руля и крыла совладать.

(*Стихи о неизвестном солдате*, 1937).

Любил Мандельштам и то, что противоположно легкости — тяжесть. Для него тяжесть и нежность — сестры, и приметы их одинаковы (1920).² Их сосут легкие медуницы и осы. Также и Мандельштам собирал нектар с тяжелых соборов Европы, будь то готический собор Нотр Дам или византийская София, или же московские и петербургские соборы. Так, тяжелое он преображал в нечто легкое, язык архитектуры переводил на язык лирической поэзии.

У него было особое чувство камня. В парижском соборе Богоматери ему чудилась «недобрая тяжесть», из которой ему хотелось создать прекрасное в стихах. А в другом стихотворении он неожиданно сравнивает парижские дома с голубятнями. Наконец, о зеленом Благовещенском соборе в Москве он сказал:

И, мнится, заворкует вдруг . . . (1920).

Да, нечто тяжелое (дома, церкви) он облегчает легкой метафорой — сравнением с голубятней и даже с воркующим голубем.

В его поэзии, хотя и не очень часто, мелькают женские образы. Кн. Саломее Николаевне Андрониковой

² О «тяжести» у Мандельштама см. статью Nils Åke Nilsson: Osip Mandelstam and his Poetry. *Scando-Slavica*, IX (1963), pp. 37—38.

посвящена его *Соломинка* (1916).³ А в одном юношеском стихотворении он сравнивает с соломинкой свое сердце («В огромном омуте . . .», 1910). Итак, легка возлюбленная, легок и поэт: оба они соломинки. Есть в этих стихах нежность, есть и жалость, то есть любовь-*agape*, а не любовь-*эрос*. Тревожась за судьбу своей Соломинки, он сравнивает ее с трагическими героинями — с Ленор (из баллады Бюргера), с Лигейей Э. А. По и с андрогинным образом Серафиты (из одноименной повести Бальзака). Все же, стихотворение это не трагично. Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита — не только Андроникова, но и «блаженные слова», волшебная поэзия.

Лирический герой Мандельштама — не любовник, скорее — нежный брат, слегка влюбленный в сестру или в «туманную монашку» (в стихотворении, посвященном Марине Цветаевой: «Не веря воскресенья чуду», 1916). Цветаева его разгадала: божественный мальчик, — сказала она о нем.⁴ В юности, обращаясь к женщине, Мандельштам писал:

О позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь . . . (1911).

В стихотворении 1920 г. он говорит, что хочет служить возлюбленной «наравне с другими», но это ему в поэзии не удастся. Языка страсти он не знал.

Афродита Мандельштама не грубая, варварская, но и не Урания, а скорее Промежуточная — не вполне земная, но и не вполне небесная.

В его творчестве слабо выражены не только мотивы эротические, но и мотивы трагические. Правда, есть печаль в его стихотворениях, написанных в эпоху граж-

³ См. статью Кларенса Брауна в первом томе настоящего собрания сочинений Мандельштама.

⁴ Марина Цветаева. Избр. произведения. М., 1965, стр. 75.

данской войны; и есть отчаяние в его поэзии 30-х годов, когда он был арестован и потом сослан. В сталинской России он говорит о себе:

Я лишился и чаши на пире отцов . . .

Мне на плечи кидается век-волкодав . . . (1931).

Его, как миллионы других граждан, судили тогда и осудили неизвестно за что.

Тем удивительней, что его поэзия остается нежной, легкой, красочной. Было от чего прийти в отчаяние, и он отчаивался, а все же миром восхищался и его не отвергал. Анатолий Штейгер назвал свой сборник стихов *Неблагодарность* (1936), а поэзия Мандельштама всегда *Благодарность*. В ней слышатся мотивы псалмов Давида, о котором он вспоминает в воронежской ссылке:

Ночь сырая от слез, и невинный,

Молодой, легконогий Давид . . . (1937).

Псалмопевец хвалил Творца, а хвала Мандельштама чаще всего обращена неизвестно к кому и лишь изредка называет он имя Божие («Образ твой» . . ., 1912).

Некоторые стихотворения Мандельштама напоминают тосты, здравицы:

За музыку сосен савойских, Полей Елисейских
бензин,

За розы в кабине ролс-ройса, за масло парижских
картин,

Я пью за бискайские волны, за сливочек
альпийских кувшин,

За рыжую спесь англичанок и дальних колоний
хинин. (1931).

Все его тогда на Западе восхищало, даже вещи мало привлекательные — бензин и хинин! Но и жестокую к нему Россию, и провинциальный Воронеж он превра-

щал в «наполненный музыкой дом» (1937). Кажется, только Мандельштам умел так совмещать горечь и восхищение:

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и голодом, и вьюгой. (Январь 1937)

Есть воинское мужество, есть гражданское мужество, а есть еще и поэтическое мужество. Воином Мандельштам не был, от политики он был далек, а все же он, «божественный мальчик», отважился написать эпиграмму на Сталина: «Его толстые пальцы, как черви, жирны... Тараканьи смеются усища...» (1934). А мужество Мандельштама-поэта в том, что из медленной казни своей он *делал* волшебную песнь. Есть отчаяние в этих стихах, но и упоение:

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
И сосна до звезды достает... (1931).

В стихотворении *Ариост*, может быть, есть намек и на существующий в России порядок, на сталинщину: «Власть отвратительна, как руки брадобрея»...⁵ Но вот реакция поэта-Ариоста (и не самого ли Мандельштама):

А он вельможится все лучше, все хитрее.
И улыбается в открытое окно. (1933).

Даже чумная зараза ему не страшна: чума дана в окружении винопития и чеснока! Не та же ли это «праздничная смерть», что в стихотворении *Венеция* (1920). И это не «эстетство», — это чудо поэзии вопреки и благодаря гибели.

⁵ Ссылаюсь на статью И. Чиннова «Поздний Мандельштам» в Новом Журнале, № 88, 1967.

Если составить к стихам Мандельштама индекс имен собственных, то он включил бы множество понятий, образов из мифологии, географии, истории, искусства. Скажем, на букву А туда вошли бы Альбион, Американка, Английский язык, Антигона, Аониды, Ариост, Афродита и т. д. Вся наша иудео-эллинско-латинская цивилизация, все ее эпохи отражены в его поэзии.⁶ Можно ли — поэтому — назвать его поэзию книжной? Нет. Его эрудиция была подчинена воображению, в его любви к памятникам прошлого было столько детской нежности, детской игры. Наконец, можно ли назвать его подход к истории эстетическим, как у Константина Леонтьева, которым он увлекался в юности? Да, но это только отчасти верно. Так, православие и католичество он любил за красоту, за византийские и готические соборы, а протестантство за музыку Баха. Но его восхищала не только красота. Повторю опять: эстетством он не грешил. Некоторые его стихотворения проникнуты вдохновением веры («Божье имя, как большая птица, / Вылетело из моей груди» . . . 1912).

В Европе, как старой, так и новой, Мандельштам прозревал общие черты — родство. Он верил в братство европейских народов и часто напоминал о единых языковых и племенных корнях их. В стихотворении «Зверинец» (1916), оплакивая братоубийственную войну, он воспевает в праарийской колыбели: германский и славянский лен . . . (Это русское слово одного корня с германским, а также и с греческими, романскими словами *linan*, *linus*, *linge*, *Leinen*, *linen* и другими, хотя значение их уже неодинаково).

⁶ См. мою статью: *North and South (Some Reflections on Russian Culture)*. *The Russian Review*, July 1965, p. 242.

Мандельштаму дорог образ древней примитивной Европы, пастушеской и земледельческой.⁷ В стихотворении *Tristia* он сближает классический Акрополь, создание утонченной культуры, с образами жующих волов (которых, впрочем, воспевал и классик Овидий, вдохновлявший Мандельштама). «Соборы вечные Софии и Петра» для него «амбары воздуха и света, зернохранилища вселенского добра и риги Нового Завета» (1921; курсив мой). Так, для произведений сложной культуры, византийской или ренессансной, он подыскивает метафоры из простой деревенской жизни. Может быть, утраченное единство «арийцев» было для него залогом будущего братства в утопическом царстве «новой природы-Психеи» (*Слово и культура*) или на «святых островах», где «скрипучий труд не омрачает неба» (1919). Это золотой век греков и римлян. Но иногда ему приоткрывается и вечность христианская, рай-луговина, «где время не бежит», или же «вневременное» причастие в православной литургии:

И Евхаристия как вечный полдень длится —
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится. (1920).

Многие православные могут именно так переживать литургию. Но из этого не следует, что Мандельштам был мистиком, метафизиком. Все же его поэзия граничила с религией.

Итак, лирическое сердце Мандельштама вмещало всю Европу. Его стихи включают самые разнообразные

⁷ N. Å. Nilsson, op. cit.; Ryszard Przybylski. Arcadia Osipa Mandelsztama. *Slavia Orientalis*, 3, 1964 (Warszawa); критика этой статьи: К. Тарановский. Пчелы и осы в поэзии Мандельштама: к вопросу о влиянии Вячеслава Иванова на Мандельштама. *To Honor Roman Jakobson*, 1967.

мотивы ее — и в творчестве, и в верованиях. Он заражает русского читателя любовью к Германии Баха или к Англии Диккенса. Его в особенности восхищают средиземноморские страны и Таврида-Крым. Можно только пожалеть о том, что ему не пришлось изъездить всю Европу. Но зато он побывал в Армении и в Грузии. Обе эти страны географически расположены в Азии, но для него они были частью Европы, вернее же частью нашей иудео-эллинско-латинской цивилизации, и он их тоже прославлял. Иногда Мандельштам вспоминал о своей прародине — Палестине. Но образы Нового Завета ему ближе, чем «хаос иудейский» Ветхого Завета.

Наполеон дал своему сыну титул *l'Enfant de France*. А Мандельштама можно было бы назвать *l'Enfant d'Europe*. Он несомненно, один из живых символов объединенной Европы. Но его цель — не описание, даже не выражение культуры или религии, а преобразование разных «культурных феноменов» в магию поэтического языка.

У Мандельштама везде свои особые — неповторимые — интонации, то высокие, торжественные (барочные), то интимные, «сердечные», напоминающие иногда детский лепет. При этом он постоянно пользуется чужими образами — *бродячими* мотивами мировой поэзии (музы, лира, пчелы), но истолковывает их по-своему.

Есть у него *вчерашнее солнце* («Сестры тяжесть и нежность . . .», 1920). Ахматова утверждает — это Пушкин.⁸ Есть и *ночное солнце*, а также *черное солнце*. Его видел и Жерар де Нерваль (которого А. С. Лурье срав-

⁸ Мандельштам. В кн. Анна Ахматова. Соч., т. 2, 1968, стр. 177.

нивает с Мандельштамом: ⁹ soleil noir de la Mélancholie . . . (El Desdichado).

Нерваль увидел это солнце незадолго до второго припадка безумия. Он шел из церкви по направлению к площади Согласия, и ему вдруг показалось, что все звезды погасли, как свечи в храме после окончания службы, и вот на небе засияло *черное солнце*. Комментаторы Нерваля по-разному истолковывают это мистическое светило. ¹⁰ Недавно К. Ф. Тарановский обратил внимание читателей и на черное солнце у Вячеслава Иванова: ¹¹

Мы пчелы черных солнц, несли скупые соты,
Желчь луга — омег и польнь. (*Cor Ardens* 1, 86).

Следовало бы эту загадку выяснить. Но для меня лично, по общему впечатлению, вся поэзия Мандельштама сродни Нервалю, хотя и не было доказано, что первый читал второго . . . Все же между ними есть гетевское *Wahlverwandschaft*, и Артур Лурье прав. Нерваль — один из первых эллиптических поэтов новой поэзии. В своих *Химерах* он часто перепрыгивает с одной темы на другую, но, при этом, все они связаны общим лирическим мотивом. Вот начало его *El Desdichado*:

Je suis le ténébreux — le veuf — l'inconsolé,
Le Prince d'Aquitanie à la tour abolie . . .

Второй стих — криптограмма, которая разъясняется комментаторами. Но и без всех объяснений можно вообразить этого принца аквитанского у «отмененной» башни, и очевидно, что этот принц несчастен и близок кому-то сумрачному, вдовому и безутешному (в первом

⁹ Детский рай (Нерваль, Хлебников, Мандельштам). *Воздушные Пути*, III (1963).

¹⁰ Gerard de Nerval (Labrunie). *Les Chimères*, ed. Jeanne Moulin (1949).

¹¹ К. Тарановский, *op. cit.*, p. 1977.

стихе). Эта эллиптичность Нерваля, а также его поэтическая магия и «детские» лепечущие стихи напоминают Мандельштама.

Эротика Нерваля, более ярко выраженная, чем в мандельштамовской поэзии, исключает сильные страсти: в ней преобладает нежность; и это тоже роднит обоих поэтов.

Тайна благодарности и благоволения, одушевляющих стихи Мандельштама — в их волшебстве. Это волшебство, как и у Нерваля, не всегда разгадывается, но оно обладает «гипнотическими» свойствами.

Блаженные слова — вот мандельштамовское определение поэзии. Например: Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита... Я уже отметил: здесь поэт призывает не только свою возлюбленную, но и еще кого-то: свою музу.

В стихотворении о революционном Петрограде, устращенном террором чекистов, Мандельштам восклицает:

За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь... (1920).

Блаженный по-гречески *макариос*, а по-латински *beatus*. Греческое выражение встречается в *Иллада* (блаженные боги). Оно связано и с Нагорной проповедью, с заповедями блаженства, которые русские знают преимущественно по церковно-славянскому переводу Св. Писания. Вместе с тем, это слово ассоциируется и с русскими переводами и подражаниями Горацию, например, в стихах Державина и Батюшкова.

Почему слово и блаженное, и бессмысленное? «Темноты» в его стихах появились позднее, до определения поэтического слова, как *блаженного и бессмысленного*.

Я склоняюсь к этому истолкованию: даже в самых ясных, отчетливых стихах Мандельштама всегда есть

другой план — чисто поэтический и магический (как и у Нерваля, да и многих современных поэтов). Доказать это нельзя. Но можно попытаться этот план показать на отдельных примерах из его стихов.

Несколько раз Мандельштам повторяет три-четыре слова, которые звучат как заклинания духов (Сезам, Сезам, отворись!). Самый яркий пример я уже дал (Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита). В стихотворении о декабристах он восклицает: «Россия, Лета, Лорелея» . . . России они были преданы, Лета напоминает об их неминуемой гибели, Лорелея (возникшая по звуковой ассоциации) — это прекрасная и роковая богиня Революции (ей принес себя в жертву тогдашний герой — немецкий юноша Занд, убийца Коцебу). По смыслу метафоры эти — трагические, но не по звучанию (как в *Соломинке*). Плавные *ра, лэ, лорелэ* связывают эту триаду в магической гармонии. В плане жизни здесь говорится о гибели, смерти, а в плане поэзии дается образ чистой и волшебной красоты.

Величие императорского Петербурга передается в трех словах:

Адмиралтейство, солнце, тишина (1913).

Древняя варварская Германия:

Янтарь, пожары и пиры (1917).

Нежность:

Все ласточка, подружка, Антигона (1920).

Дичок, медвежонок, Миньона (1935).

Последняя триада (с пушкинскими рифмами из стихотворения *Ночной зефир* . . . 1924):

Эфир, зефир, Элеонора . . . (1937).

Все эти призывы намечают основную тему и, одновременно, переносят в поэтический план, где все — и доброе, и злое, и прекрасное, и безобразное — очаровывает и радует райским звучанием.

Одно из магических средств поэзии — звукопись. Этим приемом Мандельштам пользуется часто, но реже многих современных ему поэтов, например, Цветаевой, Маяковского, Хлебникова. Кажется, чаще всего у него встречаются (или ярче звучат) плавные звуки: «Валгаллы белое вино» (также: «Россия, Лета, Лоре-лея»).

Иногда его звукопись связана со стилистикой. Вот его Ариост:

Он завирается, с Орландом куролеся,
И содрогается, преображаясь весь. (1933)

Здесь тоже скопление согласных (с доминантой рцы). В звуковую игру вовлечены и другие повторы (да-ад), окончания *ся, съ*. Это почти тотальная инструментовка. Неожидан выбор и сочетание слов. В первом (шутливом) стихе Орландо появляется в окружении глаголов разговорного языка — просторечивого *завираться* и семинарского *куролесить* (от греческого *Кирие элейсон* — Господи помилуй!). А во втором стихе (возвышенном) Орландо окружается глаголами литературного языка — *содрогаться* и церковного — *преображаться* (Преображение Господне). Но оба стиха (отличные по стилю, по тону) имеют тот же общий звуковой знаменатель. Комика и патетика включены в ту же фоннику. В этом магия этих двух стихов.

В том же стихотворении Мандельштам еще раз дает формулу поэтического языка:

Язык бессмысленный, солено-сладкий...

Просторечие — солоно, высокий стиль — сладостный... Такой вот язык может состоять из самых обычных слов и предложений, но сквозь общепринятый смысл всегда проступает другой — волшебнo-поэтический, который по отношению к первому — бессмыслица.

Очень верно замечание Георгия Адамовича: Мандельштам поднимается до высот своих именно там, где бормочет, будто чувствуя, что в логически-внятных стихах он сам себя обкрадывает.¹²

Иногда Мандельштам до последнего предела сжимает фразу, опуская глагол. Вот «завязка» всей Илиады:

Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи? (1915).

Сжатость здесь еще усилена вопросом: («Что Троя вам . . .») и восклицанием «. . . ахейские мужи»).

Еще напряженнее по интонациям «климакс» в его стихотворении *Венеция* (1920):

Только в пальцах роза или склянка,
Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти.

В первом (тоже максимально сжатом) стихе дана вся ситуация: роза — любовь, а склянка (с ядом) — смерть. Но в чьих пальцах цветок и сосуд? Любовника ли, который хочет послать даме «розу любви» или склянку, чтобы отравить неверную возлюбленную? Или же яд предназначается сопернику? А может быть, это *пальцы* дамы, получившей от кавалера дар любви или дар смерти? Не исключена и эта возможность: дама хочет отравить кавалера или соперницу, а розой она обрадует нового поклонника. Этот очень «вещный» стих мог бы послужить эпиграфом чуть ли не к десятку новелл эпохи Возрождения, к мемуарам Бенвенуто Челлини или же к стилизованным итальянским повестям

¹² Несколько слов о Мандельштаме. *Воздушные Пути*, II, (1961), стр. 93. Здесь Адамович совпадает с Northrop Frey'em, который утверждает, что из бормотания складывается лирическая поэзия. *Anatomy of Criticism* (1957), pp. 275—277.

Стендаля. Тогда умели любить, умели и убивать, о чем свидетельствует до сих пор еще сохранившаяся в Венеции улица Ассасинов.

Далее: кто прощается с Адриатикой или просит у нее прощения? Убийца или его жертва? Наконец, кто хочет покинуть Венецию? Очевидно, — уже не *она*, а *он*, венецианский кавалер, в своем родном городе разочаровавшийся. Еще очевидней: все эти потенциальные фабулы новелл из жизни Венеции одушевляет общий мотив — любви и смерти. Это — трагика, но и здесь она не очень трагическая. . . . Ведь смерть в Венеции — особенная, живописная, волшебная, праздничная. Без этой *праздничной смерти*, без *черного бархата*, завешивающего плаху, без отраженного в зеркале *черного Веспера* были бы не так ярки другие краски, весь богатый колоризм Беллини, Тициана, Веронезе, Кривелли, Тинторетто, вдохновлявших Мандельштама. Колоризм *голубого дряхлого стекла*, *зеленой парчи*, *зеленой Адриатики*, *синих прожилок*, *белого снега* (снег здесь, вероятно, метафора полотна или шелка). Роковая красочная Венеция в целом — упоительна, и смерть там только черный фон, только кадр живописной картины. Такая Венеция не может вызвать «классических» эмоций ужаса и жалости. Образ мандельштамовской Венеции — завораживающий и вызывает преимущественно восхищение.

В последних трех стихах разбираемой строфы два вопроса, два восклицания, два императива. Конечно, от читателя зависит, как эти стихи читать. Чтение стихов всегда субъективно. Но мы знаем, что в вопросах, призывах, приказах допускаются и даже «ожидаются» музыкальные ударения, повышение тона голоса. Вопросы: «Что же ты молчишь?» Призывы: «Адриатика зеленая!» «Венецианка!» (это вокативы). Приказы: про-

сти, скажи . . . Особенно насыщена интонациями третья строка (и едва ли во всей русской поэзии найдется другой — аналогичный стих . . .):

Что же ты молчишь, скажи, венецианка . . .

Здесь в пяти словах — вопрос, приказ, призыв.

Известно, что в поэтическом языке все эти три формы встречаются чаще, чем в прозе или разговорном языке.¹³ К сожалению, нет еще специальных исследований о частоте этих трех интонационных форм в русской или в какой-нибудь другой поэзии. Но, по общему впечатлению, все эти три формы очень характерны для стилистики Манделъштама.

Отмечу, что в *Венеции* Манделъштама немало других приемов. Например, «колорит старины». *Венецыйский* — архаизм, который еще встречается у Гоголя. Старое слово *вече* обрусило Венецию . . . Не вполне понятен этот образ:

Нет спасенья от любви и страха,

Тяжелее платины Сатурново кольцо . . .

Сатурн (планета, окруженная кольцами) — это греческий Кронос, которого иногда путали с богом времени — Хронос. Например, в стихотворении Шиллера (*Fantasie an Laura*, 1782) летящий Сатурн (время) ловит свою невесту Вечность. Сатурн иногда связан с меланхолией (на гравюрах Альбрехта Дюрера).¹⁴ Может быть, у Манделъштама оба оттенка: чего-то давящего, тяжелого, как платина, времени — и меланхолии.

Сусанна, которая «старцев ждать должна» (в эпилоге) — библейский образ (Кн. Даниила, XIII). Ее образ ассоциируется и с картиной Тинторетто (в Вене). Это

¹³ Roman Jakobson. *Linguistics and Poetics. Style in Language*, ed. by T. Sebeok (1960), p. 335.

¹⁴ E. Panofski, *Albrecht Durer* (1948), p. 166; R. Klibanski and E. Panofski. *Saturn and Melancholy* (1964), pp. 212—214.

подтверждает догадку, что венецианская живопись вдохновляла Мандельштама в его стихах о Венеции.

Еще один пример «эксclamации» у Мандельштама. Тема разлуки в *Tristia* усилена тремя лирическими вопросами в «климаксе» этого стихотворения (курсив мой):

*Кто может знать при слове расставанье
Какая нам разлука предстоит,
И что сулит петушьё восклицанье,
Когда огонь в Акрополе горит . . .*

Вопросы, восклицания, приказы часто встречаются в поэзии Державина, Некрасова или Цветаевой, Маяковского (и, конечно, у многих других поэтов). Но функция этих приемов — разная. Названные поэты, по терминологии Б. М. Эйхенбаума, мастера декламативной (риторической) поэзии.¹⁵

Генеалогия Мандельштама, мне кажется, восходит к одному из самых любимых его поэтов, к Батюшкову.¹⁶ Это традиция не риторической, взволнованной, стремительной поэзии, а — элегической, спокойной, замедленной. Риторические поэты, о чем бы они ни говорили, склонны к выражениям торжественным, но и грубым или неправильным, к какофонии, к сильной экспрессивности. Тогда как поэты, ориентирующиеся на элегию, избегают всего резкого, выпирающего, их идеал калофония, гармония, совершенство. Они менее динамичны, хотя и в их стихах есть напряженность, они тоже умеют «волноваться». Как мы видели, Мандельштам очень динамичен в своих «климаксах», но его «верхи» не переходят в крик.

¹⁵ Б. Эйхенбаум. Мелодика русского стиха, 1922, стр. 8.

¹⁶ Ю. Иваск. Батюшков. Новый Журнал, 46 (1956).

Один из самых старых и традиционных для всего искусства приемов — это контраст. Им пользуется и Манделъштам — пестрота и чернота в его *Венеции*. Или же это контрасты между стилистикой архаической и разговорной (как в *Ариосте*). Или здесь:

Ладыя воздушная и мачта-недотрога . . . (1913).

Словом *ладыя* пользуются волжские рыбаки (Даль), но в русском литературном языке оно встречается преимущественно в поэзии, а также ассоциируется с церковнославянским Св. Писанием. Просторечивый *недотрога* — это человек обидчивый, застенчивый или гордый. У Манделъштама эти выражения — одно высокого стиля, а другое — низкого, соседствуют в том же стихе и фонически их сближают близкие звуковые повторы (ад, ду, та, дат), как и в тех двух стихах из *Ариоста*. Однако, все контрасты Манделъштама в поэзии не так резко заострены, как у Державина или Цветаевой. Так, речь цветаевского Ипполита полна выражений церковнославянских, но, разгневавшись на влюбленную в него мачеху, он вдруг называет ее *гадиной* (трагедия *Федра*).

Поэты стремятся усилить, довести до высшего напряжения разные эмоции — любовь, страсть, страх, ненависть, отчаяние, веру. Манделъштама чаще всего одушевляли нежность и восхищение. Но добивался он не столько выражения чувств, сколько преобразования их в магической гармонии слов и звуков. Он искал «блаженные слова», «блаженное, бессмысленное слово», создавал язык бессмысленный, «язык солено-сладкий». Вдохновляясь всем тем, что возбуждает нежность и восхищение, в особенности же легкими ласточками и тяжелыми соборами, Манделъштам весь этот «сырой материал» преображал в магические формулы, в заклинания, которые его верных читателей завораживают и

учат благодарить Бога (или же — неизвестно кого) за нежную красоту мира и за чудо поэтического (не райского ли) языка, на котором все знакомые слова имеют какое-то другое таинственное значение.

**

Отмечу, что Мандельштам (как и Пастернак) иногда переводил собственные стихи прозой. Вот несколько примеров:

1914.

И дворники в тяжелых шубах
На деревянных лавках спят...

До 1925.

Неуклюжие дворники, медведи в бляхах, дремали у ворот.

(В не по чину барственной шубе).

1920.

Где-то грядки красные партера...

До 1925.

Красные грядки кресел...

(Комиссаржевская).

1919.

И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба...

1922.

Кажется, будто высокий, математический лоб Софьи Перовской в блистательном свете блоковского познания действительности веет уже мраморным холодком настоящего бессмертия.

(Барсучья нора).

Мне удалось найти лишь один пример обратного перевода — из прозы в стихи:

1923.

Тот не любит города, кто не ценит его рубища, его скромных и жалких адресов, кто не задыхался на черных лестницах . . .

(Холодное лето).

1930.

Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

Может быть, датировка этих фрагментов еще точно не установлена, но, несомненно, это все автопереводы стихов на язык прозаический или же — обратно. Что и говорить — в поэзии все эти образы, мотивы куда убедительнее, волшебнее.

Юрий ИВАСК

University of Washington, Seattle.

СУДЬБА МАНДЕЛЬШТАМА

Если сорвать покров смерти с этой творческой жизни, она будет свободно вытекать из своей причины — смерти, располагаясь вокруг нее, как вокруг своего солнца, и поглощая его свет.

О. Манделъштам, Пушкин
и Скрябин.

— и в отдаленьи
Чистый голос: «Я к смерти
готов».

А. Ахматова, Поэма без
героя.

Многие пишут совсем неплохие стихи, но много ли истинных, больших поэтов?

Чтобы быть поэтом, размер, рифма, образ, даже если владеть ими в совершенстве, — недостаточны, нужно другое, нечто большее: свой, неповторимый, голос, свое, незыблемое, мироощущение, своя, никем не разделенная судьба.

В начале поэтического поприща все эти три слагаемых стоят в свободной взаимосвязи. Голос предпола-

гает идею, идея не существует без голоса, они рождены одновременно из того же духовного центра, но полагаются отдельно и ищут друг друга. Судьба производна от них: соприсутствуя голосу-мироощущению как их свободное самоопределение, она до времени стоит поодаль, ждет своего часа. Крепнет связь между голосом, идеей и судьбой: поэт растет. Сливаются все три в одно нераздельное целое: человек умирает — поэт рождается навеки.

**
*

Пушкин и Лермонтов «под дулом пистолета», наложившие на себя руки Фет, Есенин, Цветаева, задохнувшийся на пороге славы Анненский. Блок, умерший потому что «дышать нечем», исстрадавшаяся Ахматова, погибшие Гумилев и Мандельштам — жертвы не случайного рока, а собственного голоса, самих законов поэзии.

Баратынский, даже в самые свои благополучные годы, неотразимо чувствовал сокрытое в поэзии жало смерти:

... боюсь я,
Чтоб персты, падшие на струны,
Не пробудили бы перуны,
В которых спит душа моя.

И отказом от нее думал уберечь свой мир:
Я говорю: до завтра звуки,
Пусть день угаснет в тишине.

Единственным великим русским поэтом, избежавшим трагического конца, был Тютчев. И это не случайно. Из всех поэтов Тютчев наиболее вневременный, экстатичный. Он настолько выходит из мира, что столкновение между ним и миром — невозможно. Тютчев

нес трагедию в самом себе, в мучительном раздвоении между ночью и дневным покровом, наружу она не проступала. Символисты принадлежали к тому же роду: от времени и мира они уходили кто в монахи (Эллис, Вячеслав Иванов), кто в теософию (Волошин, Белый). Один Блок прикоснулся к истории и принял смерть от нее.

**
*

Еще больше чем символистам, Мандельштам противопоставлен Тютчеву, хотя и соприкасается с ним в исходной точке. Главным врагом Тютчева были *пространство и время*. «Никто, я думаю, и никогда, — признается он, — не чувствовал себя более ничтожным, чем я перед лицом этих двух угнетателей и тиранов человечества». Мучительно страдая от них, Тютчев находил освобождение только в редкие минуты ночных видений — выхождением из себя.

В ранних стихах Мандельштама, о которых Ахматова писала «они хороши, но в них нет того, что мы называем Мандельштамом», чувствуется близость к Тютчеву. Запоздалый символист тоскует в призрачном мире и ищет выхода. Воплощение музыки, как и Тютчеву, кажется ему изменой. Прорваться ввысь не дано: неживой небосвод отражает ту же призрачную реальность:

Темных уз земного заточенья
Я ничем преодолеть не мог.

Бессильному порвать узы оставалось только одно: поцеловать их. Освобождение пришло внезапно и бесповоротно: не выхождением из мира, а бурным вторжением в поэзию времени и пространства, не как угнетателей человечества, а как творческих основ бытия.

И покинув корабль, натрудивший в морях
полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем
полный.

С 1912 года Мандельштам выходит в открытое море, начинает свое плавание по всем измерениям времени и пространства. Прошедшее, настоящее, будущее, длина, широта, глубина — таковы отныне координаты его поэзии.

С необычайной легкостью Мандельштам шагает через века: высшие достижения человеческой деятельности не становятся, как у Брюсова и даже Вячеслава Иванова, в мертвый ряд музейных ценностей, а весело перекликаются друг с другом, «по домашнему аукаются». Крит, Эллада, средневековье, Ренессанс, музыка, живопись, литература, «через головы столетий», не только не чужды друг другу, но в буквальном смысле современны. Гомер в Тавриде, Флоренция в Москве. «Не веря в разлуку», Мандельштам непринужденно раскланивается с Батюшковым, беседует с Ламарком.

«Время есть содержание истории, понимаемой как единый синхронистический акт; и обратно: содержание истории есть совместное держание времени — сотоварищами, сооткрывателями его». Сказано это Мандельштамом о Данте, но применимо прежде всего к нему самому.

Поэзия культуры у Мандельштама совершенно свободна от исторического груза: она всевременна.

Беззаботно, с благодушным юмором, Мандельштам принимает и все то новое и неожиданное, что приносит с собою река времен. У него нет отталкивания от новейших форм цивилизации. Еще в 1909 году он говорил М. Карповичу: «Корабль вечности и есть корабль

современности». Вместе с Баратынским, но в ином, не нравственном, а онтологическом смысле, он мог бы сказать: «Нет на земле ничтожного мгновенья». Нет и ничтожных явлений: месмерический утюг, электрическая мельница, теннис — не менее реальны, чем древний кувшин или аттический солдат, следовательно, они не менее достойны жить в поэзии. Как его учитель, Франсуа Виллон, Мандельштам сообщает массу точных сведений, умеет вырвать «настоящее мгновение из почвы времени, не повредив его корней». Его поэзии, насыщенной современностью, не суждено стареть.

Если время созидает не как снежный ком, а как семя, — значит оно имеет свою неподвижную сущность. В поисках первоосновы Мандельштам не вырывается из временного ряда, а опускается в глубинный его слой, где время воспринимается как сплошная непрерывность, протяженность, неподвижность (Бергсоновская *durée*). Как никто, Мандельштам умеет останавливать время, уловить зияние, выразить длительность:

Жуют волы и длится ожиданье...

Протяженность Мандельштам передает, пользуясь всеми своими поэтическими орудиями: образами, долгою гласных, удлинённой цезурой, шестистопным дольником, а иногда и еще более длинным размером.

Поэзия Тютчева — глубь ночи, поэзия Мандельштама — вечный полдень.

Грубое время измеряется металлической стрелкой часов или таянием воска, время творческое — произрастанием. С той же легкостью, с какой он раздвигает века, Мандельштам плывет вверх по течению времени:

Время вспахано плугом, и роза землю была...

Поэзия анамнезиса свободна от груза воспоминаний, так как восстанавливает живую, священную связь событий.

Не потому ли голос Мандельштама так часто звучит пророчески? Даже в своих ранних историко-литературных статьях Мандельштам, помимо себя, пророчествует о себе — настолько, что его биографию и творческий путь можно восстановить из разных кусков этих статей.

**
*

У Тютчева пространство «поглощает и уничтожает вас с телом и душой». Мандельштам же смотрит на трехмерное пространство «не как на обузу и на несчастную случайность, а как на Богом данный дворец»: в нем всецело размещаются бесчисленные предметы и краски, все разнообразие мира. От стихов Мандельштама всегда пахнет укусом, краской и свежим вином из подвала.

Излюбленные его образы — звери, птицы, рыбы, насекомые, камни; поэзия Мандельштама как бы развернутый 103-й псалом, библейский гимн творению. И у Пушкина не было поэзии более жизнеутверждающей, более телесной. Но телесность у Мандельштама, как и у Пушкина, не прикреплена к земле; она окрылена духом.

«Яблоко, хлеб, картофель — отныне утоляют не только физический, но и духовный голод». Вещь, — психея, она имеет душу.

В этом своем мироощущении Мандельштам верен гению еврейского народа.

«Еврей верит в невидимое . . . но хочет, чтобы невидимое стало видимым и проявило бы свою силу; он верит в дух, но только в такой, который проникает все материальное, который пользуется материей как своей оболочкой и своим орудием. Не отделяя духа от его материального выражения, еврейская мысль тем самым

не отделяет и материю от ее духовного и божественного начала». *

Эти пронизательные слова Владимира Соловьева — ключ к пониманию Мандельштама. Их можно продолжить: для еврейского мирозерцания, как в материи присутствует дух, так и во времени содержится вечность. Богооткровенное мышление еврейского народа вело к Боговоплощению, как к предельному слиянию духа и плоти, мига и вневременности. Под влиянием сначала Чаадаева, а затем и других русских религиозных мыслителей, Мандельштам с поразительной легкостью, как нечто само собою разумеющееся, принял и воспринял христианство, став «отщепенцем в своей семье».

Поэзия Мандельштама проникнута христианским благовестием о реальности мира, о целесообразности истории, о «перпендикулярном разрезе», о мирном сосуществовании единства и множества:

Взять в руки целый мир как яблоко простое . . .

**
*

Свое безусловно христианское, точнее иудео-христианское мироощущение Мандельштам выразил всего ярче в докладе «Пушкин и Скрябин», который, к сожалению, дошел до нас в неполной и поврежденной редакции. В нем Мандельштам определил искусство как «свободное и радостное подражание Христу». Раз искупление уже совершилось, искусство «свободно», «ничем не омрачено», оно «радостное богообщение, как бы игра Отца с детьми, жмурки и прятки духа».

* Владимир Соловьев. Еврейство и христианский вопрос. Цит. по изд. «Мысль», Берлин, 1921, стр. 21.

Детски-райская душа Мандельштама — такой она сквозит в божественном лепете его писем — недооценила трагической изнанки христианской благой вести. Искупление совершилось, но не завершено. «Мир вместе с художником искуплен», но трагедия в том, что мир не принимает искупления, отталкивается от него, противоборствует ему.

Мечта о золотом веке, своеобразный хилиазм, нетерпеливое желание видеть явленную силу духа, проходит через все творчество Мандельштама. В самый разгар первой мировой войны он тешит себя утопией, что

заперев зверей,
Мы успокоимся надолго
И станет полноводней Волга
И рейнская струя светлей.

В страшный 19-й год он вздыхает с меньшей уже надеждой:

О где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба . . .

Даже перед самой гибелью эта мечта остается, но переходит в область невозможного, давно прошедшего:

Это было и пелось, синяя,
Много задолго до Одиссея,
До того как еду и питье
Называли моя и мое.

Жмурок и прятки духа — мир не допускает. Подражание Христу влечет за собой и подражание Его жертве.

**
*

Свое христианское кредо Мандельштам изложил, отталкиваясь от теософии, которая, как ему казалось, способна повернуть время обратно, от христианства к

XXIX

буддизму, от единства личности к дурной множественности сфер. Но не теософия — очередной вариант ухода из истории — была опасна — тогда надвигалась уже другая сила, неизмеримо более страшная и разрушительная. Мандельштам не сразу распознал новую опасность, нависшую над «хрупким летоисчислением нашей эры». По отношению к революции он колебался вначале между да и нет, прельщался порой «социальной архитектурой», подобно тому, как в молодости обольщался внешним единством католического Рима. Но «никогда он Рима не любил», точно так же он быстро почувствовал, что то, «куда мы должны вступить», не тень родного города, а «крыло надвигающейся ночи». Порой его охватывал страх, «не опоздал ли он», он боялся, как бы не остаться ему вне времени, хотя и знал, что время мчалось не вперед, а «обратно, с шумом и свистом, как прегражденный поток».

Но голос-судьба твердил свое:

Чище смерть, соленее беда
И земля правдивей и страшнее.

Уже в самых своих ранних стихах смерть казалась ему единственной проверкой собственной реальности:

Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?

или:

Когда б не смерть, так никогда бы
Мне не узнать, что я живу.

В начале же 20-х годов, когда наступали, чтобы раздавить человека, Ассирия и Вавилон, смерть предстала ему как неминуемая печать подлинности всей его духовной сути, всего творческого пути:

Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,

шагом к барьеру, пишет и читает друзьям — с силой
Гойи написанный — портрет Сталина:

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища. —

— сам себе подписывая смертный приговор. Тогда же он
говорит Ахматовой незабываемое: «Я к смерти готов».

Остальное — развязка. Судьба подарила ему еще
три года жизни, чтобы дать ему пропеть полным голо-
сом «на разрыв аорты» — и умереть полной смертью.
Шевеленье губ, которого никто не мог отнять, преодо-
лело «полуобморочное житье». Воронежские тетради
— не спад и не разлад, а вершина творчества: в них
сплелись в одно целое божественная игра со страшны-
ми заклинаниями смерти. «Горожанин и друг горожан»
прикоснулся к земле и в ней почерпнул новые силы
для песни и битвы. «Иову, ропщущему на дне своей
смрадной темницы», блеснул луч свыше: великолепной,
космической, но еще несколько византийской Литур-
гии Петербургского периода — «здесь должен прозву-
чать лишь греческий язык» — соответствует в Вороне-
же обнаженное чудо видения предголгофной Тайной
Вечери:

Небо вечера в стену влюбилось,
Все изрублено светом рубцов,
Провалилось в нее, отразилось,
Превратилось в тринадцать голов.

Баратынский, покоя ради, отсылал посещение муз
на завтрашний день, и Мандельштам, говорят, пробовал
замедлить исход, принимался за социальный заказ, но
бесполезно, так как знал, что свой дар-флейту

невозможно покинуть,
Стиснув зубы ее не унять

И в слова языком не продвинуть
И губами ее не размять.

Мандельштам победил смерть и обрел высшую свободу, победил безвременье и обрел бессмертие.

С той минуты, как сердце его остановилось, сначала потаенно, затем все ярче и ярче начался «сказочный рост художника».

Исполнилось дословно его желание:

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну.
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну,
Позвоночное, обугленное тело,
Сознающее свою длину.

Сквозь мрак нищенской, затравленной жизни, о которой так обнаженно, так безнадежно повествуют его письма, Мандельштам знал чутьем поэта, что его подвигу, одновременно нравственному и творческому, готовится венец нетленной славы:

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое расколите
Вы на синего звона куски.
И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отклик неба во всю мою грудь.

В самых страшных и сильных своих стихах о терроре, о «миллионах убитых задешево» Мандельштам обмолвился неожиданным признанием: «от меня будет свету тепло».

И сегодня — тому свидетельство этот третий и последний том его сочинений, — вопреки засовам и запре-

там, вопреки еще пламенеющему противоборству мира, свет божественной гармонии Мандельштама, свет его христианского мироощущения, свет его мужества и мученичества, из глубины России, сияет нам.

· Слились воедино голос, идея и судьба. Как он сам, того не ведая, еще в 1914 году, не о Скрябине, о себе сказал:

«Он явил пример соборной, русской кончины, умер полной смертью, как жил полной жизнью, его личность, умирая, расширилась до символа целого народа, и солнце-сердце умирающего остановилось навеки в зените страдания и славы».

Никита СТРУВЕ

НЕИЗВЕСТНЫЙ МАНДЕЛЬШТАМ

И Батюшкова мне противна спесь:
«Который час?» его спросили здесь,
А он ответил любопытным:
«вечность».

О. Мандельштам. (1912).

Откуда она пошла, эта презрительная — свысока — ухмылка, как только заходит речь о работе писателя в газете, в журнале-еженедельнике: поденщина... настоящий писатель не станет — без большой нужды: — работать в широкой прессе... Забывают при этом и журналистику Пушкина, газетную работу Аполлона Григорьева, Достоевского, Константина Леонтьева, Розанова... Забывают о том, что писатель-профессионал давно уже не может жить, не принимая участия в прессе. И не только как без основного источника средств существования. Нет, газета и журнал-еженедельник вытеснили очень значительную часть литературных жанров: современник не может жить без самого непосредственного, самого неотложного, быстрого и повсечасного соприкосновения с современностью: темп нашей жизни таков, что даже газета уже слишком сильно отстает от бега времени, и телевидение и радио пополняют и корректируют ее.

Писать для вечности . . . Но — кто и как может поручиться, что его книги проживут хотя бы год, а не то что вечность?! «Книги тают, как ледяшки, принесенные в комнату. Все уменьшается. . . Все тает. И Гете тает. Небольшой нам отпущен срок. Холодит ладонь ускользающий эфес бескровной ломкой шпаги, отбитой в гололедицу у водосточной трубы. . . Все трудней перелистывать страницы мерзлой книги . . .». Так говорит об этом в «Египетской марке» Мандельштам. И это — несмотря на то, что книга, печать подменили современному человеку живую, реальную жизнь: «. . . Всякая вещь мне кажется книгой. Где различие между книгой и вещью? Я не знаю жизни: мне подменили ее еще тогда, когда я узнал хруст мышьяка на зубах у черноволосой французской любовницы, младшей сестры нашей гордой Анны». Да, современник утратил непосредственное, *детское*, а потому и истинное отношение к жизни. Но темп-то этой жизни делается все напряженнее и напряженнее, убыстряется не по дням, а по часам, и роман-тарантас, повесть-поезд заменяются волей-неволей лаконизмом журнально-газетного фельетона, джета-очерка, сухой репортерской заметки. Да и в «высокой» литературе мы начинаем ценить не сам сюжет, не саму ткань повествования, а мимоходные заметки, — «дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост» («Четвертая проза»). «Уничтожайте рукопись, но сохраняйте то, что вы наметили сбоку от скуки, от неумения и как бы во сне. Эти второстепенные и мимовольные создания вашей фантазии не пропадут в мире, но тотчас рассядутся за теневые пюпитры, как третьи скрипки Мариинской оперы, и в благодарность своему творцу тут же заварят увертюру к Леноре или к Эгмонту Бетховена» («Египетская марка»).

Истлевают комплекты газет и журналов, забываются ушедшие в прошлое быстролетные мимолетности, но извлеченные из старых номеров прессы статьи и очерки подлинных мастеров слова вдруг раскрывают перед нами прошлое, пережитое, а иногда и как-то неожиданно врываются в нашу теперешнюю повседневность. И эти очерки-наброски, эти эссеи-эскизы иной раз более живы, чем законченные, тщательно отработанные и неоднократно переработанные произведения «высокой» литературы. Тем более, что в них автор был нараспашку, по-домашнему, не приглашен для высокого литературного собрания.

Мандельштам-очеркист, Мандельштам-журналист может смело быть назван *неизвестным Мандельштамом*: кроме нескольких статей и очерков все остальное журнально-газетное творчество его было затеряно в провинциальных газетах и журналах, часть же статей вообще не была опубликована. Систематические розыски в провинциальной — и столичной — прессе могут дать нам еще много находок. Но уже и те, какие опубликованы в этом томе, дают достаточное представление о журналистике поэта. Она органически связана с его прозой, часто является «питательной средой» для его прозы.

Прежде всего — необычайно цепкий и зоркий глаз, да еще связывающий сразу же непосредственные впечатления с целым культурно-историческим комплексом вещей и явлений. Вот Киев начала НЭП'а — с «отпечатком какого-то варшавского, кондитерского глянца», с его Подолом — «свайной мещанской Венецией», с его бульварами и «погромным липовым пухом в нервическом майском воздухе». Перехлест исконного, до-революционного, советского, русского, украинского, еврейского: «Против бывшей Думы — Губкома — Марк-

сов памятник. Нет, это не Маркс, это что-то другое! Может, это замечательный управдом или гениальный бухгалтер? Нет, это Маркс. Киев коллегии Павла Галагана, губернатора Фундуклея, Киев лесковских анекдотов и чаепитий в липовом саду вкраплен здесь и там в окружную советскую столицу». «Деревянный кукиш каланчи, уездный гостиный двор, луковки подворий». И тут же — нэпман — хозяин дровяного склада и лесопилки, старый еврей, при первом же разговоре с ним о его делах заплакавший, «как плачет дерево — смолой»: «— Вы не знаете, что такое частный капитал! Частный капитал — это мученик! — и старик развел руками, изображая беспомощность и казнь частного капитала» («Киев»). Но в противовес официальной торговле, где нехотя, враждебно вам кинут на прилавок казенной лавки обрезки бязи или желудевое кофе, делец-купец времен НЭП'а «такой кругленький и приятный, будто сам биржевой курс принял образ человека и сошел на землю сеять радость и благоволение между людьми» («Возвращение»). Вот отталкивающий автора своим торгашеством Батум, но и в нем наиболее приятное — восточные «торговые дома. В них есть благообразие и культура, которых нет в скороспелых итальянских и прочих европейских торговых фирмах, где царствует суета и нехороший хищный дух. . . . В привычках торгующего Востока чувствуешь уважение к человеку, которого нельзя просто обобрать и с кашей съесть». Зато «город постоянно подвергается налетам заезжих шарлатанов — 'профессоров' и 'лекторов'. Один из них устроил публичный суд над Иудой Искарриотом. . . » («Батум»).

Когда читаешь очерки Мандельштама, перед нами живо и рельефно возникает жизнь эпохи — со всеми ее метко подмеченными и хорошо отобранными харак-

терными деталями. Притом эта характерность всегда оригинальна, своеобразна, не сбивается на общее место. Скупые реплики персонажей очерков Мандельштама всегда резко индивидуализированы, как говор киевской улицы:

... — Не ездí коляску в тени, — ездí ее по солнцу!.

Его газетные очерки — эскизы для великолепной прозы «Шума времени».

Если Мандельштам безошибочно чувствует и лаконично и выразительно передает этот шум времени, то в пресловутый *прогресс* социологов и историософов он, понятно, давно не верит. Еще в статье (неопубликованной) 1916 года — «О современной поэзии» — он смеялся: «Да и какой вообще может быть прогресс в поэзии в смысле *улучшения*. Разве Пушкин *усовершенствовал* Державина, то есть в некотором роде отменил его? Державинской или ломоносовской оды теперь никто не напишет, несмотря на все наши 'завоевания'. Оглядываясь назад, можно представить путь поэзии, как непрерывную невознаграждаемую утрату. Столько же новшеств, сколько потерянных секретов: пропорции непревзойденного Страдивариуса и рецепт для краски старых художников лишают всякого смысла разговоры о прогрессе в искусстве». Такой взгляд не означает никоим образом консерватизма: нет, Мандельштам просто настолько современен, что не обоготворяет ни современности, ни нашего *завтра*, почему-то всегда для социологов социалистического ли, либерально-прогрессивного ли лагеря более светлого и совершенного, чем наше *вчера*. Мандельштам вообще против излишне грандиозных и универсальных построений: «В блестящее время парижских, брюссельских, нижегородских и прочих всемирных выставок существовал обычай возводить архитектурные постройки в стиле чего угодно, но

обязательно грандиозно. Сооружения эти ...недолго держались в своем эфемерном величии: выставка кончалась, и деревянные планки свозили на телегах. Грандиозные создания русского символизма напоминают мне эти выставочные сооружения вот-вот придут их разбирать» («Письмо о русской поэзии», 1922). Мандельштам против «перерождения чувства личности, гипертрофии творческого 'я', которое смешало свои границы с границами вновь открытого увлекательного мира, потеряло твердые очертания и уже не ощущает ни одной клетки, как своей, пораженное болезненной водянкой мировых тем». Отсюда — и живой и деятельный интерес Мандельштама к естественникам, так сильно отразившийся в его прозе и журналистике: «мы здесь имеем колоссальную тренировку аналитического зрения и жажду накопления мирового опыта на твердом стержне практической деятельности и личной инициативы» («Вокруг натуралистов»). Мандельштам, с его чувством истории, и должен был так полюбить вещь, конкретность — в ее живой данности. Он хорошо понимает Гете: «Дома он избегал углубляться в античность, — рассказывает он о нем, — в древний мир, потому что *понять* для него значило *увидеть*, *проверить осязанием*» («Юность Гете»). Этот реализм Мандельштама естественно делает его *антиматериалистом*: нет ведь ничего более догматического, схоластического в худшем смысле слова, чем материализм, особенно так называемый диалектический.

Культурно-историческое видение Мандельштама отливается и в его журналистике в чрезвычайно вещную форму. Вот его статья 1922 года «Кое-что о грузинском искусстве»: «Грузинский эрос — вот что притягивало русских поэтов. Чужая любовь всегда нам дороже и ближе своей, а Грузия умела любить. . . . Да,

культура опьяняет. Грузины сохраняют вино в узких, длинных кувшинах и зарывают их в землю. В этом прообраз грузинской культуры — земля сохранила узкие, но благородные формы художественной традиции, запечатала полный брожения и аромата сосуд». И автор тут же добавляет: «То, что нельзя вывести из рассудочных данных культуры, из учета ее накопленных богатств, есть именно дух пьянства, продукт таинственного внутреннего брожения: узкая, длинная амфора с вином, зарытая в землю». Как перекликается с этим замечательное стихотворение Мандельштама о Тифлисе! «Вино старится — и в этом его будущее, культура бродит — и в этом ее молодость. Берегите же свое искусство — зарытый в землю узкий глиняный кувшин».

Конечно, такое понимание культуры, отзывающееся несколько и ранним Ницше, не могло ужиться с пониманием культуры, как *обязательно* культуры масс, культуры общедоступной и всеобщей. Культура — понятие неизбежно аристократическое, связанное с внутренними социальными перегородками, с кристаллизацией социально-сложной структуры: об этом много писал Мандельштам в своих высказываниях о возврате к «физиологически гениальному средневековью». Писал он об этом — косвенно — и в своих статьях-филиппиках о переводной литературе, как одном из источников опошления и вульгаризации культуры: «Было время, когда равные переводили равных, состязались в блеске языка, когда перевод был прививкой чужого плода и здоровой гимнастикой духовных мышц. Добрый гений русских переводчиков — Жуковский — и Пушкин принимали переводы всерьез. Упадок начался приблизительно с шестидесятых годов, когда появилось насквозь фальшивое понятие черной умственной работы, интеллектуальной поденщины, когда началась

разъедающая болезнь русской культуры, когда мозг стал цениться дешево». И Манделштам, расценивая «переводы», как перевод труда, бумаги, в большинстве случаев «не вызванных внутренней необходимостью», а потому «оставляющей вреднейший осадок в подсознательной мастерской языка», считает, что переводы невольно портят и русскую оригинальную литературу: «В результате сложнейшего и не случайного стечения обстоятельств мы стоим лицом к лицу с горькой и унижительной болезнью: книга у нас перестает быть событием. Да, каждый номер газеты — это, по-своему, событие, это биение пульса, это живая кровь, которую мы уважаем, а книга — это полфунта чего-то — не все ли равно — Всеволода Иванова, Пильняка или 'Жака'. Книга не терпит деморализации, болезни ее прилипчивы. Нельзя выпустить на рынок безнаказанно сотни тысяч неуважаемых, непочтенных или полупочтенных, хотя бы продажных, хотя бы тиражных книг» («Жак родился и умер»). И литература, и культура, свыше направляемая в порядке «культурно-просветительной» акции партии и правительства, загнивает и умирает. Она уже не узкая амфора со старым вином, зарытая в родную землю: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чая и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда. Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей — ведь дети должны за нас продолжить, за нас главное до-

сказать — в то время как отцы запроданы на три поколения вперед» («Четвертая проза»), Рядовые произведения советской литературы — обычно беспросветная бездарь: «Таковую, с позволения сказать, фабулу можно придумать, садясь в трамвай или зашнуровывая ботинки». Но если произведение соответствует в какой-то мере принципам «социалистического реализма», то критика советская его расхваливает в самых притом замысловатых и нелепых выражениях: «Хуже всего, что это не простая бессмыслица, а ритуальная. Это какое-то шаманство на диком выпрленном жаргоне» («Верер герцогини»). Даже в детскую литературу протянулась эта всегда *воспитующая* рука с перстом указующим: принесла старушка-писательница сказку в издательство, сказку идеологически невыдержанную, в которой все звери действовали и говорили по-человечьи, и даже «кузнечики во фраках служили какому-то принцу», и только заяц, бивший в барабан, как-то примирил с собой редакционного секретаря: «— Заяц у вас еще туда-сюда... Все-таки барабан — производственный процесс...» И — пришлось переделать все: «по ходу сказки овца молча отращивала шерсть для полезного употребления...» («Детская литература»).

Способствует падению культуры и театр, утративший чувство слова («Художественный театр и слово»), и ширпотребное кино, стремящееся мармеладной красотой как-то скрасить тоску повседневности («Кукла с миллионами»). Но при всем том, что Мандельштам видит в *интеллигенции* гробовщика истинной культуры (это ярко сказывается и в его «Шуме времени», и в «Египетской марке», и в «Художественном театре и слове»), — Мандельштам никогда не отказывался и от «интеллигентского периода» русской культуры:

Чу! не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать!

Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь
их предал?

Мы умрем, как пехотинцы,
Но не прославим ни жищи, ни поденщины,
ни лжи!

Представлять Мандельштама в качестве какого-то идеолога какой-то реакционной буржуазной интеллигенции или — пуще того — реакционной буржуазии могли только наиболее оголтелые представители марксистской критики. Нищий, затравленный критикой, вечно ищущий заработка и не так часто находящий его, Мандельштам воспевал социальную структуру «физиологически гениального» средневековья, с его твердо и прочно сложившимися сословиями и корпорациями, не как попятное движение истории, а как экзистенциально преобразованный идеал гармонически построенного общества, где каждый мастер своего дела уважаем — и уважает сам себя — за то, что хорошо знает свое дело. Где всякий столяр — художник, каждый каменщик — зодчий, и где нет образования, всеобщего и формального, прививающего человеку привычки и потребности, чаще всего превышающие его, человека, природные способности и умение . . . Аристократический идеал Мандельштама, отражающий и воззрения Чаадаева, и идеи К. Леонтьева, по сути дела более человечен и демократичен, чем популярная утопия социализма — этого плохо декорированного государственного тоталитарного капитализма. Если кого Мандельштам и презирал, и открыто высказывал ему это,

так это именно претенциозного и требовательного не по чину интеллигента, требующего признания и славы. Ахматова в своих воспоминаниях о Мандельштаме рассказывает, как он выгнал «молодого поэта, который пришел жаловаться, что его не печатают. Смущенный юноша спускался по лестнице, а Осип стоял на верхней площадке и кричал вслед: 'А Андрея Шенье печатали? А Сафо печатали? А Иисуса Христа печатали?'».

Статьи и очерки Мандельштама-журналиста — это особый мир, живущий сегодняшним днем, но всегда рассматривающий этот сегодняшний день так широко и глубоко, что сквозь временное и злободневное сквозит нужное и насущное для нас и сегодня, и завтра. Но манера Мандельштама, ставящая вопросы и вещи под непривычным углом, всегда решающая проблемы по-своему, да еще с изрядной долей иронии, никак не ко двору у плоскодонных соцреалистов. Ну, как они могли переварить, скажем, в статье «Государство и ритм», такой иронически-лирический пассаж: «Что общего между государством и женщинами и детьми, исполняющими ритмические упражнения, между суровыми преградами, которые ставит нам грубая жизнь, и той шелковой веревочкой, которая протягивается во время этих грациозных упражнений. Здесь готовят победителей, — вот в чем заключается эта связь. Детям, которые сумели так перепрыгнуть через тесьму, не страшны никакие социальные преграды». Ведь это сказано в какой-то мере и всерьез . . .

Поэтому-то так скупо уделяли Мандельштаму возможность печататься, поэтому так трагичны его письма уже середины двадцатых годов, потому и пришлось ему так много переводить из-за куска хлеба. Потому и пришлось ему «поступить на службу в газету 'Москов-

ский Комсомолец' прямо из караван-саря Цекубу», и в этой газете править корреспонденции с мест, безграмотные стишата активистов, статьи ударников производства... Но даже в этой подневольной работе нет-нет, да и проглядывал острый ум и иронический блеск Мандельштама, как видится он и во «внутренних рецензиях» и в статьях на случай... А журналистика Мандельштама-художника — интересна и сама по себе, и как эскизы к его *большой* прозе.

Борис ФИЛИППОВ

ОТ РЕДАКТОРОВ

Выходом этого третьего тома заканчивается наше издание сочинений Осипа Эмильевича Мандельштама. Несомненно, за пределами нашего собрания остались еще неопубликованные или неразысканные нами его произведения и письма. У нас не было возможности найти некоторые альманахи, журналы и газеты, в особенности провинциальные. Иногда, даже имея в своем распоряжении тот или иной текст Мандельштама, мы не могли точно установить — где и когда он опубликован. Иной раз мы знали название газеты, в которой это произведение опубликовано, но не знали даты публикации, а комплекта этой газеты разыскать не могли ни в одном из доступных нам книгохранилищ.

Тем не менее, мы с почти полной уверенностью можем утверждать, что опубликованные в третьем томе тексты соответствуют авторским рукописям, так как в нашем распоряжении имелись весьма авторитетные списки с авторских рукописей и машинописей.

В нашем трехтомнике первый том вышел вторым изданием, сильно исправленным и дополненным по рукописям и машинописям автора и авторитетным спискам с них. В целях наибольшей стройности в распределении произведений Мандельштама по отдельным то-

мам, в первый том — во втором его издании — были перенесены все стихотворения и переводы из второго тома (и, конечно, соответствующие справки и примечания к ним, а также дополнения к примечаниям первого тома, помещенные в томе втором). В третий том из второго тома перенесены: очерк «Батум» (так как нами — уже после выхода в свет второго тома — был получен полный авторский текст этого очерка, значительно отличающийся по объему и содержанию от опубликованного нами), 5 писем и отрывок из письма (в третьем томе и это письмо представлено полностью) Мандельштама (в целях соединения в одно собрание всей известной нам переписки поэта). Полностью публикуется в третьем томе и статья «Письмо о русской поэзии», небольшой отрывок которой был опубликован во втором томе; два отрывка («Прообразом исторического события» и «Я утверждаю, что множество молодых поэтов . . .») также перенесены из второго в третий том — в раздел «Записных книжек, заметок, черновиков». В этом же разделе нами публикуются и «Заметки и черновики к Разговору о Данте», дополненные благодаря получению нами новых материалов и по публикации в журн. «Вопросы Литературы» (1968, № 4). Поэтому наш второй том, в его настоящем виде, в какой-то мере нарушает «стройность» трехтомника, так как заключает в себе ряд произведений и писем, перенесенных редакторами во второе издание первого тома и в том третий. Кроме того, уже после выхода в свет второго тома, были опубликованы отдельное издание «Разговора о Данте» (Москва, 1967) и — в № 63 журнала «Грани» (Франкфурт, 1966) — «Четвертая проза». В этих публикациях имеются некоторые разночтения с текстами, вошедшими в наш второй том. Все это заставляет признать весьма нужным выпуск второго — пересмотр-

ренного и дополненного (а также с исключением произведений, включенных во второе издание первого тома и в третий том) — издания второго тома, — тем более, что первое издание распродано. Это второе издание второго тома мы надеемся осуществить в недалеком будущем.

Третий том вполне может быть назван «Неизвестным Мандельштамом», так как опубликованные в нем произведения Мандельштама-журналиста или затеряны в трудно доступных еженедельниках и газетах, чаще всего провинциальных, или публикуются нами впервые (в том числе так называемые «внутренние рецензии», то есть рецензии не для печати, а для редакций издательств, решающих — на основании этих отзывов — переводить ли данные произведения на русский язык и издавать ли их?).

Еще более новым для читателей явятся письма Мандельштама: до сих пор было опубликовано всего 7 писем Мандельштама и один отрывок из его письма жене. В нашем третьем томе публикуются 85 писем Мандельштама, значительно дополняющих наши сведения о жизни поэта.

Обширная библиография не претендует на исчерпывающую полноту, но является первым опытом в этом направлении.

Редакторы приносят глубокую благодарность всем участникам работы по собиранию и редактированию текстов, в особенности Л. А. Алексеевой-Иванниковой, С. Н. Андрониковой-Гальперн, проф. Кларенсу Брауну, Хелен Диксон, А. К. Ранниту, Н. А. Струве, Д. Томсону, Т. О. Федоровой и художнику С. Л. Голлербаху.

*Глеб Струве
Борис Филиппов*

ОСИП МАНДЕЛЫШТАМ

ВОСПОМИНАНИЯ
ОЧЕРКИ

КИЕВ

I

Самый живучий город Украины. Стоят каштаны в свечках — розово-желтых хлопущах-султанах. Молодые дамы в контрабандных шелковых жакетах. Погромный липовый пух в нервическом майском воздухе. Глазастые большеротые дети. Уличный сапожник работает под липами жизнерадостно и ритмично... Старые «молочарни», где северные пришельцы заедали простоквашей и пышками гром петлюровских пушек, все еще на местах. Они еще помнят последнего киевского сноба, который ходил по Крещатику в панические дни в лаковых туфлях-лодочках и с клетчатым пледом, разговаривая на самом вежливом птичьем языке. И помнят Гришеньку Рабиновича, бильярдного мазчика из петербургского кафе Рейтер, которому довелось на мгновение стать начальником уголовного розыска и милиции.

В центре Киева огромные дома-ковчег, а в воротах этих гигантов, вмещающих население атлантического парохода, вывешены грозные предупреждения неплательщикам за воду, какие-то грошковые разметки и раскладки.

Слышу под ногами какое-то бормотание. Это хедер? Нет . . . Молитвенный дом в подвале. Сотня почтенных мужей в полосатых талесах разместилась как школьники за желтыми, тесными партами. Никто не обращает на них внимания. Сюда бы художника Шагала!

Да, киевский дом это ковчег, шатаемый бурей, скрипучий, жизнелюбивый. Нигде, как в Киеве, не осязаемо величие управдома, нигде так не романтична борьба за площадь. Здесь шепчут с суеверным страхом: «Эта швея делает квартирную политику — за ней ухаживает сам Ботвинник!»

Каждая киевская квартира — романтический мирок, раздираемый ненавистью, завистью, сложной интригой. В проходных комнатах живут демобилизованные красноармейцы, без белья, без вещей и вообще без ничего. Терроризованные жильцы варят им на примусах и покупают носовые платки.

Киевский дом — ковчег паники и злословия. Выходит погулять под каштанами Драч — крошечный человек с крысиной головой.

— Знаете, кто он? Он подпольный адвокат. Его специальность — третейские суды. К нему приезжают даже из Винницы.

В самом деле, за стеной у Драча идет непрерывный суд. Сложные вопросы аренды, распри мелких компаньонов, всяческий дележ, ликвидация довоенных долгов — велика и обильна юрисдикция Драча. К нему приезжают из местечек. Он присудил бывшего подрядчика, задолжавшего кому-то сто царских тысяч, выплачивать по тридцать рублей в месяц, — и тот платит.

Клуб откомхоза и пиццевкуса. На афише «Мандат». Потом бал. Ночью улица наполняется неистовым ревом. С непривычки страшно.

На Крещатике и на улице Марата отпечаток какого-то варшавского, кондитерского глянца. Отель «Континенталь» — когда-то цитадель ответственных работников — восстановил все свои инкрустации. Из каждого окна торчит по джазбандному негру. Толпа вперяет взоры на балкон второго этажа. Что случилось? Там Дуров кого-то чешет . . .

Киевляне гордятся: все к ним приехали! В городе сразу: настоящий джазбанд, Еврейский Камерный из Москвы, Мейерхольд и Дуров, не говоря уже о других.

Колченогий карлик Дурова выводит погулять знаменитую собаку-математика — событие! Негр идет с саксофоном — событие! Еврейские денди — актеры из Камерного — остановились на углу — опять событие!

Среди бела дня на Крещатике действует рулетка-буль. Тишина похоронного бюро. Матовые котлы стола вспыхивают электричеством. В тощем азарте мечутся два-три невзрачных клиента. Эта убогая рулетка днем была зловещей.

Всякое происшествие в Киеве вырастает в легенду. Так например, я десятки раз слышал о беспризорном, который укусил даму с ридикюлем и заразил ее страшной болезнью.

Беспризорные в пышных лохмотьях, просвечивающих итальянской оливковой наготой, дежурят у кафе. Таких отобранных, лукавых и живописных беспризорных я не видел нигде.

Террасами громоздится великий днепровский город, переживший беду.

Дом-улица «Пассаж», обкуранный серой военного коммунизма . . . И славные дома-руины . . . Против бывшей Думы — Губкома — Марксов памятник. Нет, это не Маркс, это что-то другое! Может, это замечательный управдом или гениальный бухгалтер? Нет, это Маркс.

Киев коллегии Павла Галагана, губернатора Фундуклея, Киев лесковских анекдотов и чаепитий в липовом саду вкраплен здесь и там в окружную советскую столицу. Есть горбатые сложные проходные дворы, пустыри и просеки среди камня, и внимательный прохожий, заглянув под вечер в любое окно, увидит скудную вечерю еврейской семьи — булку-халу, сеledку и чай на столе.

II

Трамвайчик бежит вниз к Подолу. Слободка и Туруханов Остров еще под водой. Свайная мещанская Венеция. За все великолепии верхнего города всегда расплачивался Подол. Подол горел. Подол тонул. Подол громили. Подол выдержан в строго плюговом стиле. Целая улица торгует готовым платьем. Вывески — «Лувр», «Змичка».

На площади «Контрактов» — киевской ярмарки — деревянный кукиш каланчи, уездный гостиный двор, луковки подворий.

Презрение к Подолу чрезвычайно распространено в буржуазном городе: «Она кричит, как на Подоле», «У нее шляпка с Подола», «Что вы от него хотите? Он торгует на Подоле».

Плоскими улицами Подола я вышел на Днепр к старику Розинеру — несчастному лесопильному компаньону. Мудрый семьянин и старейшина лесного дела сидел на теплой шершавой доске. У ног его лежали нежные как гагачий пух опилки. Он понюхал щепотку древесной пыли и сказал:

— Эта балка больна — чахоточная... Разве так пахнет здоровое дерево?

И взглянув на меня желтыми овечьими глазами, заплакал, как плачет дерево — смолой.

— Вы не знаете, что такое частный капитал! Частный капитал это мученик! — и старик развел руками, изображая беспомощность и казнь частного капитала.

Мученики частного капитала чтут память знаменитого подрядчика Гинзбурга, баснословного домовладельца, который умер нищим (киевляне любят сильные выражения) в советской больнице. Но можно еще жить, пока есть крепкое изюмное вино, любой день превращающее в Пасху, густые прозрачные сливянки, чей вкус само удивление, и солоноватое вишневое варенье.

На этот раз я не застал в Киеве никаких слухов и никаких крылатых вымыслов за исключением твердой уверенности, что в Ленинграде идет снег.

Одно в Киеве очень страшно: это страх людей перед увольнением, перед безработицей.

— У меня в жизни была цель. Много ли человеку нужно? Маленькую службочку!

Потерять работу можно по увольнению (режим экономии) и украинизации (незнание государственного языка), но получить ее невозможно. Сокращенный или сокращенная даже не сопротивляются, а просто обмирают как жук, перевернутый на спину, или шпаренная муха. Заболевших раком не убивают, но их сторонятся.

Вместо серной кислоты обиженные киевские жены мстят мужьям, добываясь их увольнения. Я слышал такие рассказы в зловеще-романтическом киевском стиле. Прислушайтесь к говору киевской толпы: какие неожиданные, какие странные обороты! Южно-русское наречие цветет — нельзя отказать ему в выразительности.

— Не ездь коляску в тени, ездь ее по солнцу!

А сколько милых выражений, произносимых нараспев, как формулы жизнелюбия: «Она цветет как роза», «Он здоров как бык» — и на все лады спрягаемый глагол «поправляться».

Да, велико жизнелюбие киевлян. У входа в пышные приднепровские сады стоят палатки с медицинскими весами, тут же «докторский электрический автомат», помогающий от всех болезней. Очередь на весы, очередь к автомату.

На Прорезной я видел богомолка. Сотня босых баб шла гуськом, а впереди — монашек-чичероне. Бабы шли, не озираясь, слепые ко всему окружению, не любопытные и враждебные, как по турецкому городу.

Странное и горькое впечатление от нынешнего Киева. Необычайно по-прежнему жизнелюбие маленьких людей и глубока их беспомощность. У города большая и живучая душа. Глубоким тройным дыханием дышит украино-еврейский-русский город.

Немного напоминает о годах эпической борьбы. Еще торчит на Крещатике остов семизэтажной громады, зияющей сквозными пролетами как Колизей, а напротив другая громада с банковскими вывесками.

Днепр входит в берега. Пространство врывается в город отовсюду, и широкая просека Бибиковского бульвара по-прежнему открыта — на этот раз не вражеским полчищам, а теплым майским ветрам.

БАТУМ

I

Весь Батум как на ладони. Не чувствуешь концов-расстояний. Бегаешь по нему как по комнате, к тому же воздух всегда какой-то парной, комнатный. Механизм этого маленького, почти игрушечного, городка, вознесенного условиями нашего времени на высоту русской спекулятивной Калифорнии, необычайно прост. Есть одна пружина — турецкая лира. Курс лиры меняется должно быть ночью, когда все спят, потому что утром жители просыпаются с новым курсом лиры и никто не знает, как это произошло. Лира пульсирует в крови каждого батумца, провозглашают же утренний курс булочники.

Это очень спокойные, вежливые, приятные турки, продающие традиционный лаваш из очень чистой и пресной американской пшеницы. Утром хлеб — десять, днем — четырнадцать, вечером — восемнадцать, на другое утро почему-то — двенадцать.

Занятий у жителей нет никаких. Естественным состоянием человека считается торговля. На фоне коренного населения резко выделяются советские работники отсутствием лир и соприкосновением с черным хлебом,

которого ни один настоящий батумец и в глаза не видит.

Спекулятивная иерархия Батума тоже очень ясна и проста. В центре системы стоит десяток иностранных фирм, известных каждому ребенку и окруженных божественным почитанием — Валацци, Ллойд Триестино, Сага, Сала, Витали, Камка и т. д. . . . Но обожествление не мешает жизнерадостным иностранцам, толстеньким, поджарым и кругленьким, наравне с прочими носиться по Греческой улице из конторы в контору, из магазина в магазин, колдуя над священной валютой.

Зимы нет. Продавцы мандаринов и чумазые мальчишки с баклавой и гузинаками на каждом шагу. Чуть нагретое нежно-голубое море ласково полощется вокруг «Принца Фердинанда» (только что из Константинополя) — многоэтажной океанской гостиницы, где «хрусталем дрожит дорожный табльдот».

Молодые константинопольские коммерсанты в ярко-желтых ботинках, перебирая янтарными четками, летают по набережной. Несмотря на свой лоск они чем-то напоминают негров, переодетых в европейское платье, а еще больше экзотических исполнителей, некогда подвизавшихся на кафешантанских подмостках.

Все двери лавок на набережной открыты. Здесь в уютном полумраке важно беседуют жирные и апатичные персы, едва не раздавленные грузом собственных товаров — мануфактуры, сахара, мыла, обуви. Горе вам, если вы вздумаете зайти в одну из таких лавок и прицениться к чему-нибудь: по ошибке вам могут продать товару миллиарда на два — это все оптовое.

Господствующий язык в Батуме — русский: даже самые матерые иностранцы на третий день начинают говорить по-русски. Это тем более забавно, что русских в Батуме почти совсем нет, да, пожалуй, и грузин не-

много: город без национальности — в погоне за наживой люди потеряли ее.

Вот случай, показательный для глубокого отчуждения Батума, — в самом большом местном кинематографе идет итальянский фильм из русской жизни: «Ванда Варенина» (одно имячко чего стоит!) . . . В этом изумительном сценарии русские женщины, как турчанки, ходят под черной фатой и снимают ее только в комнате. Русские «князья» щеголяют в оперных костюмах из «Жизни за царя», катаются на тройках в английской упряжи, причем сани напоминают замысловатый корабль скандинавских викингов.

Я был на этом представлении. Никто в переполненном зале не удивлялся и не смеялся — все, очевидно, находили, что это вполне естественно, и лишь когда итальянский фильм показал русское венчание и молодых ввели в церковь в каких-то огромных коронах, немногочисленные красноармейцы не выдержали и зароптали.

Чрезвычайно характерна для Батума эмиграция из Крыма. Крым теперь захудал, обернуться там трудно, и вот каждый рейс «Пестеля» привозит в Батум партию беженцев из Феодосии, Ялты, Севастополя. Сначала они неуверенно бродят по Греческой улице, но проходит несколько дней, они оперяются и становятся гражданами вольного города.

II

Дождь, дождь, дождь, — это значит нельзя выйти на улицу. Дождь может идти и завтра и послезавтра: зимний дождь в Батуме это грандиозный теплый душ на несколько недель. Никто его не боится и, если нужно по делу, всякий батумец пойдет куда угодно даже

в такой потоп, когда Ной побоится высунуться из ковчега. Вот спешит «центросоюзник» на службу в свой родной Центросоюз в охотничьих сапогах — последняя кооперативная выдача. Он смело переходит вброд самые опасные места и даже нарочно выбирает там, где поглубже.

Центросоюз внешне процветает, работа кипит с утра до ночи в маленьком чистеньком особнячке у самого приморского бульвара с пихтами, олеандрами и пальмами, в том самом доме, где — по свежему преданию — англичане держали военный суд. С раннего утра неутомимые кооператоры в непромокаемых плащах и макинтошах снаряжают автомобили для осмотра чаквинских чайных плантаций и плодовых имений. С раннего утра в приемных толкуются иностранные купцы, ведомые, как агнцы на заклание, местными коммерсантами (всегда можно отличить того, кого ведут, и того, кто ведет), и не без легкого подбодрения проникают в кабинет заведующего, где встречают острый и пронизательный суд библейского Соломона или кади из «Тысяча и одной ночи».

— Мы — «общественные купцы», — с гордостью говорят батумские кооператоры. — Нам ни тепло, ни холодно от Центросоюза, — твердит простой обыватель. Но обыватель требует синицу в руки, ему нужно сейчас же что-нибудь осязательное. Между тем, если бы не Центросоюз, тесно связанный с Внешторгом, не было бы никакого удержания, никакой управы на иностранных хищников, которые находят здесь отпор своей алчности и авторитет, перед которым они должны склониться.

Но дождь идет не вечно. Как по волшебству просыпают чистенькие улицы. Батумский потоп — это царство проточной воды. После дождя город только омыл-

ся, освежился. Начинается зимнее гулянье на бульваре. В январе люди сидят на теплом щебне пляжа, близко, у самых волн, только что не купаются. Тут-то начинается праздник для портовых турецких кофеен — это сердцевина всего города: его маленькие клубы и биржи. В кофейне темно и накурено. Ароматный тягучий кофейный пар стоит в воздухе. В глубине золотыми угольками тлеет неугасающе жаровня, и на ней в медных тигельках самим хозяином изготавливается божественный напиток. Слуга выбился из сил, переносит маленькие кофейные чашечки, сопровождаемые стаканом холодной воды.

Вот заходит газетчик. У него припасены газеты на всех языках. Каждому — свое.

Старый почтенный турок покупает турецкий «Коммунист» и медленно читает вслух другим. Что поймет он, купец и патриарх, в предлагаемом ему новом учении? Он морщит лоб, но не улыбается. Как и весь его народ, он хорошо воспитан и привык уважать чужое мнение.

Самое приятное в торговом Батуме это именно торговые дома. В них есть благообразие и культура, которых нет в скороспелых итальянских и прочих европейских торговых фирмах, где царствует суэта и нехороший хищный дух. Есть один пункт, где торговля Востока не чета европейской — именно: торговля не только аппарат распределения, но социальное явление, и в привычках торгующего Востока чувствуешь уважение к человеку, которого нельзя просто обобрать и с кашей съесть.

Наступают сумерки, но Батум не хочет ложиться спать. По Маринской улице до поздней ночи движется сплошная праздничная лавина; чувствуется, что каждый в этой толпе «сделал дело» и теперь пожинает

плоды своей коммерческой тонкости. Ярко освещены лари и подворотни с фруктами и южной зимней утехой — мандаринами. Какие-то предприимчивые чумазые мальчишки, выплясывая лезгинку, бросаются под ноги прохожим, которые в ужасе откупаются мелкой подачкой. Толпа настолько оживлена, что ее радостный и громкий ропот долетает на четвертый этаж и баюкает ваш первый сон.

А в это время целые кварталы мертвы, как пустыня. Это специальные кварталы лавок у моря. Целые улицы, потухшие, во тьме, с наглухо закрытыми — железными тяжелыми висячими замками — ставнями. Бродят только сторожа с неусыпными трещотками, охраняя спящие миллиарды. Впрочем, сквозь железные ставни кое-где пробивается свет и во многих лавках живут. Дело в том, что в Батуме нет квартир, нет даже «жилищного кризиса». Он устранен очень просто — комнат настолько бесповоротно нет, что никому даже не приходит в голову их искать. В Батуме, если вы приезжий, вас не спрашивают, где вы живете, а спрашивают, где вы ночуете. Страх перед бездомными приезжими так велик, что ни в одной кофейной нельзя оставить вещей с вокзала: хозяева уверены, что вы к ним вернетесь ночевать, и боятся этого, как чумы. Мелкие торговцы ютятся в своих ларьках и будках, размерами не больше собачьей конуры. Каким образом устраиваются крупные приезжие коммерсанты — это совершенно таинственно. Очевидно, лира побеждает законы пространства.

По характеру своего интернационального торгового оживления Батум напоминает колониальный город или европейский квартал где-нибудь в Шанхае. До чего убогим кажется после него Новороссийск со своим прекрасным, гигантски оборудованным портом, со своими

элеваторами, которые высоко поднимают на курьих ножках фантастически длинные, похожие на купальни, приемники для зерна. Все это спит и ждет пробуждения, но в городе чувствуется какая-то особая серьезность, и он как бы готовится к исполнению огромной предстоящей ему экономической задачи. Но пока что в пустых холодных лавках, где на прилавок демонстративно брошен кусок бязи, героические коммивояжеры с какими-то воровскими по привычке ухватками лихо-радочно набивают чемоданы батумскими нитками и влекут куда-то подозрительную стопудовую ношу в опасный и темный путь, вечно стремясь к берегам своей Аркадии.

III

У иностранца, который свое посещение Советской России ограничивает Батумом, должно получиться очень странное впечатление, зато для нас Батума вполне достаточно, чтобы судить о прелестях Константинополя.

В Батуме никто не жалуется на тяжелые времена, и только одна подробность напоминает о том, что есть люди без лир, — это небольшие плакатики, неизбежно украшающие каждую лавчонку, каждый маленький духан: «Кредит никому» и даже — «Кредит не кому» по самой разной орфографии. Но истинная торговля не обходится без кредита, и на самом деле, достаточно взять где-нибудь коробку папирос, чтобы на следующий день получить в кредит другую.

Все это чрево и служение лире, но у Батума есть и высшие потребности — кое-что для души. На Маринской улице кружок ОДИ — общество деятелей искусств. Здесь устраиваются смехотворные выставки ма-

кулатурных живописцев, скупаемые заезжими греками, а местные эстеты и снобы расхаживают под раскрашенными олеографиями, воображая себя на настоящем верниссаже. Есть в Батуме и поэты, изысканней которых трудно себе представить. Город постоянно подвергается налетам заезжих шарлатанов — «профессоров» и «лекторов». Один из них устроил публичный суд над Иудой Искаротом, причем самовольно объявил на афише об участии местного ревтрибунала, за что и был привлечен к ответственности.

Еженедельно, по субботам, город оглашается звуками военной музыки из общественного собрания: это пир на всю ночь, очередной благотворительный вечер в пользу голодающих — с лото, американским аукционом и тому подобными прелестями. Здесь оставляются миллиарды.

Если вечер грузинский, ни на минуту не умолкает гипнотическая музыка сазандарий, путешествующая от столика к столику, пока кто-нибудь из пирующих не поднимется грозно и не пропляшет лезгинку под раздирающий сердце аккомпанемент тары.

Что такое теперешний Батум? Вольный торговый город, Калифорния золотоискателей, грязный котел хищничества и обмана, сомнительное окно в Европу для советской страны... Очаровательный полувосточный средиземноморский порт с турецкими кофейнями, вежливыми купцами и русскими торгующими матросами, которые топчут его хищную почву так же беззаботно, как топтали почву Шанхая и Сан-Франциско. Будем помнить, что воздух современного Батума, солнечный, влажный и нездоровый, пропитан неуважением к будущей пролетарской России, к ее строительству, ее нравственному облику и страданию.

Да и коммерческая польза от Батума невелика и сильно раздута. Горы товара, наваленные в батумских складах, если разобраться, — непристойная дешевка, предназначавшаяся раньше для колониальных стран и дикарей.

Наш лозунг должен быть таков: освободиться поскорее от гегемонии Батума, чтобы соленый морской ветер освежил наш трудовой дом через окна здоровых гаваней — Одессы, Новороссийска, Севастополя и Петербурга, где в добрый час выставляется первая рама.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В августе девятнадцатого года ветхая баржа, которая раньше плавала только по Азову, тащила нас из Феодосии в Батум. Хитрый полковник дал нам визы и отпустил к веселым грузинам, твердо рассчитывая получить нас обратно, ибо, как потом оказалось, были сделаны самые хозяйственные распоряжения на этот счет. Чистенькая морская контрразведка благословила наш отъезд. Мы сидели на палубе вместе с купцами и подозрительными дагестанцами в бурках, пароход уже огибал феодосийский берег, но забыл свою подорожную и вернулся обратно. Никогда мне не встречалось, чтобы пароход что-нибудь забыл, как рассеянный человек.

Пять суток плыла азовская скорлупа по теплому соленому Понту. Пять суток на карачках ползали мы через палубу за кипятком, пять суток косились на нас свирепые дагестанцы: — Ты зачем едешь? — У меня в Тифлисе родные... — А зачем они в Тифлисе? — У них там дом... — Ну ничего, поезжай... Всяк человек свой дом имеет, — и протягивал стаканчик с каким-то зверобоем, от которого делались судороги и молния раздирала желудок.

Вечером на пятые сутки пришли в Батум и стали на рейде. Город казался расплавленной и раскаленной массой электрического света, словно гигантское казино, горящее электрическими дугами, светящийся улей, где живет чужой и праздный народ. Это после облупленной, полутемной Феодосии, где старая Итальянская улица, некогда утеха южных салопниц, где гостинный двор с колоннадой времен Александра Первого и по но-

чам освещены только аптекари и гробовщики. Утром рассеялось наваждение казино и открылся берег удивительной нежности холмистых очертаний — словно японская прическа — чистенький, волнистый, с прозрачными деталями, карликовыми деревцами, которые купались в прозрачном воздухе и, оживленно жестикулируя, карабкались с перевала на перевал. Вот она — Грузия!.. Сейчас будут пускать на берег...

На берег сойти не мешают, только какие-то студенты, совсем такие, как распорядители благотворительных вечеров — почему-то это всегда были грузины — отобрали на сходнях парохода паспорта: дескать, всегда успеете их получить, а нам так удобнее. Без паспортов в Батуме было ничуть не плохо: зачем паспорта в свободной стране?

Нигде человек не окажется бездомным. Мы опекали в дороге двух почтенных старушек, выгружали их замысловатый многоместный багаж — и вот мы в кругу уютной батумской семьи, душой которой является «дядя». Этот «дядя» живет собственно в Лондоне и едет сейчас в Константинополь. Он такой кругленький и приятный, будто сам биржевой курс принял образ человека и сошел на землю сеять радость и благоволение между людьми. После обеда симпатичное семейство отпустило нас в город. Ничто не сравнится с радостным ощущением, когда после долгого морского пути земля еще плывет под ногами, но все-таки это земля — и смеешься над обманом своих чувств и топчешь ее, торжествуя. Как иностранцы, мы, конечно, попали впросак: спрашивали у прохожих, где кафе Маццони, между тем как там называется так по-гречески простокваша, что и вывешено на каждой кофейне.

Наконец мы нашли свое маццони с зонтиками-грибами над столиками и увенчали день чашкой турецкого

кофе с рюмкой жидкого солнца — горячего мартеля. Здесь приключилась встреча: долговязый А., закованный в чудовищный серебряный браслет. Он спяну полез целоваться, но узнав, что мы едем в Москву, сразу помрачнел и исчез.

На другой день отправились получать паспорта, чтобы все было в порядке. На самой чистенькой улице, где все пахнет порядочностью, где остролистые тропические деревья стесняются, что они растут в кадках, нас принял любезный комиссар и осведомился о наших намерениях. Мне показалось, что мы очаровали друг друга искренностью и доброжелательством. Он вникал во все, беспокоился, не потеряюсь ли я в чужой стране без друзей. Я стараюсь успокоить его и называю Сергея Х. Он очень обрадовался: как же, как же, мы его знаем, мы его неделю назад выслали... Называю еще одно имя, кажется, Рюрика Ивнева — он опять радуется, оказывается, его тоже знают, тоже выслали... Теперь, говорит, вам осталась одна маленькая формальность — получить визу генерал-губернатора. Это совсем близко, вам покажут дорогу...

Пошли к губернатору, а у проводника карман оттопырен. Кто-то из нас сразу попытался оценить эту подробность. Этот карман означал как бы инкубационный период лишения свободы. Но мы шли на встречу с чистым и невинным сердцем. К генерал-губернатору нас провели без очереди. Это был дурной знак. Сам он был похож на итальянского генерала — высокий, сухопарый, в мундире со стоячим воротником, расшитом какими-то галунами. Вокруг него тотчас забегали, закудахтали, залопотали люди неприятной наружности. И в этом птичьем клетоте повторялось одно понятное слово, сопровождаемое энергичным жестом и выпученными глазами: большевик... большевик...

Генерал объявил: — Вам придется ехать обратно . . . — Почему? — У нас хлеба мало . . . — Но мы здесь не останемся — мы едем в Москву. — Нет, нельзя. У нас такой порядок: раз вы приехали из Крыма, значит, поезжайте в Крым . . .

Дальнейшие разговоры были бесполезны. Аудиенция кончилась. Решение относилось к целой группе лиц, не знавших друг друга. Видимо, не доверяли, что мы сами поедem в Крым, и мы перешли на явно полицейское попечение. Полицейские же считали нас группой заговорщиков и, когда один убежал, с ножом к горлу приставали, куда скрылся наш товарищ.

В самой гуще батумского порта, около таможи, там, где грязные турецкие кофейни выбросили на улицу табуретки с кальяном и дымящимися чашечками, там, где контора Ллойд-Триестино, там где качаются флаги и горят маки турецких флагов, где муши с лицами евангельских разбойников тащут на спине чудовищные тюки с товарами и мучные мешки, где молодые коммерсанты нюхают воздух, там возвышается ящик портового участка — бывшее торговое помещение внутри пассажа с одной только единственной камерой для всех высылаемых — «откуда и куда приехал» . . .

О, тюрьмы, тюрьмы! Узилища с дубовыми дверями, громыхающими замками, где узник кормит и дрессирует паука и карабкается на амбразуру окна, чтобы выпить воздуха и света в маленьком крепком окошке, романтические тюрьмы Сильвио Пеллико, любезные хрестоматиям, с переодеваниями, кинжалом в хлебе, дочерью тюремщика, милые упадочно-феодальные тюрьмы Виллона, моего друга и любимца, — тюрьмы, тюрьмы, все вы нахлынули на меня, когда захлопнулась гремучая дверь и я увидел следующую картину: в пустой, грязной камере по каменному полу ползал моло-

дой турок и сосредоточенно чистил все щели и углы зубной щеткой. Ему очень не понравилось, что мы пришли и помешали ему. Он пробовал нас выгнать, но это было совершенно невозможно . . .

Здесь мы должны были ждать прихода парохода, который доставит нас в Крым. Из окна были видны нежные японские холмы, целый лес моторных и парусных лодок . . .

С вооруженным спутником я пошел в русскую газету, но она, как на грех, оказалась врангелевской, и там сказали: «Если вы ничего дурного не сделали, почему бы вам не поехать в Крым?»

После долгих мытарств мы нашли другую, более подходящую газету. Редактор, увидев меня, всплеснул руками и позвонил какому-то Венъямину Соломоновичу. Этот Венъямин Соломонович и оказался настоящим гражданским губернатором Чиквишвили, я же попал в лапы к его военному заместителю Мдивани. Чиквишвили, человек с иконописным, интеллигентным лицом и патриархальной длинной козлиной бородой, усадил меня в кресло, прогнал часового лаконическим — пошел вон! — и тотчас, протягивая мне какую-то тетрадку, заговорил:

— Ради Бога, что вы думаете об этом произведении? Этот человек нас буквально компрометирует . . . Тетрадка оказалась альбомом стихотворений Мазуркевича, посвященных грузинским правителям. Каждое начиналось приблизительно так: «О ты, великий Чиквишвили . . . О ты, Жордания, надежда всего мира» . . .

— Скажите, — продолжал Чиквишвили, — неужели он считается у вас хорошим поэтом? . . . Ведь он получил Суриковскую премию . . .

1923.

**СТАТЪИ О ЛИТЕРАТУРЕ
И ИСКУСТВЕ**

О СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

(К выходу «Альманаха Муз»)

Вышел альманах с произведениями двадцати пяти современных поэтов. По этому случаю можно бы сказать, как полагается, о высоком техническом уровне современной поэзии, упомянуть о том, что все теперь умеют писать стихи, и пожалеть, как у нынешних искусственно и мертво выходит. Однако я ничего подобного не скажу: почему это критики очень любят предаваться грустным размышлениям — где только увидят кучу стихов. Очень немного им нужно, чтобы показалось «высоким уровнем», а упреком в искусственности они избавляют себя от труда, часто непосильного, разбираться в сложностях искусства. Чтобы раз навсегда прекратить эти лицемерные жалобы равнодушных и посторонних людей на мнимое оскудение поэзии, будто бы застывшей в «александрийском совершенстве», полезно разъяснить, что такое «прогресс» в поэзии. Никакого «высокого уровня» у современников в сравнении с прошлым нет. Большинство стихов и теперь просто плохи, как было плохо всегда большинство стихов. Плохие стихи имеют свою преемственность и, если хотите, они совершенствуются, поспешая за хорошими,

своеобразно перерабатывая и искажая их: Теперь пишут плохо по-новому — вот и вся разница! Да и какой вообще может быть прогресс в поэзии в смысле *улучшения*. Разве Пушкин *усовершенствовал* Державина, то есть в некотором роде отменил его? Державинской или ломоносовской оды теперь никто не напишет, несмотря на все наши «завоевания». Оглядываясь назад, можно представить путь поэзии, как непрерывную невознаграждаемую утрату. Столько же новшеств, сколько потерянных секретов: пропорции непревзойденного Страдивариуса и рецепт для краски старинных художников лишают всякого смысла разговоры о прогрессе в искусстве.

«Альманах Муз» составлен крайне разнообразно — в нем представлены многочисленные разновидности плохих и хороших стихов: ни о каком среднем уровне и говорить не приходится, так как некоторым участникам сборника, как до звезды небесной далеко до других. Из поэтов старшего поколения представлены В. Брюсов и Вячеслав Иванов, стихи коих уже могли бы возбуждать благородную печаль о том, что теперь так не пишут. В стихах В. Иванова какая-то пресыщенность — все заранее известно. Поэт до такой степени у себя дома в собственных образах, что ленится творить и произносит совсем не магическое заклинание:

Но грустны как забытые сны

Мне явленья весны . . .

(достиг очевидно того величия, когда ему позволено и сонному прикасаться к кифаре, чуть-чуть касаясь ее перстами).

Валерий Брюсов обладает свойством быть энергичным и наиболее в системе своих стихов. Два стихотворения Брюсова в «Альманахе Муз» принадлежат к самой неприятной его манере и воскрешают весьма сует-

ное литературное направление, на счастье отошедшее вместе с определенной эпохой. Нескромное прославление стихосложения врывается в довольно бледный пейзаж; поэт чувствует себя магом, слагающим строфы:

В строфы навек вплетено . . .

в другом: «спешит пред вещим мечом» . . .

«Вещим мечом» теперь никого не удивим. Мишурная мантия ложного символизма совершенно вылиняла, потеряла всякий вид и по справедливости вызывает веселую улыбку поэтической молодежи (находится сейчас в почетном архиве вместе с «Ваалом» Надсона).

Пленителен классицизм Кузмина. Сладостно читать живущего среди нас классического поэта, почувствовать гетевское слияние «формы» и «содержания», убеждаться, что душа наша не субстанция, сделанная из метафизической ваты, а легкая, нежная Психея. Стихи Кузмина не только запоминаются отлично, но как бы припоминаются (впечатление припоминания при первом же чтении), выплывают из забвения (классицизм):

Наверно, так же холодны

В раю друг к другу серафимы . . .

Однако кларизм Кузмина имеет свою опасную сторону. Кажется, что такой хорошей погоды, какая случается особенно в его последних стихах, и вообще не бывает.

Сочетание тончайшего психологизма (школа Анненского) с песенным ладом поражает в стихах Ахматовой наш слух, привыкший с понятием песни связывать некоторую душевную элементарность, если не бедность. Психологический узор в ахматовской песне так же естествен, как прожилки кленового листа:

И в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней.

... В последних стихах Ахматовой произошел перелом к гиератической важности, религиозной простоте и торжественности: я бы сказал — после женщины настал черед *жены*. Помните: «смирренная, одетая убого, но видом величавая жена». Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России.

1916.

ПИСЬМО О РУССКОЙ ПОЭЗИИ

В блестящее время парижских, брюссельских, нижегородских и прочих всемирных выставок существовал обычай возводить архитектурные постройки в стиле чего угодно, но обязательно грандиозно.

Сооружения эти, олицетворявшие художества; кустарную промышленность, сельское хозяйство и прочее, недолго держались в своем эфемерном величии: выставка кончалась, и деревянные планки свозили на телегах.

Грандиозные создания русского символизма напоминают мне эти выставочные сооружения. Иногда мне кажется, что Бальмонт, Брюсов, Андрей Белый специально построены для каких-то всемирных выставок, и вот-вот приедут их разбирать. По существу они уже разобраны. От Бальмонта с его горящими зданиями и мировыми поэмами, сверхчеловеческими дерзновениями и демонической самовлюбленностью осталось несколько скромных, хороших стихотворений. Брюсов еще стоит — он пережил «выставку», но все знают, что это такое. От космической поэзии Вячеслава Иванова, где даже минерал произносит несколько слов, осталась маленькая византийская часовенка, где собрано оскудевшее великолепие многих сгоревших храмов. И на-

конец, Белый . . . Здесь мне придется отказаться от моей архитектурной параллели: Белый неожиданно оказался дамой, просияв нестерпимым блеском мирового шарлатанства — теософией.

— Куда вам, нынешним, до стариков! — вздыхают любители большого стиля, воспитанные на выставочных павильонах. — То-то были поэты: какие темы, какой размах, какая эрудиция! . .

Любителям русского символизма невдомек, что это — огромный махровый гриб на болоте девяностых годов, нарядный, множеством риз облаченный.

В конце прошлого века русская поэзия вышла из круга домашних напевов Фета и Голенищева-Кутузова, приобщилась к широкому кругу интересов европейской мысли и потребовала себе мирового значения. Все было внове для молодых сотрудников «Весов» — Брюсова, Эллиса, Зинаиды Гиппиус. До сих пор еще, перелистывая старые «Весы», захватывает дух от радостного удивления и волнующей лихорадки открытий, которой была одержима эпоха. Вселенская мысль, никогда не умиравшая даже в русской помещичье-дворянской поэзии, но после Пушкина ставшая подспудной в глухих созданиях Тютчева и Владимира Соловьева, шумным полководцем смысла домашнюю рухлядь русской поэтической мысли, снова открыла запад — новый, соблазнительный, воспринятый весь сразу, как единая религия, будучи на самом деле весь из кусочков вражды и противоречий. Русский символизм ничтожен, как запоздалый вид наивного западничества, перенесенного в область художественных воззрений и поэтических приемов. Вместо спокойного обладания сокровищами западной мысли:

Мы помним все — парижских улиц ад
И венецьянские прохлады,

Лимонных роц далекий аромат
И Кельна дымные громады . . .

— юношеское увлечение, влюбленность, а главное — неизбежный спутник влюбленности — перерождение чувства личности, гипертрофия творческого «я», которое смешало свои границы с границами вновь открытого увлекательного мира, потеряло твердые очертания и уже не ощущает ни одной клетки, как своей, пораженное болезненной водянкой мировых тем. При таком положении нарушался самый интересный в поэзии процесс — рост поэтической личности: сразу взяли самую высокую напряженную ноту, оглушили сами себя и не использовали голоса, как органическую способность развития.

.

Самое удобное измерять нашу поэзию градусами поэзии Блока. Это живая ртуть — у него и тепло и холодно, а там всегда жарко. Блок развивался нормально: из мальчика, начитавшегося Соловьевым и Фетом, он стал русским романтиком, умудренным германскими и английскими братьями, и, наконец, русским поэтом, который осуществил заветную мечту Пушкина — в просвещении стать с веком наравне.

Блоком мы измеряем прошлое, как землемер разграфляет тонкой сеткой на участки необозримые поля. Через Блока мы видим и Пушкина, и Гете, и Баратынского, и Новалиса, но в новом порядке, ибо все они предстали нам, как притоки несущейся вдаль русской поэзии, единой и не оскудевающей в вечном движении.

Всегда будет любопытно и загадочно, откуда пришел поэт Блок . . . Он пришел из дебрей германской натурфилософии, из студенческой комнатки Аполлона Григорьева и — странно! — он чем-то возвращает нас

в семидесятые годы Некрасова, когда в трактирах ужинали юбиляры, а на театре пел Гарсиа.

Кузмин пришел от волжских берегов с раскольничьи песнями, итальянской комедией родного домашнего Рима и всей старой европейской культурой, поскольку она стала музыкой — от концерта в палатце Питти Джорджоне до последних поэм Дебюсси.

Клюев пришел от величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоятся в эллинской важности и простоте. Клюев народен, потому что в нем уживается ямбический дух Баратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя.

Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и богатство русского романа 19-го века. Не было бы Ахматовой, не будь Толстого с «Анной Карениной», Тургенева с «Дворянским гнездом», всего Достоевского и отчасти даже Лескова. Генезис Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не в поэзии. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу.

Вся эта форма — вышедшая из асимметрического параллелизма народной песни, а жало узкой осы приспособлено для переноса психологической пыльцы с одного цветка на другой.

Итак, ни одного поэта без роду и племени: все пришли издалека и идут далеко.

Во время расцвета мишурного русского символизма и даже до его начала Иннокентий Анненский уже являл пример того, чем должен быть органический поэт: весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя статья. Анненский никогда не сливался с богатырями на глиняных ногах русского символизма — он с достоинством нес свой жребий отказа, отречения. Дух отказа, питающий поэзию Анненского, питается сознанием не-

возможности трагедии в современном русском искусстве благодаря отсутствию синтетического народного сознания — непрекаемого и абсолютного — необходимой предпосылки трагедии; и поэт, рожденный быть русским Еврипидом, вместо того, чтобы спустить на воду корабль всенародной трагедии, бросает в водопад куклу, потому что: «сердцу обида куклы обиды своей жалчей».

1922.

КОЕ-ЧТО О ГРУЗИНСКОМ ИСКУССТВЕ

В русской поэзии есть грузинская традиция. Когда наши поэты прошлого столетия касаются Грузии, голос их приобретает особенную женскую мягкость и самый стих как бы погружается в мягкую влажную атмосферу:

На холмы Грузии легла ночная мгла . . .

Может быть во всей грузинской поэзии нет двух таких стихов по грузински пьяных и пряных, как два стиха Лермонтова:

Пену сладких вин
Сонный льет грузин . . .

Я бы сказал, что в русской поэзии есть свой грузинский миф, впервые провозглашенный Пушкиным:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной —

и разработанный Лермонтовым в целую мифологию: мифом о Тамаре в центре.

Любопытно, что этим мифом, обетованной страной для русской поэзии стала не Армения, а Грузия. Грузия обольстила русских поэтов своеобразной эротикой, любовью, присущей грузинскому национальному характеру, и легким, целомудренным духом опьянения, какой-то меланхолической и пиршественной пьяностью, в которую погружена душа этого народа. Грузинский эрос — вот, что притягивало русских поэтов. Чужая любовь всегда была нам дороже и ближе своей, а Грузия умела любить. Ее старое искусство, мастерст-

во ее зодчих, живописцев, поэтов проникнуто утонченной любовью и героической нежностью.

Да, культура опьяняет. Грузины сохраняют вино в узких, длинных кувшинах и зарывают их в землю. В этом прообраз грузинской культуры — земля сохранила узкие, но благородные формы художественной традиции, запечатала полный брожения и аромата сосуд.

То, что нельзя вывести из рассудочных данных культуры, из учета ее накопленных богатств, есть именно дух пьянства, продукт таинственного внутреннего брожения: узкая, длинная амфора с вином, зарытая в землю.

Никогда русская культура не навязывала Грузии своих ценностей. Русификация края никогда не шла дальше форм административной жизни. Русские администраторы с Воронцовым-Дашковым во главе, уродуя экономическую жизнь края и подавляя общественность, не сумели затронуть быта и относились к нему с невольным уважением. О культурной русификации Грузии не было и речи. Поэтому национальное и политическое самоопределение Грузии, резко распадающееся на два периода — до и после советизации, для грузинской культуры и искусства должно быть экзаменом верности самой себе, и культурная Россия, целое столетие любовно следившая за Грузией, сейчас с тревогой глядит на страну, готовую изменить своему культурному призванию. Сущность грузинской культуры всегда была в обращенности к востоку, причем Грузия никогда не сливалась с востоком, была отделена от него. Я бы причислил Грузию к числу культур орнаментальных: окаймляя огромную и законченную область чужого, они впитывают главным образом его узор, в то же время ожесточенно сопротивляясь внутренне враждебной сути могущественных соседних областей.

..Сейчас в Грузии стоном стоит клич: «Прочь от востока — на запад! Мы не азиаты — мы европейцы, парижане!» . . . Как велика наивность грузинской художественной интеллигенции! Тенденция — прочь от востока! — всегда существовала в грузинском искусстве, но разрешалась не грубым лозунгом, а высоко художественными формами и средствами.

Войдите в национальный музей грузинской живописи в Тифлисе. Перед вами предстанет длинная вереница строгих портретов, преимущественно женских, по своей технике и глубокому статическому покою напоминающих немецкую живопись. В то же время плоскостные формы и линейная композиция (ритм линий) дышат приемами персидской миниатюры. Часто встречается золотой фон и богатый золотой орнамент. Эти работы безымянных живописцев — настоящая победа грузинского искусства над востоком — и как ничтожны перед ними танцующие осколки скрипки, некогда разбитые Пикассо, пленившие новую французскую живопись . . . С этой скрипкой произошло то же самое, что с мощенническими реликвиями монахов — скрипка была одна, ее разбили один раз, но нет такого города, где бы не показывали щепочки — вот кусочек от Пикассо!

Жизнь языка открыта всем — каждый говорит и участвует в движении языка и каждое сказанное слово оставляет на нем живую борозду. Чудесный случай наблюдать развитие языка живописного доставляют нам вывески, в частности тифлиссские, на наших глазах вырастающие в мощное искусство Пиросманишвили.

Нико Пиросманишвили был простой и неграмотный живописец вывесок. Он писал на клеенке в три цвета — охрой, зеленой землей и черной костью. Его заказчики, тифлиссские духанчики, требовали интересного

сюжета, и он шел им навстречу. На одной из его картин я прочел собственноручную подпись: «Шамиль со свою караулом» (сохраняю орфографию). Нельзя не преклониться перед величием его «безграмотных» (не анатомических) львов, великолепных верблюдов с несообразными человеческими фигурами рядом и палатками, победившими плоскость силой одного цвета. Если бы французы знали Пиросманишвили, они бы ездили в Грузию учиться живописи. Впрочем, они его скоро узнают, так как по недосмотру вещи его почти все вывезены за границу.

Другое явление современного грузинского искусства, представляющее европейскую ценность, это поэт Важа Пшавела. Он переиздается Наркомпросом, и в молодой Грузии образуется нечто вроде культа Важа Пшавела. Но — Боже мой! — до чего ограничено его непосредственное влияние на молодую грузинскую поэзию! . . . Это был настоящий ураган слова, пронесшийся по Грузии, с корнем вырывавший деревья:

Твои встречи — люди мирные,
Непохожие на война —
Темнокудрый враг железо ест
И деревья выкорчевывает . . .

Образность его, почти средневековая в своем эпическом величии, стихийна. В нем клокочет вещественность, осязаемость, бытийственность. Все, что он говорит, невольно становится образом, но ему мало слова — он его как бы рвет зубами на части, широко пользуясь и без того страстным темпераментом грузинской поэтики.

Вино старится — и в этом его будущее, культура бродит — в этом ее молодость. Берегите же свое искусство — зарытый в землю узкий глиняный кувшин.

1922.

РЕВОЛЮЦИОНЕР В ТЕАТРЕ

1

Пьеса Эрнста Толлера „Masse-Mensch“ — «Человек-масса», еще не видевшая рамп в России, несомненно, пьеса с будущим, независимо от своих художественных и театральных достоинств. Она принадлежит к типу драматических произведений, вроде «Жизни человека» Леонида Андреева, сильных и элементарных, понятных всем и каждому благодаря ясной схематичности действия и грубой, но яркой символической сценической воплощения.

Эрнст Толлер, мужественный германский революционер-спартаковец, один из зачинателей кружка молодой немецкой драматургии, так называемой группы «Драматической Воли». Но в ближайшем рассмотрении, поскольку можно, по крайней мере, судить по произведениям самого Толлера, драматическая воля его единомышленников собственно лежит вне театра — это не театральная воля. Могучий и благородный социальный инстинкт — мужественная революционная воля германского пролетариата, одушевляющая Толлера, переплескивается через театр, смывая его, как таковой, ничего не созидая для театра, действуя через него, поль-

зуюсь им, как средством. Поэтому Эрнста Толлера, несмотря на его пафос, энергию и напряженность, никак нельзя назвать революционером в драматургии — это революционер в театре, наскоро приспособивший театр для своих боевых целей, пользуясь старыми средствами, в данном случае, средствами германского модерн-символизма. Нам, русским, их приемы чрезвычайно напоминают Леонида Андреева, «его школу» и печальной памяти недавнее прошлое (не дай Бог воскреснуть) — когда Он, Она, Оно и прочие значительные персонажи наводили панику на впечатлительного российского интеллигента. Но какая разница, выгодная для Толлера, при сравнении его опытов с родственными отечественными дореволюционными произведениями. Вместо бледной интеллигентской немочи живая кровь, настоящий пафос, железная революционная воля:

Мы, замурованные в глухие ящики небоскребов,
Обреченные в жертву механизму злорадной
системы,

Мы, навеки разлученные с матерями,
Из фабричных глубин подаем мы голос.
Когда мы любовью жизнь измерим,
Когда мы насытим первичную жажду воли,
Когда мы избавимся от ига!

Есть что-то прометеевское и исконно-германское в массовых хорах Толлера, он сумел из варьяций Интернационала сделать настоящий гимн:

Вставайте из всемирной дремы,
Рабы, поденщики труда,
Грядущих прав грохочут громы,
День настает, горит звезда.

Великолепен пафос Толлера: это пафос высокой трагедии.

А фабрики принадлежат рабочим,
Не капиталу в лайковых перчатках,
Прошли года, когда с горбатых наших спин
Он озарял заморские богатства,
И чужанина порабощая, ткал паутину войн.

Тем досаднее, что Толлер, как драматург, всецело в плену у символики мюнхенского модерна и весь его трагический пафос беспомощно виснет на символических манекенах.

2

В основу драматической интриги „Masse-Mensch'a" взято совершенно реальное и правдоподобное положение: дама из хорошей буржуазной семьи, жена бюрократа, прокурора или видного адвоката, ушла в рабочее движение и готовится взять на свои плечи всю ответственность за беспощадные действия масс, как руководительница и вдохновительница. Но в последнюю минуту решимость ее покидает, гуманистические предрассудки (все, что угодно, только не насилие) берут верх, и она сходит на нет. Ее никто не хочет слушать, настоящий беспощадный вождь отводит ее в сторону, она не годится в вожди; эта дама, очевидно, дилетантка в рабочем движении, названа у Толлера просто женщиной, с большой буквы, без одного реального признака, кроме мужа. Последний, несмотря на большую букву, почти реальная, даже комически-бытовая фигура, и говорит жаргоном, соответствующим своему образованию и положению, тем нарушая общую патетику действия. Протагонист драмы, так называемый Безымянный, он же „Masse-Mensch" или массовик.

Это уж совершенно отвлеченная фигура, без малейших признаков личной характеристики. Пафос на манекене. Нам скажут, нелепо требовать личной характеристики от представителя коллективной воли, коллективного действия, и Толлер нарочно срезал все углы у Безымянного. Я на это отвечу: массовик тоже человек, и каждый массовик — массовик по-своему. Драматическое воплощение массовика, так же как и воплощение индивидуалиста Фауста, требует драматической характеристики. Иначе получится общее место, движущееся в пространстве, а не драматическая сила. Вся пьеса протекает и сплошь состоит из полемики Женщины и Безымянного. Это сплошной митинг. Митинг перемежается бредовыми сценами — сцена банкиров, где в кинематографическом темпе показана биржа; сцена тюремного двора, фантазия из недалекого будущего, где уже тени расстрелянных танцуют символический танец. В них мы узнаем знакомых банкиров. Разумеется, наивно массовое действие толковать, как митинг. Именно митинг есть действие, и не митинговый характер социальной революции, воспитанной массовыми причинами, назревшей в массах, но происходящей в деловом порядке, делает исторически неправдоподобными и неубедительными самые сильные сцены Толлера. Важные события, управляющие ходом революции, никогда не рождаются на митинге. Можно взять трех человек у себя дома, соединить их телефоном и показать массовое действие. Благодаря же наивному смешению массового действия с митингом почти все европейские революционные пьесы внешне на один лад. Даже сценарий — на тот же рабочий кабачок, зал собраний или что-нибудь подобное. Но смешение массового действия с митингом и банкиры-тени, пляшущие символический леонид-андреевский танец смерти под дудку Безымян-

ного, все, все прощается Толлеру за великий пафос подлинной, хотя и не воплощенной, трагедии. Он с необычайной силой столкнул два начала: лучшее, что есть у старого мира — гуманизм и, преодолевши гуманизм ради действия, новый коллективистический императив. Недаром слово *действие*, Tat, звучит у него, как орган и покрывает весь шум голосов. В уста героини, погибающей от раздвоенности, он вложил самые сильные, самые огненные слова, какие мог произнести старый мир в защиту гуманизма. Трагедия женщины — трагедия самого Толлера. Он переборол и переболел в себе гуманизм во имя действия — вот почему так ценен его коллективистический порыв. Пьеса Эрнста Толлера „Masse-Mensch“ один из самых благородных памятников германского революционного духа.

1922.

ОГЮСТ БАРБЬЕ

Июльская революция 1830 года была классически неудачная революция. Казалось, никогда еще так цинично не злоупотребляли именем народа. По существу это был мостик между двумя монархиями: Бурбонской — Карла X, и орлеанистской — Луи-Филиппа. Это был мостик от полуфеодальной реставрации, опиравшейся на уцелевших львов бывшей эмиграции, на крупное землевладенье, набожной, ханжеской, бездарной в экономических вопросах, не понимавшей ни духа, ни потребностей времени, — к настоящей буржуазной монархии Луи-Филиппа, к королю финансистов и биржевиков, покровителю заводчиков, перед которым охотно склонилась буржуазия, увидав почти самое себя на троне. Волна европейских революций 1830—1848 гг. совпала с открытием эры железных дорог, с реальным выступлением парового двигателя. Городской пролетариат всюду содрогнулся, как бы почувствовав в своей груди новую неслышанную силу клокочущего пара. Но это был лишь толчок. Движение было впереди.

Между тем картинная, театральная сторона парижской революции 1830 г. была великолепна и не стояла ни в каком соответствии с ее реальными достижениями.

Париж снова как бы копировал гениальную постановку 93 года. Три дня — 27, 28 и 29 июля глубоко впечатлили парижан. Особенно врезался в память мощный набат, потрясавший в эти дни воздух, так как Собор Парижской Богоматери был захвачен мятежниками. Казалось, по городу пронесся ураган: срубленные деревья, выкорчеванные фонари, опрокинутые пролетки, баррикады, вылепленные старинным искусством революционного улья из разной всячины, как кузов птичьего гнезда, — вот, что оставила после себя трехдневная июльская буря.

Эти три дня заслужили и получили своего поэта. Огюст Барбье не был революционером. Сын адвоката (родился в 1805 г.), к моменту революции он служил клерком у нотариуса де-Лавиня (брата знаменитого романтического писателя). В этой нотариальной конторе скопилась целая группа молодых писателей романтического толка, горячих театралов, восхищенных Гюго, поклонников живописной средневековой старины. Барбье разделял их вкусы и, если бы не 1830 год, он навсегда бы остался бледным и банальным романтиком.

Интересно, что в июльские дни Барбье отсутствовал в Париже. Он был в отъезде, а вернулся, когда на улицах оставались горячие следы борьбы и происходила уже дележка власти. Барбье не был очевидцем «трех дней». Его поэзия родилась из ощущения контраста между величием пронесшегося урагана и убожеством достигнутых результатов. За несколько дней до появления в «Парижском Обозрении» знаменитой «Собачьей склоки» Барбье журналист Жирарден писал: «Две недели назад были днями народного мятежа, минутами храбрости и энтузиазма. Теперь возмущение совсем другого рода — восстание всех, добивающихся места. Они бегут в передние с такой же пылкостью, с

какой народ бросался в битву. С семи часов утра батальоны одетых во фраки кидаются во все стороны столицы. С каждой улицей толпа их увеличивается: пешком, на извозчиках, в кабриолетах, потные, задыхающиеся, с кокардою на шляпах и трехцветными лентами в петлицах, — вы видите всю эту толпу, которая надвигается на дворцы министерств, врывается в передние, осаждают дверь кабинета и т. д.» ...

Литературные враги Барбье после напечатания «Собачьей склоки» обвиняли его в заимствовании, чуть ли не в пересказе этой газетной статьи. Но нам кажется, что умение использовать злобу газетного дня для своего вдохновения ничуть не умаляет, а лишь увеличивает заслугу поэта.

«Собачья склока» была напечатана в «Журналь де Деба». Еще не высохла типографская краска, как имя поэта было у всех на устах. Слава пришла одним ударом, одним стихотворением, потом она надолго померкла. Какими способами, какими средствами художественной выразительности достиг Барбье ошеломляющего впечатления на современников?

Во-первых, он взял мужественный стих ямбов, как это раньше сделал Шенье, стих, стесненный размером, с энергичными ударениями, приспособленный для могучей ораторской речи, для выражения гражданской ненависти и страсти.

Во-вторых, он не стеснял себя приличиями литературного языка и умел сказать грубое, хлесткое и циничное слово, что было вполне в духе французского романтизма, боровшегося за свежий и обновленный поэтический словарь.

В-третьих, Барбье оказался мастером больших поэтических сравнений, как бы предназначенных для ораторской трибуны: силе поэтических образов Барбье

учился непосредственно у Данта, ревностным почитателем которого он был, а не следует забывать, что «Божественная Комедия» была для своего времени величайшим политическим памфлетом.

Ямбы Барбье, рожденные вспышкой тридцатого года, следовали пачкой один за другим: «Собачья склочка», «Лев»: — «Я был свидетелем трехдневного смятения — три дня метался лев народного терпенья по звучным мостовым прабабки городов», «Девяносто третий год», «Мятеж» и особенно два последние, направленные против культа Наполеона: «Популярность» и «Истукан». В ненависти своей к Наполеону Барбье одинок во всей романтической школе. Для Наполеона приберегает он самые сокрушительные дантовские образы. Для него Наполеон еще жив. Яд наполеоновского культа, разлагающий демократию того времени, яд, приготовленный в лабораториях лучших поэтов и художников, он рассматривает как опаснейший токсин.

После этой пачки ямбов, дыхание большого стиля отлетело от Барбье. Он жил еще долго — до 1882 года, путешествовал в Италии и в Англии, воспевал лазурные гроты и античные кладбища и оставил ряд сентиментальных поэм в духе справедливости и человечности.

В Россию, несмотря на запрещение николаевской цензуры, Барбье проник очень рано. Лермонтов зачитывался им на гауптвахте и испытал сильное его влияние. В кружке петрашевцев Барбье знали и переводили; поколение шестидесятников, не будучи в силах оценить поэтическую силу Барбье, восхищалось им как сатириком. Характерно, что редактор «Вестника Европы» Стасюлевич, покоробленный подлинным выражением Барбье «святая сволочь», попросил своего

переводчика смягчить его или заменить другим. Некрасов переложил стихотворение Барбье «Пророк» — «Не говори, забыл он осторожность». Нынешняя революционная поэзия, идущая совсем другими путями, не испытала классического влияния Барбье. Отзвуки его голоса мы слышим у Лермонтова и даже у Тютчева, когда он говорит о Наполеоне. Но в поэзии Барбье нас пленяет даже не страсть, а одна — почти пушкинская черта: умение одной строкой, одним метким выражением определить всю сущность крупного исторического явления.

1923.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Детская литература — вещь трудная. С одной стороны, нельзя допускать очеловечения зверей и предметов, с другой — надо же ребенку поиграть, а он, бестия, только начнет играть, сразу ляпнет и что-нибудь очеловечит. За детской литературой нужен глаз да глаз. Здесь нужна научная постановка дела и хорошо подготовленные, опытные пожилые женщины. Одна знакомая научно-подготовленная старушка до такой степени овладела идеологией, что ее буквально рвут на части. Теперь она консультант и всюду заседает, утвержденная ГУС'ом. Выдвинулась она не сразу, хотя данные у нее были выигрышные: во-первых, она сама когда-то была ребенком, во-вторых, отличалась незаурядной для своих лет живостью ума. Старушка эта была с виду обыкновенная, довольно аккуратная, содержала себя самостоятельно и с шестидесяти лет жила литературным трудом.

Но и она не сразу попала в точку и долго бродила вокруг да около. Сначала она думала, что можно жарить по старине, и принесла в журнал совершенно негодную и вредную сказку. Буквально все насекомые и звери в этой сказочке что-нибудь говорили, кузнечики во фраках служали какому-то принцу, заяц бил в ба-

рабан. Прочитавшему эту сказочку становилось мутно, словно его опоили ромашкой. Сказать по правде, это было черт знает что.

Старушку выручил заяц. Этому зайцу она должна бы памятник поставить.

— Заяц у вас еще туда-сюда, — сказал переутомленный секретарь. — Все-таки барабан — трудовой процесс...

Старушка вернулась домой и быстро себя перевоспитала. Следующий раз она принесла такую сказку, в которой овцы и бараны стеснялись произносить «бэ» и «мэ».

По ходу сказки овца молча отращивала шерсть для полезного употребления. Ввиду такого оборота, к старушке вышел сам редактор и выразился неопределенно:

— В производственном плане, но скучновато...

В ту ночь старушке приснился сон. Она видела зайца-барабанщика, который стриг овцу, собирая шерсть на барабан, а потом отнес ее в какую-то коллегию, где долго говорили, нюхали шерсть и разошлись поздно вечером...

ВЕЕР ГЕРЦОГИНИ

Марсель Пруст рассказывает, как одна герцогиня слушала музыку. Герцогиня была очень гордая, какой-то невероятно голубой крови — бурбонская, брабантская или еще того выше. Как-то случайно она забрела на раут к бедной родственнице, захудалой виконтессе с каким-то изъяном в гербе. Концерт, однако, был хорош. Дамы слушали Шопена, покачивая в такт прическами и веерами. Перед герцогиней встала проблема: отбивать ли ей веером такт, как это делали соседки, или нет. Не слишком ли жирно будет для музыканта такое необузданное одобрение с ее стороны? И вот голубая особа вышла из затруднения: она привела в движение свою черепаховую штучку, но не в такт исполняемой музыки, а в разнбой — для независимости.

Наша критика — увы! — напоминает в некоторых отношениях эту герцогиню: она высокомерна, снисходительна, покровительственна. Критик, разумеется, не школьный учитель. Не его дело ставить отметки, раздавать знаки отличия, премировать, заносить на черную доску. Настоящий критик прежде всего осведомитель, информатор общественного мнения. Он обязан описать книгу, как ботаник описывает новый растительный вид, классифицировать ее, указать ее место в ряду других книг. При этом неизбежно возникает вопрос о масштабе книги, о значительности явления,

о духовной силе автора, обо всем, что дает ему право разговаривать с читателем. Я не вижу существенной разницы между большим критическим очерком, развернутым в статью, и малой формой критики — рецензией. Но убожество приемов нагляднее в малой форме — рецензии.

Беру пример наудачу: ленинградская «Красная Вечерняя Газета» от 12 января. Рецензия о романе Алексея Липецкого «Наперекор».

Героиня романа — молодая крестьянская девушка Маша, воспитанная и окруженная условиями кулацкого быта, не выдерживает деспотизма отца и встает «наперекор» своей судьбе. Она уходит из дому, работает избачкой и затем, выйдя замуж за одного из активных партийцев своей деревни, сама становится общественным работником, направившим все свои силы на борьбу с косной деревенской массой. Такова в двух словах фабула романа.

Таковую, с позволения сказать, фабулу можно придумать, садясь в трамвай или зашнуровывая ботинки. Рецензент тем не менее преподносит ее серьезно: ему подвернулась под руку «формочка доброжелательного отзыва». Автор здесь не при чем. Веер герцогини механически пришел в движение.

Мы еще ничего не знаем о том, как пишет Липецкий и ровно ничего не узнаем о пресловутой Маше. Ни один судебный репортер не позволил бы себе столь бессодержательного пересказа всплывших на суде обстоятельств. У нас нет никакой гарантии, что эта самая Маша «под гнетом деспотического отца» не разведется завтра с сознательным избачом, чтобы снова погрузиться в кулацкую среду.

«Роман Липецкого интересен попыткой построения нового литературного героя» . . . — Вот тут-то сейчас и

начнется, — думает наивный читатель. — Я узнаю кое-что о Липецком и о Маше. Ничего, что фабула простенькая. Флобер, Анри де-Ренье и Бунин вышивали и на более примитивной основе. Слово рецензенту... Почему построен новый тип?

Дело оказывается в том, что «генеалогия Маши, как передовой женщины, ищущей и нашедшей себе удовлетворение в общественно-полезной работе, несомненно восходит по литературной линии к активным героиням Тургенева (Елена — 'Накануне', Марианна — 'Новь')».

Позвольте... Читатель хватается рецензента за рукав... Тут неладно. Веер, остановись!.. Либо я сплю, либо он бредит... Ведь это же как раз наоборот... Ведь это называется старый литературный тип... Какая странная обмолвка!

В распоряжении рецензента еще двадцать строк. Еще не поздно выправиться...

«Надо признаться, что, хотя бытовизм в построении романа и отступает на второй фоновый план перед вырисовкой героев, тем не менее, он оказался удачнее, нежели сами герои»...

Хуже всего, что это не простая бессмыслица, а ритуальная. Это какое-то шаманство на диком выпренином жаргоне. «Бытовизм оказался удачнее героев»... Даю перевод этой белиберде: быт изображен лучше, чем характеры. Но ведь это не только бессодержательно, но и бессмысленно, потому что сами характеры бытовые.

Дальше сообщается, что автору особенно не удался художочный партиец, нафаршированный политграмотой, и такая же неживая сельская учительница.

Что же собственно удалось автору? Где книга? О чем писал рецензент? Секрет прост — подвела «формочка». Надо было сказать, что Липецкий написал

очень плохую, никуда не годную книгу (я говорю, конечно, по догадке, на основании робких намеков рецензента, подобно Кювье конструируя ихтиозавра по косточке). Затем, показав на примерах, почему книга Липецкого плоха, надо было указать, что она типическое явление, вызванное ложным спросом на такие книги, сопоставить ее с сестрами по несчастью и тогда уже сделать литературный и общественный вывод, ибо о плохих книгах ни с того, ни с сего не пишут.

Рядом с отзывом на книгу Липецкого в том же номере газеты помещена рецензия на интересную, во многих отношениях замечательную книгу Каверина «Скандалист или вечера на Васильевском Острове». Вот как она начинается: «О символистах написала роман Зинаида Гиппиус — 'Чертова кукла'. О формалистах и прочих написал Венъямин Каверин. Каждая литературная школа оставляет свой помет в пасквильном романе» . . .

С первых же слов книга серьезно работающего прозаика с большой культурой слова, с такими крупными достижениями, как «Конец хазы», безобразно названа «литературным пометом эпохи», тон почему-то взят высокомерный, пренебрежительный, рецензент сразу поджимает губы и сразу, сам того не замечая, делает брезгливое лицо, хотя этот второй рецензент (Н. Берковский) говорит о Каверине очень лестные вещи, главным образом настаивая на том, что книга интересна, но полупрезрительный тон выдержан до конца. Вместо внимательного и увлекательного разбора книги, которая несомненно принадлежит литературе, как по занимательности жанра, так и по мастерству, мы имеем похлопывание по плечу, беспричинное иронизированье. У читателя создается впечатление, что Каверин попал в какую-то скверную историю.

.

Случаи отставания рецензентов и критиков от читателя у нас не редки. Иногда они принимают крайне печальный характер и ведут к большим недоразумениям. Упомяну хотя бы о вопиющей недооценке повести Катаева «Растратчики», вышедшей в 1926 году. Повесть двусмысленна, ее подхватили за рубежом, из нее делают орудие антисоветского пасквиля. Однако в ней есть за что уцепиться. Бояться ее нечего. Как всякая крупная вещь, она допускает разные толкования. Злобно-хвалебным статьям о «Растратчиках» зарубежной прессы мы не можем противопоставить своего толкования, потому что книгу у нас недооценили, она пошла под общую гребенку — «удостоилась» куцых и бессодержательно-высокомерных похлопываний по плечу. Вместо разбора произведения Катаева были в свое время устроены никому не нужные кустарные суды над самими растратчиками — его героями. Проглядели острую книгу.

В заключение приведу уже совсем позорный и комический пример «незамечания» значительной книги. Широчайшие слои сейчас буквально захлебываются книгой молодых авторов Ильфа и Петрова, называемой «Двенадцать стульев». Единственным отзывом на этот брызжущий весельем и молодостью памфлет были несколько слов, сказанных Бухариным на съезде профсоюзов. Бухарину книга Ильфа и Петрова для чего-то понадобилась, а рецензентам пока не нужна. Доберутся, конечно, и до нее и отбреют как следует.

Еще раз напоминаю о веере герцогини. Он движется не в такт, с подозрительной независимостью. Нам не нужно веера герцогини, хотя бы в жилах ее текла трижды выдержанная идеологическая кровь.

[1929].

ЖАК РОДИЛСЯ И УМЕР

Пояснение к предложению прямой речи отделяется знаками — запятой и тире: — Славный сегодня денек, — сказал он, ухмыляясь в бороду... Так водится во всех книгах, хотя никто и никогда так не говорит и не рассказывает. Не знаю почему, в обыкновенных, то есть в оригинальных книгах это почти незаметно, но в переводах жужжит надоедливym веретеном.

И еще не знаю, почему меня преследует в эти дни бессмысленное, монументально-синтаксическое построение, как бы синтез и картонная пирамида этого словесного мира из папье-маше:

— Жак родился и, прожив жизнь, умер...

Кто он — этот Жак? Родился ли он в Шампани, Турени или Эльзасе, пропущен ли он автором желтообложечного романа через мясорубку войны, или же какой-нибудь лихой подголосок Бенуа загнал его в Тунис к арабам, отказал ли он невесте, получил ли он наследство, облагодетельствовал ли рабочих на образцовых каменоломнях?

Не все ли равно!... Переводы — это Экклезиаст, суета сует. Долго, долго будет стоять страшная картонная пирамида:

— Жак родился и, прожив жизнь, умер...

Злая, убийственная двусмысленность есть в самом слове «перевод», подобная той, которая заключена в слово «ухаживать» — «уходили» ...

Перевод иностранных авторов таким, каким он был, захлестнувший и опустошивший целый период в истории русской книги, густой саранчой опустившийся на поля мысли и слова, был, конечно, «переводом», то есть изводом неслыханной массы труда, энергии, времени, упорства и живой человеческой крови. Годунов, когда в Москве был мор, велел строить Сухареву Башню. И безработным XVII века, верно, кстати пришлось государев паек и медная гривна. «Всемирная Литература» — Сухарева Башня голодных интеллигентов девятнадцатого года — не знаю, добром тебя помянуть или предать проклятью. Чуть ли не на веленовой бумаге, с именной грандиозной роскошью отпечатаны были одни имена авторов мирового Пантеона, подлежавших переводу. В закромах «Всемирной Литературы» было скудное зерно: его расклеывали, и до потолка набухали кипы ненапечатанных рукописей.

По линии наименьшего сопротивления — туда, где дают! Застрекотали перья в розовых и подагрических пальцах. Две тысячи новых, более гибких трафаретов прибавилось к приемам Иринарха Введенского. Никто не спрашивал себя, захочется ли ему переводить Стендаля и захочет ли кто-нибудь читать его перевод. Вертелись буддийские мельницы, листы подсчитывала бухгалтерия.

Было время, когда перевод иностранной книги на русский язык являлся событием, честью для чужеземного автора и праздником для читателя. Было время, когда равные переводили равных, состязаясь в блеске языка, когда перевод был прививкой чужого плода и здоровой гимнастикой духовных мышц. Добрый гений

русских переводчиков — Жуковский — и Пушкин принимали переводы всерьез.

Упадок начался приблизительно с шестидесятых годов, когда появилось насквозь фальшивое понятие черной умственной работы, интеллектуальной поденщины, когда началась разъедающая болезнь русской культуры, когда мозг стал цениться дешево. Работа может быть тяжелой, кропотливой, но «черной» она быть не смеет, будь то труд грузчика или переводчика. Когда курсистка ехала в Москву достать работишку или перевод, когда пауки в книжных лавках сообразили, что можно выгодно поторговать дешевым мозгом, и началась фабрикация грязного читива. Стасюлевичи, боявшиеся печатать в своих «Вестниках» Лескова, тупо жалуясь на оскудение литературы, забивали толстые журналы «жаком», и пухлые дамские ручки уродовали для них Эдгара По, чьи рассказы в свое время были переведены с вычеркнутыми ужасами, потому что переводчице показалось слишком страшно.

В одной жанровой книжке семидесятых годов автор, описывая тогдашнюю новость — конку, передает подслушанный разговор: какая-то бедная Настенька, обманутая апраксинцами, на которых она шила рубашки, рассказывает, что пришлось ей зайти в «магазин», где ей «дали» перевод по пяти рублей с листа, да два рубля аванса. Тогда было хоть откровенно, и хотя жалко Настеньку, а «магазин» как магазин.

Высшая награда для переводчика — это усвоение переведенной им книги русской литературой. Много ли мы можем назвать таких примеров после Бальмонта, Брюсова и русских «Эмалей и камней» Теофиля Готье?

Слишком много в переводной литературе последних лет, несмотря на высшую школу, изощренность, точность, академичность, выработанную передовым отря-

дом переводчиков, было насильственно, случайно и, в конечном счете, не нужно. Даже самый тщательный перевод иностранного автора, если он не вызван внутренней необходимостью, не является живой переключкой культуры народов, оставляет вреднейший след в подсознательной мастерской языка, загромождая его пути, развращая его совесть, делая его сговорчивым, уклончивым, примирительно-безличным.

По линии наименьшего сопротивления на лабазные везы магазинов пудами везут дешевый мозг.

В результате сложнейшего и не случайного стечения обстоятельств мы стоим лицом к лицу с горькой и унижительной болезнью: книга у нас перестала быть событием. Да, каждый номер газеты это, по-своему, событие, это биение пульса, это живая кровь, которую мы уважаем, а книга — это полфунта чего-то — не все ли равно — Всеволода Иванова, Пильняка или «Жака». Книга не терпит деморализации, болезни ее прилипчивы. Нельзя выпустить на рынок безнаказанно сотни тысяч неуважаемых, непочтенных или полупочтенных, хотя бы продажных, хотя бы тиражных книг.

Все книги — плохие и хорошие — сестры, и от соседства с «Жаком» страдает его сестра — русская книга. Если частица драгоценного мозга страны сжигается в прожорливых печках переводной кухни, если часть драгоценного золотого запаса сознательно и упорно переплавляется в чужую монету, на это должны быть серьезные причины и оправдания. Причин я вижу сколько угодно, но оправданий нет и не будет.

Через «Жака» просвечивает какая-то мерзкая чичиковская рожа. Кто-то показывает кукиш и гнусной фистулой спрашивает: «Что, брат, скучно жить в России?» ...

[1929]

ЮНОСТЬ ГЕТЕ

[Передача по радио]

I

Право охоты на оленей принадлежало сенату. Раз в год на торжественном публичном обеде сенаторам подавали жареного оленя. Но всех оленей в окрестности перестреляли дворяне, нарушая охотничье право сената. Пришлось развести стадо оленей. Олений выгон был в черте города. Каждый день сенаторам подавали жареного оленя. Однажды выгон упразднили. На месте выгона построили дом. В этом доме родился Гете.

В доме не было места для сада. Вместо сада — цветы на окошках в комнате, которая называлась «садовой». Садовая комната — детская. Из окон вид на чужие сады. На территории Конского рынка бюргеры домовладельцы разбили сады. В садах играли в кегли. С грохотом катились шары, сбивая кегли.

— Чьи это сады?

— Чужие.

— Можно туда пойти?

— Нельзя. Можно только смотреть в окно.

Зато ярмарка открыта всем и каждому. Мимо городской ратуши, называемой «Рёмер», с огромными сводчатыми залами, куда можно проникнуть, если очень попросить сторожа, и увидеть фрески и скамью судей, и скамью почетных бюргеров, и скамью ремесленников, и стол протоколиста, — мимо средневековой Нюрнбергской гостиницы, обнесенной крепостной стеной, мимо фабрики, мимо красильни, мимо белильни — на ярмарку!

На ярмарке купили много посуды, и мальчику достались игрушечные горшки и блюда.

— А что, если выбросить тарелку в окно: никого нет дома!.. Как она славно разбилась, как зазвенели черепки!.. Мальчик хлопал в ладоши, кричал и смеялся. Братья Оксенштейн, соседи, услышали звон разбитой тарелки и крикнули:

— А ну-ка, еще!

Вслед за тарелкой полетел горшок.

— А ну-ка, еще! — кричали соседи. Пришлось побежать за посудой на кухню: тарелки, тарелки — в окно! На полках — тарелки. Тарелки, тарелки — в окно!

— А ну-ка, еще! — кричали соседи. И снова на кухню. И снова — тарелки в окно. Кофейник и чашки, и

сливочник — прямо в окно. Целая груда черепков под окнами. Груда разбитой посуды.

Разрушитель — Вольфганг Гете трех с половиной лет перебил всю посуду в доме.

Дважды в год разлившись, Нил
Весь Египет затопил . . .
Нет реки священной Ганга —
Ганг — река большого ранга . . .

Учебник грамматики был весь зарифмован. Латинская грамматика тоже.

У мальчика в комнате стоял музыкальный пюпитр красного дерева в форме усеченной пирамиды со ступеньками — очень удобный для исполнения квартетной музыки. На ступеньках была разложена в прекрасном порядке минералогическая коллекция — прозрачная слюда и хрупкий известняк, и розовый шпат, и мрамор в жилках, и кристаллический хрусталь, а рядом образцы почв от чернозема до красных глин и дары природы — колосья, засушенные ветки, семена, шишки.

— Прекрасная минералогическая коллекция, — говорили люди, входя в комнату. Мальчик молчал — никто не знал, что это алтарь природы. По утрам, когда солнце, всходившее за стенами соседских домов, наконец разливалось по крышам, он брал зажигательное стекло и наводил луч на курительную свечу, помещенную в фарфоровой чашечке на вершине пирамиды.

Юпитр — алтарь природы. Природа всемогуща. Мальчик — жрец природы. Свеча — жертва. Она не горела, а тлела. На алтаре каждое утро возжигалось благовонное пламя жертвы. Об этом никто не знал.

Сестра учится музыке. Учитель отбивает такт:

Мизинчиком, мизинчиком — скорее! — хоп, хоп!

Мимишку — мизинчиком, а фа — крючком...

Серединчиком — соль, как в солонке соль.

По чернавке ударь... Легче, легче, быстрее...

Каждая клавиша имела свое имя, каждый палец свою кличку.

Не браните кукольный театр. Вспомните, сколько он вам доставил радости. Гете на всю жизнь запомнил прыжки и жесты всех этих мавров и мавританок, пастухов и пастушек, карликов и карлиц и тяжелую поступь доктора Фауста, который продал душу дьяволу.

Как-то вечером он прочитал матери наизусть один из своих любимых монологов из кукольной комедии «Давид», и она, чтобы прихвастнуть неожиданным талантом сына, рассказала об этом владельцу кукольной труппы. С тех пор он стал постоянным помощником кукловода, и тот посвятил его во все тайны своего искусства. Он сам дергал кукол за ниточки и однажды во время спектакля, дававшегося для приглашенных соседских детей, нечаянно уронил своего великана, но тотчас высунулся и под громкий хохот зрителей, разрушив всю иллюзию, поставил его на ноги.

Но вскоре ему надоели затверженные пьесы. Он решил обновить репертуар и сам упражнял свою фан-

тазию, сочиняя всякие драматические отрывки, вырезывая из картона и раскрашивая новые декорации. Однажды он соблазнил товарищей поставить настоящий спектакль. На костюм героя — сурового и великодушного рыцаря — взял серую бумагу; для врагов его — золотую и серебряную. Но в суете приготовлений он совершенно упустил, что каждый актер должен знать, когда и что говорить. Уже собрались зрители, а его актеры в растерянности спрашивали друг у друга, что же им собственно делать. Переодетый и чувствующий себя Танкредом, он вышел на сцену и прочел несколько напыщенных стихов. Никто из актеров не вышел. Никто ему не ответил. Зрители хохотали.

Тогда, позабыв о рыцарских страстях и поединках, он перешел к библейской сказке про тщедушного царя Давида и силача Голиафа, который вызвал его на бой. Дети обрадовались знакомой пьесе и выбежали с ним играть. Спектакль был спасен.

II

Молодой гражданин большого города бродит по улицам. Иногда случаются события, нарушающие спокойное течение жизни: то пожар уничтожит чей-то дом, то совершится преступление, розыском и наказанием которого город занимается несколько недель.

Отчего толпится народ на улицах? Отблески костра в окнах соседних домов . . .

. . . За оскорбление религии и добрых нравов суд постановил предать сожжению все издание легкомысленного французского романа. Грудю горящей бумаги ворошат железными вилами.

Вдруг подул ветер, и сотни горящих листов — горящие бумажные бабочки с хрустящими красными крыльями — взлетели на воздух. Толпа бросилась их ловить.

А Гете, воспользовавшись переполохом, стащил с костра еще нетронутый огнем экземпляр запрещенной книги.

На всякую птицу есть своя приманка.

Большая темная комната в чьем-то неизвестном доме. Бюргерский сын Вольфганг Гете в компании веселых и общительных молодых людей. У окна за прялкой девушка — Гретхен, Маргарита . . .

— Маргарита, сходи в лавку, принеси еще вина.

Гете: — Как можно посылать беспомощную девушку, одну, без провожатых в такую темную ночь . . .

1-й юноша: — Не бойся, она привыкла. Погребок напротив. Она сейчас вернется.

2-й юноша: — Вы знаете, этот богач Леерман — с чего начал? Торговал спичками, а сейчас один из первых людей во Франкфурте.

1-й юноша. — Ловкий человек никогда не пропадет.

2-й юноша: — Ты что сегодня делал?

1-й юноша: — Бегал по поручению суконщика. Он так разленился, что готов делить прибыль с маклером.

2-й юноша: — Гете, мы достали для тебя новый заказ на свадебные стихи. Те, что ты писал — похоронные, помнишь, — уже пропиты. Займись-ка стихами. Мы через часок вернемся.

Большая грифельная доска на столе. Гете записывает мелком стихотворные строчки, стирает их губкой, снова пишет.

Маргарита: — Зачем вам это нужно? Бросьте это дело. Уходите отсюда, пока не нажили неприятностей. Послушайте меня, уходите . . .

Гете: — Гретхен, если бы человек, который вас любит, почитает, ценит . . .

Маргарита: — Только не целуйте . . . Мы ведь друзья . . .

Компания молодежи, дурачившая полицию, изощрявшаяся в озорных проделках и головоломных плутнях, обнаружена ищейками городской ратуши. Советник Шнейдер с поклонами и сладенькими улыбочками производит допрос на дому у Гете-отца.

— Где познакомились?

— На гуляньи.

— Где встречались? Кто там бывал? Назовите улицу . . .

Вольфганг слег в постель. Нервная горячка.

Между франкфуртской Гретхен и Гретхен из Фауста трудно найти что-нибудь общее. Что с ней случилось — с этой первой Гретхен? Гете никогда об этом не узнал. Скорей бы вырваться из Франкфурта, скорей бы уехать.

III

Страсбург. Гете кончает университет. Высокие башни Страсбургского собора видны со всех сторон города. Это первый блестящий образец готической архитектуры, который увидел Гете. На больших речных дорогах, в торговых узлах, в ярмарочных центрах высились стреловидные громады готических соборов. Издали они были похожи на каменные леса, увенчанные башнями. Вблизи они удивляли глаз обилием растительных завитков, фантастической скульптурой, в которой повто-

рялись морды животных, листья и цветы. Из главной точки каждого свода расходились мощные ребра. Равновесие и полет были законом архитектуры.

Жизнь едина во всех проявлениях. Надо все испытать, надо все уметь, надо всему порадоваться.

Страсбург — граница Франции.

Чем волнуется эта кучка молодых людей, называющих друг друга гениями даже в товарищеском кругу, даже с глазу на глаз? Может, их обуревают освободительные идеи Франции, которая уже раскачивается для великой буржуазной революции? Философы завтрашней революции и в первую очередь Вольтер им, конечно, знакомы. Но они, эти юноши, целиком живут внутренними душевными бурями. Им кажется, что презренные феодальные князьки должны трепетать перед их вдохновением. Ярость душевных порывов, свободная поэзия, черпающая силу в народном творчестве, победит немецкую косность, сокрушит убожество пережившего себя строя.

Как это произойдет?

По воценым полам в торжественной тишине картинной галереи бродил юноша с покатым лбом, туго стянутыми к затылку и заплетенными в косичку волосами, острым, как будто ищущим носом и коричневыми, вопрошающими глазами. По пятам его семеня музейный проводник — присяжный объяснитель картин.

Молодой человек, соблюдая вежливость, всемерно старался отделаться от проводника, который видел в нем свою законную добычу и сыпал как горохом названиями живописных школ, именами художников...

Юношу явно раздражали хвалебные возгласы: боже-ственно, очаровательно, неизъяснимо, воздушно, бес-подобно . . .

Избавившись, наконец, от своего спутника, он твердым шагом прошел через комнаты итальянской живописи, где на фоне ярко синего неба среди остроконечных скал и тонкоствольных деревьев изображались пастухи с ягнятами, женщины с удлинненными лицами, держащие цветок в вытянутой руке или же склоненные к колыбели пухлого мальчика.

Все это прекрасно, но не сейчас, после . . . Скорее к голландцам, к бессмертным северным мастерам: яблоки, рыбы, бочонки, крестьяне, пляшущие под дубом и кажущиеся под огромным деревом взрослыми карликами с развевающимися полами кафтанов. Женщины в тяжелых бархатных платьях и большеголовые дети, цепляющиеся за их подол; лудильщики и бочары, косматые и всецело поглощенные работой, и, наконец, семья сапожника: спальня, жилая комната — она же мастерская; коричневый полумрак, кусок хлеба с воткну-тым ножом на столе, молоток, ударяющий по башмаку, надетому на колодку, деревянная ладья колыбели с парусом полога, раскрытый шкаф с мерцающей посудой и причудливо вырезанные куски кожи, разбросанные по полу.

Да ведь это мастерская шутника сапожника Фрица! Искусство и жизнь встретились.

Перед отъездом сапожник подарил Гете пару прочных, но некрасивых сапог.

События... наслаждения... страсти... страдания...

События? Какие могут быть события в феодальном немецком городке? У герцогини подохла любимая собачка. Жена статс-секретаря родила двойню. Директор городской музык-капеллы уволил флейтиста за то, что тот громко высморкался на придворном концерте.

Придворным лакеям шьют новые ливреи. Ткацкий и портняжный цех ликуют.

В город приехал модный архитектор и строит дом с наружной, а не внутренней лестницей, предназначенный для нескольких семейств. Подумайте: под одной крышей будут жить три семьи!

Нищая страна. Спящая промышленность. Бюргерам негде развернуться. Молодежь среднего класса не знает, куда девать силы. Но стремления к росту уничтожить нельзя.

В даль убегают туманные цепи Вогезских гор, простирающиеся на юг. Внизу долина реки Саар. Позади остались башни Страсбургского собора.

Старик проводник одет в одну туфлю, один башмак. Он поминутно поправляет сползающие чулки. Его сын — рабочий литейщик.

Что за речонка? Когда попадаешь в новую местность, проследи, в каком направлении текут реки и даже ручейки — через это познаешь рельеф — геологическое строение местности.

Какие здесь цены на хлеб? Неисчерпаемые природные богатства — уголь, железо, квасцы, сера, а страна под угрозой голода. Лавочник в Фальцбурге отказался вчера продать им хлеб.

Отчего этот запах серы и гари и дым из трещин земли?

Подземный пожар, охвативший отработанные штольни . . . Он длится уже десять лет.

Двухэтажный домик с белыми занавесками на окне. Здесь на горе в рудничном районе живет угольный философ — химик Штауф. Гете, путешествуя по Саару, пришел поговорить с ним о хозяйстве страны и об использовании природных богатств:

— Зато меня порадовала выработка проволоки. Это зрелище способно привести в восторг любого человека: тяжелый ручной труд заменен машиной. Она работает как разумное существо.

IV

Гете положил на стол свой штейгерский молоток.

— Вы слышали — писатель Готшед женился. Ей девятнадцать, ему шестьдесят пять . . . Не забежать ли в гости к Готшеду?

Готшед жил очень прилично — в первом этаже гостиницы «Золотой Медведь». Квартиру ему предоставил благодарный издатель.

Гостей провели в большую комнату. Вышел сам Готшед, толстый, огромный, в зеленом шелковом халате, подбитом красной тафтой. На лысой голове ни одного волоска. Вслед за ним выбежал слуга с громадным париком в руках, локоны которого спускались до самых локтей. Он боязливо вручил своему господину этот пышный головной убор. Готшед спокойно отвесил слуге полновесную пощечину, затем надел парик на голову, опустился в кресло и заговорил с молодыми студентами о высоких материях.

— Кто умеет чинить вороныи перья?

— А ты пиши гусяными.

— Вы ничего не понимаете . . . ;

Бериш — оригинал и остролов, длинноносый, с резкими чертами лица, с шляпой под мышкой и шпагой на боку, балагур, бездельник, похожий на старого француза, чей костюм, всегда серый, но в сложнейшей гамме серых оттенков, вызывал общие насмешки, тридцатилетний Бериш, гувернер, выгнанный из графского дома за дружбу со студентом Гете и за пристрастие к литературным трактатам, — был мастером словесной карикатуры.

Бериш: — Свежие пирожные нашего доброго булочника Генделя — заметьте, что его вывеска ласкает слух, напоминая о широкой, спокойной и прекрасной музыке одноименного композитора, — я предпочитаю черствым изделиям почтенного профессора Готшеда, выпеченным из тухлой исторической муки и приправленным иностранными словами . . . Старика Клопштока называют божественным поэтом. Согласен. Он хорош уже тем, что не проглотил древнегреческой колонны. Но поэма его — знаменитая «Мессиада», пересказывающая Евангелие, так длинна, что понадобилось бы нанять носильщика, чтобы таскать ее с собой на прогулку. Речи святых персонажей усыпляют, как церковные проповеди, но вдруг автор оживляется и обретает силу, огонь, краску, звучность. Бедняга Клопшток! Он уже угадывает язык страстей, язык живой природы — но слушать органную музыку и выжимать из себя слезы сорок восемь часов подряд! . . Нет, спасибо . . .

Бериш высмеивает бюргеров и любителей военных подвигов, прославляющих Фридриха Второго, который семь лет подряд вел опустошительную войну и все не мог кончить. Бериш смеется над педантами профессорами:

— Как ваши лекции? Имущественные отношения римских квиритов и изучение пандектов под углом определения понятия обладания, владения, овладевания, завладения и . . . обалдения. Профессор «от четырех до пяти», фамилия безразлична . . .

Четверг, 10 ноября 1767 года, 7 часов вечера.

— Ах, Бериш, Бериш! Какое жуткое мгновенье! О, Боже, Боже! Хоть бы немного успокоиться . . . Бериш, будь она проклята, любовь . . . Если бы ты видел меня, ты бы стонал от жалости ко мне.

Кровь угомонилась. Я успокаиваюсь и уже могу говорить. Разумно ли? Может ли безумец быть рассудительным? Будь у меня цепи на руках, я бы знал по крайней мере, во что вгрызаться . . .

Я очинил перо, чтобы дать себе передышку. Тише, тише . . . Я расскажу тебе все по порядку . . .

Он сидит за маленьким рабочим столиком у высокого окна без занавески. Резной стул с очень высокой спинкой немного откатнулся назад. Комната учащегося и молодого художника. Стоит мольберт с начатой живописью — мятущееся дерево в голландском стиле. Рядом пузатая фляга с каким-то питьем, стакан, накрытый блюдцем. Гете в короткой рабочей куртке. Лицо злое, напряженное. Он не причесан, косичка болтается. У него тяжелый подбородок упрямого школьника. Почерк его исполнен самого дикого движения и в то же время гармонии. Буквы похожи на рыболовные крючки и наклоняются по диагонали. Как будто целая стая ласточек плавно и мощно несется наискось листа.

— Все это так больно меня уязвило, что я заболел настоящей лихорадкой. Всю ночь меня бросало в жар

и в холод. Весь день я просидел дома. Вечером я зачем-то послал служанку на улицу — и что же? — девушка возвращается и рассказывает, что Кетхен со своей матерью — где бы ты думал? — в театре! В театре, когда ее любимьй болен...

В городе только что отстроили новый театр. Студенты гурьбой навещали декоратора на чердаке. Там на полу был распластан свеженамалеванный занавес. Музы уже не витали в небесах, но стояли на земле. К портику шел человек. Всех радовало, что он не в греческом хитоне, а в обыкновенном платье. Это Шекспир. Мысль художника ясна: Шекспир один пробил себе дорогу к пантеону искусств. Шекспиrom зачитываются, Шекспиrom захлебываются. В нем ценят дерзость ума, глубину душевного чувства, чудесные переходы от ярости к нежности, размах в изображении человеческих характеров и больше всего — горечь и стыд за современность, которую узнаешь у Шекспира под любыми масками.

С высоких колосников студенты смотрели на сцену, и она казалась им слишком маленькой для шекспировского действия. Всем хотелось, чтобы «Гец фон Берлихинген» — юношеская трагедия Гете — была достойна Шекспира.

Базедов задумал образцовую школу. Деньги нужно вырвать у богачей. Базедов начинает с просьбы и неожиданно для себя самого оскорбляет человека, к которому обращается. Мудрено ли, что ему отказывают?

Ядовитый Мерк — прообраз Мефистофеля. Гете сравнивает его с улиткой, которая нет-нет да и покажет людям рога.

У Гете замечательная оценка Лафатера. Он говорит: «Что такое человек, прекрасно наблюдающий подробности, но не имеющий цели? Он видит, какая складка на лбу, но не знает, для чего эта складка и какой она должна быть».

Фотографии тогда, как известно, не было.

И еще один человек с таким мягким выражением лица, с таким пухлым ртом, с такими плавными дугами бровей, как будто он сочинитель музыки, с отпечатком болезненности и силы в каждой черте своей — собиратель народных песен, поэт и мыслитель Гердер. Гете от него узнал: поэзия никогда не является частным, личным делом. Поэзия — серьезная работа. Гердер улыбается и говорит: мысль и слово, чувство и выражение неотделимы друг от друга, нерасторжимы как два близнеца.

Чтобы понять, как разворачивалась жизнь и деятельность Гете, нужно также помнить, что его дружба с женщинами при всей глубине и страстности чувства была твердыми мостами, по которым он переходил из одного периода жизни в другой.

Фридерика Брион в крестьянском платье с короткими рукавами; длинные косы. Она поворачивает голову, прикрытую косынкой, как ягненок на звук колокольчика. Пасторская дочка. Шумная деревенская семья.

Лотта, чужая невеста, всегда хлопчущая и со всеми приветливая, та самая старшая сестра из повести «Вертер», за подол которой цепляются младшие братья и сестры. Ограниченное и довольно среднее бюргерство.

Лили Шенеман или просто Лили — смеющийся задорный профиль, но отчеканьте его на монете, и те же тонкие губы, та же греческая прическа будут выглядеть властно; дочь банкира, играющая на клавесине и твердая в своих причудах.

И вот хочется спросить: почему же Гёте, общительный, любимый, любящий, глубже всех поэтов своего времени выразил тему одиночества?

Кто хочет миру чуждым быть,
Тот скоро будет чужд, —
Ах, людям есть кого любить, —
Что им до наших нужд!

Так! что вам до меня?
Что вам беда моя?
Она лишь про меня, —
С ней не расстанусь я!

Ответ на этот вопрос мы найдем в «Вертере» — этой книге отчаянья молодого Гёте. Книга эта посеяла сразу самоубийств в обеспеченной бюргерской среде. Чувствительная молодежь поняла ее как руководство к самоубийству. Хотя автор писал ее с обратной установкой — как выздоравливающий рассказывает о своей болезни. Голубой фрак, в который одевался Вертер, послужил символом победоносного ухода от действительности, — на самом же деле, несмотря на гибель нескольких десятков злополучных подражателей Вертера, этот литературный образ, образ чувствительного молодого буржуа, стоящего выше своей среды, послужил лишь к укреплению жизненности своего класса, и недаром Наполеон брал его с собой в поход и перечитывал семь раз.

... Мораль этой басни ясна: человек не смеет быть униженным. Пять чувств, по мнению летописца, лишь вассалы, состоящие на феодальной службе у разумного, мыслящего, сознающего свое достоинство «я».

Такие вещи создаются как бы оттого, что люди вскакивают среди ночи в стыде и страхе перед тем, что ничего не сделано и богохульно много прожито. Творческая бессонница, разбуженность отчаяния сидящего ночью в слезах на своей постели, именно так, как изобразил Гёте в «Мейстере»...

Конницей бессонниц движется искусство народов, и там, где она протопала, там быть поэзии или войне.

V

Тра-та-та-та! Тра-та-та-та! Труби, почтальон на высоких козлах! Пламенейте вершины красных кленов! Прощай неуклюжая, но все-таки милая Германия...

Шоссе не совсем гладкое, но это не беда.

Хочется со всеми говорить как с добрыми знакомыми.

Хочется каждому нищему сказать что-нибудь доброе.

Хрипящая бродячая шарманка лучше концертной музыки.

Мычание упитанных тиролевских коров кажется полным смысла и жизни, как будто сама земля обрела голос и рассказывает о том, как ее хорошо напоили осенние ливни.

Карета замедляет бег. Две фигуры стоят посреди дороги. Девочка лет одиннадцати отчаянно машет краешком красного плаща. Рядом с ней стоит чернобородый мужчина. За плечами у него большой треугольный футляр.

Маленькая дикарка с арфой — Миньона. Южанка, потерявшая свою родину, воплощение тоски по цветущему югу, но не итальянка. Старик из-под нахмуренных бровей глядел гордо и униженно.

— Девочка устала. Господин путешественник, не откажите ее подвезти.

Гете в мчащейся карете шутит с пугливым зверьком, самолюбивой маленькой арфисткой. Он ее дразнит, экзаменует. Она не умеет отличить клена от вяза. Но и девочка не остается в долгу. Между прочим она объясняет, что арфа прекрасный барометр: когда дискантная струна настраивается выше, это всегда к хорошей погоде.

За Бреннером, в начале альпийского перевала, он увидел первую лиственницу, а за Шенбургом первый сибирский клен. Верно и здесь маленькая арфистка стала бы его расспрашивать.

«Этим путешествием я хочу раз навсегда насытить свою душу, стремящуюся к прекрасным искусствам. Пусть образы их запечатлеются в моем сознании: я сумею их сбересть для тихого, сосредоточенного наслаждения. Но потом, когда я вернусь, я возвращусь к ремеслам, я изучу механику и химию. Время прекрасного отживает. Только полезность и строгая необходимость управляют нашей современностью».

Трудно поверить, что эти слова были записаны в Италии на самом гребне могучего жизненного подъема. Не объясняется ли эта запись великим волнением души, охватившим путешественника по Италии Гете?

Дома он избегал углубляться в античность, в древний классический мир, потому что понять для него зна-

чило увидеть, проверить осязанием. Первая встреча с памятником классической древности — живой древности, не менее живой, чем природа, — веронский амфитеатр, один из цирков, построенных римскими императорами для массовых зрелищ.

Он обошел цирк по ярусу верхних скамеек, и он произвел на него странное впечатление: на амфитеатр надо смотреть не тогда, когда он пуст, а когда он наполнен людьми. Увидев себя собранным, народ должен изумиться самому себе — многогласный, многошумный, волнующийся — он вдруг видит себя соединенным в одно благородное целое, слитым в одну массу, как бы в одно тело. Каждая голова зрителя служит мерилom громадности целого здания.

Ветер, веющий с могил древних, проносясь над холмами, покрытыми розами, проникается их благоуханием. Памятники выразительны, трогательны и всегда воспроизводят жизнь. Так этот муж, который из ниши как из окна глядит на свою жену . . . А там стоят отец и мать, а между ними сын, и смотрят друг на друга с невыразимой нежностью.

А через несколько дней в маленьком венецианском театре шла довольно нелепая пьеса: актеры по ходу действия чуть ли не все закололись кинжалами. Неистовая венецианская публика, вызывая актеров, вопила: «Браво, мертвецы!»

Чему так непрерывно, так щедро, так искрометно радовался Гете в Италии?

Популярности и заразительности искусства, близости художников к толпе, живости ее откликов, ее одаренности, восприимчивости. Больше всего ему претила отгороженность искусства от жизни.

Прислушайтесь к шагам иностранца по нагретому камню уже опустевшей набережной Большого венеци-

анского канала. Он не похож на человека, который вышел на свидание: слишком велик размах его прогулки, слишком решительно и круто он поворачивает, отмерив двести или триста шагов.

В упругом воздухе ночи непременно — сзади или спереди — звучат мужские голоса. Они передают друг другу мелодию, они продолжают и никак не могут закончить какой-то трепещущий рассказ в стихах.

Каждый раз, наталкиваясь на свежую волну напева, Гете сворачивает обратно к другому только что умолкшему певцу и, провожаемый мелодией, удаляется от нее — навстречу новой, ожидаемой волне ее продолжения.

Перекликающиеся лодочники поют стихи старинного поэта Торквато Тассо. Тассо знает вся Италия. Безумный Тассо, семь лет просидевший на цепи в темнице герцога в Ферраре, тот самый Тассо, которого хотели увенчать розами в римском Капитолии . . . Но не успели: он умер, не дожив. Певец средиземных просторов, он рассказывает, как рубили дерево в заколдованных рощах и строили башни на колесах для осады мусульманских городов.

Великодушный поэт смешал в одну кучу турок, арабов и европейских крестоносцев; волшебников и чертей он поставил чуть ли не выше христианского Бога и помешался от страха, что церковь и власть объявят его еретиком.

К Гете подошел старый лодочник:

— Удивительно, как трогает душу это пение, особенно, когда поют умеючи, по-настоящему.

14 октября 1786 года Гете выехал из Венеции в Рим. 18 июня он вернулся в Веймар.

РЕЦЕНЗИИ
И
«ВНУТРЕННИЕ РЕЦЕНЗИИ»

Игорь Северянин. Громокипящий Кубок. Поэзы. Предисловие Федора Сологуба. Изд. Гриф. Москва, 1913 г.

Поэтическое лицо Игоря Северянина определяется главным образом недостатками его поэзии. Чудовищные неологизмы и по-видимому экзотически обаятельные для автора иностранные слова пестрят в его обиходе. Не чувствуя законов русского языка, не слыша, как растет и прозябает слово, он предпочитает словам живым слова, отпавшие от языка или не вошедшие в него. Часто он видит красоту в образе «галантерейности». И все-таки легкая восторженность и сухая жизнерадостность делают Северянина поэтом. Стих его отличается сильной мускулатурой кузнечика. Безнадежно перепутав все культуры, поэт умеет иногда дать очаровательные формы хаосу, царящему в его представлении. Нельзя писать «просто хорошие» стихи. Если «я» Северянина трудно уловимо, это не значит, что его нет. Он умеет быть своеобразным лишь в поверхностных своих проявлениях, наше дело заключить по ним об его глубине.

1913.

ЖАН-РИШАР БЛОХ

Как литературный жанр книга Жан-Ришара Блоха примыкает к «легкой и занимательной» философии. Это блестящая, подчас виртуозная болтовня на важные культурно-исторические и политические темы, фельетон с притязанием на пророческий размах.

По содержанию она из бесчисленной семьи так называемых «закатов Европы», но, в отличие от догматика и математика Шпенглера, автор рисуется свободомыслием: он над партиями и над классами. Радикальный интеллигент, глубоко потрясенный войной, он ищет мировоззрения, а пока что пробивается парадоксами.

Лейтмотив книги — все разбито. Демократия поругана. Свобода — жалкий призрак. Политика разит падалью. Мировая революция обанкротилась. Полиция — увы! — обнаглела и врывается в частные дома. Благородное поколение, воспитанное на Толстом, Ромен-Роллане и Ганди, не желает идти за коммивояжером политики, господином Вивiani. Распаду социалистических партий Жан-Ришар Блох посвящает немало язвительных страниц, но ни мало не сомневается в их искренности: он уважает всякий пафос.

Война и революция для Жан-Ришара Блоха отнюдь не закономерность, но явления стихийного катастрофического порядка. Во всей книге нет ни одного намека на какую бы то ни было подготовку этих сдвигов в прошлом. Идеи с рук на руки передает друг другу так называемое «человечество»; созерцательный Восток глядится в душу мятежного, деятельного Запада. Коммунизм ни что иное как предчувствие новой религии. Европейец — высшая порода человека, хозяин мира. Он наложит на себя узду, найдет новые слова — ясные магические формулы, и цивилизация будет спасена.

Как образец медитаций Жан-Ришара Блоха приведу эпизод на скамье шартрского собора. Для кого органная музыка, бушующие краски витражей? Для кучки лавочниц-прихожанок с деревянными лицами... Значит, народ не воспринимает больше великого искусства? [Так], научимся у средневековья большому стилю, перефразируем его на новый, пока еще неизвестный лад.

Массы демобилизованных пролетариев и буржуа колебались между Вильсоном и Лениным. Америка для Блоха жупел, автоматическое чудовище, но Вильсон благородный неудачник и библейский проповедник. Народ пошел за ним, потому что он обещал немедленную гармонию, а Ленин звал к гражданской войне.

Воплощенная революция уже не революция: дух от нее отлетает. О Троцком нежная страничка: он хранитель вечного перманентного пламени. И вообще, революция, как таковая, по Жан-Ришару Блоху умерла. Ее предал СССР, занявшись хозяйственным строительством. Зато воскресло античное язычество в спорте и религия в культе великих людей и государственных символов. Наполеон и Бетховен — европейские мифы. Ленин тоже. А большевики — изнанка наполеонизма.

Вся изощренность пускается в ход, чтобы создать колоссальное расстояние между Востоком и Западом и доказать, что пролетарская революция победила где-то в потустороннем мире.

В книге собран целый ворох цитат, имен, научных и псевдонаучных ссылок: Морис Баррес, Стравинский, Дягилев, Маркс, Фюстель де Куланж, Ферраро, Унамуно, Гладков и даже разговор Горького с Блохом в Летнем Саду. Все это похоже на сорочье гнездо, куда натасканы блестящие предметы.

Вывод следующий: книга Блоха при всей своей внешней левизне глубоко реакционна. Она огромный шаг назад от настроений Ромен-Роллана. Это ни что иное как разоружение пацифизма. Будущая война, — говорит Блох, — обойдется без армий, а потому с ней достаточно бороться при помощи идей.

ЖОРЖ ДЮАМЕЛЬ

Дюамель не хочет быть «гражданином» и политиком, не хочет быть публицистом или избирателем — он хочет быть туристом даже в собственной стране. Голландия, Греция или Финляндия — три «несерьезные» страны — их выбор уже демонстрация: долой политику и да здравствуют голландские тюльпаны и финские лыжи.

Поэт социальной симпатии и проповеди уважения к маленькому человеку объявил себя другом порядка. Книга занимательна. Дюамель принимает победу, он называет ее «наша горькая победа». В Греции он мчится по шоссе, проложенному французами в дни войны, и сердце его под фланелевой фуфайкой полно гордости. Впрочем, шовинизм это зряшная вещь, но старая грязноватая Франция с опаздывающими поездами, каштанами, префектурами и провинциальным уютом все-таки хороша, и к ней постоянно возвращаешься... Европа жива, потому что она конгломерат родин, уцелевших после войны и даже процветших по ее милости.

Обширное введение посвящено Америке. Автор извиняется перед Францией за то, что страна-спасительница ему не понравилась. Неуклюжий французский чемодан заменили стандартными американскими, и Дюа-

мель растерялся на перроне. Америка — очаг заразы, растлевающий органическую европейскую культуру. Мы живем среди вещей, сделанных машинами, а машинную технику избранники духа должны ненавидеть. В этом плоском конфликте предел глубокомыслия Дюамеля.

Для разбега Дюамель берет и придумывает поэтичные легенды: для Финляндии немного из Калевалы — про Вайнемайнена; для Голландии историю с Саваофом и его архангелами, для Греции чуточку археологии. Греция подает ему повод к размышлениям о том, что французы истинные продолжатели эллинского духа; он умиляется корешкам французских книг в библиотеке новогреческого поэта: куда ни приедешь, всюду Расин и Мольер!

Если откинуть сладенькую погоню за поэзией и местным колоритом, в книге Дюамеля остается много добротного чувственного материала: голландские шлюзы и фарфор, покоящиеся на прочной базе свиноводства, возведены им в перл создания. Лишь бы голландки не отказались от четырнадцати национальных юбок! Голландцы в его изображении вышли домовитыми и опрятными животными, и собственник ночью, не вставая с постели, разглядывает через оптическое приспособление сверкающий электричеством хлев. Дюамель договаривается до того, что современная Финляндия чужда всякому лицемерию: маленькая страна наслаждается своей самостоятельностью и самобытностью, любовью, трудом и песнями Калевалы.

Вся книга — печальное зрелище социального ожирения у несомненного, хотя и некрупного, художника. Она имеет резкий политический тембр: истинная цивилизация сближает противоположности и стирает со-

циальные противоречия. Голландия — классическая страна индивидуализма: в ней, слава Богу, 146 партий, а в Амстердаме столько же автобусных компаний. Жена бургомистра бегает на коньках со своей служанкой, а директор нидерландского банка беседует запросто с последним из своих клерков.

Дюамель как писатель все время шел на помочах у перворазрядных творцов и законодателей французской литературы. Он постоянно снижал и Франса, и Ромен Роллана и даже Жюль Ромена до золотой середины. Наша критика никогда этого не замечала и была к Дюамелю слишком близорука и снисходительна. В своей новой книге Дюамель лягает своих же учителей подкованным каблуком туриста.

СКИПЕТР. — Абель Арман

— Что это — оперетка или Шекспир? — нередко спрашивает себя в патетические минуты не лишенный юмора и литературно образованный эрцгерцог Павел. — Оперетка? — подозрительно спрашивает он и без особой уверенности решает: — Нет, Шекспир.

Книга Абель Армана остроумное, подчас заразительно веселое издевательство дряхлеющего буржуазно-демократического мира над обломками феодализма, над горностаем, купленным на банкирские деньги, над августейшим «интернационалом» «царствующих» семейств Европы, над союзом короля и епископа, руки которых соединяет агент полиции, служащий проводником в первоклассной гостинице: ловкий мальчик — новый Фигаро, — сочиняющий под веселую руку манифесты будущего повелителя.

«Скипетр» написан в 1896 году, когда политическая карта Европы была почти сплошь выкрашена в пестрые цвета монархий, когда политическое здание капитализма было еще аккуратно облицовано тонкой феодальной фанерой.

Скандальный успех [книги] был в свое время погашен лояльной республиканской цензурой. Пролежав двадцать лет под спудом, книжка Абель Армана не

только не утратила интереса, но даже выиграла, как гротескный портрет отошедшей эпохи.

Девяностые годы — эпоха политических скандалов в конституционной Европе: дело Дрейфуса, похищения коронованных особ, развязка Панамы, знаменитые шарлатанские побоища в Будапеште и Вене и помятая в парижских барах и цирковых уборных скромная тирольская шляпа Леопольда Бельгийского, короля — прожигателя жизни, любимца кокоток и ресторанных лакеев.

Для современного читателя политическая пряность этого памфлета только подчеркивается некоторым расстоянием: автомобиль еще неизвестен, высокопоставленные лица разъезжают в ландо; велосипед чуть ли не модная новинка . . . Аромат эпохи.

Невинное буржуазное зубоскальство по поводу человеческих слабостей высоких особ вещь весьма распространенная в девяностых годах. Властелины Монако, Люксембурга, Албании, Черногории и мелких немецких княжеств частенько выбирались опереткой и легкой литературой в качестве благодарной мишени, но политическая соль Абель Армана будет посильней. Это не просто бульварное зубоскальство.

Когда политическая философия монархии передается одним живописным восклицанием: [*пропуск в тексте*], — когда будущий король, подписывая манифест, подсунутый ему ловким шантажистом, читает: «Мы будем по-прежнему служить прочным оплотом европейского мира, но обязаны сокрушить наследственность врага», когда этот добродушный монарх, кроткая жертва шантажа, спрашивает у своего ментора, как это понимать и кого же он, собственно, должен сокрушить, и получает ответ: «Так принято писать в манифестах», — это уже не оперетка, это уже, если хотите, Шекспир.

Эрцгерцогу Павлу вовсе не хочется царствовать. Он — уклоняющийся. Он саботирует. Это поместь Леопольда Бельгийского, засидевшегося в наследниках, и матерого холостяка — принца Уэльского. Но не трудящийся да не ест! Как это ни странно, и здесь оказался применим этот суровый афоризм. У Павла был ребячески простой план, как у татарина в старом анекдоте, который на вопрос: «Что бы ты сделал, если б был царем?», — ответил: «Украл бы сто рублей и убежал». Оказалось, что инкогнито, скромная оболочка господина Леруа, не предохраняет его от превратностей, не дает безопасности в удовольствиях, не спасает от банкротства и уголовной ответственности. Комедия разворачивается с легкостью итальянской импровизации. Понемногу саботирующий наследник попадает в воронку шантажа.

Он не один. Даже в инкогнито ему сопутствует маленький дворик: преданный и дубовый фельдмаршал Лютсбург, придворная старуха Эшбах, кстати и некстати напоминающая его высочеству, что она его купала и пеленала, и, наконец, верный друг и спутник похождений, бежавший от своей латыни епископ, в миру буржуа Левек, опознанный в лотошном заведении и присоединенный к маленькой компании.

Горько приходится бедному Павлу в буржуазной оболочке. Курортный слет коронованных семейств. Павел с компанией по привычке затесался в августейшую группу, позирующую фотографу. Фотограф рывкает: «Отойдите, пожалуйста, вы в поле объектива». Даже князь «Ничего» его третирует, а какие-то голландские княжны, заехав ему мячом в физиономию, утешают себя: «Ничего, это глаз не голубокровного человека».

Судьбами Европы управляет тайный агент полиции — гид Континентала — Фигаро — шантажист Аль-

фред. Способ распутать денежные затруднения: его высочеству предлагается выступить в театре Альгамбра и пропеть национальный гимн своей страны. Конечно, на афише только инициалы. На другой день, для предотвращения позора, посольство вносит пятьсот тысяч, которые распределяются между кредиторами эрцгерцога, театром и остроумным гидом. Итак, выступление не состоялось . . . Альтернатива — престол или суд присяжных, престол или скандальный процесс . . .

ЛУИ ПЕРГО. РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ

Рассказы из жизни животных? Да возможны ли такие рассказы? Либо героями их будут в конечном счете люди, либо животным будут приписаны человеческие свойства!

Но Луи Перго доказал, что возможно правдивое, драматическое проникновение во внутренний мир животных; он нащупал мост между психикой человека и темным бытием. Этот мост Луи Перго предоставила современная наука своим учением об условных рефлексах. Каждый рассказ Перго взят как шахматная задача: зверь не подменяется человеком, но человек, поставленный на место зверя, обремененный теми же условными рефлексамии, делает за него выбор, намечает линию его поведения в соответствии с обстановкой.

Почти все рассказы Перго построены на теме приспособления. Их драматизм в том, что он доводит зверя, вырванного из обычных условий существования, до ярчайших вспышек (ласка в капкане, обезумевшая сорока, опоенная водкой). — Потребности, — говорит Перго, — хозяева наших чувств и поступков. — И звери Перго правдивы, потому что поведение их определено ослепительной необходимостью.

Перго далек от фальшивого сюсюканья. Он не уподобляет животное детям. Он не боится сложных сцеплений. Он суров и вместе с тем прост. В минуту опасности и страдания человек ближе к зверю, но и зверь в такие минуты ближе и понятнее человеку. Старую невинную сказку о гадком утенке Перго развернул в зоосоциологический этюд. Люди в его рассказах не только не заслоняют животных, но и сами показаны по-новому, иногда с потрясающей силой и неожиданностью.

Рассказы Перго, сохраняющие внешнюю связь с традиционными формами басни, бесконечно далеко ушли от наивного морализирования; они скорее сродни темам здорового искусства примитива, что выражается, например, в увлечении негритянским искусством.

Социальный облик автора, пишущего о животных, проступает всегда необыкновенно ярко. Рассказы Киплинга империалистичны, его мангуст — слуга белых людей, англичан. Но так написать рассказы о животных, как написал Перго, мог лишь европеец с повышенным сознанием ответственности перед жизнью, с настроенной и разбуженной совестью. Его герои — ласка, ворон, сорока — никому не служат, но приобщают нас к ужасу и радостям бытия.

СТАТЪИ О ТЕАТРЕ И КИНО

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР И СЛОВО

Художественный театр — дитя русской интеллигенции, плоть от плоти ее, кость от кости.

Театр русской интеллигенции! Это уже внутреннее противоречие! Такого театра быть не может! А между тем он был! Больше — он уже есть. С детства я помню благоговейную атмосферу, которой был окружен этот театр.

Сходить в «Художественный» для интеллигента значило почти причаститься, сходить в церковь.

Здесь русская интеллигенция отправляла свой самый высокий и нужный для нее культ, облекая его в форму театрального представления. Общество, которое всем своим складом было враждебно всякому театру, строило свой театр из всего, что ему было дорого, но если сложить в одно место все, что любишь, даже самое дорогое, все-таки театра не получится и любовь русской интеллигенции не стала театром.

Для всего поколения характерна была *литература*, а не театр. Это было типично литературное, даже «литераторское» поколение. Театр понимали исключительно как истолкование литературы. В театре видели *толмача литературы*, как бы переводчика ее на другой, более понятный и уже совершенно свой язык.

Источником этого театра было своеобразное стремление *прикоснуться* к литературе, как к живому телу, осязая ее и вложить в нее свои персты.

Пафосом поколения — и с ним Художественного театра — был пафос Фомы Неверующего. У них был Чехов, но Фома-интеллигент ему не верил. Он хотел

прикоснуться к Чехову, осязать его, увериться в нем. В сущности это было недоверие к реальности даже любимых авторов, к самому бытию русской литературы.

Когда художественники привезли «Вишневым сад» в один большой русский провинциальный город, по городу распространилась весть, что труппа не захватила с собой «пузатого комода». С искренним огорчением передавали друг другу обыватели эту подробность. Без комода ведь уже не то. Пальцам Фомы уже нельзя будет к нему прикоснуться.

Что такое знаменитые «паузы» «Чайки» и других чеховских постановок?

Не что иное, как праздник чистого осязания. Все умолкает, остается одно безмолвное осязание.

Путь к театру шел через литературу, но в литературу не верили, как в бытие, слова не слышали и не осязали.

К литературе потребовался *толмач*, переводчик. Эту роль навязали театру.

Вся деятельность Художественного театра прошла под знаком *недоверия* к слову и жажды внешнего осязания литературы.

Начиная с «Федора Иоанновича», кончая «Лизистратой», это один *цельный* путь. Доходило до курьезов: елизаветинский Шекспир на античный лад.

По-настоящему буйствовал народ, по-настоящему плакали и пели, и стрелялись. Но я помню «На дне». Ведь все-таки это был ситцевый и трущобный маскарад. Чистенький притон. Прилизанная трущоба. Осязать смрад и грязь им не удалось, как и многое другое. По-настоящему они осязали только себя.

Я говорю о Художественном театре без враждебности и с уважением: он не мог быть иным. Он был расплатой целого поколения за словесную его немоту, за

враждебное косноязычие, за недоверие к слову. Вместо того, чтобы *читать* в слове, искали, что просвечивает за ним (теория сквозного действия). Уж не проще ли было заменить текст «Горе от ума» собственными психологическими ремарками и домыслами?

Никогда не читали текст. Всегда свои домыслы. Истинный и праведный путь к театральному осязанию лежит через слово, в слове скрыта режиссура. В строении речи, стиха или прозы, дана высшая выразительность.

Этого они не знали. Они исправляли слово, помогали ему. Они ошибались, запинаясь и путались в пушкинских стихах, беспомощно размахивая костылями декламации — выразительного чтения.

Несколько раз переделывали актерскую «азбуку чувств» и все-таки играли не правду, а актерский шифр.

Бытовой театр, МХТ, всегда был условным, театром-толмачем, переводчиком текста на актерскую азбуку чувств.

Вспоминаю «Месяц в деревне». Кажется, пустяк. Легкая безделушка. А как неестественно, развязно звучали голоса Верочки и других, с растяжкой, с истерическим смехом.

В «Лизистрате» все женщины читают по-старому, по актерской азбуке.

Почти все мужчины освободились от нее, и не случайно движения всех женщин плохи, будто сошли с картины Семирадского, а движения мужчин превосходны.

В театре для того, чтобы двигаться, нужно говорить, потому что он весь дан в слове.

1923.

БЕРЕЗИЛЬ

(Из киевских впечатлений)

Я видел только проводы «Березиля» — мозаичный праздничный спектакль, составленный из отрывков. Это бесконечно мало, чтобы составить суждение о театре, но слишком достаточно, чтобы почувствовать его вкус.

Маленький Соловцовский театр был наэлектризован. Каждый фрагмент и провозглашаемая фамилия режиссера встречались аплодисментами. Я пришел к концу пира, а потому было трудно догнать восторг и опьянение обычных зрителей «Березиля».

Все фрагменты говорили об одном: это глубоко демократический театр, театр страны, где не может быть ни снобизма, ни дендизма, где любой эстет осужден быть посмешищем.

Несколько слов о технических средствах «Березиля». По словам близко стоящих к театру лиц, самая дорогая постановка обошлась «Березилю» в полторы тысячи рублей (!). Принимая во внимание достижения «Березиля», это обязывает почти к гениальности.

«Жакерия» по Мериме со своей готической конструкцией и пышной костюмерией производит впечатле-

ние оперной роскоши. Сама пьеса неузнаваема: актеры играют так, как у нас играли бы «Царя Максимилиана». Конечно, это нарочно, как и все в «Березиле» сознательно и нарочно.

Главный упор театра: коллективное, массовое действие. Все самовластие, весь неограниченный деспотизм современного режиссера сказались в «Джимми Хиггинсе». Рядовой актер угнетен и превращен в сомнамбулу. Сомнамбулы в прозодежде говорят нараспев, протягивают руки, шарахаются, мечутся, карабкаются на ящички, изображающие Америку, и на лестницы: все по строжайшему, обдуманному плану.

В этих толлеровских и кейзеровских клетках и в Синклере, отделанном под Толлера, украинские актеры задыхаются, как травленные мыши. Здесь не помогут никакие табуреты и лестницы — это не единый театр, а несколько борющихся направлений. «Березилю» предстоит почетный и благотворный распад: из него выйдут основные типы будущего украинского театра и, работая отдельно, продолжат его дело.

Необычайно важным для театра был момент его зарождения. Он родился в эпоху летучих, перегорающих как порох, постановок, в прифронтовой полосе, окруженный армейскими и клубными театриками; он родился в эпоху подневольной театральности, военно-революционной театральной повинности, когда режиссерствовал паек — и, право же, иногда не плохо.

К малым театральным формам революции «Березиль» отнесся без высокомерия. Он усвоил от них партизанскую подвижность, легкость свертыванья и развертыванья, умение перемигнуться с зрителями, завербовать его — и через месяц вернуться уже другим.

В работе «Березиля» есть течение, прямо идущее от непрофессионального клубного театра; оно сильно в

«Коммуне в степях» и в «Джимми Хиггинсе». Здесь «Березиль» — старший брат клуба.

Даже в самых праздничных и пышных постановках «Березиля» чувствуются «живая картина», самое примитивное достижение революционного театра. В «Гайдамаках» есть «живые картины», великолепные, как старый украинский лубок. И эта постановка принадлежит театру, который в «Шпане» показал, как театральное движение преобразует сырой «чаплинизм» в торжествующую новую комедию.

Другим могучим влиянием, сформировавшим «Березиль», было влияние театральной Москвы. В «Березиле» борются театры Мейерхольда и «Камерный»; отдаленно чувствуются отголоски всевозможных «старинных» театров, процветавших еще до войны и переваливших в лице «Камерного» и многих студий через революцию.

Скелетообразность конструкции и цветущая пышность живописи — вот два полюса режиссуры «Березиля». Среди конструкций постоянно движутся разряженные цветные шахматы — действующие лица; в отвлеченной клетке мечутся живые фигуры . . .

Общее признание увенчало «Шпану». Получилась комедия большого стиля. «Березиль» вышел на новую и увлекательную дорогу.

Этот молодой и глубоко рассудочный театр, осторожно увлекающийся биомеханикой, никак не может, однако, освободиться от обезьяньих лап экспрессионизма и театрального лжесимволизма — от толлеровщины.

Я видел злостный по своей рассудочности трюк: актер Бучма (Джимми) переправлялся на канате из американского застенка в толпу, изображающую коллектив. Канатная переправа — Джимми черпает утешение

в коллективе и возвращается в застенки. Безумно точно, а потому безумно скучно.

Украинский актер по природе своей никогда не потерпит обезличенья. Ему претит деспотизм режиссера. В жилах его течет рассудочная, но солнечная мольеровская кровь. Ему бы самому писать пьесы, а в советчицы взять хоть курьершу, хоть зеленщицу с Бессарабки.

Не надо ужасов, не надо украинской табуретной Америки, не надо мистики, хотя бы социальной, символических групп и канатных прыжков в коллектив.

Украинский театр хочет быть рассудочным и прозрачным, чтобы на него изливалось румяное солнце Мольера.

Наша советская комедия — «Мандаты» и «Воздушные пироги» — через голову Островского тянется к Гоголю. Украинская комедия движется вокруг мольерова солнца. Трагедию и высокие жанры пока заволакивают тучи.

1926.

МИХОЭЛС

По деревянным мосткам невзрачного белорусского местечка — большой деревни с кирпичным заводом, пивной, палисадником и журавлями пробиралась долгополая странная фигурка, сделанная совсем из другого теста, чем весь этот ландшафт. Я смотрел из окна вагона, как этот единственный пешеход черным жуком пробирался между домишками через хлюпающую грязь, с растопыренными руками, и золотисто-рыжим отливали полы его сюртука. В движениях его была такая отрешенность от всей обстановки и, в то же время, такое знание пути, словно он должен пробежать «от» и «до», как заводная кукла.

Экая, подумаешь, невидаль — долгопольный еврей на деревенской улице! Однако я крепко запомнил фигурку бегущего реббе, потому что без него этот скромный ландшафт лишился оправдания. Случай, толкнувший в эту минуту этого сумасшедшего, очаровательно нелепого, бесконечно изящного фарфорового пешехода, помог мне осмыслить впечатление от Государственного Еврейского театра, который я видел незадолго в первый раз.

Да, незадолго перед тем на киевской улице я готов был подойти к такому же почтенному бородачу и спросить его: «Не Альтман ли делал вам костюм?» Я спро-

сил бы без всякой насмешки, очень искренно — у меня перепутались все планы. Какой счастливый Грановский! Достаточно ему собрать двух-трех синагогальных служек с кантором, позвать свата-шатхена, поймать на улице пожилого комиссионера — и вот уже готова постановка, и даже Альтмана в сущности не надо.

Так ли это просто? Конечно, не так. Еврейский театр исповедует и оправдывает уверенность, что еврею никогда и нигде не перестать быть ломким фарфором, не сбросить с себя тончайшего и одухотворенного лапсердака.

Этот парадоксальный театр, по мнению некоторых добролюбовски-глубокомысленных критиков объявивший войну еврейскому мещанству и только и существующий для искоренения предрассудков и суеверий, пьянеет как женщина при виде любого еврея и сейчас же тянет его к себе в мастерскую — на фарфоровый завод, обжигает и закаляет в чудесный бисквит, раскрашенную статуэтку зеленого шатхена-кузнечика, коричневых музыкантов еврейской свадьбы Радлова, банкиров с бритыми накладными затылками, танцующих как целомудренные девушки, взявшись за руки, в кружок.

Пластическая основа и сила еврейства в том, что оно выработало и перенесло через столетия ощущение формы и движения, обладающее всеми чертами моды — непреходящей, тысячелетней... Я говорю не о покрое одежды, который меняется, которым незачем дорожить, мне и в голову не приходит эстетически оправдывать гетто или местечковый стиль. Я говорю о внутренней пластике гетто, об этой огромной художественной силе, которая переживает его разрушение и окончательно расцветет только тогда, когда гетто будет разрушено.

Скрипки подыгрывают свадебному танцу. Михозлс подходит к рампе и крадучись, с осторожными движениями фавна прислушивается к минорной музыке. Это фавн, попавший на еврейскую свадьбу, в нерешительности, еще не охмелевший, но уже разбуженный кошачьей музыкой еврейского менуэта. Эта минута нерешительности, быть может, выразительнее всей дальнейшей пляски. Дробь на месте, и вот уже пришло опьянение — легкое опьянение от двух-трех глотков изюмного вина, но этого уже достаточно, чтобы закружилась голова еврея: еврейский Дионис нетребователен и сразу дарит весельем.

Во время пляски лицо Михозлса принимает выражение мудрой усталости и грустного восторга, как бы маска еврейского народа, приближающаяся к античности, почти неотличимая от нее.

Здесь пляшущий еврей подобен водителю античного хора. Вся сила юдаизма, весь ритм отвлеченной пляшущей мысли, вся гордость пляски, единственным побуждением которой, в конечном счете, является сострадание к земле, — все это уходит в дрожание рук, в вибрацию мыслящих пальцев, одухотворенных, как членораздельная речь.

Михозлс — вершина национального еврейского дендизма — пляшущий Михозлс, портной Сорокер, сорокалетнее дитя, блаженный неудачник, мудрый и ласковый портной . . .

А вчера на той же сцене — англазированные жockeyские лапсердаки на стройных девушках-танцовщицах, патриархи, пьющие чай в облаках, как старики на балконе в Гомеле . . .

... и человек-то подбитый ветром и все — сущая чепуха: просроченная командировка и пять кусков сахара. Откуда же взялась демоническая самовластность, страстная убедительность? Шиндель гипнотизирует нас, заставляет желать, чтобы у него был сахар и настоящая командировка.

Температура игры Михоэлса реальна как физическое тепло и холод. Но так же реально он передает температуру исторического дня, и в устах Шинделя — «наркомпрос! наркомпрос!» — звучит, как вздохи золотой арфы.

Когда Шиндель с конструктивной площадки, изображающей комнату, выходит на улицу, вся фигурка пайкового чертика съеживается и слышно, как снег хрустит под наркомпросными валенками. Такого актера нельзя выпускать на реалистическую сцену — вещи расплавятся от его прикосновений. Он создает предметы — иголку с ниткой, рюмку с перцовкой, зеркало, быт, когда ему вздумается. Не мешайте ему — это его право, не отнимайте у него творческой радости. Иногда, утомившись прыжками, утомившись мудрым своим беснованием на беспредметной сцене, Михоэлс садится на пол: «Довольно! Прекратим игру!» ... Это часовщик, созерцающий зубчики в лупу, это еврей, созерцающий свой внутренний мир, — совсем одинокий, с горячей свечой в руках и с выражением страдальческого восторга, как в «Колдунье».

Михоэлсу близки эпилептические крайности: иногда он бывает на грани припадка падучей («Ночь на станции Ры»), но здесь его спасает воистину ...

Михоэлс однажды сказал: «Я умоляю художников сохранить мне мое лицо». И все пьесы Госета построены на раскрытии маски Михоэлса, и в каждой из них

он проделывает бесконечно трудный и славный путь от иудейской созерцательности к дифирамбическому восторгу, к освобождению, к раскованности мудрой пляски.

.

На днях в Киеве встретились два замечательных театра — украинский Березиль и Еврейский Камерный из Москвы. Великий еврейский актер Михоэлс на проходах Березиля, уезжающего в Харьков, сказал, обращаясь к украинскому режиссеру Льву Курбасу: «Мы братья по крови»... Таинственные слова, которыми сказано больше, чем о мирном сотрудничестве и сожительстве народов.

Между тем оба театра непохожи, даже полярны. Еврейский Камерный, приехавший в Киев на шестинедельные гастроли, прикоснулся к родной почве: здесь он у себя дома и бесконечно выигрывает, когда кругом кипит еврейская толпа, звучат еврейские голоса, царит еврейский вкус, покррой одежды, жест...

Березиль мог возникнуть только на Украине. Его молодая рассудочность, трезвость театральной мысли, его балаганная живость, достигшая апофеоза в украинской....

1926.

ЯХОНТОВ

Яхонтов — молодой актер. Он учился у Мейерхольда, Станиславского и Вахтангова и нигде не привился. Это — «гадкий утенок». Он сам по себе.

Работает Яхонтов почти как фокусник: театр одного актера, человек-театр.

Всех аксессуаров у него так немного, что их можно увезти на извозчике: вешалка, какие-то два зонтика, старый клетчатый плед, замысловатые портновские ножницы, цилиндр, одинаково пригодный для Онегина и для еврейского факельщика.

Но есть еще один предмет, с которым Яхонтов ни за что не расстанется — это пространство, необходимое актеру, пространство, которое он носит с собой, словно увязанным в носовой платок портного Петровича, или вынимает его как фокусник яйцо из цилиндра.

Не случайно Яхонтов и его режиссер Владимирский облюбовали Гоголя и Достоевского, то есть таких писателей, у которых больше всего вкуса к событию, происшествию.

Игра Яхонтова, доведенная Владимирским до высокого графического совершенства, вся проникнута тревогой и ожиданием пространства, предчувствием события и грозы.

Наши классики — это пороховой погреб, который еще не взорвался. Чудак Евгений недаром воскрес в Яхонтове; он по-новому заблудился, очнулся и обезумел в наши дни.

На примере Яхонтова видим редкое зрелище: актер, отказавшись от декламации и отчаявшись получить нужную ему пьесу, учится у всенародно признанных словесных образцов, у великих мастеров организованной речи, чтобы дать массам графически точный и сухой рисунок, рисунок движения и узор слова.

Ничего лишнего. Только самое необходимое. По напряжению и чистоте работы Яхонтов напоминает циркача на трапеции. Это работа без «сетки». Упасть и сорваться некуда.

Чудаковатый портной Петрович кроит ножницами воздух так, что видишь обрезки материи, чиновничек в ветхой шинелишке семенит по тротуару, так, что слышишь щелканье мороза, кучера у костров хлопают в рукавицы, а вдруг на тебя медведем навалится николаевский будочник с алебардой или промаячит с зонтиком ситцевая Машенька из «Белых ночей» у гранитного парапета Фонтанки.

И все это могло быть показано одним человеком, все это течет непрерывно и органически, без мелькания кино, потому что спаяно словом и держится на нем. Слово для Яхонтова — это второе пространство.

В поисках словесной основы для своих постановок, Яхонтов и Владимирский вынуждены были прибегнуть к литературному монтажу, то есть искусственному соединению разнородного материала. В некоторых случаях это был монтаж эпохи (Ленин), где впечатление грандиозности достигается соединением политических речей, отрывков из Коммунистического манифеста, га-

зетной хроники и так далее. В других случаях монтаж Яхонтова — это стройное литературное целое, точно воспроизводящее внутренний мир читателя, где рядом существуют, набегая друг на друга и заслоняя друг друга, различные литературные произведения. Таков «Петербург» — лучшая работа Яхонтова, сплетенная из обрывков «Шинели» Гоголя, «Белых ночей» Достоевского и «Медного Всадника».

Основная тема «Петербурга» — это страх «маленьких людей» перед великим и враждебным городом. В движениях актера все время чувствуется страх пространства, стремление заслониться от набегающей пустоты.

На большой площадке Яхонтов играет в простом пиджаке, пользуясь уже указанными аксессуарами (плед, вешалка и проч.)

Показывая, как портной Петрович облачает Акакия Акакиевича в новую шинель, Яхонтов читает бальные стихи Пушкина — «Я черным соболем одел ее блистающие плечи», подчеркивая этим убожество лирической минуты. В тексте еще рукоплещет раек, но Яхонтов уже показывает гайдуков с шубами или мерзнущих кучеров, раздвигая картину до *цельного* театра, с площадью и морозной ночью. В каждую данную минуту он дает широко раздвинутый перспективный образ. Редкому актерскому ансамблю дается так наполнить и населить пустую сцену.

Яхонтов при своем необыкновенном чутье к рисунку прозаической фразы ведет совершенно самостоятельно партию чтеца в то время, как режиссер Владимирский зорко следит за игрой вещами, подсказывая Яхонтову рисунок игры до такой степени четкий и математически строгий, словно он сделан углем.

Яхонтов — единственный из современных русских актеров движется в слове, как в пространстве. Он играет «читателя».

Но Яхонтов — не чтец, не истолкователь текста. Он — живой читатель, равноправный с автором, спорящий с ним, несогласный, борющийся.

В работе Яхонтова и Владимирского есть нечто обязательное для всего русского театра. Это возвращение к слову, воскрешение его самобытной силы и гибкости. Нужна была революция, чтобы раскрепостить слово в театре. И все же ее оказалось мало . . . Яхонтов — один из актеров будущего и работа его должна быть показана широким массам.

1927.

КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ

Скучно жить в трудовой республике, граждане и господа! Пресная жизнь. Никчемная. Какая серость, какое убожество! Чего стоят одни названия магазинов: справа — «Коммунар», слева — «Сорабкооп». Один только парикмахер «Жорж» звучит по-европейски — да и какой это Жорж! — просто паскудный человечешко: хватает клиента за нос, курит и бреет, бреет и курит прямо в лицо и сует посетителю на предмет ожидания пропыленный и засаленный, жирный от многих прикосновений «Огонек» — продукт американцев с Петровки — Кольцова и Зозули. Скучно жить в одной стране, господа, а какая это страна вы сами догадываетесь. Какие-нибудь последние болгары или чехо-румыны шьют костюмы на заказ у портного, а мы как вешалки пялим на себя готовую стандартную одежку — без примерки — в плечах топорщится, в проймах жмет.

А есть другой мир, куда в профсоюзной толстовке и на порог не пустят. Вот извольте надеть наушнички радио, послушать, как заливается гавайская гитара, или купите переводный роман в железнодорожном киоске. Парижская штучка! Дейл-тейл!.. Жанна Дарк без мистики с трюфелями. Есть мир светящихся рек-

лам... «Из страны блаженной, незнакомой, дальней слышно пенье петуха»... Петуха фирмы Пате и Ко, горластого любителя курочек, темпераментного кинопетуха...

Но, друзья мои, не дают нам виз на выезд, так нельзя ли как-нибудь приспособить на парижский манер Петровку? Нет, не спорьте, у Москвы есть кое-какие данные, и комсомолочки бывают недурны... Не смейтесь над физкультурой... Пожалуйте сюда, хрюкающие граждане в толстовках, в государственный кинотеатр — кино-паек выдается как хлеб по заборным книжкам... Сегодня премьера. Сейчас будет проведена над Москвой безобидная маленькая операция — очень пикантная и вполне лояльная... Москва будет показана из номера «Отель Савой», где проживает некто, приехавший в международном вагоне с неопределенной целью и весьма большими средствами.

Не беспокойтесь, граждане, ничего преступного не произойдет. Когда же жить, граждане? Раз в жизни надо полной грудью вздохнуть... Кинорежиссер — Сергей Комаров, сценарист — Олег Леонидов, оператор — К. Кузнецов, художник — Родченко и актеры Ильинский и Фогель «сжигают Москву».

«Кукла с миллионами» — новый фильм Межрабпома — это военный клич, это славный боевик, это веселая советская комедия — это вторая часть другой замечательной картины по сценарию Федора Михайловича Достоевского, на одном петербургском кладбище разыгранной свеженькими покойничками — очень молодыми людьми — с участием тайного советника и одной девицы — отнюдь не комсомолочки. «Бобок» называлась та фильма. Помнишь, читатель, словечко «бобок» — бессмысленное словцо кладбищенского веселья?

Вот уж подлинно: на реках профсоюзных сидели и плакали . . . Ну кто бы мог догадаться, что на Петровке под самым ЦИТ'ом (Центральный Институт Труда), где Гастев учит, как гвозди заколачивать по Тэйлору, можно устроить кино-бобок, заголить по весеннему советскую Москву — «комсомолочку» — ничего, она молоденькая!

В Париже умирала старуха-миллионерша. На кардинальской четырехспальной кровати пригорюнилась обезьянка — символ дряхлеющего мира. Начало заграничное, эпохи Макса Линдера. Первые, но весьма обнадеживающие шаги Великого Немого. Ильинский в гостях у Макса Линдера.

— Что, брат Линдер, есть о чем поговорить . . . Тебя, брат Линдер, скоро Чаплин покроет, а у нас, брат Линдер, еще Глупышкин семенит . . .

— Я — французская миллионерша — завещаю три миллиона не беспутному племяннику, которого дубасит мужеподобная балерина, а двоюродной внучке, русской девчурке, которую рассеянная мать обронила на советском вокзале. Документы защиты в куклу . . .

Родственники плачут и уходят. Племянники жарят прямо из Парижа в Москву (момент получения виз Ленидовым опущен).

Впрочем, я, наверное, ошибаюсь. «Кукла с миллионами» должно быть задумана, как очень тонкий идеологический гротеск. Родченко, сбежавший из Леф'а, даст павильон эпохи ампириного Пате-Людовика. Режиссер будет долго потеть, выколачивая из Ильинского дурь; еще нелепей, еще беспомощней, еще жалчей, чтобы слезы сострадания к великому десятилетию Глупышкина — довоенного, дофокстротного Чарли — хлынули из глаз умиленного зрителя.

И Москва обернулась подлейшей экзотикой.

Двое французов ищут в Москве комсомолочку с родинкой на плече, чтобы, сочетавшись в ней в ЗАГС'е и в костеле, получить теткинны миллионы. На Александровском вокзале французик, как зверь, бросается на кустарный ларек и начинает потрошить русских кукол. Смешно, Олег Леонидов!.. Другой французик выстраивает в коридоре отеля «Савой» русских девушек, вызванных по объявлению (шестнадцать лет) для сепаратного осмотра на предмет означенной родинки. Недостаточно смешно, Олег Леонидов... Московский школьник — этакий беззаботный гамен, каждый день смакующий на улице расклеенные на подобие стенгазеты объявления о натурщицах, перемарывает шестнадцать на шестьдесят шесть, и к французикам являются жуткие старухи. Ох, не надо... Ужас... Отвращение... «Скажите, вам уже исполнилось шестнадцать лет?» Старух вышибают за дверь. Смешно, Олег Леонидов...

Другой французик натаскал тем временем в свой номер со всей Москвы кукол и рубит, режет, потрошит, засучив рукава, как мясник. В «Кукле с миллионами» много кадров, вызывающих физическую тошноту, но этот, помимо воли авторов получивший грубо сатирическую окраску, один из самых мерзких. А вместо четырех десятков муштрованных по военному образцу герльс, вместо этих повзводных цапель высокогородного ревю, авторы «Куклы с миллионами» нам покажут физкультурных юношей и девушек, стреляющих руками и ногами за здоровье Семашки и Подвойского и в усладу «французикам из Бордо».

Граждане-авторы «Куклы с миллионами», кино — страшное, правдивое и мстительное искусство. Здесь все идет за чистую монету. Ваши французики сошли с

экрана и пошли по реальным улицам Москвы. Тень пущена, ловите ее. А ваши комсомольцы . . .

Нам покажут комсомольцев из «Куклы с миллионами». Это родные братья огорченных французских родственников. Это какие-то бараны, жующие резину в роскошных ампирных общежитиях и бодающие невидимой клюкой гранит науки. Эти «комсомольцы» гораздо хуже фривольных парижан. Это пшюты, алаши и сутенеры наизнанку. «Вместо юбки — третий том Бухарина» . . . Вместо кокаина — стенгазета с кощунственным распределением миллионов: 500 000 франков на МОПР, остальное на Авиаким, Автодор и прочих святых советского календаря. Вместо поцелуя в диафрагму — вузовская стипендия имени господина Свидригайлова, в чьем сизом мозгу только и мог зародиться весь этот бред.

Нет, Глупышкин здесь не при чем. Глупышкин — не лакей. Он родоначальник плодотворного кино-безумия, дервиш города, пьяный без вина, нелепый Заратустра асфальтовых площадей.

Сорок тысяч героев Зощенки с подтяжками в одной руке и пирожным, на котором сделан «надкус» — в другой, приветствуют «Куклу с миллионами».

А кстати, у парижского редактора типаж московского пройдохи из кабачка в «Доме Герцена». Можно так изолгаться, что и подлинная борода покажется приклеенной.

Любопытен все же в этой картине ее звериный атавизм, ее мышьяная гонка, младенческое ощущение кино-темпа не как скорости, а как спешки, столь памятной по временам, когда в иллюзиях шел целлулоидный дождь, а горничная с метелкой лезла на стену.

1928.

СТАТЬИ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ГОСУДАРСТВО И РИТМ

Организовывая общество, поднимая его из хаоса до стройности органического бытия, мы склонны забывать, что личность должна быть организована прежде всего. Аморфный, бесформенный человек, неорганизованная личность есть величайший враг общества. В сущности все наше воспитание, как его понимает наше молодое государство в лице Народного Комиссариата по Просвещению, есть организация личности. Социальное воспитание prepares синтез человека и общества в коллективе. Коллектива еще нет. Он должен родиться. Коллективизм возник раньше коллектива. И если социальное воспитание не придет к нему на помощь, нам угрожает опасность остаться с коллективизмом без коллектива.

В настоящую минуту мы видим перед собой воспитателей-ритмистов, пока еще слабых и одиноких, предлагающих государству могущественное средство, завещанное им гармоническими веками: ритм, как орудие социального воспитания. Мне представляется глубоко поучительным, что эти руки протянуты сейчас с надеждой к государству. Они возвращают ему то, что принадлежит ему по праву. Верный инстинкт подсказывает им, что ритмическое воспитание должно стать

государственным. Они повинуются внутреннему голосу своей педагогической совести и находятся сейчас почти у цели: в нашей власти помочь им достигнуть этой цели или отбросить их далеко назад.

Что общего между государством и женщинами и детьми, исполняющими ритмические упражнения, между суровыми преградами, которые ставит нам грубая жизнь, и той шелковой веревочкой, которая протягивается во время этих грациозных упражнений. Здесь готовят победителей, — вот в чем заключается эта связь. Детям, которые сумели так перепрыгнуть через тень, не страшны никакие социальные преграды. Они господают своим усилием. Они сумели соразмерить напряжение своих мускулов во время бега с трудностью препятствий. Трудность задачи может непомерно возрасти. Навык ритмического воспитания остается. Он неисчерпаем, он присутствует и в мирной обстановке гражданского очага и в военной буре, он всюду, где человеческое усилие побеждает сопротивление, он всюду, где нужны победители.

Новое общество держится солидарностью и ритмом. Солидарность — согласие в цели. Необходимо еще согласие в действии. Согласие в действии само по себе есть уже ритм. Революция победила своим ритмом. Он сошел, как огненный язык, на ее голову. Нужно его закрепить навсегда. Солидарность и ритмичность это — количество и качество социальной энергии. Солидарна масса. Ритмичен только коллектив. И разве не устарело это понятие массы, это чисто количественное измерение социальной энергии, разве оно не из потерянного рая сборщиков голосов?

История знает два возрождения: первый ренессанс во имя личности, второй — во имя коллектива. Тяготение нашей эпохи к гуманизму сказалось в этом ре-

нессансном его характере, но гуманистические интересы пришли в нашу эпоху, как бы освещенные морской пеной. Те же идеи, но покрытые здоровым загаром и пропитанные солью революции.

Наблюдая и сравнивая школьную реформу в новой России с «Реформой Школы» первого гуманистического ренессанса, бросается в глаза преодоление филологии. Тот раз филология выиграла и сделалась надолго фундаментом общего воспитания; в этот раз интересы филологии определенно пострадали, с этим никто не станет спорить. Филологическое оскудение школы, которого следует ожидать в ближайшем будущем, в значительной степени плод сознательной школьной политики, это — неизбежное следствие нашей реформы; отчасти в этом ее дух. Однако, антифилологический характер нашей эпохи не мешает считать ее гуманистической, поскольку она возвращает нам самого человека, человека в движении, человека в пространстве и времени, ритмического, выразительного человека. Итак: с одной стороны филологическое предательство, с другой — увлечение человеком в системе Жака Далькроза и в новой философии. Над нами варварское небо, и все-таки мы эллины. Однако, увлечение человеком в системе Далькроза не имеет ничего общего с эстетической идеализацией. Вообще, эстетизм совершенно чужд системе и является случайным налетом, благодаря моде Хеллерау у европейской и американской буржуазии. Скорее, нежели эстетизм, системе свойствен дух геометричности и строгого рационализма: человек, пространство, время, движение, четыре основных ее элемента. Но чему же удивляться, если ритм, на целое столетие изгнанный из общежития, вернулся более анемичным и отвлеченным, нежели он был в Элладе на самом деле. Нет никакой системы Далькроза. Его открытие при-

надлежит к числу гениальных находок, вроде открытия пороха или силы пара. Раз сила найдена, она должна развиваться сама по себе. Имя изобретателя может быть забыто ради ясности принципа, хотя ученики не хотят с этим примириться. Если ритмическому воспитанию суждено стать народным, произойдет чудо претворения отвлеченной системы в плоть народа. Там, где вчера была только схема, — завтра запестреют ткани хоровода и послышится песня. Школа идет впереди жизни. Школа лепит жизнь по своему образу и подобию. Ритмичность школьного года определяется ударениями, выпадающими на праздники школьной олимпиады, вдохновителем и организатором которой будет ритм. На этих праздниках мы увидим новое, ритмически воспитанное поколение, свободно изъявляющее свою волю, свою радость и печаль. Значение гармонических, одушевленных общей идеей, всенародных ритмических выступлений бесконечно велико для творчества будущей истории. До сих пор история творилась бессознательно в муках случайностей и слепой борьбы. Сознательное творчество истории, ее рождение из праздника, как изъявление творческой воли народа, отныне непререкаемое право человечества. В будущем обществе социальная игра займет место социальных противоречий и явится тем ферментом, тем бродильным началом, которое обеспечивает органическое цветение культуры.

Итак, как ни благоприятно ритмическое воспитание для эстетического развития, как ни благодарны будут нам все музы за введение ритмики в школьную программу — ритмика еще не эстетика. Но еще более неправильно считать ее гигиеной, гимнастикой. Ритм требует синтеза, синтеза духа и тела, синтеза работы и игры. Он родился из синкретизма, то есть из слиянного

существования недифференцированных элементов. Но прежде, чем они воссоединились, прежде чем окрепла наша молодая монистическая культура, не тяните ритмики ни в ту, ни в другую сторону, не сватайте ее ни за физическую культуру, ни за психологию, ни за трудовые процессы. Наше тело, наш труд, наша наука еще не таковы, чтобы принять в себя без оговорок ритм. Мы еще должны подготовиться к его приятию. Дайте же ритмике занять то промежуточное, самостоятельное положение, какое подобает социальной силе, проснувшейся от продолжительной летаргии и еще не овладевшей всеми своими возможностями.

1920.

КРОВАВАЯ МИСТЕРИЯ 9-го ЯНВАРЯ

Когда режиссер затевает массовую постановку, он бросает в действие толпы людей, указывает им место, могучим электрическим током вливает в них движение, и они живут под его перстами, шумят, плачут, шарахаются как тростники под напором ветра. У исторических событий нет режиссуры. Без указаний, без сговора выходят участники на площади и улицы, глухим беспокойством выгнанные из укромого жилья. Неведомая сила бросает их на городские стогны во власть неизвестного.

Хорошо, если найдется трибун, чей голос укажет строй — порядок человеческой стихии, если есть могучая цель — крепость, которую нужно взять, Бастилия, которую нужно разрушить. Тогда муравейник, разрыхленный палкой, превращается в стройную систему сосудов, бегущих к центру, где все должно разрешиться, где должно произойти событие.

В трагический день девятого января — эта величественная массовая постановка обошлась без центра, без события; людские толпы не докатились до Дворцового плаца.

Петербургским рабочим не пришлось встретиться с царем, массовое движение, задуманное по строго опре-

деленному плану, было обезглавлено волей истории, и ни один из актеров великого дня, не выполнил указаний режиссера — не дошел до огромной как озеро подковообразной площади с мраморным столпником-ангелом в середине.

Сколько раз разбивалась процессия петербургских рабочих, докатившись до последней тыловой заставы, сколько раз повторялась мистерия девятого января? Она разрослась одновременно во всех концах великого города — и за Московской, и за Нарвской заставой, и на Охте, и на Васильевском, и на Выборгской... Вместо одного грандиозного театра получилось несколько равноправных маленьких. И каждый из них справлялся самостоятельно со своей задачей — обезглавливанием веры в царя, цареубийственным апофеозом, начертанным кровью на снегу.

Любая детская шапочка, рукавичка или женский платок, жалко брошенный в этот день на петербургском снегу, оставались памяткой, что царь должен умереть, что царь умрет.

Может, во всей летописи русской революции не было другого такого дня, столь насыщенного содержанием, как девятое января. Сознание значительности этого дня в умах современников перевешивало его понятный смысл, тяготело над ними, как нечто грозное, тяжелое, необъяснимое.

Урок девятого января — цареубийство — настоящий урок трагедий: нельзя жить, если не будет убит царь. Девятое января — трагедия с одним только хором, без героя, без пастыря. Гапон ступался; как только началось действие, он был уже ничем, он был уже нигде... Сколько убитых, сколько раненых — и ни одного известного человека... (Только профессору Тарле поранили голову саблей. — единственная знаме-

нитость) . . . Хор, забытый на сцене, брошенный, представленный самому себе . . . Кто знает законы греческой трагедии, тот поймет — нет более жалкого, более раздирающего, более сокрушительного зрелища. В ту самую минуту вспыхнула вся трагическая глубина сознания народных масс, когда засвистали пули, люди бросились врассыпную и попадали на землю, в зверином страхе забывая друг о друге.

Характерно, что никто не слышал сигнальных рожков перед стрельбой. Все отчеты говорят, что их прослышали, что стреляли как бы без предупреждения. Никто не слышал, как прозвучал в морозном январском воздухе последний рожок императорской России — рожок ее агонии, ее предсмертный стон. Императорская Россия умерла как зверь — никто не слышал ее последнего хрипа.

Девятое января — петербургская трагедия — она могла развернуться только в Петербурге, — его план, расположение его улиц, дух его архитектуры оставили неизгладимый след на природе исторического события. Девятое января не удалось бы в Москве. Центростремительная тяга этого дня, правильное движение по радиусам от окраины к центру, так сказать, вся динамика девятого января обусловлена архитектурно-историческим смыслом Петербурга. Архитектурная идея Петербурга неизбежно приводит к представлению мощного центрального единства. Всеми своими улицами, облупленными, желтыми и зелено-серыми, Петербург естественно течет в мощный гранитный водоем Дворцовой площади, к красной подкове зданий, рассеченной надвое глубокой меднобитной аркой с взвившейся на дыбы ристалищной четверкой.

Люди не пошли к Медному Всаднику на Сенатской площади, потому что с ним тягаться под стать только всей России и тяжба с ним еще впереди.

Люди шли на Дворцовую площадь, как идут каменщики, чтобы положить последний кирпич, венчающий их революционное строение. Рабочие построили Зимний Дворец — теперь они шли испытать царя.

Но это не удалось — царь рухнул. Дворец стал гробом и пустыней, площадь — зияющим провалом, и самый стройный город в мире — бессмысленным нагромождением зданий.

Что теперь делать? Огромная желтая Обуховская больница со своими палисадниками, двориками и покойничками одна не растерялась — она знала, что ей делать. Как старуха тетка, появляющаяся в семье в дни смертей и рождений, эта старая желтая повитуха приняла тысячи случайно убитых — подстреленную дичь с незаметной раной или свинцовым грузиком в теле.

Никто не знал в этот желтый зимний день, что она принимает новорожденную красную Россию, что каждое убийство было рождением.

Даже хитрый мужичонка в далекой Сибири еще не знал, кого ему предстоит спасать, и не снаряжался в дальний путь.

Мрачно стоял обезглавленный Петербург, дымилась костры на улицах, мерзли на углах запоздалые, ненужные патрули, но город без души немислим, и освобожденная новая душа Петербурга как нежная сиротливая Психея уже бродила на снегах. Первое шествие рабочих от кирпичных и деревянных застав к гранитной чаше Невы, к цельному, как дарохранительни-

ца, архитектурному слитку с ковчегом Адмиралтейства и саркофагом Исаакия не удалось. Но оно началось снова — весь Петербург, грязный, желтый, с домами-ящичками, с лачугами, фабриками и пустырями поднялся и снова со всех сторон пришел через двенадцать лет к Дворцовой площади, чтобы достроить дело рук своих и последним свободно положенным кирпичом оправдать на рабочих костях стоящую мощную и прекрасную твердыню рабочего труда.

22 января 1922.

ВОКРУГ НАТУРАЛИСТОВ

1

Писатель-натуралист не выбирает своего стиля и не получает его готовым. Всякий научный метод предполагает особую организацию научного материала: форма служит мировоззрению и его задачам. В естествознании эти проблемы научно-литературной формы особенно наглядны. Во все критические эпохи естественные науки были ареной борьбы за мировоззрение. Только внимательно изучив историю воззрений на природу, мы поймем закономерность в смене литературных стилей естествознания.

Нигде и никогда Дарвин не называет себя философом природы. Дарвин не навязывает природе какой бы то ни было цели, он отрицает за ней какую бы то ни было благодать. Всего более далек он от мысли приписывать ей волю или разумные зиждущие свойства. Форма его научных трудов, вся совокупность его логических и стилистических приемов вытекает из биологической концепции.

Дарвин выступил в эпоху широчайшего распространения естественно-научного дилетантства. И в Англии, и на континенте процветало любительское изучение

природы. Просвещенные бюргеры и джентльмены коллекционировали, гербаризировали, наблюдали и описывали. Над ними издеваются немецкие романтики и английский сатирический роман. Знаменитый «Пиквикский клуб» Чарльза Диккенса не что иное, как едкая сатира на это любительство. Мистер Пиквик и его собратья по клубу, как известно, натуралисты. Но делать им в сущности нечего. Они занимаются черт знает чем. Они смешат молодых девушек и уличных мальчишек. Почтенные джентльмены, вооруженные сачком и ботанической сумкой, не имели руководящей цели. Описательство и погоня за наблюдениями вылились в карикатуру. Наряду с этим чисто домашним любительством эсквайров и пасторов ширилась и росла волна мироведческих интересов. Кругосветные путешествия вошли в педагогическую моду. Не только финансовая аристократия, но сплошь и рядом средняя буржуазия старалась доставить своим детям случай объехать на торговом или военном судне земной шар.

Новый вид любопытства к природе, с которым мы здесь сталкиваемся, в корне отличается от любознательности Линнея или от пытливости Ламарка. Начиная Дарвином и его путешествием на «Бигле», кончая знаменитым художником Клодом Монэ с его кругосветным путешествием на «Бригитте», мы здесь имеем колоссальную тренировку аналитического зрения и жажду накопления мирового опыта на твердом стержне практической деятельности и личной инициативы.

С удивительным постоянством Дарвин призывает себе на помощь свет и воздух, внимательно учитывает расстояние, пользуется при этом пленерными эффектами, дает захватывающие снимки животного или насекомого, застигнутого врасплох в самом типическом для него положении.

«Щелкун, брошенный на спину и приготовляющийся к прыжку, загибает голову и грудь назад, так что грудной отросток выдается наружу и помещается на краю своего влагалища. Пока продолжается это загибание назад, грудной отросток действием мышц сгибается подобно пружине; в это время животное опирается на землю краями головы и надкрыльев».

Нам уже трудно оценить всю небывалую свежесть этого описания, которое так и просится на пленку кино. Для того, чтобы понять всю глубину художественно-научной революции, осуществляемой Дарвином, сравним эту хищную, насквозь функциональную зарисовку кузнечика с одним из описаний Палласа, натуралиста линнеевской школы, автора [книги] «Физическое путешествие по разным провинциям Российской империи 1769—70 гг.» «Азиатская козявка»: «Величиной с сольтициального жука, а видом кругловатая с шароватой грудью. Стан и ноги с прозеленью, грудь темнее, голова медного цвета. Твердокрылья гладкие, лоснящиеся, с примесью фиолетового цвета — черные. Усы ровные, передние ноги несколько побольше. Поймана при Индерском озере».

Насекомое костюмировано и загримировано под китайский придворный театр, под крепостной балет. Оно преподнесено, как драгоценность в оправе, как живопись в медальоне. Систематика Линнея нуждалась в таких описаниях: в природе есть мудрый план, он постигается непосредственно через классификацию, познавать и восхищаться — одно и то же. «Сие изящное строение сердца с приходящими к нему жилами служит единственным побуждением к кровообращению», — говорит Линней.

Почти столетие отделяет Линнея от Дарвина. Между ними эволюционисты — Кювье, Бюффон, Ламарк.

Структурные и анатомические признаки в натуралистических сочинениях возобладали над чисто живописными приметам. Искусство дворянско-феодалной миниатюры пришло в упадок. Но по существу мало что изменилось.

На место неподвижной системы природы пришла живая цепь органических существ, подвижная лестница, стремящаяся к совершенству. Вместо Бога-архитектора у деиста Ламарка конституционный монарх, не вмешивающийся во внутренние дела природы. Классификация по Ламарку — нечто искусственное, как бы волосная сетка, накинута человеком на разнообразие явлений. Что же остается теперь натуралисту, как не восхищаться по-прежнему, но уже не единичными феноменами природы, но ее классами, расположенными в порядке поступательного развития?

Между тем французская революция оставила глубокий след на стиле естествоведов. Тот же Бюффон в своих научных трудах выступает в роли революционного оратора. Он восхвалял естественное состояние лошади, ставил людям в пример табуны диких лошадей, воздавал почести гражданской доблести коня.

А Ламарк, пишущий свои лучшие труды как бы на гребне волны Конвента, постоянно впадает в тон законодателя и не столько описывает, сколько декретирует законы природы.

Замечательный прозаизм трудов Дарвина был глубоко подготовлен историей. Дарвин раз навсегда изгнал из естествознания всякое красноречие и всякую риторику, всякий телеологический пафос во всех его видах. Он имел мужество быть прозаичным, потому что имел многое и многое сказать и не чувствовал себя никому обязанным ни благодарностью, ни восхищением.

«Происхождение видов» состоит из пятнадцати глав; каждая из них расчленяется на десять-пятнадцать подглавок, размером не больше воскресного фельетона Таймса. Книга построена с таким расчетом, чтобы читатель с каждой точки обзирал все целое труда. О чем бы ни говорил Дарвин, куда бы его ни уводили извилины научной мысли, проблема всегда стоит в полном своем объеме. Факты наступают на читателя не в виде одиночных примеров-иллюстраций, а развернутым фронтом, сериями. Приливы и отливы научной достоверности, подобно ритму фабульного рассказа, оживляют дыхание каждой главы и подглавки. Только в совместном дыхании, только в созвездиях научные примеры Дарвина получают значимость.

«Происхождение видов» ошеломило читателей революционностью содержания, новизной мысли. Сила и новизна формы литературных трудов Дарвина прошла незамеченной, хотя много способствовала освоению широчайшими кругами его теории.

Научный стиль старой линнеевской натуралистики знал только два элемента: красноречие общих мест и метафизические и богословские рацеи и пассивно-зерцательную описательность. С Бюффеном и Ламарком в научный стиль ворвалась гражданская, революционная, публицистическая струя.

Дарвин вступает с природой в отношение военного корреспондента, интервьюера, отчаянного репортера, которому удалось подсмотреть событие у самого истока. Он никогда ничего не описывает, он только характеризует, и в этом смысле Дарвин как писатель принес в

натуралистику вкусы современного ему английского читателя. Не следует забывать, что одновременно с Дарвином читали и Диккенса — и тот и другой нравились публике по тем же самым причинам.

Дарвин никогда не выписывает весь длинный «полицейский» паспорт животного или растения со всеми его приметами. Он пользуется природой, как великой организованной картотекой. Классификация поставлена им на место, она перестала быть самоцелью. В результате — изумительная свобода в расположении научного материала, разнообразие фигур доказательства и емкость изложения.

Питая неизъяснимое отвращение к догматике, Дарвин только рассказывает о том, как сложились его убеждения. Так, рассказывая о том, как сухопутные хищники могут превращаться в земноводных, и поясняя это превращение, он тут же оговаривается: «Если бы меня спросили, как некоторые насекомоядные четвероногие превратились в летучих мышей, я бы, пожалуй, смутился, но это не важно».

Дневник путешествия на «Бигле» с его новым принципом естественно-научной вахты продолжается в «Происхождении видов» с той разницей, что Дарвин протягивает свои корреспондентские нити к бесчисленным адресатам, несущим ту же самую службу, во все концы земного шара. Коневодства, птичники, пчельники, оранжереи, принадлежащие специалистам, людям самостоятельного и органического опыта, расширяют лабораторию Дарвина. Больше того — они оплодотворяют его труд. Автор в постоянной переписке с этими добровольными помощниками. Он их благодарит, он ссылается на них.

Солидарность Дарвина с международной верхушкой естествоведов придает его научному стилю тепло-

кровность, самоуверенность и сообщает его аргументации силу дружеского рукопожатия: весь мир — хозяйство натуралиста. Торговый флаг великобританского флота реет над страницами его книги.

Необходимо отметить тягу Дарвина к читателю-средняку, его желание раскрыться перед средним джентльменом, каким-нибудь сэром Эллиотом, который прислал ему в подарок голубей. Дарвин пишет, как человек, рассчитывающий на поддержку необоримой толщи читателей.

Не обращать внимания на форму научных произведений так же неверно, как игнорировать содержание художественных: элементы искусства неутомимо работают и здесь и там. Блестяще разработанная столетними усилиями терминология в зоологии обладает исключительно впечатляющей образной силой. У Дарвина названия животных и растений звучат как только что найденные меткие прозвища.

Дарвина и Диккенса читала одна и та же публика. Научный успех Дарвина был в некоторой своей части и литературным. Читатель испытывал жесточайшую реакцию против поучительного, сентиментального, кисло-сладкого жанра, которым обкормили его предшественники Диккенса. Этот читатель всему на свете предпочитал характерное — картины природы, социальные контрасты.

Прозаизм Чарльза Дарвина пришелся как нельзя более кстати. Его научная проза с ее географической сухостью, с ее атмосферической зоркостью, с ее характеристиками в действии на взрывающихся пачками примерах была воспринята, как автобиографический литературный документ. Быть может, больше всего подкупало читателя то, что Дарвин не высказывал ни-

какого литературного телеологического восторга перед законами и тенденциями, которые с ясностью утверждал.

Глаз натуралиста — орудие его мысли, так же, как и его литературный стиль. Бодрящая ясность, словно погожий денек умеренного английского лета, то, что я готов назвать хорошей научной погодой, в меру приподнятое хорошее настроение автора заражают читателя, помогают ему освоить теорию Дарвина.

Никто не сумеет популяризировать теории Дарвина лучше его самого. Его научный стиль необходимо изучать, но подражать ему бесплодно, потому что историческая ситуация, при которой он возник, никогда больше не повторится.

1932.

**ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ, ЗАМЕТКИ,
ЧЕРНОВИКИ**

К СТАТЬЕ «ФРАНСУА ВИЛЛОН» (1910)

Французский стих по природе своей, как никакой другой, приспособлен к тончайшим ритмическим нюансам. Нельзя говорить о ямбе, о хорее во французском стихе, точно так же бесполезно разбивать его на стопы. Ведь каждая строчка французского стиха живет собственной, независимой жизнью в силу того основного положения французской поэтики, что долгота и ударение суть величины переменные.

Если говорят, что прелесть „Testaments“ Виллона в неожиданных переходах, в чередованиях настроений, как волн, смывающих друг друга, то одинаково следует видеть ее в разнообразии ритмическом. „Testaments“ Виллона — это настоящий ритмический калейдоскоп. Кажется, он взял «вафельницу» huitain только для того, чтобы разбить ее вдребезги. Читая Виллона, трудно поверить, что имеешь дело с неизменным восьмисложным huitain. Ритм всегда в строгом соответствии с содержанием. В легкомысленной части своего произведения он жонглирует словами проворно и небрежно, как настоящий фокусник, пользуясь даже enjambements:

Beaulx enfans, vous perdez la plus
Belle rose de vo chapeau.

К «ЗАМЕТКАМ О ШЕНЬЕ» (1922)

„O Eta, mont ennobli...“, относимый к fragments d'Idylles...

Между глаголом, существительным и эпитетом на всем протяжении этой небольшой поэмы разворачивается напряженная борьба за действительную силу, за обладание временем, тонической мерой стиха, за гегемонию образа и действия. Если выписать в порядке расположения стихов — от первого до последнего — приходящиеся на каждый эпитет, получается следующая картина: при средней для нормального александрийца насыщенности двумя эпитетами — 3-й, 4-й, 6-й, 7-й, 9-й, 10-й и 13-й стихи несут только по одному эпитету; 8-й, 11-й и 12-й дают ноль эпитета, — то есть пропорционально нарастанию действия эпитет сходит на нет, а кульминационные стихи дают как бы зияние эпитета — 11-й и 12-й, рассеченные паузой.

Особенно интересен в смысле безэпитетности одиннадцатый стих —

Attend sa récompense et l'heure d'être un dieu.

... Он держится на дополнении, следующем после союза «и» и зависящем от глагола „attend“, именно „l'heure d'être un dieu“, причем существительное „l'heure“ исполняет функции глагола, то есть насыщено самым чистым действием и по температуре своей есть уже как бы существительное, расплавленное в глагол.

Внутреннее разнообразие элегии Шенье: глаголы, существительные, эпитеты постоянно выпадают в своем первоначальном и естественном значении; они «зияют» или несут службу другой части речи.

Возьмем, например, первую половину двенадцатого стиха поэмы:

Le vent souffle et mugit...

Здесь два глагола — „souffle“ и „mugit“ определенно несут службу эпитетов, и все построение фразы не что иное, как замаскированное предложение двух эпитетов: «свистящий» и «стенающий» — в приложении к ветру.

Десятый стих:

Et l'oeil au ciel, la main sur la massue antique, — характеризуется активностью существительного „mas-sue“ — палица. Существительное взято в действенном глагольном значении, скорее как потенция действия и напряженная готовность мышечной силы героя, чем как вещь.

В стихе девятом:

Étend du vieux lion la dépouille héroïque, — происходит зияние эпитета „héroïque“, который несет службу глагола, ибо истинное, незамаскированное значение фразы таково: Алкид «геройствует», расстилая шкуру.

Таким образом, недостаток синтаксической гибкости александрийца возмещается разнообразием стилистических ходов, выход из золотой клетки александрийского стиха найден, и выход этот очень национальный.

Очень близкое к Пушкину место («Поэт и чернь») — Гомер в „L'Aveugle“:

Chante...

Amuse notre ennui; tu rendra grâce aux dieux...

... А мы слушаем тебя.

ЗАПИСИ 1931 ГОДА

2 мая 31 г. Чтение Некрасова. «Влас» и «Жил на свете рыцарь бедный».

Некрасов

Говорят, ему видение
Все мерещилось в бреду:
Видел света преставление,
Видел грешников в аду.

Пушкин

Он имел одно виденье,
Недоступное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.

«С той поры» — и дальше как бы слышится второй потаенный голос:

Lumen coelum, Sancta Rosa . . .

Та же фигура стихотворная, та же тема отозвания и подвига.

Здесь общее звено между Востоком и Западом. Картина ада. Дант лубочный из русской харчевни:

Черный тигр шестокрылат . . .

Влас увидел тьму кромешную . . .

**

[О Пастернаке] 1. Набрал в рот вселенную и молчит. Всегда-всегда молчит. Аж страшно.

Набравши море в рот,
Да прыскает вселенной.

2. К кому он обращается?

К людям, которые никогда ничего не совершат . . .

Как Тиртей перед боем, — а читатель его — тот слушает и побежит . . . в концерт

**
*

В современной практике глаголы ушли из литературы. К поэзии они имеют лишь косвенное отношение. Роль их чисто служебная: за известную плату они перевозят с места на место. Только в государственных декретах, в военных приказах, в судебных приговорах, в нотариальных актах и в завещательных документах глагол еще живет полной жизнью. Между тем глагол есть прежде всего акт, декрет, указ.

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ 1931—1932 ГОДОВ

1. (ПУТЕШЕСТВИЕ В АРМЕНИЮ)

СЕВАН

Жизнь на всяком острове — будь то Мальта, Святая Елена или Мадера — протекает в благородном ожидании Ушная раковина истончается и получает новый завиток /в беседах мы обнаруживаем больше снисходительности и терпимости к чужому мнению, все вместе оказываются посвященными в мальтийский орден скуки и рассматривают друг друга с чуть глуповатой вежливостью, как на вернисаже.

Даже книги передаются из рук в руки бережнее [чем] стеклянная палочка градусника на даче . . . /

/При этом местность обнажена/

А ночью можно видеть, как фары автомобилей, пожирающих проложенное с римской твердостью шоссе, пляшут по зигзагам его огоньками святого Эльма.

Там же на острове Севане учительница А. Х. вызвалась обучить меня армянской грамоте. Ее фигурку

заморенной львицы вырезала из бумаги семилетняя девочка: к энергичному платьицу, взятому за основу, были пририсованы жестко условные руки и ноги и еще после минутного раздумья прибавлена неповорачивающаяся голова.

Ненависть к белогвардейцам, презренье к дашнакам и чистая советская ярость одухотворяли А. Смелая и понятливая, красной солдаткой бросила мужа-комсомольца, плохого товарища; воспитывала двух разбойников, Рагина и Хагина, то и дело поднимавших на нее свои кулачки.

То был армянский Несчастливцев Уже пожилой мужчина, получивший военно-медицинское образование в Петербурге — и оробевший от голоса хриплой бабки родины своей; оглохший от /ее/ картофельного кашля, ее честнейших в мире городов; навсегда перепуганный глазастостью и беременностью женщин, лвиным напором хлебных, виноградных и водопроводных очередей.

Кто он? Прирожденный вдовец — при живой жене. Чья-то сильная и властная рука еще давным-давно содрала с него воротничок и галстук.

И было в нем что-то от человека, застигнутого врасплох посещением начальника или родственника и только что перед тем стиравшего носки под краном в холодной воде . . .

Казалось, и жена ему говорит: «Ну какой ты муж, — ты вдовец»С. являл собой пример чистокровной мужской растерянности. Его мучила собственная шея. Там, где у людей воротничок и галстук, у него было какое-то стыдливое место. То был мужчина, беременный сознанием своей вины перед женою и детьми . . .

С каждым встречным он заговаривал с той отчаянной, напропалую заискивающей откровенностью, с какой у нас в России говорят лишь ночью в вагонах.

Хоровое пение — этот бич советских домов отдыха — совершенно отсутствовало на Севане. Древнему армянскому народу претит бесшабашная песня с ее фальшивым былинным размахом, заключенным в бутылку казенного образца.

МОСКВА

Никто не посылал меня в Армению, как, скажем, граф Паскевич грибоедовского немца и просвещеннейшего из чиновников Шопена (см. его «Камеральное описание Армении», сочинение, достойное похвалы самого Гёте).

Выправив себе кой-какие бумажонки, к которым по совести и не мог относиться иначе, как к липовым, я выбрался с соломенной корзинкой в Эривань в мае 30-го года /в чужую страну, чтобы пощупать глазами ее города и могилы, набраться звуков ее речи и подышать ее труднейшим и благороднейшим историческим воздухом/.

Везде и всюду, куда бы я ни проникал, я встречал твердую волю и руку большевицкой партии. Социалистическое строительство становится для Армении как бы второй природой.

Но глаз мой /падкий до всего странного, мимолетного и скоротечного/ улавливал в путешествии лишь светоносную дрожь /случайностей/, растительный орнамент /действительности/

Неужели я подобен сорванцу, который вертит в руках карманное зеркальце и наводит всюду, куда не следует, солнечных зайчиков?

. Нельзя кормить читателя одними трюфелями! В конце концов он рассердится и пошлет вас к черту! Но еще в меньшей степени можно его удовлетворить деревянными сырами нашей кегельбанной доброкачественной литературы.

По-моему, даже пустой шелковичный кокон много лучше деревянного сыра... /Давайте почувствуем, что предметы не кегельбаны!/ Выводы делайте сами.

Первый урок армянского языка я получил у девушки по имени Марго Вартаньян. Отец ее был важный заграничный армянин... ..и, как мне показалось, консул сочувствующих советскому строительству с национальной точки зрения буржуазных кругов. В начале советизации он состоял комиссаром в Эчмиадзине. По словам Марго последний католикос кормился одними цыплятами. О священничестве, богатстве и правительстве Марго говорила с наивным ужасом пансионерки.

В образцовой квартире Вартаньян электрический чайник и шербет из лепестков роз тесно соприкасался с комсомольской учебой. Даже свой недолеченный в Швейцарии туберкулез бедняжка Марго /растила в Армении как драгоценный тепличный цветок/ остановила пылью эриванских улиц: «Дома умирать нельзя!»

Она руководила пионерами, кажется, и хорошо владела /изученным после итальянского/ наречием бузы и шамовки.

Бывая у Вартаньян, я неизменно сталкивался с другом ее отца — обладателем столь изумительного габсбургского профиля, что хотелось спросить его, как делишки святой инквизиции.

В общем, я ничему не научился у древне-комсомольской царевны. Мало того, что она лишена была всяче-

ских педагогических способностей, Марго наотрез не понимала таинственности и священной прелести /красоты/ родного языка.

Урок, заметанный на живую нитку любезностей, длился не более получаса. Донимала жара. Коридорные метались по всей гостинице и ревели, как орангутанги. Помнится, мы складывали фразу: «Муж и жена приехали в гостиницу».

Женские губы, прекрасные в болтовне и скороговорке, не могут дать настоящего понятия . . .

Это был гребень моих занятий арменистикой — год спустя после возвращения из Эривани — /печальная/ глухонемая пора, о которой я должен теперь рассказать еще через год и снова в Москве и весной.

Москва подобрела: город чудный, подробный, дробный, с множественным и сложным, как устройство /глаза у комнатной мухи/ мушиного глаза, зрением.

Что мы видим? Утром — кусок земляничного мыла, днем . . .

В январе мне стукнуло 40 лет. Я вступил в возраст ребра и беса. Постоянные поиски пристанища и неудовлетворенный голод мысли.

А. Н., подняв на меня скорбное мясистое личико измученного в приказах посольского дьяка, собрав всю елейную невинность и всю заморскую убедительность интонаций москвича, побывавшего в Индии, вздев воронью бороденку

Я сейчас нехорошо живу. Я живу, не совершенствуя себя, а выжимая из себя какие-то дожимки и остатки.

Эта случайная фраза вырвалась у меня однажды вечером после ужасного бестолкового дня вместо всякого так называемого «творчества».

Для Нади.

К тому же легкость вторглась и в мою жизнь, — как всегда, сухую и беспорядочную и представляющую мне щекочущим ожиданием какой-то беспроектной лотереи, где я мог вынуть все что угодно, — кусочек земляничного мыла, сиденье в архиве в палатах первопечатника или вожаемое путешествие в Армению, о котором я не переставал мечтать.

Хозяин моей временной квартиры, молодой белокурый юрисконсульт, врывался по вечерам к себе домой, схватывал с вешалки резиновое пальто и ночью улетал на «юнкерсе» то в Харьков, то в Ростов.

Его нераспечатанная корреспонденция валялась по неделям на неумытых подоконниках и столах.

Постель этого постоянно отсутствующего человека была покрыта украинским ковричком и подколота булавками.

Вернувшись, он лишь потряхивал белокурой головой и ничего не рассказывал о полете.

/Соседи мои по квартире были трудящиеся довольно сурового закала. Мужчины умывались в сетчатых майках под краном. Женщины туго накачивали примуса, и все они яростно контролировали друг друга в соблюдении правил коммунального общежития./ Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь...

Вряд ли эти люди были достойными носителями труда — энергии, которая спасает нашу страну...

... Им не был чужд и культ умерших, а также некоторое уважение к отсутствующим. /Мы напоминаем и тех и других/. Ежики, проборы, височки, капустные прически и бороды...

Табаки на дворике торчали как восклицательные знаки. Цветы стояли, прикуривая друг у друга по старинному знакомству. Между клумбами был неприкосновенный воздух, свято принадлежавший небольшому жакту. Дворик был проходной. Его любили почтальоны и мусорщики. И меня допекала его подноготная с коношнями, сарайчиками и двумя престарелыми черствыми липами, давно состоявшими на коричневой пенсии. Их кроны давно отшумели.

Старость ударила в них казницей молнией.

Приближался день отъезда. К. купил дьявольски дорогой чемодан, заказал плацкарту на Эривань через фисташковый Тифлис...

Я навсегда запомнил картину семейного пиршества у К.: дары московских гастрономов на сдвинутых столах, бледно-розовую, как испуганная невеста, семгу (кто-то из присутствующих сравнил ее жемчужный жир с жиром чайки), зернистую икру, черную, как масло, употребляемое типографским чертом, если такой существует.

Разлука — младшая сестра смерти. Для того, кто уважает резоны судьбы, есть в проводах зловеще свадебное оживление. А тут еще примешался день рождения... Я подошел к старухе К., тихой как моль, и сказал ей несколько лестных слов по поводу сына. Счастье и молодость собравшихся почти пугали ее... Все старались ее не беспокоить.

Коричневая плиточная московская ночь... Липы пахнут дешевыми духами.

Ситцевая роскошь полевых цветов смотрела из умывальных кувшинов. Сердце радовалось их демократической азбучной прелести... . . . Сколько раз за ними нагибались с веселыми восклицаниями, столько раз они отработывали в кувшине — колокольчиками, лапочками, львиной зевотой.

Цветы — великий народ и насквозь грамотный. /Волнующий/ их язык состоит из одних лишь собственных имен и наречий.

СУХУМ

Шесть недель, назначенные мне для проживания в Сухуме, я рассматривал как преддверие и своего рода карантин — до вызова в Армению. Комендант по имени Сабуа, ловко скроенный абхазец с ногами танцора и румяным лицом оловянной куклы, отвел мне солнечную мансарду в «доме Орджоникидзе» /который стоит как гора на горе, вынесен как на подносе срезанной горы; так и плывет в море вместе с подносом/.

Я быстро и хищно, с феодальной яростью осмотрел владения окоема: мне были видны, кроме моря, все кварталы Сухума, с балаганом цирка, казармами. . . .

Не потому ли с такой отчетливостью запоминаются места, где нас. . . .

Там же, в Сухуме, в апреле я принял океаническую весть о смерти Маяковского. Как водяная гора жгутами бьет позвоночник, стеснила дыхание и оставила соленый вкус во рту.

Три недели я просидел за столом напротив Б[езыменского] /и так и не разгадал, о чем с ним можно разговаривать/.

Однажды, столкнувшись со мной на лестнице, он сообщил мне о смерти Маяковского. Человек устроен наподобие громоотвода. Для таких новостей мы заземляемся, а потому и способны их выдержать. И новость, скатившись на меня в образе Б., ушла куда-то вниз под ступеньки.

Б. изобрел интересный способ общаться с людьми при помощи сборной граммофонной пластинки, приуроченной к его настроению.

Наливая себе боржому в стакан, он мурлыкал из «Травиаты». То вдруг огреет из «Риголетто». То расхохочется шаляпинской «блохой» . . .

«Рост» — оборотень, а не реформатор. Кроме того, он фольклорный дурень, плачущий на свадьбе и смеющийся на похоронах — носить вам не переносить. Недаром мы наиболее бестактны в возрасте, когда у нас ломается голос.

Критики Маяковского имеют к нему такое же отношение, как старуха, лечившая эллинов от паховой грыжи, к Гераклу . . .

В хороших стихах слышно, как шьются черепные швы, как набирает власти /и чувственной горечи/ рот и

/воздуха лобные пазухи, как изнашиваются аорты/ хозяйничает океанской солью кровь.

Общество, собравшееся в Сухуме, приняло весть о гибели первозданного поэта с постыдным равнодушием. /Ведь не Шаляпин и не Качалов даже!/ В тот же вечер плясали казачка и пели гурьбой у рояля студенческие вихрастые песни.

Как и всегда бывает в дороге /в пути/, в центре внимания моего встал человек, приглянувшийся просто так — на здоровье . . .

Я говорю о собирателе абхазских народных песен М. Коваче. Еврей по происхождению и совсем не горец, не кавказец, он обстругал себя в талию, очинил, как карандаш, под головореза.

Глаза у него были очаровательно наглые, со злющинкой и какие-то крашенные, желтые . . .

От одного его приближения зазубренные столовые ножи превращались в охотничьи.

/Мир для него разделялся надвое: абхазцы и женщины. Все прочее — нестоящее и ерша. Ему приводили коротконогих крестьянских лошадей . . . Эка важность . . . Было бы седло. Смотрите: он уже прирос к коню, обнял его ляжками — и был таков . . . /

Абхазские песни удивительно передают верховую езду. Вот копытится высота; лезет в гору и под гору, изворачивается и прямится бесконечная, как дорога, хоровая нота — камертонное бессловесное длинное а-а-а! И на этом ровном многокопытном звуке, усевшись на нем, как в седле, плывет себе запевала, выводя озорную или печально-воинственную мелодию . . .

Песни, изданные Ковачем, чрезвычайно просто аранжированы. Мне запомнилась одна: музыкальная мельница или дразнилка. /Она, как и все прочие, написана на случай./ Старик в Очемчирах замучил сход: говорил-говорил и кончить не мог.

Ее наиграл для меня на рояле /непривычными/ наглыми пальцами этнограф и горец — Ковач.

/В Сухуме меня пронзил древний обряд погребального плача. Шел я под вечер . . . /

Совсем другое впечатление производил грузин Анатолий Какавадзе, директор тифлисского национального музея, гостивший на той же оцепленной розами, никем не заслуженной, блаженной даче. Губы его были замечаны шелковой ниткой, и после каждого сказанного слова он как бы накладывал на них шов.

Впрочем, никогда не растолковывайте человеку символику его физического облика. Этой бестактности не прощают даже лучшему другу.

С Какавадзе — он был крупнейшим радиоспецом у себя на родине — мы ходили в клуб субтропического хозяйства ловить /средиземную/ миланскую волну на шестиламповый приемник.

Он смахнул с аппарата какого-то забубенного любителя, из тех, что роются в домашнем белье эфира, вздел наушники с монашеским обручем и сразу — нащупал и подал нечто по своему вкусу.

/А вкус у него был горький, миндальный. Раз как-то он сказал: — Бетховен для меня слишком сладок, — и осекся . . . /

Удивительна судьба наших современников, — судьба сынов и пасынков твоих, СССР.

Человека разрабатывают, как тему с вариациями, ловят его на длину волны.

Так, инженер Какавадзе сначала принял постриг электротехника, потом распутывал клубок неправды в РКИ, а ныне он заведует грузинской фреской с ее упаси меня Боже какими огромными малярными глазами.

Уже потом, значительно позже, я /познал и/ разгадал духовную формулу Какавадзе.

Казалось /где-то и когда-то/ из него выжали целую рощу лимонов. За ним волочилась сама желтуха и малярия. Свою собственную усталость он вычислял во сне. Он боролся с нею, — но выздоравливал /от нее как только его о чем-нибудь интересном спрашивали/. Его усталость была лишь скрытой формой энергии.

У него было сонное выражение математика, производящего на память, без доски, многочленный . . .

Веки с ячменным наростом . . .

В приемной Совнаркома я видел жалобщиков-крестьян. Старики-табаководы в черной домотканной шерсти похожи на французских крестьян-виноделов.

У Нестора Лакобы — главы правительства — движения человека, стреляющего из лука . . . Это он /привез медвежонка на автомобиле/ получил медвежонка в подарок от крестьянского оратора на митинге в Ткварчелах. Слуховая трубка глухого Лакобы воспринимается как символ власти.

.. /Он убивает кабанов и приносит великолепные . . . /

Абхазцы приходят к марксизму /минуя христианство Смирны, минуя ислам/ не через Смирну и не обливав лезвие, а непосредственно от язычества. У них нет

исторической перспективы, и Ленин для них первее Адама. Их всего горсточка — 200 000.

Слава хитрой языческой свежести и шелестящему охотничьему языку — слава!

ФРАНЦУЗЫ

Художник по своей природе — врач, исцелитель. Но если он никого не врачует, то кому и на что он нужен?

Такая определенность света, такая облизывающаяся дерзость раскраски бывает только на скачках /в которых ты заинтересован всей душой... . . . /

Каждый дворик, подергивавшийся светотенью, продавали из-под полы.

Посетители передвигаются мелкими церковными шажками.

/В углу на диване сидит москвичка с карими глазами в коротком платье цвета индиго и смотрит на Монэ/. Каждая комната имеет свой климат./ Они так отличаются, что глаз, переходя от Гогена к Сезанну, может простудиться. Еще чего доброго надует ему ячмень от живописных сквозняков./

В комнате Клода Монэ /и Ренуара/ воздух речной. /Входишь в картину по скользким подводным ступенькам дачной купальни. Температура 16° по Реомюру... Не заглядывайся, а то вскочат на ладонях янтарные волдыри, как у изнеженного гребца, который ведет против течения лодку, полную смеха и муслина./

Назад! Глаз требует ванны. Он разохотился. Он купальщик. Пусть еще раз порадуют его свежие краски Иль-де-Франс

Венецианцы смеялись, когда Марко Поло рассказывал, что в Китае ходят бумажные деньги. На них купишь разве что во сне. Золото не прилипает к шелковистой бумаге.

Что-то шепелявила тень, но никто ее не слушал. Липки стояли с мелко нарубленной рублевой листвою.

. . . В основном — эта широкая и сытая улица барского труда давала все то же движение, — /катышечки-волны чуть-чуть подсиненных холстов, обгоняемые ситцевыми тенями;/ ленивые фронтоны дрожали, как холст, и обтекали светом.

Клод Монэ продолжался, от него уже нельзя было уйти.

. . . Роскошные плотные сирени Иль-де-Франс, сплюснутые из звездочек в пористую, как бы известковую губку, сложившиеся в грозную лепестковую массу; дивные пчелиные сирени, исключившие /из мирового гражданства все чувства/ все на свете, кроме дремучих восприятий шмеля, — горели на стене самодышащей купиной /и были чувственней, лукавей и опасней огненных женщин/, более сложные и чувственные, чем женщины.

ВОКРУГ НАТУРАЛИСТОВ

С тех пор, как друзья мои — хотя это слишком громко, я скажу лучше приятели — вовлекли меня в круг естествонаучных интересов, в жизни моей об-

разовалась широкая прогалина. Передо мною раскрылся выход в светлое деятельное поле.

Мы приближаемся к тайнам органической жизни. Ведь для взрослого человека самое трудное — это переход от мышления неорганического, к которому он приучается в пору своей наивысшей активности, когда мысль является лишь придатком действия, к первообразу мышления органического.

Задача разрешается в радужном чечевичном пространстве в импрессионистской среде /где художники милостью воздуха — лепили один мазок в другой/.

Самый спокойный памятник из всех, какие я видел. Он стоит у Никитских ворот, запеленутый в зернистый гранит. Фигура мыслителя, приговоренного к жизни.

Ламарк чувствует провалы между классами. /Это интервалы эволюционного ряда. Пустоты зияют. /Он слышит синкопы и паузы эволюционного ряда. Он предчувствует истину и захлебывается от отсутствия подтверждающих ее фактов и материалов. (Отсюда легенда о его конкребоязни). [Ламарк] прежде всего законодатель. Он говорит как Конвент. В нем Сен-Жюст и Робеспьер. Он не столько доказывает, сколько декретирует природу.

/В обратном, нисходящем движении с Ламарком по лестнице живых существ есть величие Данте. Низшие формы органического бытия — ад для человека./

Ламарк заплакал глаза в лупу. Его слепота равна глухоте Бетховена.

У Ламарка /умные/ басенные звери. Они приспособивались к условиям жизни по *Лафонтену*. Ноги цапли, шея утки и лебеда/, — все это милая разумная находчивость покладистой и трезвой басни/.

В эмбриологии нет смысловой ориентации и быть не может.

Самое большое — она способна на эпиграмму.

Линней ребенком в маленькой средневековой Упсале не мог не заслушиваться объяснений в странствующем зверинце

Слушатели воспринимали зверя очень просто: он показывает людям *фокус* /одним только фактом своего существования/ в силу своей природы, в силу своего естества. Звери резко разделялись на малоинтересных домашних и заморских. А позади заморских, привозных угадывались и вовсе баснословные, к которым не было ни доступа, ни проезда, ибо их затруднительно было сыскать на какой бы то ни было географической карте.

[ПАЛЛАС]

Никому, как Палласу, не удавалось снять с русского ландшафта серую пелену ямщицкой скуки. В ее /мнимой/ однообразности, приводившей наших поэтов то в отчаяние, то в унылый восторг, он подсмотрел /неслыханное разнообразие крупиц, материалов, прослоек/ богатое жизненное содержание. Паллас — талантливый почвовед. Струистые шпаты и синие глины доходят ему до сердца

Он испытывает натуральную гордость по случаю морского происхождения бело-желтых симбирских гор и радуется их геологическому дворянству.

Я читаю Палласа с одышкой, не торопясь. Медленно перелистываю акварельные версты. Сажу в почтовой карете с разумным и ласковым путешественником. Чувствую рессоры, пружины и подушки. Вдыхаю запах нагретой солнцем кожи и дегтя. Переваливаюсь на ухабах. Паллас глядит в окошко на волжские увалы. Вот я ворочаюсь, сдавленный баулами. Ключ бежит, висясь по белому мергелю. /Кремнистые глины . . . Струистые глины . . . А в карете-то

Вообразите спутником Палласа никого иного, как Н. В. Гоголя. Все для него иначе. Как бы они не перегрызлись в дороге. Карета все норовит свернуть на сплошную пахотную землю./

/Картина огромности России слагается у Палласа из бесконечно малых величин. Ты скажешь: в его почтовую карету впряжены не гоголевские кони, а майские жуки. Не то муравьи ее тащат цугом, с тракта на тракт, с проселка на проселок, от чувашской деревни к винокуренному заводу, от завода — к сернистому ключу, от ключа — к молошной речке, где водятся выдры./

Палассу ведома и симпатична только *близь*. От близи к близи он вяжет вязь. Крючками и петельками надставляет свой горизонт. Незаметно и плавно в карете, запряженной муравьями, переселяется из округи в округу.

Паллас насвистывает из Моцарта. Мурлычет из Глюка. Кто не любит Генделя, Глюка и Моцарта, тот

ни черта не поймет в Палласе. Вот уж подлинно писатель не для длинных ушей. Телесную круглость и любезность немецкой музыки он перенес на русские равнины. /Он писал не тонко измельченными растительными красками. Он красит и дубит и вываривает природу с красным сандалом. Он вываривает крутиком и смолчугом. Симбирские пашни, березники и киргизские степи — в арзамасском фабричном котле. Он гонит краску из березовых листьев с квасцами — на китайку для нижегородских баб и на синьку для неба./

/Нравы, обычаи, ритуалы, свадебные и похоронные культы, уборы женщин, ремесла и промыслы жителей/ все что видит путешественник — лишь краски и узоры, отпечатанные на холстах земли, на ее полотенцах.

Удивительный был немец этот Паллас. Мне кажется, он умудрился объехать всю Россию от Москвы до Каспия — с большим избалованным сибирским котом на коленях. /Уйму видел/ /Видел метко, записывал остро; был он и географ, и аптекер, и красильщик, и дубильщик, и кожевенник, был ботаник, зоолог, этнограф, написал полезную и прелестную книгу, пахнущую свежерашенной холстиной и грибами, — а все не стрягивал своего кота с колен и чесал ему глухое с проседью ухо — и так всю дорогу ни разу его не беспокоил./ Кот, наверно, был глухой, с проседью за ухом.

А ведь его благородие, вздумай он прокатиться еще раз, мог попасть в лапы и к Пугачеву. То-то он писал бы ему манифесты на латинском языке или указы по-немецки. Ведь Пугачев жаловал образованных людей. Он бы в жизни Палласа не повесил. В канцелярии Петра Федоровича сидел тоже немец, поручик Шваньч или

Шванвич. И строчил: ничего . . . А потом отсиживался в баньке.

Светлая и объемистая книга Палласа отпечатана на удивительно сухой китайской бумаге. Страницы ее набраны широко и зернисто. Чтение этого натуралиста прекрасно влияет на расположение чувств, выпрямляет глаз и сообщает душе минеральное кварцевое спокойствие.

Физиология чтения еще никем не изучена. Между тем — эта область в корне отличается от библиографии, и надлежит ее относить к явлениям органической природы.

Книга в работе, утвержденная на читательском пюпитре, уподобляется холсту, натянутому на подрамник.

Она еще не продукт читательской энергии, но уже разлом биографии читателя; еще не находка, но уже добыча. Кусок струистого шпата . . .

Наша память, наш опыт с его провалами, тропы и метафоры наших чувственных ассоциаций достаются ей в обладание бесконтрольное и хищное.

И до чего разнообразны ее военные уловки и хитрости ее хозяйничанья.

Демон чтения вырвался из глубин *культуры-опустошительницы*. Древние его не знали. В процессе чтения они не искали иллюзию. Аристотель читал бесстрастно. Лучшие из античных писателей были географами. Кто не дерзал путешествовать — тот и не смел писать.

Новая литература предъявила к писателю высотное требование, /к сожалению, плохо соблюдаемое и многократно поруганное/ от которого у многих авторов закружилась голова: не смей описывать ничего, в чем

так или иначе не отобразилось бы внутреннее состояние твоего духа.

/Итак авторский замысел вторгается в пережитое./

Мы читаем книгу, чтобы запомнить, но в том-то и беда, что прочесть книгу можно, только припоминая.

Будучи *всецело* охвачены деятельностью чтения, мы больше всего любим свои родовыми свойствами. Испытываем как бы восторг классификации своих возрастов.

/В темном вестибюле зоологического музея на Никитской улице валяется без призора челюсть кита, напоминающая огромную соху. Навещая ученых друзей на Никитской, я люблюсь на эту диковину./

И если Ламарк, Бюффон и Линней окрасили мою зрелость, то я благодарю */никитского/* кита за то, что он пробудил во мне ребяческое изумление перед наукой.

Действительность носит сплошной характер.

Соответствующая ей проза, как бы ясно и подробно, как бы деловито и верно она ни составлялась, всегда образует прерывистый ряд.

Не только та проза действительно хороша, которая всей своей системой внедрена в сплошное, хотя его невозможно показать никакими силами и средствами.

Таким образом, прозаический рассказ не что иное, как прерывистый знак непрерывного.

Сплошное наполнение действительности всегда является единственной темой прозы. Но подражание этому сплошняку завело бы прозаическую деятельность в мертвый тупик, потому что */она имеет дело только с*

интервалами/ непрерывность и сплошность нуждаются все в новых и новых толчках—определителях. /Нам нужны приметы непрерывного и сплошного, отнюдь не сама воспроизводимая материя./

Безынтервальная характеристика невозможна.

Окончательное дотошное описание материи упирается в световой эффект: так называемый эффект Тиндаля (косвенный показатель молекулы в ультрамикроскопе) . . . а там все сначала, описывай свет и т. д.

Идеальное описание свелось бы к одной-единственной пан-фразе, в которой сказалось бы все бытие.

/Но речь прозаика никогда не составляется, не складывается, как не подбирается/

Для прозы важно *содержание и место*, а не содержание — форма.

Прозаическая форма: синтез.

Смысловые словарные частицы, разбегающиеся по местам.

Неокончателность этого места перебежки. Свобода расстановок. В прозе — всегда «Юрьев день».

АШТАРАК

Я хочу познать свою кость, свою лаву, свое гробовое дно /как под ним заиграет и магнием и фосфором жизнь, как мне улыбнется она: членистокрылая, пенящаяся, жужжащая/. Выйти к Арарату на каркающую, крошащуюся и харкающую окраину. Упереться всеми фибрами моего существа в невозможность выбора, в отсутствие всякой свободы. Отказаться добро-

вольно от светлой нелепицы воли и разума. /Если приму, как заслуженное и присносущее, звукоодетость, каменнокровность и твердокаменность, значит я не даром побывал в Армении./

Если приму, как заслуженное, и тень от дуба и тень от гроба и твердокаменность членораздельной речи, — как я тогда почувствую современность?

/Что мне она? Пучок восклицаний и междометий! А я для нее живу.../

Для этого-то я и обратился к изучению древнеармянского языка

АЛАГЕЗ

Усталости мы чувствовать не смели. Солнце печенегов и касогов стояло над нашими головами.

Книг с собой у меня была одна только „Italienische Reise“ Гёте в кожаном дорожном переплете, гнущемся, как бедкер.

/Вместо кодака Гёте прихватил с собой в Италию краснощекого художника Книппа, который с фотографической точностью копировал по его указаниям примечательные ландшафты./

/Тамерланова завоевательная даль стирает всякие обычные понятия о близком и далеком. Горизонт дан в форме герундивума./ Едешь и чувствуешь у себя в кармане пригласительный билет к Тамерлану.

Книжка моя говорит о том, что глаз есть орудие мышления, о том, что свет есть сила и что орнамент есть мысль. В ней речь идет о дружбе, о науке, об интеллектуальной страсти, а не о «вещах».

Надо всегда путешествовать, а не только в Армению и в Таджикистан. Величайшая награда для художника — подвигнуть к деятельности мыслящих и чувствующих иначе, чем он сам.

2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ СТИЛЬ ДАРВИНА

/К статье «Вокруг натуралистов»/

С детства я приучил себя видеть в Дарвине посредственный ум. Его теория казалась мне подозрительно краткой: естественный отбор. Я спрашивал: стоит ли утруждать природу ради столь краткого и невразумительного вывода. Но, познакомившись ближе с сочинениями знаменитого натуралиста, я резко изменил эту незрелую оценку.

И вот что сейчас необходимо отметить: Дарвин раз навсегда изгнал красноречие, изгнал риторику, изгнал велеречивость из литературного обихода натуралиста.

/Золотая валюта фактов поддерживает баланс его научных предприятий, совсем как миллион стерлингов в подвалах британского банка обеспечивает циркуляцию хозяйства страны./

Организация научного материала — стиль натуралиста.

Серийно-массовый характер научного опыта Дарвина.

Едиичное явление в центре внимания линнеевского натуралиста. Описательность. Живописность. «Миниатюры» Бюффона и Палласа. Теология. Благодарность. Умиленность. Похвала природе.

Красноречие — Линней, Бюффон, Ламарк.

Прозаизм Дарвина. Популярность. Установка на среднего читателя. Тон беседы.

Метод серийного разворачивания признаков. Пачки примеров. Подбор гетерогенных рядов. Помещение действенных примеров в центре доказательства.

Приливы и отливы достоверности, как ритм в изложении. (Происхождение видов). Автобиографичность. Элементы географической прозы. Школа кругосветного путешествия (Бигль).

Роль зрения. Глаз как орудие мысли.

Линней превозносил с кафедры проповедника изящное и целесообразное строение живых тварей. /Его систематика служила обедню/ /Он демонстрировал — во славу и в доказательство разумности Творца — всякие всячины, курьезы, редкости и красоты органической природы./ Бюффон строил свои блестящие трактаты

«Творец природы снабдил человека пятью орудиями, известными под именем чувственных и преизящно устроенными». Линней.

«Сие изящное строение сердца с приходящими к нему жилами служит единственно к побуждению кровообращения». Линней. «Всеконечно, нельзя не удивляться Промыслу Божьему, видя как он костями оградил сердце, легкие и прочие внутренности». Линней. «Кожа, облегающая наше тело, состоит из тончайших волокон, удивительным образом между собой переплетенных и усеянных кровяными сосудами и чувствительными жилками. Она удивительно растягивается, а потом сжимается». Линней. «Система природы».

«Происхождение видов» ошеломило современников. Книгу читали всасос. Ее успех у читателей был равен успеху гётевского «Вертера». Ясно, что ее приняли как литературное *событие*, в ней почуяли большую и серьезную новизну формы.

/В противоположность другим/ эта книга была рассчитана на завоевание широчайших читательских масс. /Она была прямым продолжением газеты, публицистики, политической статьи./ И ее восприняли как научную *публицистику*.

Дарвин всегда обращается к натуралистам по профессии или к широким любительским кругам. У него есть тенденция сделать так называемую «публику», понимая под ней верхушку образованной буржуазии.

Естественнонаучные труды Дарвина, взятые как литературное *целое*, как громада мысли и стиля, — не что иное, как кипящая жизнью и фактами и бесперебойно пульсирующая *газета природы*.

Дарвин организует свой материал как редактор-издатель большого и влиятельного, скажем прямо — политического, органа.

Он не один. У него множество сотрудников — корреспондентов, разбросанных по всем графствам, колониям и доминионам Соединенного Королевства, по всем странам земного шара.

«Я раздобыл себе, — говорит он, — все породы (голубей), какие только мог купить или так или иначе заполучить с помощью друзей в разных странах. Особенно я благодарен сэру Эллиоту»

[Торговый флаг] великобританского флота реет над страницами его трудов.

Купеческое здравомыслие, чувство инициативы, солидарности, бесстрашие перед конкурентами, самоуверенная и несколько ограниченная жизнерадостность — вот рычаги, движущие его научной изобретательской мыслью.

Но эти факторы в не меньшей степени влияют на стиль и манеру, на деятельную форму его изложения, они напитывают собой и определяют литературную структуру его *жизненного труда*.

Конечно, *стиль натуралиста* — один из главных ключей к его *мировоззрению*, так же как *глаз его*, его *манера видеть* — ключ к его *методологии*.

«Когда я проникся этими истинами и захотел сообщить их моим ученикам, то понял, что прежде чем углубляться в детали и в частности, надлежит установить общие принципы касательно всех животных, показать целое . . .» («Философия зоологии»).

Сравните с этими богословами, ораторами и законодателями в естественной науке скромного Дарвина, по уши влипшего в факты, озабоченно листающего книгу природы — не как Библию — какая там Библия! — а как деловой справочник, биржевой указатель, индекс цен, примет и функций.

Система карточных записей, та гигантская текущая картотека, о которой говорит Дарвин в своей автобиографии, оказала решающее влияние на его научную стилистику.

Дарвин избегает выписывать весь длинный «полицейский» паспорт животного или растения. Он вступает с природой в отношения военного корреспондента, интервьюера, отчаянного репортера, которому удается подсмотреть событие у самого его истока. Он никогда не описывает, — он только характеризует, и в этом смысле

Систематика — гордость и слава линнеевского естествознания — благоприятствовала искусству описаний. Она породила замечательное мастерство детальных и замкнутых в себе созерцательных характеристик. У бездарных кропателей они вырождались в накопление полицейских примет, у художественно одаренных натуралистов расцветали в узор, в миниатюру, кружево

Самостоятельное мастерство и своеобразное искусство пассивно-созерцательных натуралистических описаний достигли наивысшего расцвета во вторую половину XVIII столетия. Один из самых блестящих примеров этого жанра — «Путешествие по разным провинциям Российской Империи», составленное академиком Палласом в 1767 году.

Здесь барская изощренность и чувствительность глаза, выхоленность и виртуозность описи доведены до предела, до крепостной миниатюры. /Описанная Палласом азиатская козявка костюмирована под китайский придворный театр, под крепостной балет. Натуралист преследует чисто живописные феерические задачи./

«Азиатская козявка (*Chrisomela asiatica*). Величиной с сольтициального жука, а видом кругловатая с шароватой грудью. Стан и ноги с прозеленью золотыя, грудь темнее, голова медного цвета. Твердокрылия гладкия, лоснящияся, с примесью фиолетового цвета черныя. Усы ровныя, передние ноги несколько побольше. Поймана при Индерском озере».

. Натуралист преследует чисто живописные феерические задачи. /Он забывает упомянуть анатомическую структуру насекомого./

Ко времени Дарвина искусство этих миниатюристов дворянского естествознания пришло в окончательный упадок. Устои классической линнеевской систематики были расшатаны рукою Ламарка.

Буржуазия уже не нуждалась в естественнонаучной идеологии, восхвалявшей разумность действительности.

Ту же самую развенчивающую работу проделал Диккенс над обществом тогдашней Англии. В тогдашней Англии с ее молодыми мануфактурами и феодальными судейскими машинами

На смену кропотельству и составлению каталогов Дарвин выдвинул новый принцип: принцип естественнонаучной вахты. «Происхождение видов» — такой же точно путевой дневник, как «Путешествие на Бигле». /Натуралист — дозорный, несущий службу на капитанском мостике./

... .. Молодая буржуазия охотно посылала своих детей в кругосветное плавание. Путешествие на фрегате вокруг света входило в большой план воспитания молодого человека, которому прочили серьезное будущее. Ряд художников, ученых и поэтов прошли кругосветную школу. Вот почему в научных сочинениях Дарвина мы видим элементы географической прозы, начатки колониальной повести и морского фабульного рассказа. /Он искусно перемежает показания живых свидетелей, показания очевидцев с выписками из учебных трудов./

Для Дарвина характерна нелюбовь к цитатам. Он очень редко выписывает тексты буква в букву. Чаще всего он приводит то или иное чужое мнение в самом лапидарном виде, в краткой, энергичной и абсолютно объективной формулировке.

Если мы захотим определить тональность научной речи Дарвина, то лучше всего назвать ее *научной беседой*. Это не профессорская лекция в обычном смысле и не академический курс. Вообразите ученого садовода, который водит гостей по своему хозяйству и, останавливаясь между грядками и клумбами, дает им объяснение; или зоолога-любителя в питомнике, принимающего добрых друзей.

Необычайная дружественность Дарвина к большинству образованных представителей его класса, уверенность в их поддержке, особая открытость, приветливость его научной мысли и самого способа изложения — все это не что иное, как результат классовой солидарности и жажды широкого сотрудничества с международными научными силами буржуазии.

Кроме того, надо отметить тягу Дарвина к читателю-средняку, его желание быть понятным среднеобразованному буржуа, джентльмену средней руки, каким он считал самого себя. Величайший эрудит своего века не случайно говорил с широкой публикой через голову касты ученых. Ему важно снестись непосредственно с этой публикой. Она лучше его поймет, чем ученые педанты. Он несет читателям нечто насущное, социально необходимое, поразительно гармонирующее с их самочувствием.

Поэтому Дарвин добродушен, поэтому он избегает научной терминологии в своей раздвижной, панорамной и медленно выпрямляющейся книге.

«Происхождение видов», как литературное произведение, — большая форма естественнонаучной мысли. Если сравнить ее с музыкальным произведением, то это не соната и не симфония с нарастанием частей, с замедленными и бурными этапами, а скорее сюита. Небольшие самостоятельные главы . . .

Энергия доказательства разряжается «квантами», пачками. Накопление и отдача, вдох и выдох, приливы и отливы.

Дарвин строго следит за профилем своего доказательства. В поисках различных опорных точек он создает настоящие гетерогенные ряды, то есть группирует несхожее, контрастирующее; различно окрашенное.

Здесь требования науки счастливо совпадают с одним из основных законов художественного воздействия. Я имею в виду закон гетерогенности, который по-

буждает художника соединять в один ряд по возможности разнокачественные звуки, разнородные понятия и отчужденные друг от друга образы.

В поле зрения Дарвина всегда находится целиком весь органический мир. С удивительной свободой и легкостью он оперирует самыми отдаленными разновидностями кивых существ.

Глаз натуралиста обладает, как у хищной птицы, способностью к аккомодации. То он превращается в дальнобойный военный бинокль, то в чечевичную лупу ювелира.

В «Происхождении видов» животные и растения никогда не описываются ради самого описания. Книга кишит явлениями природы, но они лишь поворачиваются нужной стороной, активно участвуют в доказательстве и сейчас же уступают место другим. Больше всего и охотнее Дарвин пользуется *серийным разворачиванием признаков* и сталкиванием пересекающихся рядов. Сплошь и рядом, постепенно накапливая существенные приметы, он дает усиливающуюся гамму.

Свое научное доказательство Дарвин строит объемно. Он протягивает координаты примера в ширину, в глубину, в высоту, воздействуя при этом с помощью подлинной селекции материала.

«Я назову только три случая инстинкта: побуждающий кукушку откладывать яйца в чужих гнездах, рабовладельческий инстинкт у муравьев и строительство пчелиных сот».

Лишь сочетание мысли с могучим инстинктом естествоиспытателя позволило Дарвину добиться таких

результатов. Я имею в виду истинный отбор, скрещивание и селектирование фактов, которые приходят на помощь научному доказательству, создают благоприятную среду для обобщения.

Приливы и отливы достоверности оживляют каждую маленькую главу «Происхождения видов».

Но самое замечательное и поучительное для всех писателей — это забота Дарвина о том, чтобы читатель в фактах, в «натуралиях» не задохнулся /чтобы прослойкам воздуха и света . . ./; это бесперебойная забота Дарвина-писателя о наиболее выгодном физическом освещении каждой детали.

Здоровое расположение духа естествоиспытателя сказывается в свободном расположении научного материала. Дарвин располагает факты с изумительным вкусом. Он позволяет им дышать. Он рассыпает их в фигурные созвездия, группирует в светящиеся сгустки.

Бодрящая атмосферическая ясность, словно погожий денек умеренного английского лета, то, что я готов назвать «хорошей научной погодой»; не что иное, как *хорошее*, в меру приподнятое настроение автора заражают читателя, помогают ему освоить теории Дарвина.

ЗАПИСЬ 1932. — ЗАПИСЬ ОБ АПОЛЛОНЕ ГРИГОРЬЕВЕ

Наша память, наш опыт с его провалами, тропы и метафоры наших чувственных ассоциаций достаются ей [книге] в обладание бесконтрольное и хищное.

Тут достигается «цель очищения и цель самосоздания», о которой говорил наш Ап. Григорьев, охрипший от ненависти к пересказчикам описателям.

«Вывод» в поэзии нужно понимать буквально — как закономерный по своей тяге и случайный по своей структуре *выход* за пределы всего сказанного.

«РАЗГОВОР О ДАНТЕ» — ИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
РЕДАКЦИИ, ИЗ ЧЕРНОВЫХ ЗАПИСЕЙ
И ЗАМЕТОК. (1932)

«Незнакомство русских читателей с итальянскими поэтами — я разумею Данта, Ариоста и Тасса — тем более поразительно, что не кто иной, как Пушкин воспринял от итальянцев взрывчатость и неожиданность гармонии.

В понимании Пушкина, которое он свободно унаследовал от великих итальянцев, поэзия есть роскошь, но роскошь насущно необходимая и подчас горькая, как хлеб.

„Da oggi a noi la cotidiana manna . . .“

(Purg. XI, 13)

Великолепен стихотворный голод итальянских стариков, их зверский, юношеский аппетит к гармонии, их чувственное вожделение к рифме — *il disio!*

Славные белые зубы Пушкина — мужской жемчуг поэзии русской!

Что же роднит Пушкина с итальянцами? Уста работают, улыбка движет стих, умно и весело алеют губы, язык доверчиво прижимается к нёбу.

Пушкинская строфа или Тассова октава возвращает нам наше собственное оживление и сторицей вознаграждает усилие чтеца.

Внутренний образ стиха неразлучим с бесчисленной сменой выражений, мелькающих на лице говорящего и волнующегося сказителя.

Искусство речи именно искажает наше лицо, взрывает его покой, нарушает его маску.

Один только Пушкин стоял на пороге подлинного, зрелого понимания Данта.

Ведь, если хотите, вся новая европейская поэзия лишь вольноотпущенница Алигьери. Не воздвигалась ли она резвящимися шалунями национальных литератур на закрытом и недочитанном международном Данте? *

Никогда не признававшийся в прямом за него влиянии итальянцев, Пушкин был тем не менее втянут в гармоническую и чувственную сферу Ариоста и Тасса. Мне кажется, ему всегда было мало одной только вокальной, физиологической прелести стиха и он боялся быть порабощенным ею, чтобы не навлечь на себя печальной участи Тасса, его болезненной славы, его чудного позора.

Для тогдашней светской черни итальянская речь, слышимая из оперных кресел, была неким поэтическим щебетом. И тогда, как и сейчас, никто в России не занимался серьезно итальянской поэзией, считая ее вокальной принадлежностью и придатком к музыке.

Русская поэзия выросла так, как будто Данта не существовало. Это несчастье нами до сих пор не осознано. Батюшков — записная книжка нерожденного Пуш-

* В другой редакции после этого следует цитата:
Зорю бьют. Из рук моих ветхий Данте...

кина — погиб оттого, что вкусил от тассовых чар, не имея к ним дантовой прививки.

[Начало первоначальной редакции «Разговора о Данте» — ИРЛИ (Пушкинский Дом), ф. 630, ед. хр. 125; список рукой Н. Я. Мандельштам].

У Блока: *Тень Данта с профилем орлиным о новой жизни мне поет . . .* Ничего не увидел кроме гоголевского носа!!

Дантовское чучело из девятнадцатого века! Для того, чтобы сказать это самое про заостренный нос, нужно было обязательно *не читать Данта!*

Что же такое образ — орудие в метаморфозе скрещенной поэтической речи?

При помощи Данта мы это поймем. Но Дант нас не научит орудийности: он обернулся и уже исчез. Он самое орудие в метаморфозе свертывающегося и развертывающегося *литературного времени*, которое мы перестали *слышать*, но изучаем и у себя и на Западе как пересказ так называемых «культурных формаций».

Здесь уместно немного поговорить о понятии так называемой культуры и задаться вопросом, так ли уж бесспорно поэтическая речь целиком укладывается в содержание культуры, которая есть не что иное, как соотносительное приличие задержанных в своем развитии и остановленных в пассивном понимании исторических формаций. *

Любители понятия культуры втягиваются поневоле в круг, так сказать, неприличного приличия: Оно-то и

* В другой редакции после этого следует:

«Египетская культура» означает, в сущности, египетское приличие, средневековая — средневековое приличие. Несогласные по существу с культом Амон-Ра или тезисом Триентского собора втягиваются поневоле в круг, так сказать, «неприличного приличия». Оно-то и есть содержание культурпоклонства... [и т. д.]

есть содержание культурупоклонства, захлестнувшего в прошлом столетии университетскую и школьную Европу, отравившего кровь подлинным строителям очередных исторических формаций и, что всего обиднее, сплошь и рядом придающего форму законченного невежества тому, что могло бы быть живым, конкретным, блестящим, уносящимся и в прошлое и в будущее знанием.

Втискивать поэтическую речь в «культуру» как в пересказ исторической формации несправедливо потому, что при этом игнорируется ее сырьевая природа. Вопреки тому, что принято думать, поэтическая речь бесконечно более сыра, бесконечно более неотделана, чем так называемая «разговорная». С исполнительской культурой она соприкасается именно через сырье. Я покажу это на примере Данта и предварительно замечу, что нету момента во всей Дантовой «Комедии», который бы прямо или косвенно не подтверждал сырьевой самостоятельности поэтической речи.

Узурпаторы папского престола могли не бояться звуков, которые насылал на них Дант, они могли быть равнодушны к орудийной казни, которой он их предал следуя законам поэтической метаморфозы, но разрыв папства как исторической формации здесь предусмотрен и разыгран, поскольку обнажилась, обнаружилась бесконечная сырьевость поэтического звучания, внеположного культуре как приличию, всегда не доверяющего ей, оскорбляющего ее своею настороженностью и выплевывающего ее, как полосканье, которым прочищено горло.

[Черновой набросок]

Существует средняя деятельность между слушаньем и произнесеньем. Эта деятельность ближе всего к исполнительству и составляет как бы его сердце. Не-

заполненный интервал между слушанием и произнесением по существу своему идиотичен. Материал не есть материя.

[Из черновых записей]

Ребенок у Данта — дитя, „il fanciullo“. Младенчество как философское понятие с необычайной конструктивной выносливостью.

Хорошо бы выписать из „Divina Commedia“ все места, где упоминаются дети.

А сколько раз он тычется в подол Вергилия — „il dolce padre“! Или вдруг посреди строжайшего школьного экзамена на седьмом этаже неба — образ матери в одной рубаше, спасающей дитя от пожара.

[Текст, исключенный автором из последней редакции «Разговора о Данте»].

Причина, почему их оскорбили бурсацкой кличкой «классиков», заключается именно в том, что с ними нужно куда-то бежать по эллипсу динамического бессмертия, что пониманию нет границ, и это-то и заставляет бегать вокруг труда, подмигивать, искать молодого смысла старой мудрости уже не в книге, а в прищуренных зрачках...

[Из чернового текста «Разговора о Данте»].

Дант может быть понят лишь при помощи теории квант.

[Фраза, исключенная автором из последней редакции «Разговора о Данте»].

... В ответе Вергилия самый вопрос Данта уже набухает. Со свойственной ему педагогической, профессорской зоркостью он отвечает на стимул к вопросу, вылуцивая его из самой формулировки Данта. Все они, говорит Вергилий, будут прикрыты, гробницы будут

опечатаны, когда воскресшая плоть этих персонажей, согнанная трубой архангела на Страшный суд в долину Иосафата, вернется оттуда, но уже не в реальные могилы, а сюда — с костью и с мясом — и здесь приляжет к теням. Это удовольствие предстоит Эпикуру и его приверженцам.

[Из чернового текста «Разговора о Данте»]

То, что было сказано о множественности форм, применимо и к словарю. Я вижу у Данта множество словарных тяг. Есть тяга варварская — к германской шипучести и славянской какофонии; есть тяга латинская — то к „Dies irae“ и к „Benedictus qui venit“, то к кухонной латыни. Есть огромный порыв к говору родной провинции — тяга тосканская.

[Из черновых записей].

Вот вам пример. Песнь XXXII „Inferno“ внезапно заболевает варварской славянщиной, совершенно невыносимой и непотребной для итальянского слуха.

... Дело в том, что „Inferno“, взятый как проблематика, посвящен физике твердых тел. Здесь в различной социальной одежде — то в исторической драме, то в механике ландшафтного сновидения — анализируется тяжесть, вес, плотность, ускорение падающего тела, вращательная инерция волчка, действие рычага и лебедки и наконец человеческая походка, или поступь, как самый сложный вид движения, регулируемый сознанием. (Мысль принадлежит Б. Н. Бугаеву).

Чем ближе к центру Земли, то есть к Джудекке, тем сильнее звучит музыка тяжести, тем разработаннее гамма плотности и тем быстрее внутреннее молекулярное движение, образующее массу.

[Из чернового текста «Разговора о Данте»]

Дант никогда не рассматривает человеческую речь как обособленный разумный остров. Словарные круги Данта насквозь варваризованы. Чтобы речь была здорова, он всегда прибавляет к ней варварскую примесь. Какой-то избыток фонетической энергии отличает его от прочих итальянских и мировых поэтов, как будто он не только говорит, но и ест и пьет, то подражая домашним животным, то писку и стрекоту насекомых, то блеющему старческому плачу, то крику пытаемых на дыбе, то голосу женщин-плакальщиц, то лепету двухлетнего ребенка.

Фонетика употребительной речи для Данта лишь пунктир, условное обозначение.

[Из черновых записей].

Вопросы и ответы «путешествия с разговорами», каким является „Divina Commedia“, поддаются классификации. Значительная часть вопросов складывается в группу, которую можно обозначить знаком: «ты как сюда попал?». Другая группа встречных вопросов звучит приблизительно так: «что новенького во Флоренции?»

Первый тур вопросов и ответов обычно вспыхивает между Дантом и Вергилием. Любопытство самого Данта, его вопрошательский зуд обоснован всегда так называемым конкретным поводом, той или иной частностью. Он вопрошает лишь, будучи чем-нибудь ужален. Сам он любит определять свое любопытство то стрекалом, то жалом, то укусом и т. д. Довольно часто употребляет термин „il morso“, то есть укусы.

[Текст, исключенный автором из последней редакции «Разговора о Данте»].

Сила культуры — в непонимании смерти, — одно из основных качеств гомеровской поэзии. Вот почему средневековые льнуло к Гомеру и боялось Овидия.

[Из чернового текста «Разговора о Данте»]

Необходимо создать новый комментарий к Данту, обращенный лицом в будущее и вскрывающий его связь с новой европейской поэзией.

Фальтерона (Convivio, IV, 78; Purgatorio, XIV, 17). И тут, и там пронзительная личная интонация. Истоки мои темны. Меня еще не знают. Я еще себя покажу. Арно вниз по течению обрастает грязью, звереет.

Convivio, IV — апология возможной значительности бедняка-созерцателя экономических промыслов. Неучастника. Вызов потребительству и накоплению во всех видах (сравнить с Савонаролой).

Более благосклонен к купцам. Симпатизирует честной, разумной торговле: *quando per arte o per mercantazia o per servizio meritato* ... Единственным правильным источником дохода полагает *награду*; *per servizio meritato*. Он глух к системе современного ему хозяйства и товарооборота. Огулом осуждает все. Ему мерещится сначала флорентийская, потом все-итальянская и, наконец, *мировая* система распределения наград. В своих экономических воззрениях Дант не опирается ни на одну из активных общественных групп, но через голову производящих тянется к распределяющим. Он стремится к снятию всех посредников между трудом (заслугой) и ценностью (наградой). Отсюда трагизм его концепции современного хозяйства.

В „Convivio“ кое-где вкраплены живые крупички личного разговорного стиля Данта; вот одна из них:

Veramente io vidi lo luogo, nelle ceste d'un monte in
Toscana,

che si chiama Falterona, dové il piu vile villano di tutta
la contrada,
zappando, piu d'uno staio di i Santelene d'argento finissimo
vi trovo,
che forse piu di mille anni l'avevano aspetatto.

(IV, 11, 76—91)

Он не любит земледелия. Всегда отзывается о нем пренебрежительно и даже раздраженно:

... gizi Fortuna la sua rota
Come le piace, e il villan la sua mazza.

(Inferno, XV, 15, 95—96)

Кажется, техника земледелия была ему недостаточно интересна. Он оживляется, лишь касаясь виноделия. К пастушеству и пастбищному хозяйству нежен и внимателен (pescozelle ... mandrian ... многочисленные пасторали в „Purgatorio“) ...

Между тем его знатные и полужнатные покровители были почти все помещики. Он плохо понимал, чем они живут в сущности ...

Né la diritta torre
Fa piegar rivo, che da lungi corre —

(Canz. III, 54—55)

«Течение реки не наклоняет прямой башни».

Здесь („Convivio“ IV) пространно разъясняется внеположность «благородства» (le nobiltà) сословным и экономическим преимуществом. Река: наследственные «богатства». Башня: благородство само по себе.

Обычное школьное уподобление с положительным и отрицательным членами доказательства несет дополнительную нагрузку: сравнение в целом борется с детерминизмом в применении к поэзии, а может быть, и к науке. Оно анализирует христианско-феодалную добродетель как живописную композицию.

В „Purgatorio“ V, 14—15:

Sta come torre fermo, che non crolla
Giammai la cima per sofflar de'venti.

Река и башня постоянное созвучие тосканского пейзажа. Башня у живописцев подчеркивает излучину реки и как бы ведет реку.

Дант не довольствуется тем, что башня и река каузально не соподчиняются. Ему определенно хочется, чтобы башня вела за собой реку, угадывала ее.

Все знают, что Дант «уважал» погоду и работал в этом смысле не хуже образцовой альпийской метеорологической станции с прекрасными наблюдателями и хорошим оборудованием. Не менее знамениты световые эффекты „Inferno“ и „Purgatorio“ — облачность, влажность, косое освещение, горное солнце и т. д.

Пиротехническая выдумка „Paradiso“ целиком устремлена к общественным празднествам и фейерверкам Возрождения.

Огромная активная роль света в новом европейском театре — будь то драма, опера или балет — была, конечно, подсказана Дантом.

До чего у него развито концертное чувство, виртуозность! В XVIII песни „Paradiso“ Карл Великий, Роланд, Готфред и Роберт Гискаардо, фосфоресцирующие в алмазном кресте, не могут удержаться, чтобы не ответить Беатриче, перечисляющей их имена световыми сигналами: они раскланиваются, они бисируют... А душа доброго флорентийского старосты — Дантова прадеда Гвидо Каччагвиды — напрашивается на комплимент со стороны тут же присутствующего правнука: — Мой прадед, — говорит Дант, — дал мне понять, что он далеко не последний артист в сонме прочих вокальных исполнителей.

Принято думать, что Дант часовщик, строитель планетария с внепространственным центром — эмпиреем, разливающим силу и качество через посредство круга с неподвижными звездами по семи прочим плавающим сферам. Не говоря уже о том, что дантовский планетарий в высшей степени далек от концепции механических часов, потому что перводвигатель хрустальной инженерной машины работает не на трансмиссиях и не на зубчатых колесах, а неутомимо переводя силу в качество, не говоря уж об этом . . . Сам перводвигатель уже не есть начало, а лишь передаточная станция, коммуникатор, проводник . . . Следующее небо, к которому пригвождены неподвижные звезды, отличные от своей сферы, но вкрапленные в нее, разливает по этим звездам зарядку бытия, полученную от перводвигателя, то есть распределителя. Семь прочих подвижных сфер имеют внутри себя уже качественно расчлененное бытие, которое служит стимулом к многообразному происхождению конкретной действительности. И подобно тому, как единый виталистический поток создает для себя органы — слух, глаз, сердце — конкретизирующие сферы являются рассадниками качеств, внедренных в материю.

Обратили ли внимание на то, что в дантовой Комедии автору никак нельзя действовать, что он обречен лишь идти, погружаться, спрашивать и отвечать?

Но в основе композиции десятой /всех/ песен *Inferno* лежит движение грозы, созревающей как метеорологическое явление, и все вопросы и ответы вращаются по существу вокруг единственной стороны — был или не был гром.

Точнее, это движение грозы, проходящей мимо и обходной стороной.

У итальянцев тогдашних было сильно развито городское любопытство. Сплетни флорентийские солнечным зайчиком пробегали из дома в дом, а иногда через покатые холмы из города в город. Каждый сколько-нибудь заметный гражданин — булочник, купец, кавалерствующий юноша . . .

Действительные тайные советники католической иерархии — сами апостолы, и что стоит перед ними не потерявшийся или раскричавшийся от зеленой гордости или чаемой похвалы школяр, но важный бородастый птенец, каким себя рекомендует Дант, — обязательно бородастый — в пику Джотто и всей европейской традиции.

[Из первоначальной редакции «Разговора о Данте» ИРЛИ, ф. 630, ед. хр. 125]

— Я сравниваю — значит я живу, — мог бы сказать Дант. Он был Декартом метафоры. Ибо для нашего сознания (а где взять другое?) только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение.

[Из черновых записей].

Позвольте мне привести наглядный пример, охватывающий почти всю «Комедию» в целом.

Inferno — высший предел урбанистических мечтаний средневекового человека. Это в полном смысле слова мировой город. Что перед ним маленькая Флоренция с ее „bella cittadinanza“, поставленной на голову новыми порядками, ненавистными Данту! Если на место Inferno мы выдвинем Рим, то получится не такая уж большая разница. Таким образом, пропорция Рим—Флоренция могла служить порывообразующим толчком, в результате которого появился „Inferno“.

[Из чернового текста «Разговора о Данте»]

ЗАПИСИ И ОТРЫВКИ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

... Прообразом исторического события — в природе служит гроза. Прообразом же отсутствия событий можно считать движение часовой стрелки по циферблату. Было пять минут шестого, стало двадцать минут... Схема изменения как будто есть, на самом деле ничего не произошло. Как история родилась, так может она и умереть; и, действительно, что такое, как не умирание истории, при котором улечивается дух события, — прогресс, детище девятнадцатого века? Прогресс — это движение часовой стрелки, и при всей своей бессодержательности это общее место представляет огромную опасность для самого существования истории. Всмотримся пристально вслед за Тютчевым, знатоком жизни, в рождение грозы. Никогда это явление природы в поэзии Тютчева не возникает как только . . .

.

[Отрывок из неразысканной статьи] [?]

Я утверждаю, что множество молодых поэтов училось на стихах «Огонька», «Красной Нивы» и «Прожектора» в гораздо большей степени, чем у так называемых классиков и мастеров. Существуют ученики безответственных оборотней, профессиональных путаников и поставщиков неопределенной, подлаживающейся, уродливой сдельщины.

Большинство новых эмоций никем еще не выражено. Иной начинающий поэт сознает историческую правоту своего поколения. Но что же ему делать в этой правильности? Только ли поддакивать и кричать: верно? Конечно, нет! С радостью отмечаю, что у некоторых поэтов есть свой подход к миру, начатки своей лирической темы . . .

ЗАПИСИ 1935—1936 ГОДОВ

Когда писатель вменяет себе в долг во что бы то ни стало «трагически вещать о жизни», но не имеет на своей палитре глубоких контрастирующих красок, а главное — лишен чутья к закону, по которому трагическое, на каком бы маленьком участке оно ни возникло, неизбежно складывается в *общую картину мира*, — он дает «полуфабрикат» ужаса или косности — их сырье, вызывающее у нас гадливое чувство и больше известное в благожелательной критике под ласковой кличкой «быта».

Внимание — доблесть лирического поэта, расстрепанность и рассеянность — увертки лирической лени.

ПИСЬМА

Многоуважаемый Федор Кузьмич!

С крайним изумлением прочел я ваше письмо. В нем вы говорите о своем намерении держаться подальше от футуристов, акмеистов и к ним примыкающих. Не смея судить о ваших отношениях к футуристам и «примыкающим», как акмеист я считаю долгом напомнить вам следующее: инициатива вашего отчуждения от акмеистов всецело принадлежала последним. К участию в «Цехе поэтов» (независимо от вашего желания) привлечены вы не были, равно как и к сотрудничеству в журнале «Гиперборей» и к изданию ваших книг в издательствах: «Цех поэтов», «Гиперборей» и «Акмэ». То же относится и к публичным выступлениям акмеистов, как таковых. Что же касается до моего к вам предложения участвовать в вечере, устроенном Тенишевским училищем в пользу одного из лазаретов, то в данном случае я действовал как бывший ученик этого училища, а не как представитель определенной литературной группы. Действительно, некоторые из акмеистов, и я в том числе, в ответ на приглашение вами и А. Н. Чеботаревской посещали ваш дом, но после вашего письма я имею все основания заключить, что это было с их стороны ошибкой.

Искренне вас уважающий Осип Мандельштам.

№ 2. К С. К. Маковскому

8 мая 1915

Многоуважаемый Сергей Константинович!

В ноябре прошлого года мною была предложена («Аполлону») статья о Таадаеве, принятая к напечатанию. В течение полугода эта статья не была напечатана. Мне неизвестно, каковы были причины, ежемгновенно мешавшие включению этой статьи в очередной номер; однако, не желая класть, пока прекратится действие этих причин, я считаю мою статью свободной и прошу мне возвратить ее в виде оттиска, так как в настоящее время я не помню, где находится рукопись этой статьи.

С истинным уважением
Осип Мандельштам,
Б. Монетная д. 15, кв. 38.

№ 3. К матери

20 июля 1915 [Феодосия]

Дорогая мама!

Вчера получил телеграмму о приезде Шуры, которая скрестилась с моей. Жду Шуру завтра. Очень одобряю его приезд. Август и сентябрь здесь отличные. Жить он будет на даче Волошиной.

Целую папу Женю, бабушку

Твой Ося.

№ 4. К матери

20 июля 1916.

Дорогая мамочка!

У нас все установилось благоприятно. Шура оправился и вошел в колесо мирной жизни. Больше не ску-

чает и смотрит совсем иначе. Третьего дня нас возили в Феодосию с большой помпой: автомобили, ужин с губернатором; я читал, сияя теннис-белизной, на сцене летнего театра, вернулись утром, отдохнули за вчерашний день. Обязательно осенью сдаю свои экзамены; узнай пожалуйста сроки и пришли древнюю философию Виндельбанда или Введенского. Получили вторую комнату. Милая мама, напиши мне, как ты смотришь на мое возвращение — могу ли быть нужным в П. Поздравляю с политехником! Молодец Женя! Целую папочку!

Ося.

№ 5. К Н. Я. Мандельштам

5 декабря [1919] —

Феодосия.

Дитя мое милое!

Нет почти никакой надежды, что это письмо дойдет. Завтра едет в Киев через Одессу Колачевский. Молю Бога, чтобы ты услышала, что я скажу: детка моя, я без тебя не могу и не хочу, ты вся моя радость, ты родная моя; это для меня просто, как Божий день. Ты мне сделалась до того родной, что все время я говорю с тобой, зову тебя, жалуясь тебе. Обо всем, обо всем, могу сказать только тебе. Радость моя бедная! Ты для мамы своей «кинечка» и для меня такая же «кинечка». Я радуюсь и Бога благодарю за то, что Он дал мне тебя. Мне с тобой ничего не будет страшно, ничего не тяжело.

Твоя детская лапка, перепачканная углем, твой синий халатик — все мне памятно, ничего не забыл . . .

Прости мне мою слабость и что я не всегда умел показать, как я тебя люблю.

Надюша! Если бы сейчас ты объявилась здесь — я бы от радости заплакал. Звереньш мой, прости меня! Дай лобик твой поцеловать — выпуклый детский ло-

бик! Дочка моя, сестра моя, я улыбаюсь твоей улыбкой и голос твой слышу в тишине.

Вчера я мысленно, произвольно сказал «за тебя»: «Я должна» (вместо «должен») его найти», то есть ты, через меня сказала... Мы с тобою, как дети, — не ищем важных слов, а говорим, что придется.

Надюша, мы будем вместе, чего бы это ни стоило, я найду тебя и для тебя буду жить, потому, что ты дашь мне жизнь, сама того не зная — голубка моя, — «бессмертной нежностью своей»...

Наденька! Я письма получил четыре сразу; в один день, только нынче... Телеграфировал много раз: звал.

Теперь отсюда один путь открыт: Одесса; все ближе к Киеву. Выезжаю на днях. Адрес: Одесский Листок. Мочульскому. Из Одессы может проберусь: как-нибудь, как-нибудь дотянусь...

Я уже пять недель в Феодосии. Шура все время со мной. Был Паня. Уехал в Евпаторию. В Астории живет Катюша Гинзбург. В городе есть один экземпляр «Крокодила»!! А также Мордкин и Фроман. (Холодно. Темно. «Фонтан». Спекулянты). Не могу себе простить, что уехал без тебя. До свиданья, друг! Да хранит тебя Бог! Детка моя! До свиданья!

Твой О. М.: «уродец».

Колачевский едет обратно. Умоляю его взять тебя до Одессы. Пользуйся случаем!!

№ 6. К Н. Я. Мандельштам

9 марта 1921.

Надюша, милая!

Получил вашу записочку. Буду в Киеве через несколько дней. Не унывайте, друг милый. Подумаем как

устроить, чтобы вам не было плохо. До очень скорого свидания, дружок! У меня все готово к отъезду. Только никуда не уезжать и спокойно ждать моего приезда!

Ваш О. Мандельштам.

№ 7. К В. Я. Хазиной

[Май-июнь] 1921.

Милая Вера Яковлевна!

Рад вам сообщить, что у нас все благополучно. Должно быть в субботу мы с Надей едем в Тифлис, в хороших условиях и на определенное обеспечение.

Я встретил здесь своего приятеля, Особоуполномоченного по эвакуации Кавказа, и он нас берет с собой на службу в Грузию. Это очень хороший человек, художник Лопатинский, когда-то он работал со мной в Наркомпросе. Теперь он во главе огромного учреждения на Кавказе. Отношения у нас прочно-дружеские, и он все для меня сделает, что может. Я съездил без Нади в Петербург. Голодать не пришлось. Живем у Жени. Ковер будет продан на дорогу очень скромно. Сейчас ковры не в цене и продать очень трудно, тысяч двести думаем получить. Надя здорова, сырой воды не пьет и ничего сырого есть не будет в пути. Настроение бодрое.

Адрес наш: Ростов, Управление Особоуполномоченного Центроэвака на Кавказе, для Мандельштама. Это центр. Оттуда едем дальше. Оттуда же перешлют ваше письмо по пути нашего следования.

Проезжая Харьков, телеграфируем в Киев.

Перед отъездом подаем заявление в литовскую миссию. Основания (мои бумаги) признаны *достаточными*. Это продлится месяц и механически будет сделано в наше отсутствие.

Сердечный привет Якову Аркадьевичу и Анне Яковлевне.

С истинной преданностью

О. Манделъштам.

№ 8. К отцу

[Ранняя весна 1923].

Дорогой папочка!

Сегодня к вам едет на два-три дня Шура. Мне ехать сейчас бессмысленно, потому что я должен ждать ответа Бухарина. Я у него был вчера. Он был очень внимателен и сегодня говорит по-телефону с Зиновьевым о Жене. Обещал сделать все возможное и предложил мне систематически поддерживать с ним связь.

Он сказал между прочим: «Я не могу дать поручительства... На днях ЦК запретил это делать своим членам. Остается только окольный путь».

Потом он сказал: «Возьмите его на поруки вы (то есть — я?), вы человек известный (?)». Завтра я узнаю от Бухарина как отнесся Зиновьев к его просьбе и какие „auspicia“: виды на будущее (выражение Бухарина). Еще он спрашивал, кто из коммунистов (видных) знает Женю, очевидно рассчитывая поддержать их выступление со стороны. Если можно достаньте от Ком-ячейки института заявление характеризующее Женю. Отзыв о его поведении и настроении за последний год. Я передам его Бухарину, и это облегчит его действия. Повторяю: прием был исключительно хороший. Беседа продолжительная: минут двадцать. Он сказал, что Зиновьев еще приедет в Москву. Жалел, что не узнал вчера утром, когда Зиновьев был здесь. Сами Зиновьева не беспокойте.

У нас все благополучно. Одно плохо. Хотя *необходимое есть, денег последнее время в обрез*. Не могу послать *сейчас* ни гроша. Не задерживайте Шуру — он должен вернуться к сроку — иначе потеряет службу, которая для него — *все*.

Панин приезд дня на три (чтобы не оставлять Марию Николаевну одну) очень желателен. Сам я могу выехать, как только будет смысл. Меня никто не задержит . . .

№ 9. К отцу

[Зима 1923—1924].

Дорогой папочка!

Получили твое последнее письмо-фельетон. И оно доставило нам большую радость. Ты смотришь в корень и проявляешь большую проницательность. Мы тебе немедленно ответили телеграммой. А сейчас, в ожидании приезда твоего, хочу тебе подробно на все ответить.

Приехав в Москву, мы три недели жили у Евгения Яковлевича на Остоженке. Это было довольно уютно и весело благодаря его милому характеру и тому, что он как раз перед этим развелся с женой — но не очень удобно.

Я несколько растерялся. Выпустил вожжи. Ни работы, ни денег, ни квартиры, Надюша ездила четыре раза за город (о городе мы и не думали). Все напрасно. Там лачуги, чепуха, дорого, слякоть. В городе комната стоит червонцев сорок. Мы хоть уезжать — но куда? — были готовы! Хотели снять с учета *магазин*, чтобы жить.

И вдруг приходит человек и говорит: немедленно поезжайте на Б. Якиманку. Через двадцать минут мы

за Москвой-рекой. Тихая улица. Дом — «особняк с колонками». Квартира профессора, который живет круглый год на даче. Комната огромная — 8×8 аршин, два окна, светлая... Тихо... Рядом живет какой-то чудак, что-то вроде музыкального критика или стихотворного эстета... Бедность в доме, как в двадцатом году.

Просят за комнату 15 червонцев и сдают ее до осени. Разумеется мы взяли. Там видно будет. Очевидно, мы купим ее совсем. Сейчас мы уже месяц, как переехали, прописались, перевезли мебель. У нас тепло, невероятно тихо. До центра 20 м. трамвая. Ни одна душа к нам не заходит.

Своя кухня... дрова... тишина... Одним словом — рай... Акушером переезда был Евгений Яковлевич. Он занял у кого-то для нас пять червонцев в нужную минуту. На %/%?! Остальное я наскреб. Все вещи целы.

Что я делаю? Работаю для денег. Кризис тяжелый. Гораздо хуже, чем в прошлом году. Но я уже выравнялся. Опять пошли переводы, статьи и пр... «Литература» мне омерзительна. Мечтаю бросить эту гадость. Последнюю работу для себя я сделал летом. В прошлом году работал для себя еще много. В этом — ни-ни...

У нас, папочка, есть все необходимое для зимы: обувь, калоши, пальто, шапки, перчатки. Надюшу я одел заново, вообще (два платья). Я хожу в стареньком костюме, но он еще держится. К нам ходят только братья — Шура и Евг. Як...

Шура живет у моего приятеля Парнока. Трое в одной комнате. Беспорядок. Грязь. Холод. Комната эта около «Союза» на Тверском бульваре. Он очень устает. Почти каждый день у нас...

Наденька родная моя! Душенька милая!

Ты сейчас из Москвы уедешь, а я на почтамте тебе пишу в 6 ч. вечера. Вчера на обратном пути я заехал к Выгодскому. У него было заседание домкома, а потом мы говорили о Прибое, и я предложил Эдгара По (?). А у Лившица мне открыл рыжий мужчина, похожий на повара, и сказал: «никого нет». Вечером я даже перевел три страницы. Аня была кроткая. А сегодня мы в восемь встали, до 12 работали, и я потом пошел повсюду: в Прибой и в Гиз. В газете мне обещали выписать завтра 60 р... Горлин дал какого-то «Билля» — 100 строк — 50 р., а Прибой захотел Эдгара По(?)...

Роденькая моя, я тебе пишу все это оттого, что я этим уезжаю, еду к тебе и уж вот ближе — птица моя, воробушек с перчаточками. Я целую твои перчаточки и шапчонку.

Теперь послушай: я в самом деле могу выехать во вторник и завтра это выясню. Завтра я подам заявление финну и пошлю в Лугу.

А Саша все плачет... Надюша, я очень веселый и совсем здоров. Не мечусь, а спокойно все делаю — и все, все, все время думаю о тебе, о Наде моей родной...

Надичка! Ау! Дитенька, береги себя. Жди меня... Я тебе телеграфирую день отъезда. Господь с тобой, Наденька. И колечко привезу...

Ося.

Дитя мое, мы вернулись домой — не хватило 20 копеек. Я глупо написал про Горлина: договор подписан сегодня, а кроме того «Билли» — 100 строк.

Детка, будь спокойна — у нас тепло и солнце сегодня было. Я хочу к тебе и буду у тебя . . .

[Надька моя, Надюшок, Нануша! Я буду писать завтра два раза.

Целую тебя, Доня пиши каждый день хоть по открытке. О. Э. в хорошем настроении. Я нервничаю без тебя. Как здоровье? Аня.]

№ 11. К Н. Я. Мандельштам

5/Х—25, 6 вечера.

Нануша моя родная!

Вот в четыре часа я пришел домой, пообедал традиционными тефтелями и затопили камин и ванну. Аня получила письмо, но от своей Женечки. А я, Надичка, завтра плачу страховые и часть Саше. Я был сегодня на Московской в стражкассе, и мне сказали, что можно все это сделать и оформить здесь. Сегодня мы внесли проценты за часы. «Красная» дает мне завтра 60 р., а Горлин в среду 21-го экстренных за стихи 50. Значит 110 из 200 уже есть. Вопрос с Прибоем почти решен. Ищу Эдгара По в переводе Бальмонта, чтобы показать им. Надичка, я смогу выехать к тебе на той неделе, не дожидаясь вторника. Ведь из Москвы есть поезда. 1002-й ночи осталось 20 страниц, но завтра Гиз дает всего 100 р., а 20-го числа — 125.

Вот, родненькая, дела. Книжечку я тебе привезу обязательно: уж что-нибудь выдумаю.

Наночка, почему ты не написала из Москвы? Разве так делают Няки? Надик, завтра будет телеграмма от тебя? А Мариетта вернулась, и я хочу к ней завтра зайти.

А как ты ехала в поезде?

Надик, у меня кружится голова, так я хочу тебя видеть. Дета моя, радуйся жизни, мы счастливы, радуйся как я нашей встрече. Господь с тобой, Надичка. Спи спокойно. Помни мои советы, детка: 1) к доктору, 2) лучший пансион, 3) мышьяк и компрессы.

Вчера встретил на улице Фогеля, он искал квартиру в наших краях. Он говорит, что для тебя особенно важна неподвижность. Не ходи! Не гуляй! На почту бери извозчика или посылай кого-нибудь. Дета, целую твои волосики. До встречи, родная пташка моя.

Надик, прошу тебя, не кури!

№ 12. К Н. Я. Мандельштам [Начало ноября 1925]

Нежниночка моя! Я пишу за пять минут до закрытия почты. Родная, спасибо за нежные словечки. Что с тобой там? Не давай себя в обиду. У меня все хорошо. 15-го поеду к тебе. Это почти наверно... Не могу без тебя, ласточка моя. Но будь спокойна — я живу правильно, я здоров. В делах у меня удача. Целую тебя, ненаглядная.

Храни тебя Бог, солнышко мое.

Твой Няня...

Часы целы. Выкупаю.

№ 13. К Н. Я. Мандельштам [Конец января 1926]
Севастополь. Буфет.

Радость моя ненаглядная! Я не хочу писать тебе открытки, потому что я хочу сказать, что ты нежняночка — милая моя в худых туфельках — как стояла на набережной ангелом родным...

Целую, целую, целую и радуюсь, что ты со мной, что ты со мной!

Я прекрасно доехал. Поездка бодрящая... Телеграммы отправлены. Билет в кармане.

Был очень сонный и замерз. Сейчас отогрелся и отдохнул.

Надичка, спокойной ночи. Спи, дружок, и проснись умницей.

Все время буду писать с дороги. Сейчас без десяти девять. /Конец января 1926/

№ 14. К Н. Я. Мандельштам [Ленинград,] 2 февраля [1926]

Родная моя нежничка!

Здравствуй! Няня твоя с тобой говорит и целует тебя в лобик. Мне хорошо, детка. А тебе как? Не скупись на письма.

В Москве меня встретил донкихотообразный и страшно милый Шура. Потом я поехал к Пастернаку и видел их мальчишку. Он сказал: «Я еще маленький». Ему 2½ года. Он требует участвовать в общем разговоре. Твоему Жене Шура не успел передать. С Аней говорил по телефону. Она сказала: «У меня частная служба». Пояснить не пожелала. Подробности узнаю завтра. Дела так... (Да, между прочим, в Москве меня заговорил Пастернак, и я опоздал на поезд. Вещи мои уехали в 9.30, а я, послав телеграмму в Клин, напутствуемый Шурой, выехал следующим поездом в 11. Приехал, и в ГПУ мне выдали мой багаж. Вот приключение!). Вот, Надик, дела:

Ленгиз развороченный муравейник. Тенденция не то сжать, не то уничтожить. Никто ничего не знает и не понимает. Горлин разводит руками с виноватой

улыбкой. Около него только ближайшие сотрудники. Публика и дамы уже перестали ходить. Рецензии еще есть, но книги посылаются на утверждение в Москву. Первая партия уже послана. Как только вернется, будет новый разговор. Лозунг такой: быть ко всему готовыми и пользоваться последними неделями для обеспечения себя работой. Мне выписали на завтра в Гизе 125 рублей в окончательный расчет. Сегодня получил 100 р. за «ничего» в «Звезде». Устроил это Белицкий. Ионов уезжает. Белицкий остается — пока. . . Получил три книги на рецензию. На субботу «включен» по горлинской заявке. В «Прибое» абсолютно спокойно. Они переписывают, я правлю. Обещают не задерживать. Нашел машинистку. Сегодня приступил к диктовке.

Деду нашел бедного, сжавшегося в комочек, с головной болью. Развеселил его.

А Женя безукоризнен. М. Н. вежлива как пустое место. Вчера мне ванну топили. Женя предлагает мне 1) столовую, 2) светлую людскую, 3) комнату поблизости. Категорически отказываюсь от комнаты. Мы сделаем так: я компенсирую 10-15 рублями Надежду, и она переедет на месяц в темную людскую. Женя подтверждает, что это самое лучшее, так как мне нужен «дом».

Погода очень мягкая — 3-4°. Переход был очень легкий.

Итак, роднуша, февраль уже оплачен сполна (Прибой + 225 Гиза). Заклучу еще договор-другой, и опять мы свободны и с марта можем быть вместе. Сегодня звоню Фогелю о кварце и сообщу тебе телеграммой.

Помни, к 1-му марта я могу быть с тобой в любую минуту.

Пташенька бедная, что там с тобой? Телеграфируй подробно.

Нет, детка моя, я могу быть с тобой в любую минуту — только скажи!

Господь с тобой, родная . . . Твой друг, брат, муж . . .

№ 15 К. Н. Я. Мандельштам [Ленинград, февраль 1926]

Родная пташечка!

Вот мой сегодняшний день: с утра три часа гулял в Гизе. Касса была закрыта. Ждали артельщика из банка. Потом в два часа на телеграф. Потом обратно в Гиз — завтрак у Гурмэ. Сегодня Горлин сказал, что, как только Ангерт привезет утвержденный план, мы заключим договор. Потом поехал в Сеятель, показал им горлинские новые книжки: берет. Если попрошу — Горлин их отдаст.

Ну, деточка — довольно о делах. Я знаю, как это тебя волнует — потому пишу наперед. Не об этом, ласточка, с тобой говорить! Я тебя люблю, зверенок мой, так, как никогда — не могу без тебя — хочу к тебе . . . и буду у тебя . . .

Ненаглядная моя, ты за тысячи верст от меня в большой пустой комнате с градусничком своим! Жизнь моя: пойми меня, что ты моя жизнь! Как турушка твоя? Весела ли ты? Смеешься ли? Да понимаешь ты или нет, что я только февраль согласен быть без тебя и больше *ни денечка!*

Аню, детка, я, свинья, еще не видел. Занят. И она тоже. Только перезваниваемся. У Выгодских и Бенов был. Давид с Эммой невозмутимые испанцы. Бены жалуются на дитиньку: его зовут Кирилл (?). У него злые профессорские желтые глазки. Он не улыбается и сердится очень. Им теперь *тесно*. А в доме Выгодских может освободиться для нас квартира.

Пока что, деточка, я сплю в столовой. На диван кладут мне волосяной *наш* тюфяк. Засыпаю в 1 час и до десяти глубокая тишина. Тепло и хорошо.

Сейчас был у Пуниных. Там живет старушка; лежала она на диване веселая, но простуженная. Встретила меня «сплетнями»: 1) Георгий Иванов пишет в парижских газетах «страшные пашквили» про нее и про меня; во 2) «Шум Времени» вызвал «бурю» восторгов и энтузиазмов в зарубежной печати, с чем можно нас поздравить. Еще курьез: сегодня в Вечерней я прочел, что «вчера я ходил в финотдел жаловаться на налоги». И не думал я ходить! Врет газетка — но это хорошо: я эту вырезку посылаю тебе и сохранию газетку для фининспектора!

Нежняночка: я еще не имел от тебя писем. Знаешь, где я пишу? На Николаевском вокзале в десятом часу вечера, после Пуниных...

До завтра, детуся! Господь с тобой, родная! Целую нежно, долго много... лапушки твои и волоски и глазки...

Становлюсь в очередь с письмом... Пиши ежедневно, родная.

Твой Нянь.

Надя, не скрывай от меня *ничего*. Слышишь, родная!

№ 16. К Н. Я. Мандельштам [Ленинград,] 7 февраля,
6 ч. в. [1926]

Родная моя!

Получил сегодня твое грустненькое письмо и к вечеру жду ответа на телеграмму. Детушка-зверушка, неужели тебе там плохо? Вели хорошо топить в ком-

нате. Какие купила туфельки? Ходишь ли в город? Как твой вес? Я, родная моя, уже четвертый день не выхожу: у меня «легонький грипп» — на 37,3 — уже прошел. Да и морозы кстати полегчали. Завтра уже выйду. Деда мне даже не пробует читать философию: все—равно видит — я не о том . . . Женя над ухом бубнит по телефону . . . Модпик цветет! Татка на коленях у меня тебе написала письмо своей рукой . . . Сегодня, маленький мой, я дошел до листочков твоей работы, и мне весело их перебирать.

Пташенька, беляночка нежная, каждый день, засыпая, я говорю себе: спаси, Господи, мою Наденьку! Любовь хранит нас, Надя. Нам ничто не страшно. Радость моя! Нам нет расстояния. Но я безумно хочу быть с тобой.

Дней через десять я кончу свои петербургские дела и через Москву поеду к тебе. Детуська! Зверенок! Не смей тревожиться. Я стал человеком довоенной крепости. Мне все легко сейчас дается.

Тут у Жени мир и скука. М. Н. страдает припадками. Папа-дедушка все время обижается: все его обходят, обносят будто бы и т. п. . . . Да, он прав, милая, но у них вообще холодновато . . . Я, Нануша, мечтаю, как я завтра в город выйду, зайду к Горлину, увижу людей, похлопочу о новом договоре, пошлю тебе газетки и спешное письмо.

А сейчас, родненькая, папа отбирает у меня это письмо — опустить. Целую тебя, ненаглядная, ночью с тобой, ни на минуту не отхожу от тебя.

Твой Няня.

Что ни день, от тебя письмо... Спасибо тебе, нежняночка. Ты жизнь моя, а еще спрашиваешь... Знаешь, детка, быстро, быстро пройдут эти недели. Нас оторвали друг от друга. Это какая-то варварская нелепость: мы не можем не быть вместе.

Уже два дня я не выхожу. Больше 20 мороза. Сильным ветром. Окна замерзли. Сажу в кожаном кабинете. Тепло. Тихо. Татка. Тихонечко работаю. Мне уже переписали всю книгу. Не кривя душой, скажу: ты умница, хорошо перевела — совсем, совсем не плохо. Очень мне помогла. С завтрашнего дня Женя нашел мне машинистку — работать у меня.

Деда — ангел. Ходит для меня в Прибой и на почту. Рецензии есть, но деньги за них не сразу выдают: они выписываются и накапливаются. Завтра приезжает Бройде — завгиза. Ждем полной ясности.

Аню все еще не видел, но каждый день с ней говорю. Оказалось, что она (пришлось тянуть ее за язык) служит гувернанткой при двух детях — девочка 9 и мальчик — 7 — в «средне-буржуазной» семье. Это она называет «частной службой». Голос у нее веселый и по телефону я слышал, как ее теребят дети. «Они зовут меня посмотреть на их представление».

Надюшок, как ты распорядилась деньгами? Не давай в восьмой номер больше 30 рублей... Оставь себе 50 на расходы. На днях вышло еще 100.

Детка моя, хоть бы карточка твоя со мной была! Я твой чесучовый шарфик обмотал и ношу вроде жабо. Наш плед — это тоже ты.

Пиши мне правду, только правду о своем здоровье. Жена Пунина не советует кварц, а лучше дожидаться

солнца. Сейчас говорил по телефону с Шкловским. Он здесь. Приедет ко мне завтра. «У меня, — говорит: — есть дело к вам». Я думаю, Наденька, что, кончив «Прибой», поеду в Москву, а оттуда так близко к тебе, что я не устою... Что ты скажешь? Впрочем, я буду рассудительным, пока нужно, пока можно быть рассудительным.

Господь с тобой, ненаглядная моя, радость моя, — жена моя без колечка... Люблю тебя, как только можно любить, то есть дурею и ни с кем, ни о чем не могу говорить, жизнь моя...

Завтра подпишусь на Вечернюю для моей детушки газету и вышлю Трамвай.

Ты не поверишь, но мне у Жени очень славно. Татка ходит в детский сад. «Дама» с нее сошла. Она тощая и очень шальная девчонка. Читает все, даже на днях прочла «аборт». «Бабушка, что это?» и правительственный Сенат. Деда тебя целует. Анна Андреевна шлет привет. Кат. Конст. тоже.

Нанушка, не кури (и я), кушай яйца, масло, пей какао. Подтягивай старуху. Дразни ее червонцами...

№ 18. К Н. Я. Мандельштам

[Февр. 1926]

Родная, ненаглядная Наденька!

Вчера папа опоздал отправить спешное письмо, и я сегодня дописываю. Вчера договорил со Шкловским. Он предлагает мне съездить в Москву. Его книгоиздательство будто бы само догадалось, что меня нужно подкормить. Поеду я только кончив Прибой. Сейчас жду машинистку, которая звонила, что уже выехала с машинкой. Вчера поздно вечером говорил с Горлиным. Мы не расформированы. Работа будет продолжаться.

Ангерт вернулся из Москвы. А еще, нежняночка моя, могу тебе сказать: я без тебя не могу, мне просто дышать нечем. Я считаю дни, но здоров и что называется бодр. Пташенька, телеграфируй мне чаще. Не терпишь ли ты лишений? Не утесняют ли тебя? Целую рученьки... Твой...

№ 19. К Н. Я. Мандельштам

[Февр. 1926]

Родная моя голубка, слышу твой жалобный голосок! Не плачь, ребеночек мой, не плачь дочурка. Вытри глаза — слушай свою няню: приблизительно через месяц можно думать о Киеве. Я сделаю все, чтобы выволить тебя от старухи. На этой неделе я имею от Горлина 80 р... III-го Прибой дает первые сто. Весь этот месяц и даже следующий прекрасно обеспечен. Я постараюсь занять и выслать тебе своевременно, чтобы ты могла переехать, сразу рублей 200—250. Дета, у тебя правда не болит? Умоляю, не скрывай. А вес? Если я паче чаяния пришлю меньше денег, оставь себе на вкусности, на прикупочки: мандарины, икру, хорошее масло, печенье, ветчину. Скрась свою грустную жизнь. Ходи в город.

Фогель очень доволен моим отчетом. Кварц одобряет: «Почему нет?» — говорит; советует избегать здешней весны, особенно марта.

Родненький, знай, что я могу достать для тебя денег. Здесь Рыбаковы. Пунин попробует достать под Прибой. Я еще не просил. Не знал, что тебе там худо. Держусь пока независимо. Но после сегодняшнего письма сейчас же поговорю с Пуниным и с Женей и, конечно, они помогут мне.

Вчера была Аня. Ее не узнать. Бойкая, поздоровевшая. Служит она гувернанткой у крупного трестовика. Ходит в твоем старье — в сером балахоне и тифлисской кацавейке. Через пороги прямо прыгает. Мама ей связала розовый шарф.

А я, дѣта, весело шагаю в папиной еврейской шубе и Шуриной ушанке. Свою кепку потерял в дороге. Привык к зиме. В трамвае читаю горлинские французские книжки.

Надик, не смей не спать. Вели ежедневно топить, как следует.

Часов в одиннадцать мне кладут наш «волосяной» на диван в столовой. Я стелю постельку. Жени никогда нет дома. Тишина. Бродит деда. Только успею сказать — спаси, Господи, Наденьку — и засну.

Сейчас, родная, я здоров как никогда: спасибо тебе, ангел мой, за жизнь, за радость, за словечки твои. Завтра шлю тебе подарочки читательные.

Горлин поручил мне писать рецензии (на утверждение) для Москвы. Что пройдет — будет мое. Первая же утвержденная книга. Кончив Даудистеля — (вчера я сдал всю *нашу* работу) еду в Москву, где Шкловский подготовил мне почву.

Нарисуй мне рисуночек, свое неуклюжее что-нибудь, дочка. Дочурка, я люблю тебя и этим счастлив здесь. Твой муж, нежняночка.

№ 20. К Н. Я. Мандельштам

[Февр. 1926]

Родная моя ненаглядная дочурка!

Что с тобой? Радость моя, не волнуйся, не тревожься. Сегодня жду твоей телеграммы о здоровьи. Вечером консультирую Фогеля (вторично). Пока он нахо-

дит, что тебе лучше до Киева подождать здесь. От Тарховой я тебя во всяком случае возьму. Деньги есть. Прибой еще не тронут. Все пока дал Гиз (300 рублей). Это хорошо. Прибой мне авансирует. Москва даст тоже. Новый договор будет. Я могу — и это очень серьезно — или приехать к тебе или выехать навстречу в Киев (если Фогель позволит).

Пташенька, моментально перейди на диету... Это я, а не доктор. Сейчас у меня стенографистка (конечно, Прибой). Писать буду и много, много... и сегодня второе напишу. Здоров как бык. Погода смягчилась. Целую любимую...

№ 21. К Н. Я. Мандельштам

12 февр. [1926]

Родная доченька, я случайно зашел к Выгодским и пишу у них это письмо. Посмотрел на нашу горку и сижу в красном кресле-ушане. Говорил с Фогелем, доложил ему все твои жалобы. Он считает, что тошнота у тебя желудочная, что громадное значение имеет кухонное масло и жир. Во что бы то ни стало ты должна найти в Ялте хороший стол. Возьми в гиды Емельяна и отправляйся на поиски. Деньги на переезд ты будешь иметь к 15-му — я знаю, тебе нужно 190+100 — пока что, не считая 75, посланных сегодня.

В Киев ехать он разрешает хоть сейчас, но рекомендует весну в Ялте — конечно с хорошим столом — и запрещает весну на севере, у нас... Последнее слово, конечно, за местным врачом, скажем, за Цановым. Он был у тебя, детка?

Я, детуся, живу спокойно и работаю во всю: завел манеру стенографировать. В два часа делаю 20 стра-

ниц. Стенографистка приходит ко мне днем, а вечером я работаю еще часок с машинисткой на 8-й линии.

В Ленгизе мне идут навстречу. Между прочим, для контроля над редсектором здесь назначен из Москвы Вольфсон, старый дядя-одессит, с которым у нас приятельские отношения. Это важная шишка. Я затащил его к Горлину, и кое-что он мне устроил.

Сегодня я обедал у Пуниных. Там девочка Ирина — замечательно честная и добродушная. Читает Трамвай, перекладывая его на прозу. Чудовищно рисует. Рыбаковы предлагают 200 рублей. Если Прибой задержит, я возьму, а может и обойдусь. Каково! Пока я не задолжал ни одной копейки.

Родная сестричка, ты мне мало и невнятно пишешь про себя. Как проходят твои дни? «Лежачая» ты или «ходячая»? Сходишь ли в город? Пойди к парфюмерам и свесься для своей няни и телеграфируй мне — будет похоже на коммерческую телеграмму.

Надик, что значит «боли обычные»? Я хочу знать, как часто, как долго, когда . . . Лежишь ли с бутылочкой? Кто около тебя, родная, когда тебе нехорошо? Кругом, Надюша, только и слышишь, что о мезентериальных железах. Страшно модно. В Царском есть, говорят, хороший санаторий, где можно жить в отдельной комнате и куда меня пустят. Там лечат, между прочим, железы вливанием кальция в жилы. Я узнал это случайно. Проверю. На лето. А пока, нежняночка, тебе предоставляется полная свобода выбора: Ялта или Киев. Только хорошенько обдумай и посоветуйся с Цановым.

Если останешься в Ялте, я на март, очевидно, приеду, предварительно съездив в Москву, а в Киев приеду и подавно.

К деду звонит вчера и сегодня какой-то чудак «инженер» — зовет работать по козам. Деда бедный сменил сегодня валенки на сапоги и пошел на «совещание». А Аня и вправду стала нянькой (я привык Няня с большой буквы). Надька, знай, прелесть моя, больше-ротик мой, что я весь насквозь ты и о тебе! Как твой золотой волос-борода? Дай поцелую его. Люблю тебя как сумасшедший, так, что не чувствую расстояния. У меня твоей карточки нет. У тебя есть «касса» — снимись. Пташенька, самая трудная разлука прошла — мы уже идем друг к другу. Я считаю дни. Храни тебя Господь, мою нежняночку.

№ 22. К Н. Я. Мандельштам

[Февр. 1926]

Ненаглядная, родная, любимая, когда ты получишь это письмо, у тебя уже будет много денежек — «касса» — и тебя уже никто, мою славную, не будет обижать.

200 рублей для меня взял у Рыбакова Пунин. Прибой еще не тронут — на днях ты его весь получишь. У Рыбаковых я мог взять и больше. Сроком не связан. Осложнение, что ему должна

Родная, я схожу с ума: на расстоянии все так страшно, хотя я знаю, что ты пишешь правду. Умоляю тебя — возьми постоянного врача и слушайся его. Этого требует Фогель. Это просто необходимо. Пошли мне всю запись температуры и вес, когда сойдешь в город. Сколько дней ты лежишь? Как твоя тошнота? Что ты ешь? Общее или диету? Умоляю, напиши подробно, до глупости, до смешного подробно. *Я иначе не могу.* Когда болит? Сколько минуток? Родненькая, напиши.

Мой приезд, пташенька, не такая уж нелепость и невозможность. Большие шансы на договор в Гизе. Ка-

жется, я смогу приехать на март с работой и остановкой в Москве. Мы опять с тобой процветаем! А на апрель детку мою в Киев. А с мая я няней в Царском Селе.

У Жени «злоба дня» его отношения с Наташей — вернее злоба дня М. Н. и деды. Их объединяет суровый протест. М. Н. — умная и добрая женщина (Женька на нее все валит). — Пусть, — говорит, — женится, как мне ни тяжело! Она по ночам отводит душу со мной, и мне приятно слушать ее меткую, очень образную речь. У Жени растерянный и виноватый вид, у Наташи просто глупый.

Татка для меня слишком взрослая. Она сказала Наташе: «Что ты смотришь на моего папу, словно он твой ребенок!»

Деточка, я опять пишу на вокзале: это вошло у меня в привычку, словно я хожу в гости к тебе. А по утрам я сижу на кухне у Надежды и жду письма... Милая, будет ли от тебя сегодня телеграмма? Эти дни я усердно стенографирую и диктую. Осталось 17 страниц. Бра-бра! Завтра конец. Потом со всей энергией на Горлина и Вольфсона, чтобы поскорее отпустили к тебе... Целую большой ротик и родные волосенки. Слышу ночью голосок...

Някушка-пташечка! Я иду к тебе... Храни тебя Господь. Будь веселенькая. Не могу и не буду без тебя. Люблю...

№ 23. К Н. Я. Мандельштам

[Февр. 1926]

Родная моя глупышка! Да что с тобой такое? Сегодня я утром в 10 часов телеграфирую: абсолютно здоров и т. д... Ты в шесть еще не получила телеграммы!

Чудеса! Нанушка, что я наделал своей безалаберностью: ты мучаешься уже три-четыре дня, когда твоя няня здоровехонька и процветает между Горлиным и Грюнбергом. Детка моя, успокой свою душу милую — да нечего, нечего тревожиться. Я даже не переутомлен. Чувствую себя несравненно лучше, чем в Ялте. Мне просто совестно писать о себе. Но довольно об этом, Надик, поцелую твою головенку и слушай разные разности... Во-первых, цикл моих работ закончится дней через десять. Я останусь тогда с новым большим договором от Горлина (завтра из Москвы придут книги и ответы) и, конечно, приеду к тебе. Скажи, родная, хорошо ли к весне в Ялте? Ты ведь рада будешь пожить там у собак и морюшка с няней? Разве Киев поздно к 1-му мая?

Вчера у деда была трагикомедия: он собрался в гости на «пурим» к еврею-часовщику и попал в «засаду». Посидел с 9 вечера до 2¹/₂ дня с множеством случайных людей. Страшно волновался бедненький, ссылался на то, что он отец «писателя Мандельштама». С ним общались бережно и его не обидели. Но как жалко деду: подумай, пошел раз в год в гости. Он умудрился даже позвонить (не объясняя причины), что «остается ночевать». Вот наше событие.

В Ленгизе без перемен. Я называю это «стабилизацией». Белицкий и новый зав. редсектора выписали мне все деньги по очередной работе. (Последние 200 рублей). Очень внимательно, правда? Я теперь опять стенографирую дома: это очень удобно — два часа двадцать страниц, а потом правлю, а потом весь день хоть гуляй.

Сегодня первый весенний день. Все растаяло. Припекло даже, особенно в кабинете у Горлина было жарко, жарко... Мне портной за два с полтиной починил

штаны, но срезал красоту — нижние закрутки... Собираюсь покупать ботинки. А тебе, Надик, не надо ли чего? Напиши своей няне, она тебе привезет. Это правда, Нанушка, я привезу часы, колечки и подарочек, какой ты скажешь. Някушка, скажи, у тебя устроилось с Тарховой? Неужели нельзя к весне найти другого места, если так плохо? Только осторожно, милый не рискуй. Я в сущности консерватор, ты знаешь. Заказывай меню. Прикупай в городе хорошие вещи. Не жалей денег. Будут. Дружок мой, нежный, пришли температурную кривую, восстановив ее по памяти, и в каждом письме сообщай свою температуру. Хорошо, Някушка?

Родная моя, я слышу твое дыхание, как ты спишь и говоришь во сне — я всегда с тобой. Я люблю тебя нежную мою. Господь с тобой, дружочек мой. Будь весела, женушка моя. Твой муж, няня, твой Окушка голубый. Ну, до свидания, нежняночка, люблю...

№ 24. К Н. Я. Мандельштам

17/II [1926]

Надик, где ты? Два дня от тебя ничего нет, и я два дня не писал. Третьего дня я был сам не свой. Ждал телеграммы. Звонил домой каждую минуту и пришла хорошая телеграммушка. Я тогда встретил Шилейку на Литейном, и он проводил меня в Сеятель позвонить — нет ли телеграммы. Он был в наушниках и покупал книги XVI века. Когда мне прочла какая-то тетка по телефону твои словечки я так развеселился, что принял Шилейкино приглашение пить портер в пивной и полчаса с ним посидел: пил черный портер с ветчиной и слушал мудрые его речи... Я живучий, говорил я, а он сказал: да, на свою беду... А я сказал ему, что люб-

лю только тебя — то есть я так *не сказал*, конечно — и евреев. Он понимает, что я совершенно другой человек и что со мной нельзя болтать, как прочие светские хлыщии . . .

Надик, где ты? Я пришел опять к тебе в гости на вокзал. Меня еще душит перевод Даудистеля: я правлю последнюю часть. Работы на два дня.

Надичка, я *не могу не слышать каждый день твоего голоса*. Родная, что с тобой было? Установилось ли твое здоровье? Как проходит последняя треть месяца! Я на днях пришло тебе денег на весь март. Хочешь знать, что у меня намечается: Горлин проводит для меня одну забракованную книгу с поддержкой Вольфсона. Маршак заключает договор на биографию Халтурина — плотника — народовольца: 1—1½ листа, 150—200 р(ублей). Это очень легко. Я напишу в пять дней. Затем Федин включил книгу стихов в «план» — пошлют в Москву (только список названий и аннотацию) — и . . . вычеркнут . . . Рецензии идут . . . Через неделю все эти узлы распутаются. В деловом отношении я совершенно спокоен. Лишь бы мне удалось поскорее к тебе. Так не хочется тебя трогать в эти проклятые снеготаялки-города . . .

Надик, ты ходишь к собакам гулять? По моей дорожке над армянскими кипарисами!

У Татьянки сегодня жарок. Я все жалуюсь ей, что хочу к тете Наде, а она говорит: — Ну так поезжай, я тебя отпускаю.

Деда ездил в Лугу «по делу» и привез насморк. Приходила Саша: без работы, продавала бублики, и все мечтает о «союзе».

Надик! Нежненький мой! Я был у Бенов: они повели меня в кино. Они ходят по понедельникам, как в баню . . .

Прости мне, голубок, что два дня не писал... Пташенька, как твое личико сейчас? Ты не бледная, не грустная?

Детка! стучат штемпелями на почте... Без десяти одиннадцать. Сдал письмо. До завтра, любимая моя, ненаглядная. Целую тебя. Слышу каждую минуту... Господь тебя храни! Люблю. Няня. Надик! это я.

Твой Няня.

№ 25. К Н. Я. Мандельштам

[Февр. 1926]

Надик, доченька моя, здравствуй, младшенький! Няня с тобой говорит. Ты мне в письмах не написала температуры и пр... Так нельзя, ласковый мой. Каждый день пиши.

У Татки ветряная оспа. Она лежит в жару веселенькая: «Напишите тете Наде, что я немного простудилась. Больше ничего не придумаю». Над губой у нее уже маленькая пустула. Болезнь пустяковая.

Сегодня, Надик, у меня в Гизе хороший поворот. Приехал Вольфсон. Сначала положил резолюцию на договор, минуя Москву, потом с Горлиным решили все-таки оформить в Москве. (Это займет десять дней), а пока я получаю маленькую легкую книгу — французскую — о судах и судьях — 6 листов по 35 рублей. Я весь день спокойненько сижу дома. Завтра кончаю Прибой. Вечером меня потянуло на вокзал — к тебе — с «Трамваем» и газетками. Для меня эти поездки отдых — прямое сообщение «четвертым». Деда все ходит по евреям-каплунам. М. Н. — она очень неплоха — настоящая умница — велит вставить ему челюсть. Эта бабушка прекрасно ухаживает за дедой и Таткой, все понимает, меня приняла без всякой натяжки — хорошо.

(Ужасная бумага — покупаю новый листок).

Вот. Надик на новом листе: М. Н. — умница. Женя вешает на нее всех собак. В истории с комнатой (теперь это ясно) она совершенно была не при чем. Женя сдал комнату какой-то пожилой актрисе с дочкой. Его почти никогда нет дома. Он забросил Татюку. Она обижается и ревнует его.

Иногда я уйду работать в светлую людскую — потому что люблю кухню и прислугу. И потому еще, что я «немножечко» курю, а в чистых комнатах из-за астмы нельзя...

Но «немножечко», Надик! Ты не поверишь: ни следа от невроза. Пятый этаж — поднимаюсь, не замечая, мурлыкая.

Три дня уже оттепель. Черный снег. А днем два градуса тепла. Сегодня Федин спросил, сколько я хочу за книгу стихов. Сказал, 600 рублей. Посмотрим. Но это ерунда.

Прибой начнет платить вероятно во вторник. Знаешь, Наденька, положение наше в начале марта будет ничуть не худшим, чем в октябре.

Если тебе хорошо, не уезжай из Ялты. Мы еще с тобой погуляем. Надик родной. Целую: пора сдавать письмо. Н... Все время помню...

№ 26. К Н. Я. Мандельштам

Пятница. [Февр. 1926]

Родная моя! Я сижу в маленькой людской, потому что здесь «уютненько» — и кончаю буквально последние пять страниц проклятого немца. Как меня душила и тебя, мой маленький, эта работа. Завтра я о ней забуду. Утром я еще ездил на Лиговку к машинистке. К трем часам заехал в Гиз. Зашел в комнатку к Федину и

Груздеву. Они как раз заполняли бланки с предложениями книг. Я мельком прочел: «один из лучших современных поэтов» . . . Стараются! В числе других стараются протащить «Рвача» Эренбурга. Надик, мне надоело это проталкивание и протаскивание! Эти няньки и спасители-охранители! Мне грустно, деточка моя.

Горит красная лампочка и Надежда поет «Кирпичики». Мне не мешает. Подошел деда и развил план насчет заимки: нужно ему написать «доклад». Татуська вся в ветряных оспинках. Замучила свою бабушку, требует: «играй»! А у меня требует Трамвай — зачем я у нее отнял! — для тебя, Надик.

Сегодня от тебя не было письма. Что с тобой, Надик? Ответь своим голоском! . . . Надик, я совсем не представляю себе, как ты живешь. Следит за тобой врач? Это необходимо.

Сегодня вечером, отправив это письмо, я зайду к Бену. Все ужасно боятся, чтобы я к тебе не сбежал, — неблагоразумно. Ты, родненькая, не беспокойся, я это сделаю лишь тогда, когда можно будет. Как взрослый. Первую неделю я, Надик, прохворал — очень легко — простудой. От нее сейчас нет и следа. Вот я говорю с тобой и не знаю, как тебе. Голубок младшенький, кинечка родная, ты не хочешь в Ялте? Нет? А у тебя, скажи, весна? Ты просишься в сырость, в снег . . . Не надо, Надик, Киев хорош в апреле. Через неделю твоя няня заключит договоры и скажет: может ли он приехать? Надик, у тебя никого там нет? Ласковый мой, ручной, о чем ты думаешь? Митя ли тебя мудрости учит? В карты тебя мучают? Родненький, в Ялте, наверное, длинные светлые дни. Надик, я хочу увидеть нашу комнату-фонарь, пустить зайчика в большевиков, полежать на постели — узенькой и твердой. Я родная, сплю теперь просто: не думаю о сне. В час засну.

В семь проснусь. А ты, Надик, хорошо? Звереньши ху-
денький... Не сдобровать тебе... Будут от меня те-
леграммы... Сколько тебе денег надо? У меня будет
«порядочно». Прямо забросаю...

Все твои письма, родная, я ношу всегда с собой. На
ночь говорю: спаси, Господь, мою Наденьку... Еще
пришли мне последнее письмо твоей мамы. Я их всегда
ведь читаю. Целую волосенки и лапы, и лобик, и гла-
за. Мне грустненько без тебя. Надик светленький, от-
веть мне. К тебе, к тебе... Няня.

№ 27. К Н. Я. Мандельштам

[Февр. 1926]

Родненький мой, я наверное тебя растревожил. Я не
писал по глупости, по бестолковости. Хотел исправить
телеграммой, а вышло хуже. Дочка, поверь, мне хо-
рошо, то есть насколько может быть хорошо без тебя,
то есть, ужасно. Я живу спокойно, уютно. Все у меня
ладится. Я здоров. Никто меня не раздражает, но я не
могу этого больше выносить и вырвусь к тебе при пер-
вой возможности. Маленькая Наденька, кривуша род-
ная, я все вижу твою фигурку на солнышке, зажму-
рившись... Ты такая смешная, чудесная, когда идешь
одна... Дета моя, не нужно огорчаться, надо еще по-
терпеть недельку-другую — и мы будем опять вме-
сте. Как я мог, Надичка, без тебя целый месяц? Я сам
не понимаю.

Вот, что я сейчас делаю: я теперь даже к Горлину
редко хожу. Два раза в день, в 10 и в 7, я медленно вы-
ползаю в темпе прогулки — днем к многосемейному в
мещанской квартире машинисту на Первой Линии, а
вечером — в громадной с хорошим воздухом зале у ма-
шинистки на Пятой Линии. Завтра поведу Бена знако-

мать в Прибой, а вечером мы пойдем в кино. И ты пойдешь, Надик, за свою няню, когда захочешь. Да? Работку, что у меня на руках, кончаю через 10 дней. Потом я свободен. Ничего спешного не возьму. Только — к тебе, к тебе . . . Где твоя карточка?

Родная моя, родная . . . Слушай, мой кроткий, свеченька, зайнышка: ты мне, знаю, не веришь, а я тебе — я не болен и переутомления с последствиями тоже не было. Я живу ритмично, работаю охотно. Верь мне. Это так. Но что я с тобой сделаю . . . Ты за подснежниками далеко ходила? Устала?

Дома никого нет. Бабушка ушла к Радловым. Татка пришла ко мне на диван, и я стал читать ей Шары и прочее. Она же пела «Кухню». Говорила разные сентенции — «Взрослым от шалостей одни неприятности» и т. п. Деда ходит и ищет папирос, которых вообще нет. Сегодня к нему подошел посланец из Риги от «Пермана», некий провизор, друг детства, тоже Мандельштам. Папу серьезно зовут в Ригу. Виза и проезд необычайно доступны и дешевы. Мы решили обязательно его весной отправить . . . Весной! . . . Ах, Надик мой, иностранец из-под развесистой ялтинской клюквы! 10° мороза ты принимаешь за 10° градусов тепла. У нас здесь 1 марта, зима во всю — 5-6° минус, а не плюс. Зима всюду, детка моя . . . До весны еще месяц.

Дружочек, скажи мне, отчего ты не сообщаем своей температуры в каждом письме? Надик, почему ты не делаешь так?

Надичка, когда я скажу твое имячко, мне весело. Ты моя. Я тебя люблю как в первый, первое первого, день. Мне легко дышать, думая о тебе. Я знаю, что это ты научила меня дышать. Как я побегу к тебе в горку. Ведь я могу теперь и в гору бегать.

Во вторник я выясню вопрос с антигероидином. Я тебе завтра вышлю перевод 1002-й ночи. Здорово сделано. Приятно перечесть. Это мы с Анькой сделали. Пошел деда. Тебе деда. Тебе кланяется.

Надюша, скажи, пожалуйста, снимать домик в Царском или нет? Бен говорит, что это нужно сделать в марте. Я согласен на Царское к 15-20 мая. Не раньше. Ты получаешь мои газетки? Правда я их смешно заклеиваю?

Надик, голубка, любовь моя, до свиданья. Я на ночь целую тебя в лобик и говорю: храни Господь Наденьку... Люби меня, Надик, я твой...

№ 28. К Н. Я. Мандельштам

[Февр. 1926]

Наденька, радость моя, сейчас послал тебе телеграмму, очень бестолковую, но ты ведь все понимаешь. Не уезжай, голубка, из Ялты. Может я к тебе приеду. Ты не знаешь — забыла — как холодно на свете и как сыро. У тебя здесь уголочек оранжерейный. Во всей России и на Украине то мороз, то грязь, то оттепель... От такого перехода, Надик, никому не поздоровится... Даже я первое время прохворал. Давай дождемся ну хоть апрельского тепла, чтобы каблучками по сухим тротуарам... Да, Надик? Слушай ты, беленький, ты, правда, герой? Где твоя тура?

Детка моя, я хочу тебе жаловаться и начну с того, что у Жени по утрам дают ужасный кофий, такой мерзкий, что никаким сахаром его не заглушишь. И больше, пожалуй, не на что. Дед требует, чтобы я с ним «занимался», а Женя — его никогда не бывает дома. По целым дням я в «пустой» квартире с Таткой и М. Н... С ней легко себя чувствуешь — славная ба-

бушка. Все мои выходы, родная, к машинисту — теперь у меня «дяденька» — и к Горлину. Прибою очень понравился наш переводик. Они за мной ухаживают, идиотушки... Просят работать.

Надик, мы как птицы кричим друг другу — не могу, не могу без тебя!.. Вся моя жизнь без тебя остывает — я чужой и ненужный сам себе. Я твою телеграмму положил под щеку третьего дня и так вечером, устав, засыпал... Таткина «оспа» проходит. У меня была лет двадцать назад — не заражусь. Вместо тебя, родная, я жалуюсь Татке. Она делает серьезное личико и говорит: «Дядя Ося, ну поезжай к тете Наде, я тебе тут никак не могу помочь».

Хочешь, мальш, о делах? Я заключил договор с Горлиным на 4½ листа — 210 р... Страшно легко... Прибой выписывает 200, остальные в марте. Рецензии дают 30 р. в неделю. Книга стихов зарезана. Детский договор отвергнут. Не люблю Маршака! Большая книга будет в Гизе в начале марта. Как видишь, неплохо. Да, еще забыл: взял курьезную редактуру в Прибое по 15 р. — 6 листов.

Надик, голубка моя, возьми меня к себе. Я здесь заблудился без тебя. Уже я не в папиной шубе хожу. Морозит. Сухо. Даже весело на улице. Дета моя, как я погляжу на наши магазины — Елисеевы — так мне грустно, грустненько. На Невском ревут радики на всю улицу. Женя сегодня едет в Москву. Его выживают московские пройдохи. Он полночи вчера со мной советовался, бедный. Боится потерять положение, страшно волнуется.

Надя, кинечка мамина, Аня звонила. Здорова.

Что ты думаешь, маленький, приехать мне к тебе с большой работухой? Ты на солнце лежишь на пле-

тенке, Надик? Родной мой, ты, как ты меня провожала в зачиненных туфельках? Надик, встреть меня, птишенка на днях. Жди меня! Жду, не дождусь...

Спаси, Боже, Наденьку. Господь с тобой...

№ 29. К Н. Я. Мандельштам

[Март 1926]

Спасибо, Наденька за письмецо. Добрый мой, ласковый, никто так не напишет. Много листочков. За картинку спасибо: это ты. Я улыбался тебе, родной, я и смеялся, читая.

Сегодня событие: Прибой дал 200. Я сейчас же перевел тебе. По всем аптекам и складам искал антитероидин. Нигде нет. Партия разошлась. Советуют звонить по телефону во все районные аптеки — там скорее останется... Вечером этим займусь.

1-го марта получил 200 за новую книгу в Гизе. Затем еще 170 в Прибое. Сеятель сегодня дал ответ: очень хотят горлинскую книгу, но колеблются, просят вернуться, если Гиз не возьмет (это большая книга). Я, родная моя, решил три дня отдохнуть. Посидеть с Таткой, хоть в кино сходить с Бенами или просто гулять по улицам. 10°.... Хожу в дедовой шубе, а его арестовал дома. Он обижается, но ему лучше у печки, старенькому деду. Женя вчера уехал в Москву на пять дней. Вчера звонила Аня. У нее совсем здоровый, уверенный, не тягучий, твердый голос. Одного дитеньку ее увезли в Москву, то есть воспитанника... Надька, ты чувствуешь, что я найду твой мудреный «тироидин»?

Сегодня я пил кофе с Горлиным в «Гурме». Правда, это был предел мечтаний в Ялте? Смотри, не беги с деньгами в Киев: тогда я от тебя откажусь! Сиди мирно, Надик маленький!

Мы с Беном решили написать сценарий по «делу Джорыгова». Прочти в Вечорке. Это фантастика, но Эк. Конст. просит. Я ей отдал твое письмоце.

Надюшок, 1-го мая мы будем опять вместе в Киеве и пойдем на ту днепровскую гору тогдашнюю. Я так рад этому, так рад... В начале марта выяснится, могли я приехать (думаю, смогу). Не забывай еще Москву по пути. Это будет только весело. Что пишет мама? Дай мне ее письмоце...

Ты поздно встаешь, если письма тебя не будят? Где ты снималась — в саду или у настоящего? Для Панова вышлю тебе завтра второй Трамвай, а кстати куплю Шары для Иринки Пуниной — Анна Андреевна с Пуниным сегодня на Невском искали эту книжонку.

Рыбаковым отдам 100 р. 1-го марта. Остальное условлено в конце месяца. Не тревожься, милый. Твой няня умный.

Надик, говорят, что в Ялте Клычков. Хоть это не Бог весь кто, отыщи его, тебе приятно будет. Не стало ли много хуже у Тарховой? Тогда брось, но осторожно...

№ 30. К Н. Я. Мандельштам

5 марта [1926]

Надичка, жизнь моя, спасибо тебе за карточку. Детка моя: какое милое личико, болезненно грустное, растерянное. Что ты, Надик, думал? Что с тобой, кроткая моя друженька? Я никому не покажу твоей карточки. Никто не знает, что она у меня. Когда я увидел твое грустное личико, я бросился к дверям — сейчас же к тебе... Я знаю, что ты улыбнулась бы мне, но карточка не может. Спасибо, Надик нежненький, целую лобик твой высокий. Какая ты прелестная, родная. Нет

такого другого личика. «Встреча?» Ты — моя встреча, вся жизнь моя. Я жду встречи с тобой, я живу тобой. Пойми меня, ангел мой грустный. Смешно сказать, но меня отделяют от тебя 1½ листа перевода для «Прибоя». Затем я в Москве и у тебя. Я таскаюсь по городу, сжимая твои письма в портфеле. Не бойся: не выпущу из рук, не потеряю, не отойду от них. Радость нежняночка, я люблю тебя. Чтобы так любить стоит жить, Надик-Надик!

Ну вот, дружок мой, послушай меня: последние дни я не могу проследить твоего состояния: не знаю веса, температуры, ничего. Одни общие места. Умоляю: подробно. Можно телеграммку.

Я дурак не понял твоей телегр[аммы]. Это о трех днях без писем. *Заработался я тогда, но был здоров.* Просто к вечеру разомлевал.

Физически был крепок. *Сердце прошло бесследно.* Никаких припадков. Прекрасно хожу. Да ну его! О чем тут говорить!

Подробности дел: в Гизе ломают голову, как дать мне работу. Вольфсон (политредактор из Москвы) на будущей неделе предлагает съездить с ним в Москву, извиняясь, что едет в жестком вагоне: «Мы для вас что-нибудь придумаем». В *Прибое* и *Сеятеле* очень много шансов. Во всяком случае до 20 апр[еля] мы уже обеспечены — с моей дорогой, вдвоем.

Деда вполне здоров. Снялся. Взял «анкету». Собирается в Ригу. М. Н. мне все больше нравится. Она все понимает: просто бабушка! Надик мой! Сегодня от тебя не было письма? Ты сердисься? Нет? Родненькая, пиши мне. Скоро мы будем вместе — так пиши, моя нежная, пока я далеко. Няня твоя.

№30а (Продолжение или отдельное письмо?)

Нануша, вышла книга Вагинова. Какая-то беспомощная. Я ее пришло тебе. В печати хуже. Много смешно. А[нна] Андр[еевна] с Пуниным уехали в Москву. Я воспользуюсь и зайду к Шилейке. Надечка моя. Вот я побыл с тобой. Мне весело стало. Да, ангел мой: будем вместе, всегда вместе, и Бог нас не оставит. Целую тебя, счастье мое. Твой лобик на меня смотрит. Ты волосенки откинула так — они у тебя не держатся... Целую. Твой, родная. Твой Няня.

Надичка, как сейчас у Тарховой? Когда станет дороже? Есть ли куда переехать? *Твой вес? Температура?*

Надик, если морозы, — *сильно, сильно* топи. — Не жалея денег. Топи ежедневно. Турушку [температуру] пиши за все дни. Самое главное телеграфируй.

№ 31. К Н. Я. Мандельштам

(7 марта) [1926]

Родная моя, если бы ты знала в какой я тревоге! Уже сутки нет ответа на мою ответную телеграмму. Солнышко мое, я безумно за тебя боюсь и, главное, не знаю, что с тобой. В телеграмме переврали одно слово: «если» значит очевидно «боли». Опять боли? Да, Надик? Как я могу тебе посоветовать, не зная всего? потом я писал спешные: 28-го, 1-го, 3-го, 5-го и сегодня 7-го. Неужели ты не получила. Буду писать каждый день, родная. Я все боюсь, что простое письмо пойдет долго, а к спешному опаздываю: вот и ключ к перебою писем.

Наденька, в городах сейчас эпидемия гриппа ужасная. Слякоть, вред. Куда ты рвешься? Ты и всякая дру-

гая на твоём месте заболит через три дня. Подожди хоть до апреля, если не хочешь весны в Ялте. Не будь сумасшедшенькой. Я тебе писал не жалеть денег. Это не пустые слова: у меня их достаточно. Потрать в марте хоть 400 р. Апрель все равно обеспечен. Не знаю как, но за деньги можно все устроить. Тебе виднее как. Не бросай только Ялту. Если ты останешься надолго, я приеду на апрель. На днях я оборачиваю свое колесо. Беру новые заказы и еду в Москву. Оттуда к тебе. Умоляю, пиши мне подробно о здоровье. Ты знаешь, голубчик, как писать. За меня беспокоиться нелепо. Я очень поздоровел. Если бы ты знала, каким молодцом я работаю и делаю все, что нужно. Вот няня сама себя похвалила . . .

Надик я согласен на твой переезд в номер восьмой. Все чепуха, лишь бы мою Някушку не кормили дрянью. Может быть ты откажешься от пансиона и объединишься с Тюфлиньми?

Надик родненький, может я советую глупости, — тебе виднее — но не бросай Ялту в опасное время года.

Нежняночка, слушай свою няню: покупай в городе вкусные завтраки. Плюнь на тарховские штучки. Плати ей хоть даром деньги. Здешний весенний холод безвреден, а у нас и в Киеве — отравка . . . Слушайся, родная, няню и Цанова. Милая моя, я весь день сегодня сумасшедший — жду телеграмму . . . Спаси Господи Наденьку мою . . .

№ 32. К Н. Я. Мандельштам

[Март 1926]

Родненькая, целую твои гранатики. Надик, что это было? Три дня я сходил с ума. С субботы на телеграмму до вторника — ничего . . . Что с тобой, жизнь моя?

Значит простуда прошла. А боли? А тошнота? Надик мой, все мне мало, все не подробно. Письма, письма жду. Какая ты умница, что осталась в Ялте. Ты *дождешься теперь меня — няни!* Ты знаешь, я завтра кончаю работу. Прибой мне должен 300 р. Я сумею их сразу взять. Родная, уже март идет. Как нам легко теперь . . .

Если б ты знала, как я томился эти дни. Вчера я не писал — сил не было от тревоги. Ты ведь понимаешь. Сегодня я тел[еграфировал] Мите, потом хотел срочно Тарховой и позвонил по телефону. Мне прочли твою утреннюю телеграмму. А я тебя не разбудил своей? Все в доме смотрят на меня с нежным состраданием как на сумасшедшего . . . Деда меня неудачно утешал, М. Н. влияла и т. д. . Пташечка моя, если бы я знал, что с тобой! Теперь правда уж скоро я у тебя . . . но твои письма обходят здоровье. Где *кривая* температуры? Как пищеварение? Ведь ты же молчишь обо всем. Так нельзя. Одни обрывочки. Что говорит Цанов? Почему ты не *купишь* дров и не топишь во всю? Кто тебе смеет это запретить! Сейчас же купи хороший шерстяной свитер! Если не выходишь, поручи М[арье] Мих[айловне] . . .

Хочешь знать, как с моим отъездом. Пока еще нет новой работы. Но Горлин как родной: он пришлет ее, а затем возможно — Москва мне даст или даже здесь Ангерт с Вольфсоном. «Прибой» предлагает *непрерывную* работу, но с ними все-таки очень противно — хотя они ручные и почтительные, но какие-то сумбурные. Если я приеду с 400-500 р[ублей], я смогу с тобой прожить с 15-20 марта до 25 апреля и не спеша сделать работку. А если бы и не работать [в] Ялте? Чем худо? Но няня приедет с работкой . . .

Вчера меня затащили на заседание в Зуб[овский] Институт. Читал Тихонов. Меня встретили как Сологуба, молодежь уступала мне стулья как Франс Энгру, и я был оракулом-младенцем — сумасшедший какой я был думая о тебе, только о тебе, Надик-Нежняночка. Выпей за свою няню рюмочку портвейна. Целую твои гранатики, родная моя, и твой новый плохой, но тоже нянин светер. Нет такой силы, чтобы удержала меня теперь к тебе приехать. Самое большое я здесь промешкаю неделю (да вот Москве!). Ты моя милая, моя прелесть с лобиком высоким, мой друг, мой ангел, жди меня . . . Спаси Господи, мою Наденьку! Няня твоя с тобой. —

P. S. Я совершенно здоров и все время был здоров.

№ 33. К Н. Я. Мандельштам

[Март 1926]

Родная моя, ненаглядная — ты мне подснежничек нашла . . . Я, Надик, чудовище: три дня не писал. Не скрою: я эти дни *слишком много работал* — сделал из работы — спорт. Две книги параллельно для Гиза и Прибоя . . . Все откладывал на вечер, на «спешное», а вечером *уставал*. Надик, ты прости меня: никогда это не повторится. Это просто *не нужно*. Мы прекрасно обеспечены. Этот курьезный Прибой стал для меня вторым Гизом, и сейчас у меня два Горлина (один Грюнберг).

Родненькая, ты от 26 телеграфировала, что здорова, а 22 у тебя 37,6 (?). Что это значит? Только один день? или держится? Родная, *подробнее, подробнее* и не сердись на телеграммы. Это моя натура! Детка моя, я здоров. Это правда. Очень работоспособен. Очень бодр. Физически бодр. Я очень наволновался с твоей теле-

граммой. Мы тут ломали голову, особенно изощрялся деда. Значит опять Тархова? Это хорошо. Сохрани нашу комнатку до моего приезда. Я люблю наши кровати «капоцал». Что он какает? Надик, вот на чем основаны мои планы на приезд:

1) с 15 марта в Крыму до 15 мая чудесно. Это настоящие лечебные и целебные месяцы. Мы же устроены в Крыму и жалко не использовать. Это, наконец, попросту будет *весело*.

2) Кроме 200, присланных тебе, я уже имею заработанных в Гизе и Прибое 400 (Остаток с Даудистеля /130 р./ не считается, он пойдет Рыбакову).

3) К 15 марта я заключу два новых договора с Гизом (крупных) и с Прибоем. Высылку денег наладим.

4) На два-три дня я остановлюсь в Москве и перехвачу там *кроме всего* некоторую толику. И так, у нас будет обеспечен с «гаком» месяц, а на второй нам вышлют. Может будет и еще лучше.

Ты бы меня сейчас не узнала бы в Ялте. Я дурак, что сидел сиднем как маниак какой-то. Я бы сейчас лазил по горам, бегал в город, гулял ежедневно у моря. А ведь я «боялся» к переписчику сходить! Вот дурак-то был? Надичка, а Лев Платоныч еще есть? Его не зацапали? Справься: мне он очень нужен.

Сегодня приехал из Москвы Женя. Ихнее общество как-то грандиозно оскандалилось. У них враги Кугель и Щеголев. Свирский устроил в подвале на Тверском [бульваре], где наша старушка-сторожиха Хлебникова угощала, грандиозный ресторан.

У Татки все прошло. Вчера ее купали в большой ванне. Я для отдыха читаю Мертвые Души с картинками. Твоего переводика я не выбросил, а поцеловал и поправил: *он очень славный*.

Ты, Надичка, стала душой общества и председателем клуба? Да?

Мне простынки дала М[арья] Н[иколаевна]. На диване мне очень уютненько с тюфячком нашим. Сплю хорошо. Бываю я, Надичка, нигде. Раза два-три у Бена и Выгодского . . . Поэт Комаровский «тот самый». Он очень хороший. Достань стихи. Объясни Безобразовой.

Надичка, что с тобой сейчас? Тебе не плохо? Я сейчас даю телеграмму. Дня не оставляю без письма. Все твои заботушки исполню. Лекарство я почти достал на Проспекте Юных Пролетариев (!)

Надик мой любимый, храни тебя Бог!

Сейчас звонил Грюнбер[г]: прочел обо мне в каком-то английском magazine. Уважает . . . А[нна] Андр[еевна] прочла в „Mercure de France“.

Люблю. Твой Няня. Я с тобой, родная. Люби меня, Надик. Целую головку твою и глаза твои и морщиночки!

№ 34. К Н. Я. Мандельштам

[Март 1926]

Родная моя, Наденька, мы пишем тебе с Аней — я у нее в гостях (увы, в первый раз). У нее беленькая приличная комнатка рядом со спальней хозяев. Дети уже легли спать. Хозяин ее уже больше не любит. В доме есть радио.

Сегодня я получил твое сердитое письмецо: что у тебя, Надик, 37,6 от простуды или просто так? А телеграмму с Митиной визой я получил. Спасибо, ангел мой. Голосок твой даже в телеграмме. Вот ты послушалась меня, умница, но смотри не жалея денег. Заставь кормить себя хорошо . . . Хоть за свой счет каждый день подкупай . . . Главное, чтобы до моего приезда тебя не

смели обижать. Я думаю, как много значит для тебя волнение: от него и тошнота и даже боль. Будь же спокойна, солнышко мое нежное. И купи дрова и свитер.

Прибой я терроризовал: они все заплатят, потому что боятся, что я их опозорю. Так и сказали. Я думаю очень серьезно через неделю, то есть 17, выехать в Москву и дальше к тебе, родная. Сегодня я писал деду анкету в Ригу. Днем у меня разболелась голова на 2-3 часа, а не на сутки как раньше. М. Н. — бабушка — вылечила меня порошком и вкусным обедом.

Надик, родной, спи спокойно. Няня тебе велит. Главное, засыпая, не думай о сне. Думай о горушке в Киеве и домике в парке в Царском. Ну, мой дитенок, до свиданья . . . Передаю перо Ане.

Надюша, я недовольна. О. Э. ходит без запонок, манжеты завернуты (выругай его) и весь в пуху. Аня.

Надик мой, нежняночка! Я приписываю на вокзале (Анька живет около). Это бумага ее детей . . .

Ты, мой родненький, спи крепко, спи сладко, не думай ни о чем грустненьком. Деточка, воздух твой — я им дышу — он мой, он нем!

№ 35. К Н. Я. Мандельштам

[Март 1926]

Надик, дружок мой ласковый, как мы быстренько переговорились телеграммами. Я действительно во вторник выеду в Москву, но не знаю, сколько дней там останусь. Боюсь тебе советовать насчет Лоланова. Ну, а как ты там будешь совсем одна? Даже без Мити и прочих? Если там копошатся хоть какие-нибудь люди, так обязательно переезжай. Брось эту трущобу. Как ведь славно и открыто у Лоланова. Но только не сов-

сем одна! Мы с тобой обеспечены вдвоем, если я приеду 20-го, на весь апрель. Но я хочу обязательно приехать — лучше позже — но с работой, чтобы не было перебоев в мае. Это мне безусловно удастся. Прибой с конца апреля гарантирует постоянную работу, как раньше в Гизе. А Горлин советует съездить с Вольфсоном в Москву протолкнуть одну из книг. Это *очень верное* дело. Во всяком случае, если у меня будут наличными 500 р., а они почти уже есть, я к тебе еду немедленно из Москвы. И Горлин, и Грюнберг вышлют мне книги и подпишут договоры без меня. В мае я тебя оставлю на недельку одну — выеду вперед подготовить твой приезд в Киев. Да вот еще: детский отдел Прибоя просит детскую книжку. С ними очень легко. Они немудреные. Если завтра сговорюсь, напишу в один день. Пойми, моя милая, что под самое лето мне стоит приехать к тебе на месяц. Но я бы уже давно приехал, если бы не заботился о плавности твоего возвращения и о хорошей жизни в Киеве и в Царском... Ну довольно, пташенька, о делах. Как видишь, я не рассчитываю на неожиданности, хотя они и могут быть в Москве.

Посылаю тебе деду. Правда, какой он миленький... И книжку Вагинова... Ты знаешь, там есть строчка: «О, море, нежный братец человечий»...

Я дам тебе телеграмму в день выезда в Москву. А из Москвы о дальнейшем. Пиши пока до телеграммы на петербургский адрес, а после на адрес твоего Жени. Остановлюсь я, если на два-три дня, у Пастернака, если на неделю, то у Шуры. Надик, мне портной на Невском великолепно починил брюки, и у меня «приличный» вид. Вот ботинки я куплю. Это надо. Надик, неужели ты смотришь в Ялте на набережной для своего

няни шерстку? Ах ты заботливый, мой друженька, — о чем ты думаешь! А свитер у тебя есть? У нас опять зима. Сухо. Снежно. Сегодня утром ели блины с одной сметаной только . . .

№ 36. К Н. Я. Мандельштам

[Март 1926]

Няня твоя с сегодняшнего дня отдыхает: она кончила две книжки для Гиза и Прибоя. Я часто сижу за кухней в тепленькой комнате, хотя вся квартира пустая. Но там я как-то дома и там мне ближе к тебе. Личико твое уже не кажется мне таким болезненным. Оно проясняется на карточке. Я смотрю на нее две секундочки — утром и вечером. Понимаешь почему? Чтобы не сбежать к тебе раньше времени. Завтра утром я иду к Горлину инструктироваться насчет Москвы и условиться с моим спутником.

Роденький мой, беленький, нежненький, береги себя. Меньше ходи. Дай поцелую желтые волосики. Наверное, ты без меня воспользовалась и перекрасила. Надик мой, я к тебе еду . . . У меня нерешительный тон, потому что я очень осторожный. Только оттого. Я с тобой. Родная моя, не смей плакать. Спи хорошо. Я с тобой. Улыбнись мне и скажи: «Я твоя Някушка, иди ко мне» — и я приеду — твоя Няня . . .

№ 37. К Н. Я. Мандельштам

16/III [1926], Москва.

Родная моя, я пишу из квартирки Шкловского. Утром приехал в Москву. Сразу в Гиз. Меня встретили очень хорошо, ничуть не хуже чем у Горлина и Белицкого. Дело мое, т. е. утверждение книги, почти улаже-

но. Остаются разные московские мелочи: Воронский и Шум Времени, у которого возрастает успех. На эти делишки я ассигную несколько дней и выеду в Ялту. Может быть придется съездить на два дня в Петербург оформить с Ленгизом. Это будет, пожалуй, благо-разумно.

Надичка, нежняночка, невестушка моя, я сейчас еду к твоему Жене (я по ошибке дал тебе неверный номер — не 8, а 6 по Страстному бульвару). Нет ли от тебя телеграммы?

Твой няня безукоризненно здоров. Ехал в жестком вагоне и рвется к тебе. Ночью (выбор большой) сегодня у Пастернака.

Не писал в предотъездных хлопотах. 500 рублей Прибой в два приема вышлет тебе в Ялту.

Родненький мой, прости, что мало пишу. Я рвусь к тебе и хочу все сразу сделать. Даже дня ждать не могу. Мне и весело и беспокойно. Я уже ближе к тебе, Надик мой, любовь моя, спаси тебя Господи, родную. Няня твоя к тебе едет. Целую твою карточку бедненькую. Ау, Надик . . .

Я в Петербург не поеду. Договор заключит Лившиц. Скорее к моей любимой, к Надику моему . . . А сейчас к Жене. Завтра напишу подробнее.

№ 38. К Н. Я. Мандельштам

17/III [1926], Москва.

Родной мой Надик, что ты не отвечаешь? Два дня я в Москве и нет от тебя телеграммы. Детка моя, мне все очень легко удалось. Я уже получил санкцию Гиза на договор. В кино-печати тоже дают фантастические деньги — 150-200 р. ни за что. Остается поговорить завтра с Нарбутом и Воронским. Это уже мне не нуж-

но. Мы обеспечены до самого лета. В субботу я еду прощаться в Петербург. На все дела мне нужен только один понедельник. А во вторник я думаю выехать в Ялту.

Вчера я ночевал у Пастернака в комнате с его братом на ужасном одре-диване, а сегодня буду у твоего Женички. Какой он славный! Он, правда, поссорился со стариками: Женю не вызывают к телефону и не открывают к нему. Лена была на днях в Киеве. А мы с тобой поедem в Киев в мае. Няня твоя здорова вполне и безумно волнуется отсутствием твоей телеграммы.

Родненькая моя, я хожу по московским улицам и вспоминаю всю нашу милую трудную жизнь. Ангел мой, у Жени висит твой портрет работы Сони. Когда я ехал к тебе в первый раз — как я ему обрадовался! Солнце мое, как я люблю тебя! Со мной Шура на почте. Надик-жизнь, я иду к тебе . . .

[Целую вас, потому что давно не видел. Корреспондент А. Мандельштам. (Это по служебной привычке)].

№ 39. К Н. Я. Мандельштам

Осень, 26 год
Пятница

Родненький мой дитенок, Надик мой светленький! Зачем я тебя сослал к морю, как Овидия какого-нибудь? Ты ведь хочешь домой к няне и к котикку и к Ане? Я понимаю. Ну потерпи немножко: там видно будет . . . Получил телеграмму. Ты совсем здоров? Да? И циклон прошел? А ваннушки ты берешь? А к Юнгу гулять ходишь? — Далекo! Не ходи! Лучше гуляй по бережку в другую сторону, где раньше были турки-рыбаки. Главное не жалея денег.

У меня же разные события. Во-первых, вчера я приехал вечером к Ане в Китайскую: она там 2 дня одна сторожила — и в боевом порядке, в темноте, заставил сложить все вещи и перевез в полуциркуль (Завхоз предложил мне въехать, не дожидаясь отъезда жильцов). Дама-мегера обиделась: «У вас Якобсон — у меня Луначарский», но я покорила ее обходительностью, и она наспустила, то есть вещи; а нас просила переехать в воскресенье, т. е. завтра . . . (У них все еще ремонт не готов). Завтра мы с Аней водворимся. Там электричество, тепло и славненько. Мебель нам дадут после освобождения квартиры. Мы будем пока жить в 2-х комнатах. Еще новость: Леонов арестовал мой Гиз. Тогда я пошел в Прибой, получил там все деньги и смеюсь теперь, а в Гизе всего 30 р. Но я отработаю Гизу в одну неделю.

Аня вчера со мной приехала в город и ночует две ночи у дяди. В Китайской пусто — никого. Ключи сдал. Котик у сторожа. Дежурит часовой, стережет нашу посуду, которую завтра в корзиночке будем переносить.

Третья новость: я вдруг, без всяких поводов, занялся налогами. Пошел — справился. 400+66+? (три поллучки). Мне это все надоело.

Посоветовали Федин и Войтоловский пойти в Смольный к председателю Ц.К. печати при губкоме. Я сейчас оттуда — любезнейший джентльмен. Обещает пригласить к себе человека из финотдела и устроить, пока что, рассрочку на год-два. Это кажется очень серьезно. А еще я ему обещал записку об авторском праве. Сейчас все это кипит и назревает, вообще «весна». Миша Слонимский зав. в Прибое — с 15 октября! Уже одного этого достаточно! Мы спасены! Давидка — редактор журнала иностранной литературы при Красной Газете! Портфель мой туго набит книгами от Прибоя на исклю-

чительно выгодных условиях. Я взялся им писать рецензии для газеты по 30 р. с книги — 10-20 стр... В Детском появился мой бывший богатый дядя — Абрам Капелянский — из заграницы — старый и облезлый — рядом с пансионом Белицкого они живут в чудесной квартирке. Дочка служит в Кр[асной] Газ[ете]. Приятельница Ев[гения] Эм[ильевича].

Заходила на днях в Кит[айскую] Анна Андреевна. Отдала твою розовенькую шаль и испугавшись тет-а-тета вскочила и убежала.

Надик, я не получил камушка: он выпал из конверта. А погода у нас райская — на солнце 18°. У меня сильнейший насморк от холодной ночи в Царском.

Бенов я с переезда не видел — они мне не нравятся — то есть он, а разве она человек без него? То есть именно без него... Я, Надик, хотел бы сберечь наши вещички и думаю, что это удастся.

Надик нежненький, ты ведь именинник! Дай же мне лобик свой и дешевое платье-фланельку и лапушки... Целую тебя... Рождество, Надька, мы будем вместе. Это я так решаю. И ты? Да, Надик? Господь с тобой, родная! Будь веселенькой, мой котик. Няня хочет к тебе. Это я няня твоя. — Тебе не холодно, родной? Послать жакетик-вязанку? Напиши. Не жалей «няньку».

№ 40. К Н. Я. Мандельштам

[1926]

Родная моя, женушка, я больше не могу без тебя, светленький мой Надик. Зачем я тебя отпустил? Я знаю, что так нужно было, но мне так грустно, так грустно... Вчера я принес домой твои часики. Я пошел

к секретарю ломбарда и мне разрешили частичный выкуп. Часики теперь останутся с нами и никогда не уйдут, а скоро и цепочка вернется. В Царское я поеду только завтра, в понедельник. Аня эти дни у дяди. Вчера он купил ей ботинки.

У меня большая перемена в работе: в Прибое назначен Слонимский, он предлагает мне *fixe*, как Горлин Бену. Завтра я с ним договарюсь. Но я хочу, мой роденький, сделать иначе: взять работу от Прибоя и от Маршака и приехать к тебе. Я не знаю, удастся ли это без продажи какой-нибудь мебелишки? Но ведь стоит, милый . . . Зачем нам вещи, когда мы не вместе. Разве мы можем долго не быть вместе!

Я думаю, что в ближайшие 10 дней распутаются все дела — и квартира будет закреплена договором (там уже стоят наши сундуки) и работа (большая) будет. Тогда я к тебе, мой маленький! Или ты хочешь домой? Милый, милый, как тебе? Неужели ты совсем одна? Кого ты видишь? С кем говоришь? Опиши мне хоть свой денек какой-нибудь.

Я сейчас у Жени. Вчера был бал ночью у Варв[ары] Кир[илловны] с гитарой и мне мешали спать. Погодка у нас все время ясная, хорошо должно быть в Царском. Я куплю много дров, чтоб тебе было тепленько приехать, и много цветов поставлю для Надика.

Ты видела Макса или нет? Я не верю, что ты без меня в Коктебеле этот раз и вообще не верю что ты уехала. Надик, Надик, нежняночка моя оборванная (рукавчики пальто бедные)! тебе холодно? Скажи мне, что ты ждешь няню . . . Господь с тобой, детка моя. Я муж твой, люблю тебя. Няня.

У меня даже карточки нету твоей в городе.

Родненький Надик, больше всего меня мучит неизвестность — что с тобой. Всего, что ты пишешь, мне мало. Я ни разу не слышал голоску твоего. Надичка, подай мне голос, откликнись и скажи, хорошо ли тебе. А мне, родной мой, не плохо — только неимоверно грустно, как никогда. Я живу как машина, делаю все, что нужно, и совершенно не чувствую себя. С минуты, как ты уехала, во мне все остановилось и так и осталось. Знаешь, Надечка, я еще не был в Царском. Вчера по телефону говорил с Лаврентьевым. Завтра поеду заключать договор и платить. Сговорился. Ведь у меня одна забота, чтоб встретить тебя, чтоб приютить мою бедную нищенку светленькую. Я все книжки читаю — много, много — для Прибоя и Горлина. Уже почти отработал Леонову 90 рублей. Я живу в той комнатке, где мы с тобой ночевали. Там топят и не сыро. Аня уже у дяди.

Бен попал в зажим: его описал фининспектор, он бегал к Гефту, говорит, что получает 20 р. в неделю. Ника болел. Ты еще любишь его, Надик? Надик, пожалей меня с моими французскими книжками и твоими часиками без цепочки (она осталась отдельно — перезаложена).

Надичка, я жду от тебя настоящей правды: ты здорова? Отвечай мне, детка моя, ничего не таи. Может я дня через два поеду в Москву. Конар пошел в гору: он сейчас в Гизе, но уходит на Украину председателем совнархоза.

Надик светленький, улыбнись мне, поцелуй меня, скажи мне: я с тобой, няня. Родненькая, Господь с тобой... А мы скоро ведь, скоро, жизнь моя, с тобой встретимся. Да? Няня твоя...

Родненький мой, сейчас я приехал из Царского и нашел твое сердитое письмо; другое носит с собой дед. Маленький, не сердись на меня — я три дня тебе не писал оттого, что мне было очень, очень трудно. Все одно к одному подошло. В Гизе мне *показалось*, что редактор саботирует мою работу, то есть попросту выживает меня. Эти идиоты-чиновники говорили со мной какими-то недомолвками: «характер наших отношений должен, вообще, перемениться и т. д.», а на поверку оказалось, что они *всего-навсего просят не торопиться, «не нервировать»* их с деньгами. Ты знаешь как я до глупости мнителен. Я заразил даже Горлина, который советовал мне съездить в Москву. Маршак, заметив мое волнение, выяснил всю эту чепуху. *Работа идет полным ходом.*

Но это еще не все. Квартира в циркуле оказалась негодной — холодно! Все вросло в землю. Служащие меня остерегли. И вот я каждый день разрывался между городом и Царским. В управлении шла грандиозная ревизия. Никто не хотел разговаривать. Два дня я искал с Аней квартиру в городе Царском — все по твоим следам, Надик, — только у старушки уже сдана... Я уже отчаялся, но выручил тот же Максимыч: он под секретом показал мне квартиру № 7 (мы ее с тобой не смотрели) — второй этаж.

черный ход
Парадный / №7 / / №6 / парадный.

Это та же шестая, только в обратном порядке комнаты и есть двери и лишняя печка. Вот план:

большая комната без печки	спальня печка	столовая печка	ванная печка	кухня печка
------------------------------	------------------	-------------------	-----------------	----------------

В полуциркуле мы с Аней замерзали, а в новой квартирке тепло и сухо, как у Евгения Эмильевича, хотя там ни разу не топили. В ванной есть еще отдельно печь и стоит кровать для Ани. Чистенькие белые стены.

Когда я это узнал, я пошел к Лаврентьеву, и совсем неожиданно он отдал нам квартирку, передал ключи и поручил Максимычу ее обставить. Кровати там лучше, чем в Китайской, а остальное *он мне подберет, получив три рубля*. Сегодня вечером он придет за списком мебели.

Мы с Аней моментально перетасили все наше имущество, пригласили поденщицу, я принял ванну (купили дрова), и ты не поверишь, как я отдохнул за одну ночь рядом с твоей кроватью. Детка моя, мы живем против Кикиной колокольни. Она звонит в 9 часов утра, а в двенадцатые праздники (их немного) в 6 ч. . Но это ничего. Мы будем с тобой *рано ложиться*. Да, Надик? Это нас дисциплинирует . . . И это бум-бум продолжается 15 минут.

Третьего дня я шел отправить тебе спешное письмо: и что же! — захожу в магазинчик купить носки — и хлоп! — Г.П.У. ищет там контрабанду. Меня продержали три часа и даже вывернули мои карманушки, где была по обыкновению всякая дрянь. Я, волнуясь мешал агентам работать и требовал, чтобы меня отпустили, цитируя свое звание и показывая за неимением документа книги из Госиздата (?). Ну а потом уж я пошел домой, натерпевшись сильных ощущений, и письмецо так и не отправил. Видишь, Наденька, сколько приключений у твоего няни.

Я думаю, пташенька моя, что ты можешь, если температуры не будет, на свой *праздничек вернуться*, т. е.

30-го? Да? Только не скрывай от меня температурушку свою. Тебя ждет прием у своей няни!

Надик мой, как ты мог на меня рассердиться! Твоя телеграмма заблудилась на 3-ю линию (?) Еще проволочка ответа . . . А наш котик заболел глазами. Завтра мы ведем к доктору его.

Евгений Эмильевич тащил меня (тоже в эти дни) в Москву: помогать на каком-то собрании Модпика (перевыборы). Я чуть не согласился, дед метал громы. Чтоб я ехал в Москву. Полный идиотизм! Понимаешь, как это кстати! Повторение истории с Грановским . . .

Надик, светлый звереныш у моря, пусть камушки морские скажут тебе, что няня твоя с тобой. Мне дико странно, что ты одна в Коктебеле. Не сердись на меня, люби меня, ты жена моя, ты жизнь моя. Господь с тобой, родная. Так я говорю, когда ложусь спать. Няня твоя.

На днях вышлю денежное подкрепление. Можно?

№ 43. К Н. Я. Мандельштам

[1926]

Надик, мы с дедом на Николаевском вокзале. Я проводил его в кафе, а теперь мы едем в Царское смотреть нашу квартирку, где хозяйничает Аня. Мне страшно жалко Аню, что она в твоей серой шинели дантовой ходит. Я научился с ней обращаться: просто, коротко и ласково, но решительно. Мы ссорились и помирились. Это было вчера.

Наденьш родной, я боюсь, что ты не выдержишь своей ссылки. Как тебе? Умоляю, правду пиши. У меня все хорошо. Масса работы. На этой неделе вышлю тебе сто рублей . . . Хватит тебе с возвращением 30-го?

Детик мой, я тебя напугал дурацкой телеграммой. Как сделать, чтобы ты поверила. Ни одной серьезной

неприятности! Знаешь, как я умею вертеться волчком — мнительный, нетерпеливый, глупый . . . Эти три дня, что я не писал, целиком ушли на квартирные хлопоты и Госиздат. Как глупо, детка! Но я «кипел» эти дни. Будь абсолютно за меня спокойна. Положение с твоего отъезда сильно улучшилось. Упрочился и оживился Горлин, расцвел Маршак, завоеван Ангерт, а Прибой стал земным раем.

Нанушка, напиши, купить ли тебе к приезду шубку, что мы смотрели за 150 р.? Я хочу с ней выехать на вокзал тебя встречать. Милый, милый котик далекий, что твоя фланелевая дешевая? А туфельки бедные? У нас тепло и сыро. А у тебя не холодно? Надик, скоро няня тебя возьмет. Ты как зверек скребешься ко мне. Да? Подожди, мой ласковый, женушка родная. Господь с тобой. Люби няню.

Шлю сердечный привет. Холода не боюсь и ветры мне не страшны. Целую крепко. «Дед».

Дед написал про холод и ветер «иносказательно». Надик-солнышко, напиши фельетонушку. Ты так чудно рассказывала про «направо и налево» . . .

№ 44. К Н. Я. Мандельштам

[1926]

Надик, я беспокоюсь, хватит ли у тебя денег. Думаю, что пока ты получишь это письмо, вышлю тебе рублей 50. Во всяком случае при малейшем стеснении телеграфируй. Я не продал вещей, а полочки начинаются на той неделе. Хорошо ли тебе, дружок, возвращаться в ноябре? у нас теперь очень хмуро и холодно. Подумай, родненькая! Может махнешь через Джанкой (морем не надо) в Ялтушку? Детка, я тебя не уговари-

ваю. Тебе виднее. А если вернешься, мы прямо с вокзала поедem в Ленинградодежду и купим шубку за 150 р.! Квартира наша в Лицее еще не устроена. Лаврентьев кочевряжится с мебелью. Это пустяки: я его кретина обломаю. Кровати очень хороши. Остального пока что нет. Была какая-то дрянь. Я ее выставил. В комнатах довольно тепло и очень сухо. Если закрыть большую прихожую, то на две жилых приходится полу-камин и кафельная печь . . . В кухне, кроме плиты, хорошая круглая печка. Очень чисто, светло и уютно. Нануша, я думаю, что ты в Феодосии будешь жить у своей коктебельской хозяйки? Я угадал? Да? А что ты скажешь о моем плане встретиться в Москве? Мне безумно хочется! Дела мои такие:

1) Книга в Прибое, 3 листа.

2) Масса рецензий там же.

3) Маршак предлагает *пересказ* Тартарена по 80 р. с листа (это чепуха: турысы на колесах).

4) Слонимский берет в Прибой *простой* перевод Тартарена (это лучше).

5) Редактура у Маршака по 50 р. . .

6) 220 уже заработано в Гизе и Прибое (из них 80 Леонову), выплачивают на днях.

7) Вторая книга (Вильдрак) в Прибое будет на днях (3 листа).

Теперь, родненький, ты знаешь, чем живет твой няня. У меня большой друг — деда. Он чудесный и добрый. Я все время у него на зеленом диване. Мне там лучше. Пташенька! Солнышко! Эта наша разлука не настоящая. Она самая дикая. Я не верю в нее. Ты со мной, дружок.

Здравствуй, Надюша! Няня тоскует. Не скучает, а тоскует по своей родине, по жизни своей. Милый, неужели тебе хватило твоих грошиков? Неужели ты не замерз? Ведь ты такой заброшенный, голенький, с корзиночкой, как у солдата-призывника. И воду ты покупаешь по гривеннику?.. Надичка, я сейчас вспомнил, что у тебя наше веселое московское одеяло. Оно вернется ко мне. Как бы мне хотелось в Феодосию на зиму! Впрочем, нет. Лицей с Надиком лучше! Разве что очень хороший на юге будет ноябрь... Не исключена возможность моего приезда... Но это, Наденька, я только так говорю. Ведь ты настроилась на возвращение и я не хочу тебя огорчать... Дитятко мое, прежде, чем выехать, обязательно сообщи мне температуру и вес. Разве в Коктебеле нет лавочных больших весов?.. Не верю, чтобы весь месяц была нормальная... Если опять была температурная вспышка вроде последней, то приезжать на ноябрь довольно легкомысленно. Умоляю, Надик, не скрывай. Если бы тебе понадобилось остаться в Крыму до снега, я приеду к тебе. Это очень серьезно. Вообще мы теперь недурно обеспечены. Положение сильно улучшилось, хотя Бены, заброшенные Горлиным, жалуются и кричат. Узнаешь злобную няню? Фу, нехорошо!.. Их кормит прислуга Шура. Наши вещи целы (кроме кресел красного дерева). Я их сохранил для домика твоего. Завтра еду к Ане... Добывать у Лавреньева мебель. Я надавил через Главнауку, и кретин этот уступает. У нас будет очень уютно, но еще не поздно взять квартиру в третьем этаже: комнаты меньше, две выходят на солнце, более изящная отделка, фанерные облицовочки, высокие потолки, хорошая

печь и . . . вода зимой под вопросом, а у нас наверное. Я люблю зимнее солнце в комнатах, и ты, Нануша, любишь, но я умный. Знаю, что ты не позволишь менять и остаюсь там, где мы живем. Все, что я делаю, Надик для тебя и с тобой вместе. Ты бы сам так сделал. Помнишь, как ты в Ялте . . .

Сегодня я спросил Татьку, любит ли она пьяных, но она оборвала разговор: «Лучше не будем о них говорить: они того не стоят!»

Инженеры деда испортили 1000 кож. Трагедия!

Ну, родненький, дай тебя поцелую на целую ночь и погляжу в твои глазки-плакуны веселые. Люблю тебя. Господь с тобой, женщина моя и жизнь . . .

№ 46. К Н. Я. Мандельштам

[1926]

Надик, солнышко мое далекое! Ты пальто не снимаешь? Тебе холодно, детка? Нежненький мой, я согрею тебя. Ты вернешься скоро. Как жить без тебя? Мне пусто и нехорошо. Я немного боюсь тебя раньше времени трогать. Пока что здесь чудесная осень. Дойдет ли до тебя мое письмецо? Родная, ты здорова? Решай, моя умница, правильно. Я поцелую твой лобик большой. Когда ты поедешь, я встречу тебя в Москве, хочешь?

Нанушка моя! Твоя Аня живет в Лицее как муха, а я у Татьки сегодня и вчера. Получил много работы. Здоров. Надик, ненаглядный мой, вчера я видел Кику. У него чудная улыбочка, очень добрая. Надик милый! Я подумал сейчас знаешь о чем? . . Я все помню. Где ты? Надик, как мы обрадовались! Радость моя, сол-

нышко! Отвечай мне. Господь с тобой, Надик. Люблю тебя. Няня.

Часики твои целы. Квартирка тоже. Котик болен (глаза). Аня хорошая и кроткая.

№ 47. К Н. Я. Мандельштам

[1926]

Надик, спасибо за ласковое письмецо. Я пишу вечером на почте после телеграммы. Слышу, как ее выстукивают. Родненькая, будь осторожнее. Началась настоящая осень. Слякоть, мразь, и в Царском тоже. Я сегодня побывал там у Ани. К удивлению моему она завела себе прислугу. Блестели вымытые полы. Что-то шипело на примусе. Знаешь, она потеряла котика! Мне это страшно больно. Ведь он был твой. К твоему приезду я приготовлю щеночка-щенка, которого ты хотела. Чтоб ты не плакала, Надик. Не сердись на меня, друженька, что я отговариваю тебя ехать. Ведь я не знаю, как ты можешь устроиться в Феодосии. Но, кроме шуток, я в состоянии послать тебя в Ялту. Ведь это от Крымушки тебе лучше стало, ведь ты хоть полдня на воздухе даже в холод. Или нет? Ведь тебе это нужно, Надик. Урви еще кусочек, сократи нашу зиму: она длинная, длинная . . . *Если в Феодосии не резкая, пронзительная погода, задержись там на хорошем пансионе, пока не надоест.*

А я люблю тебя и жду, но терпеливо. Ведь ты все ближе и ближе. Твой голосок со мной, Наночка. Умненькая! Ты хочешь, чтобы няня за тебя решила. А няня хочет, чтобы ты! Скоро, родненькая, скоро! Пташенька светленькая, ты скоро вернешься.

Господь с тобой, женушка, друг, доченька, жена. Я твой . . .

№ 48. К Н. Я. Мандельштам (15. X. 1926. Ленинград).

Надик, нежняночка далекая! Неужели это последнее письмо? Ты уже на отлете. Так послушай, детка, няниного совета: если конец месяца дал бурную температурную вспышку, не возвращайся, а сообщи мне, и я тебя переправлю в Ялту. Еще большее значение имеет вес. Боюсь, что ты жила впроголодь и похудела. Если же все благополучно, то с Богом, выезжай! Погода у нас хорошая, хотя холодно. Даже снег выпал, «непрактичный». Дни солнечные. На дорогу постарайся купить себе теплое некрасивое бельишко и чулки в Феодосии. Это няня обязательно велит. А я буду ждать тебя с материалом для шубки: мы в тот же день отдадим шить. Готовая мне не нравится. Не лукавь, мой маленький, не будь хитрой лисичкой — я очень обижусь, если ты вернешься обманом. Мои дела хороши. Прибой должен был утвердить мои новые договоры, но заседание не состоялось.

В Царское сегодня я не выбрался. Еду завтра вечером. Я решительно за второй этаж в Лицее. Там уже сделана уборка и это будет наша квартирка. Жду тебя, родной, целую тебя, умный дружок. Ни на минуту не отрываюсь от тебя. Твой муж.

№ 49. К А. А. Ахматовой

25 августа 1928

Дорогая Анна Андреевна,

Пишем Вам с П. Н. Лукницким из Ялты, где все трое ведем суровую трудовую жизнь.

Хочется домой, хочется видеть Вас. Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем и с

Вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется. В Петербург мы вернемся ненадолго в октябре. Зимовать там Наде не велено. Мы уговорили П. Н. остаться в Ялте из эгоистических соображений. Напишите нам.

Ваш О. Мандельштам.

№ 50. К Н. Я. Мандельштам

[Февраль 1930]

... все как было: и легче стало. Дай мне, деточка, горе твое понести. Моя бесстрашная, светленькая моя...

Твой новый голосок, Наденька, слышу, узнаю тебя снова — не плачь горькая моя Наденька, не плачь ласточка, не плачь, желтенький мой птенчик.

Береги маму, побудь дома, сколько надо, и привези маму к нам. Мы ее никуда не отпустим, скажи ей, что никуда не отпустим.

Пиши сразу, когда приедете, сколько денег надо. Я все достану. Христос с тобой, жизнь моя. Нет смерти, радость моя. Любимого никто не отнимет. Твой... Твой... Сейчас приду домой родная — напишу все подробно.

Ося.

№ 51. К Н. Я. Мандельштам

[Февраль 1930]

... Сейчас придет Шашкова (я пишу в редакции) и я тебе выправлю мандат на очерковые изыскания.

Если хочешь поговорить со мной по телефону, телеграфируй, узнав переговорные часы, когда будешь на квартире Иваницкого (жены Джигача).

Не зайти ли мне в Пионер поговорить о твоих делах? Надик мой, поскорее бы вместе быть... Подумай, как быть... Твой брат очень долго не сумеет вернуться в Киев — это ты пойми. Надо принять решение. Иначе начнется развал: или мне отказаться от квартиры и взять под Москвой две комнаты, и тебе с мамой приехать. Это надо сделать к 15 марта, не позже. Пиши, родненький. Целую твою маму. Господь вас хранит. Ося.

№ 52. К Н. Я. Мандельштам

24/2 30.

Родной мой птенец, Надик маленький! Тяжко мне без тебя, но стыдно жаловаться. Ничего, родненькая. Вот главные новости. У моего Жени процесса пока нет. Никаких злоупотреблений. Но травля и шельмование грандиозные. Пока — домашняя склока. Приехала из Москвы вторая комиссия — для углубления ревизии. Вот к примеру обвинения: вводил в заблуждение правление о действительном положении вещей (ложь), маневрировал отчетностью (ложь), подписался на заем в $1/2$ размера оклада (правда) — и, наконец, «подтасовка кассы»: Григорьева и он взяли зарплату на два дня раньше срока. Пришла ревизия, и Григорьева по мальчишески пыталась это скрыть, но он об этом заявил и взял на себя ответственность. Далее: подменял собой Бюро, зажимал сотрудников, ссорил Москву и Ленинград, недостаточно ревизовал агентуру (злоупотреблений нет — но, говорят — могли быть) — и это все. В заключении первой ревизии: «исключительная бесхозяйственность», которая «неизбежно должна была повлечь финансовую катастрофу». Исхода углубленной ревизии не знаю. На днях по телефону Наташа сказа-

ла — *ничего нового, ничего агрессивного* . . . Он исключен из Модпика без всяких средств. Хочет по врачебной линии, когда все выяснится. Пошел было в Совкино (его пригласили *после* начала травли — дружески — демонстративно — но под *чьим-то* давлением сняли).

Таня уехала на работу по специальности в Ростов. Наташа работает (?!?) в Модпике (?!). Это характерно для склочной природы дела . . . Вся шайка писателей Женю предала, разбежалась . . . Слабо поддерживают лапповцы. Ячейка дрожит за себя, пассивна . . . Дед здоров. Я пока ничем ему не помог — буквально *ничем*. Комната пожирает всю зарплату. Как быть, Надик, как быть . . .

Ближайшая получка: 15 подотчетных — вычет (остаток старого) — 30 (долг в буфет) — Литфонд (?) — Что я сделаю с 90 рублями минус 60 за комнату (не считая недоплаты в 25 р., образовался «хвост»). Надик, Надик, посоветуй, как быть.

В газете положение улучшилось. Прилив «уважения». Начинают понимать, что дали мне маниловское задание невыполнимое. Хотят теперь, чтоб я учил и поднимал аппарат. Веду рабкоровский кружок в Вечерней Москве. Дружу с рабочей молодежью. Как раз вчера *после* телеграммы ответственный секретарь наговорил мне комплиментов — они от меня ждут, чтоб я вклинивался в работу отделов и помогал им органически. Но товарищей в газете — нет. Бюрократизм и бездарность отчаянные. Сделал громадный монтаж о Красной Армии (23 февраля). Это укрепило и очень сильно позицию. Показал, что *могу*.

Юрасов уезжает 1-го. Твердо зовет с собой, то есть — вызвать с подъемными через месяц. Это абсолютно серьезно. Там большие возможности. Комсомолец Востока в центре всей краевой политической работы —

хлопок, Турксиб и т. д. . . . Очень увлекательно. Но можем ли мы на это решиться? Тебе работа там тоже обеспечена. Помещение тоже. Но ведь мы не можем бросить стареньких! Ведь не можем, Надик? Надичка, как быть?

Теперь дело «Дрейфуса». Сразу по приезде — вызов на пленум комиссии. Четырехчасовой допрос, вернее моя непрерывная речь. Был ужасно собой недоволен. На утро: «Вы нам дали много ценных указаний, не волнуйтесь, не требуйте от себя невозможного. Мы это дело затягивать не собираемся». Дальше: дело разбито на секторы. Каждый следователь работает со мной отдельно. Был вызов по линии Фоспа. Допрос — три часа. Следователь — женщина, старая партийка, редактор «Молодой Гвардии». Тянула из меня формальные пункты обвинения. Вытянула, как зубной врач, — 17 штук. Осталась недовольна. Велела организовать себя дома и дослать почтой. Сделано. У Березнера на комиссии прорвалось: «Имейте в виду, что фельетон был заказан» . . . Третьего дня четырехчасовой допрос по Зифу. Метод — письменные ответы на месте в строгих рамках вопроса. Терпенье колоссальное. До чего я не умел до сих пор сказать главное! Любопытно: я не взял бумаг, послали меня домой, дождались (слетал на такси). Дважды списал твою копию протокола К. К. Важнейший документ. Третьего следователя отослали обратно: «очередь» — «Вы нарасхват», — говорит Березнер.

Ну вот, моя родненькая, наиболее существенное. Нигде не бываю (зашел к Шифриньым). Он говорил в Озете. Там готовы подумать. Но о чем? Хорошо бы в Северный Крым? Да, мой Надик? Зайду опять к Ниссену. Здесь Маргулис.

Да забыл: писателям не подаю руки — Асеев, Адуев, Лидин и т. д. Асеев *не обиделся*. Смутился. Долго расспрашивал: «Ну пока не подали руки друг другу». Адуйка был неподражаем. Встретил Лифшица у Жени и повернулся спиной.

В Ленинграде ни с кем *не встречался*. Письмо сейчас рассылать нельзя.

№ 53. К Н. Я. Мандельштам

[1930]

Родная Наденька! Я совсем потерялся. Мне очень тяжело, Надик, я должен был быть все время с тобой. Ты моя сильная, моя бедненькая, моя пташечка. Целую тебя в лобик твой, старенькая моя, молоденькая, ненаглядная. Ты работаешь, ты что-то делаешь, ты — чудесная, Надик маленький. Я хочу в Киев к тебе. Я не прошу себе, что покинул тебя одну в феврале. Не догнал тебя, на твой голос по телефону сразу не приехал — и не писал, не писал ничего почти все время. Как ты бродишь, родной, по комнате нашей — все родное и вечное с тобой. Держаться, держаться за это милое, за бессмертное до последнего дыхания. Не отдавать никому, ни за что. Родная, мне тяжело, мне всегда тяжело, а сейчас не найду слов рассказать. Запутали меня, как в тюрьме держат, свету нет. Всё хочу ложь смахнуть — и не могу, всё хочу грязь отмыть — и нельзя.

Стоит ли тебе говорить, какой бред, какой дикий тусклый сон всё, всё, всё . . .

Мучили с делом, пять раз вызывали. Трое разных. Подолгу: 3-4 часа. Не верю я им, хоть ласковые. Только Ругер по ФОСП'у верю вполне: откровенна, серьезна и большая теплота человеческая. Зачем я им? Опять

я игрушка. Опять не при чем. Последний вызов к какому-то доценту: рассказать всю свою биографию. Вопрос: не работал ли в белых газетах? Что делал в Феодосии? Не было ли связи с Освагом? (??) . . . Ведь это бред. Указал на феодосийских коммунистов(?!). Прочел я ему стихи про Керенского и др. . . Указал ему сам все неладное в стихах. Шум Времени он изучил. На машинке цитаты принес — мне показывает, просит объяснений, тон дружеский. Говорит, мы знаем все про Ионова и других. Должны и про вас все знать . . . Не позже, чем через десять дней будет созвано заседание для оглашения выводов комиссии. Пригласят всех — Зиф, Фосп и т. д.. Дадут высказаться: «Пусть узнают свое место на общем фоне и сделают свои замечания; у нас не Федерация; полемики между ними не допустим». А решение вынесет другой состав — высший — и напечатает. Потребовал прислать ему все мои книги и хронологический листок биографии. В заключение — «Мы достаточно авторитетны — вашим прошлым (писательским или вроде того?) никто вас не попрекает. Плюньте на княгиню Марию Алексеевну» . . . О самом деле — ни слова. Вызывали Зенкевич: о деле ни слова. («все и так ясно»). Только общая характеристика и особенно период у белых (прямо анекдот). Похоже, что хотят со мной начисто договориться: кто я, чего хочу и т. д. — если бы так, то это хорошо. Но знаю одно: я не работник, я дичаю с каждым днем. Боюсь своей газеты — здесь не люди, а рыбы страшные . . . Мне здесь невыносимо, скандально, не ко двору. Надо уходить. Давно . . . Опоздал . . . Хочу отдохнуть. Иду завтра в амбулаторию. Попробую отпуск? Но это — не то. Надо уйти. И сейчас же. Но куда уйти? Кругом пустота. Жалко книги остановившейся. Жалко. Со мной один Апель ходит. За комнату 1-го ничего не мог уплатить. Как быть

15-го? Буфет — 20 р.. Останется — 100 р. М. Ром. возьмет 10 р. = 90 р.

Надик, родной, надо решать — минута такая! (Сегодня в Фоспе запрос Асеева. Сутырин «пишет» резолюцию. Канатчиков снят. Почему?).

Я один. Ich bin arm. Все непоправимо. Разрыв — богатство. Надо его сохранить. Не расплескать. Твой Женя задержится наверное — так я думаю. Но, друг мой милый — ты не спеши приездом, он *ничего не изменит*. Маму свою береги. Напиши мне только, как быть, помоги взять твердую линию, помоги уйти от всякой лжи и нечисти — мне люди нужны, товарищи как в Моск[овском] Комс[омольце]. Мы еще найдем друзей, найдем опору. Совсем не обязательно Ташкент. Попробуем в Москве. Возьмем маму. Решай — подходит ли мне газетная работа. Не иссушит ли мой старый мозг в конец? Но работа нужна. И — *простая*. Не хочу «фигурять Мандельштамом». Не смею! Не должен!

Родная, Господь с тобой. Не покинет тебя, любовь родненькая. Узнаешь меня? Слышишь? Твой Ося.

№ 54. К Н. Я. Мандельштам

[1930-е гг.]

Надик, я пошел в амбулаторию. Врач по внутренним нашел некоторое ослабление сердечной мышцы, — «в сущности, — сказал он, — миокардит» . . .

Некомпенсированных дефектов не нашел. Предписал санаторий по соглашению с невропатологом. Тут же направил к нервному врачу. Этот отнесся очень серьезно. Знает, кто я (?). «Шесть недель *minimum* специального санатория» и направил к профессору невропатологу для совещания с ним (после моего осмотра) о способах лечения. Завтра пойду к профессору. «Потом,

— сказал врач, — мы раскачаем всю громоздкую машину для получения срочного санатория». Рассказал секретной части. Он: «Ничего, мы все сделаем». Я ни на что не жалуясь. *Ничего не болит*. Здоров. Честное слово Надик, я здоров как всегда. Родная моя! Оставайся в Киеве. Там тебе лучше! Может, родная, надо вправду отдохнуть? Целую. Твой няня.

№ 55. К Н. Я. Мандельштам

[Весна 1935]

Наденька, дитя мое!

Посылаю исправленные стихи в начало цикла (2, 3, 4). «Каменноугольный — добровольный» — сохранить. Готовую рукопись (без добавочного) кончил черномоземом, сдал Плотникову. Это было естественно и нужно.

Скучаю по тебе, мой друг, но живу спокойно. Еще на несколько дней терпения моего хватит. Целую тебя, мой милый, хороший дружок Надик... А под дружкой написано почему-то «верный». Верно. О. М.

Хорошо ли «железьясь»?

№ 56. К Н. Я. Мандельштам

[Весна 1935]

Надик, мой родненький! Только что говорил с тобой. 8.30 вечера. Вот тебе четыре чистовика вещей, сделанных без тебя. Как это грустно. «Стрижка детей» вчера. Нынче купался. Клопы завелись. И третьего дня в ванну ходил. Вот... Все у меня складно. Вчера по телефону взывал к Стоичеву. Все не знаю, брать ли службу. Неудобно бросать и занят сочинением. И мало

дадут. Ай радио запущено. Помоги. Дай материалы: к Шервинскому (молодость Гете).

Сейчас иду в кино. Но совершенно жеребенок.

Надик, поиздевайся над Ахматовой по телефону. Так еще не ехал никто. Или: митрополит, он же и еврей, боящийся судьбы. Целую тебя, родная! Твой Ося.

№ 57. К Н. Я. Мандельштам

26 мая 1935

Надюшок! Прости за тревогу. Телефонистка — буйная дрянь — сказала «по инструкции», что «ошибок не бывает». Я дурак поверил. Вот фефела! Ей досталось от товарок. Ночью не ложился. Черт знает что! Ты прости, Наденька.

В Подъем [Воронежский журнал. Ред.] сдал то, что на машинке. Тут есть тенденция благожелательно снижать мою работу. Сказал: ни буквы больше не изменю. Все или ничего. Денег пока не беру. Поступать ли на службу в библиотеку?

К «подборке» прибавь «Стансы» плюс «Железо». Выясни печатание. Для Москвы условие: все или ничего. Широкий показ цикла. Хорошо бы в Литгазете. Все варианты окончательные. Только в начале «Стансов» могут быть изменения, но давай так.

Мне сейчас необходима прямая литературная связь с Москвой. Передай стихи между прочим Левину. Скажи ему: нельзя честно писать прозу в моем теперешнем воронежском положении. Абсурдно!

Вот что: предлагаю принять командировку от Союза или Издательства на Урал по старому маршруту. Напишу замечательную книгу (по старому договору). Это чудесная мысль.

Детка моя, будь совершенно спокойна. Я живу хорошо. *Правду о твоём здоровьи.* Целую тебя, родная моя. Ося.

Подумай о структуре цикла. Скажи по телефону.

№ 58. К Н. Я. Мандельштам

[1935]

Сегодня я здоров. Я был у Стоичева и сказал ему все, что думаю о своем положении. Он вызвался написать письмо Марченко как председатель Союза и проявил впервые подлинное участие и интерес.

Посылаю справку доктора Глаубермана (крупнейший здесь ларинголог). Он сказал: «Если у вас не пройдет через три-четыре дня, вы ляжете у меня, если ничего не имеете против, и я вас поскоблю». Только тогда я попросил справку.

Никто не может сказать, когда понадобится операция. И насколько срочно. Во всяком случае последний припадок был самый сильный.

Целую тебя, дружок, приезжай скорее. Все будет хорошо. Ося.

№ 59. К Н. Я. Мандельштам

[1935]

Надик! Я уже очень, очень скучаю. Так хочу, чтоб приехала — не сказать. Ося.

Мир должно в черном теле брать.

Ему жестокий нужен брат.

От семиюродных уродов

Он не получит ясных всходов.

Май.

Родная Наденька! Прости за грубый отвратительный разговор по телефону. Я чего-то требовал от тебя. Петушился. Вот причина: одно мне важно — когда тебя увижу. Ты сразу говори: надеюсь приехать тогда-то. Если этого не слышу, то сам не свой становлюсь.

Надюша: никого ни о чем не проси. *Никого*. Но постарайся узнать, как отвечает союз, то есть Ц.К. партии, на мои стихи, на письмо. Для этого достаточно разговора с Щербаковым.

Больше ничего не надо. Я не хочу, чтобы ты сделалась искательницей работы. Не морочит ли тебя Детгиз? Куда девалось предложение Эфроса? В крайнем случае встретимся в Воронеже к 20 января. За Воронеж мы ведь спокойны. А жаль! Здесь вдвоем — зимний рай, красота неописанная. Слушай, как я сюда ехал: ты на вокзал, я — в театр. Сказал дельную «режиссерскую речь». Актеры ко мне начали тяготеть. Режиссеры всерьез у меня спрашивали. Два-три дня держался на посту. Потом расклеился. Произошел обычный старинный «столбняк» на улице. Меня подхватил заслуженный комик и доставил в театр. Вольф при мне звонит Генкелю: «у нас работает такой-то: его здоровье внушает мне лично серьезные опасения... Мы должны и т. д. . . .» Это Вольф-то! Дальше я бродил тенью, но вполне благополучно. Дал консультацию в Радио-Комитете. Получил 100 р. у Горячева, а 50 — прибавил Вольф. За полчаса до отъезда ко мне приехала машина с заместителем директора и управляющим. Машину они взяли в НКВД и шофер был военный. Усадили в вагон. Несли чемодан. Трогательная забота. В вагоне было скверно, т. е. гадко. Без плацкарт. Про-

водник взял в свое купе. В Мичуринске телеграмма тебе и сразу пересадка. Тамбов в 2 часа ночи. Трескучий мороз. Сказочно спокойный, с виду губернский город. Меня везут куда-то бесконечно на дровнях (это здесь извозчики) — и привозят в палаццо, напоминающее особняк Кшесинской, увеличенный в 10 раз и охраняемый стариком с ружьем и в тулупе. По мраморной лестнице ведут в подвал и сажают в теплую (холодно-ватую) ванну. Тут же нянюшка забирает белье в стирку, поют часы, — и укладывают в огромном кабинете. Здесь живут бригадиры и трактористы, испортившие сердце, два-три летчика, учителя. В общем — не плохо. Ежедневно сосновые ванны и два вида электризации через день: «франклин» и электризация позвоночника. Директор позволяет мне привередничать (с помещением). Пока вдвоем в пустой палате на десять человек. Это счастье временное. Комплекты — ужасны. Пять человек — это привилегия (без вентиляции, но с зеркальными окнами. В моей палате окно растворяется).

На утро я снял в двух шагах, полминуты ходу, чудесную комнату — с коровой, диваном, чехлами, граммофонной трубой и кактусами. Живем на высоком берегу реки Цны. Она широка или кажется широкой, как Волга. Переходит в чернильно-синие леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляют глубокое наслаждение. Очень настоящие места. До центра — 10 минут автобусиком. Каланчи, одичавшие монастыри, толстые женщины с усами.

У меня было письмо от Горячева к директору музтехникума Реентовичу. Сегодня после завтрака поехал в город. Два старика (скрипка и рояль) сыграли мне ужасную сонату местного композитора, назначенную к исполнению в Воронеже. Они плакали. Жаловались.

Реентович — заслуженный артист. Явился и Сметанин — живой композитор области. Знает меня. Сговорились на вечер. Сейчас еду к ним. Письмо пишу из своей комнаты, куда еще не переехал.

Надик, скучаю по тебе безумно. Сделай какую-нибудь глупость и приезжай ко мне. Надик, я так тебя люблю, что нельзя сказать! У меня нет твоей карточки. Где ты, родная? Скорей ко мне! Ау, детка?

Надик, люблю тебя. Отвечай. Няня твоя.

Скажи, можно ли тебе звонить утром в 8.30.

Адрес: Тамбов, Набережная 9. Нервный Санаторий, тел. 1.55.

№ 61. К Н. Я. Мандельштам

[Конец 1935]

Родная Наденька!

Вчера я чуть было не решил возвращаться в Воронеж. Кормят хуже, чем в маленькой дешевой столовой. Скучно. — И все-таки за четыре дня я прибавил кило и хорошо отдохнул. Надо терпеть. Главное это остановка невероятного движения, в котором я находился. Переход к «статике». Консультация состоялась. Директор (не врач) и два доктора. Тема: «как вам сделать лучше» и «как бы вам не сделать хуже», — приняв во внимание, что «мы очень мало можем, но все-таки и т. д.». Сделают рентген сердца и легких. Хотят вызвать консультанта из города. А насчет «справки» жмутся (Понаблюдаем . . . дней через десять . . . сразу неудобно . . .). Старая история! Думаю, что надо уехать отсюда к 5-му январю, когда начинается официальный срок моей путевки, сговорившись о получении обратно денег с вычетом прожитого. Если у тебя к 5-му что-нибудь выяснится, хорошо бы бросить это неуклюжее место.

Получил второе письмо. Спасибо! Пиши каждый день. Если будут новости — телеграфируй. Имей в виду — тамбовский санаторий — лишь полумера. Лучше Воронежа (без тебя) — и только.

Температура у меня по-прежнему немного подпрыгивает. Мерил вчера вечером: 37,2. Возбудимость сердца велика. Пульс иногда ускоряется. При этом я вполне бодр, хочется гулять. Но встречи с людьми волнуют. Разговоры утомляют. Чтение — тоже. Надо ставить вопрос серьезно, — вплоть до особого заявления в НКВД о необходимости лечения в полноценной обстановке. Воронеж больше не может возиться со мной. Они сделали все — от силы . . .

Я думаю после свидания с Щербаковым не затягивай пребывания в Москве. Положение слишком простое. Да и нет обнажены. Если будет «нет», продержимся в домашней обстановке. Я вернусь в театр (очень дружеский, берегущий, неутомляющий) и на мое родное радио (чуть-чуть)! а ты возьмешь работку. Главное — быть нам вместе. Твое возвращение для меня огромное, ничем неизмеримое счастье.

А пока, моя деточка, до свидания.

Я отпросился с мертвого часа в красный уголок. Написал письмо и снесу его на почту.

До свиданья, дружок. Целую. Шуру и Шурика и В. Я. Няня.

P.S. Не взирая на все нытье — я здесь лучше, чем в Воронеже!

№ 62. К Н. Я. Мандельштам

№ 3 [Конец 1935]

Родная Наденька!

Получил твое письмо № 3. Скажи, тебе не холодно в шубке? У вас тоже морозы? Выходи в маминую: обе

одинаково уродливы, т. е. мамина шуба и твоя (маме не показывай) . . .

Если Щербаков тебя не примет, может это быть? А? Дни идут хорошо. Привыкаю. Сегодня был голубой мороз. Я достал Пушкина. Это у меня редкость. За него, знаешь, почти никогда не хватаюсь.

Рентген вчера состоялся. Сердце — возрастная норма. Никаких, говорят, аномалий. В легких уплотнение желез. Спрашивали, не перенес ли недавно гриппа или воспаления.

Внимательны очень. Самое серьезное наблюдение. Слушают, стучают каждый день. Диету дали особую. Ванны ежедневно. Электричество тоже. Скучно мне, дружок, без тебя, слов не найду. Ты обо мне брось тревожиться. Я капризник. А ты-то как живешь? Ты себя, радость моя, береги. И пиши мне каждый день. И позвони разок. До свиданья. Твой . . .

Можно мне написать Лупполу 20 строк о «Мопассане и французской метафоре и дураке-редакторе»? Теоретически? А?

Вишневному привет.

№ 63. К. Н. Я. Мандельштам

№ 4 [Конец 1935]

Родная моя! Сегодня от тебя письма не было. 40 рублей телеграфом получил. Всего у меня пятьдесят (50) . . . (Между прочим: договорился с директором — он «покупает» у меня путевку /месячную/, удерживает за прожитые дни и выплачивает разницу. Эта воображаемая сделка сразу меня освободила). Ох, и нудно же здесь! Спать не дают. Деликатные молодые люди на цыпочках в русских сапогах с трех часов ночи ходят через палату.

А вчера слегка отморозил уши и синим светом кварцевой лампы был исцелен. Вот и все новости. В нанятую комнату не решаюсь переехать: холод там. Дал десятку задатка и отбираю молоком. Хожу туда, когда невтерпеж. Все-таки что-то свое.

Надик, не кажется ли тебе, что я должен обратиться к Щербакову или Горькому с письмом или телеграммой, то есть с просьбой ответить на мое далеко не шуточное обращение. Это не исключит твоего прихода, мой друг. Но дело, как бы его не обернули, слишком известно, чтобы разговаривать по-домашнему.

Если это мое предположение не запоздало, немедленно телеграфируй, как ты на него смотришь. Я имею в виду только вопрос.

Хочется тебе сказать еще раз, какое для меня счастье быть вместе. Неужели после пятого мы встретимся? Похоже, что да. Надик, бесконечно мой родной, слышишь меня?

№ 64. К Н. Я. Мандельштам

1 января 1936.

Деточка моя родная! С Новым годом, ангел мой! За наше несчастное счастье: за что-то новое, что будет, за вечное старое, что моложе нас! Да здравствует моя Наденька, жена моя, мой вечный друг! С Новым Годом, дитя!

А я, дурной, два дня тебе не писал: третьего дня на радостях от телефона, а вчера от бестолочи.

У нас вчера ночью гремел военный оркестр и были разные игры: Чехов в больничном халате, удочки с кольцами. Здесь так плохо, что очень многие уезжают до срока: неизбалованные работники районов. Все за счет организации. Чай без сахара. Шум. Врачи — вро-

де почтовых чиновников. Главный мне вчера сказал: вам нужно заведение закрытого типа, где печат средние формы легких психопатий (там-де комнаты на одного и двух). Честное слово, он так сказал! — послушав меня две минуты.

За десять первых дней я прибавил 600 грамм веса (для младенца недурно). За месяц здесь многие теряют в весе. Похоже на школу-пансион из Диккенса. Другой врач говорит: «Вес для невротиков неважен». Да еще: гл. врач меня спросил: в каких клиниках я был до Тамбова. Завтра я должен оформить с директором продажу путевки. Выезжаю пятого или даже раньше. С блаженством! Эти дни вроде дурного сна! Какой-то штрафной батальон... Денег мне в В[оронеже] до 20-го хватит. 15-го жалованье в Театре. 15-го же вернусь на работу.

Физически я здоров (думаю, что не только физически). Надо лишь окрепнуть. Я лишь *могу* заболеть, если *придавленность* не будет устранена!

Стоичев мне сказал, что письмо переслано 20-го дек[абря]. Подобедов утверждал, что с какой-то перепиской об отношении Обл[астного] Отд[ела] Союза к моей деятельности («уж плохого мы не напишем»). Где письмо? Кем получено [?] Выясни точнейшим образом. Если оно затеряно — передай копию: 1) Марченко, 2) в Секцию Поэтов и 3) в ЦК партии. Вообще это *хорошо* сделать. О стихах: что такое «принципиально»? Надо конкретно об этих стихах. Почему давала без отбора? я *против* наушников. Марченко прав.

Вспомни и скажи ему: я требую ответа на стихи *действенные*. Они — целое. Качество же иным снится, иными — делается. [В] Тамбов — пиши и *телеграфируй*. Обо всем кратко. Поговорим из Воронежа.

Друг, до свиданья! Твой няня.

Я тут брожу, с одним пареньком. Он тракторист. Способный, открытый, но думает, что во Франции Советы и что Францию переименовали в Париж. Я его крою, а он ко мне привязался, большевиком меня зовет.

№ 65. К Н. Я. Мандельштам

2 января [1936]

Родная Наденька!

Все письма твои получил. Посылаю спешным два заявления и справку. Врачи меня отказываются здесь держать. Говорят: вас по ошибке формально к нам загнали. Со мной ничего худого нет, но мне не лучше. Буду объективен: то же самое, а обстановка здесь просто вредна (мнение врачей). Если будет билет, уезжаю завтра (3-го). Деньги возвращают. Попутчики есть до Воронежа. Я очень доволен. Радуюсь Воронежу, как родному. Так или иначе — ты скоро приедешь. Это все. Будь весела. Спешу с почтой. Пишу завтра. Твой...

№ 66. К Н. Я. Мандельштам

3 января [1936]

Родная Надюша!

Спасибо за звоночек. Да ведь проще простого успокоить меня. Что со мной? Что болит? Ничего не болит. Кишечник здоров, как никогда. Катар горла прошел. Как настроение? Неровное. Санаторий вызвал депрессию. Ожидание обострено. Обстановка не переваривается. Ассоциации протекают болезненно (как и обычно без тебя). Физическое самочувствие? От ходьбы сердцебиение (не сразу; иногда приступ ускорения пульса, с которым справляюсь, сознательно борюсь и побеждаю).

Вчера съездил на вокзал с письмом — освежился, купил Красную Новь с дрянными стихами доброго Зенкевича и Талмудом Зоценки. Температуру мерил два раза наугад: 37,2, как вылитые. Очевидно — это норма. Сон — хороший, когда не мешают. Ночью самовольно перебрался в пустую комнату на пятерых. Закрепил ее за собой. Гораздо лучше. Днем подремываю. Могу уехать в *любой день и после пятого* с возвратом денег. (Заверение главврача, сегодня).

Я все-таки думаю выехать пятого. В Воронеже как-то ближе к тебе. И перемена будет полезна. Дальше... Вес — 66 кило и ни с места. Слабостью я называю «комнатную легкость в теле» — и только. Внешний вид — довольно дрянной. Вот, Надик мой, вся, вся правда.

Надик, надо все время помнить, что письмо мое в воронежский союз бесконечно обязывает, что это не литература. После этого письма, разрыва с партией большевиков у меня быть не может — при любом ответе, при молчании даже, даже при ухудшении ситуации. Никакой обиды. Никакого брюзжания. Партия не нянька и не доктор. Для автора такого письма всякое ее решение обязательно. Мне кажется, ты еще не сделала достаточных выводов из данного моего шага и не научилась продолжать его в будущее.

Сейчас, что бы ни было, я уже свободен. Воронежа мне очень жалко, но я боюсь, что мое дальнейшее там пребывание окажется вредным *не только* для меня. Пятого утром я тебе позвоню. Еще о старом Крыме: чтоб не было уходом, бегством, «цинцинатством». Я не Плиний Младший и не Волошин. Объясни это кому нужно. Еще вопрос, на первый взгляд, мелкий: свобода передвижений *по тому району в целом*. Без нее —

будет ужасно. Выясни обязательно.

Ну вот, Надик, целую тебя несчетно и радуюсь и горжусь своей женой; Надик мой, до-свиданья!

Твой няня.

№ 67. К Н. Я. Мандельштам

[Начало янв. 1936]

Надик милый, мой новорожденный дружок! Горячо целую. Невероятно, как хочу тебя видеть.

Скоро, скоро мы будем вместе. Я никогда так по тебе не скучал и так к тебе не рвался. Слышишь, Надик?

До свиданья. Твой . . .

Я еще много, много буду тебя нянчить, как прежде, по-настоящему, беречь, радовать . . . Надик, маленький, приходи ко мне . . .

№ 68. К Е. Э. Мандельштаму

8 янв. [19]36

Евгений Эмильевич!

Ты мою жизнь давно оценил и для тебя она предмет далеко не первой необходимости.

Но у тебя есть дети. Когда-нибудь они поймут, что ты делаешь. Им придется краснеть за отца.

Узнай следующее: в конечном счете мне предложено жить на средства родных (?) или убраться в любую больницу, откуда меня вышвырнут в дом инвалидов (к бродягам и паралитикам).

Чтобы остаться на свободе я последнее время просил милостыню. Ты понимаешь, что ты делаешь?

Ося.

Денег я у тебя не прошу, но запрещаю тебе где бы то ни было называть себя моим братом.

Слушай, Женя: дело не в том, пришлешь ты эти деньги или нет. Такой вид помощи, такое безбрежное равнодушие становится чудовищным. Ты скажи: тебе просто плевать на меня? Так что ли?

Далеко он, не видно брата... «Наглядности» нет. Поставишь свечечку за 60 р[уб.] на три месяца и еще умиляешься своему благородству.

На меня — нет у тебя. Значит, я для тебя лишний. Давай скажем просто: моя жизнь для тебя не стоит того, чтобы систематически урезать свой бюджет, бюджет всей своей семьи на 10%, а то и меньше. Против фактов не пойдешь. Разные бывают братья. Но очень редко, очень редко любовь к своей семье (понимая под ней *только* жену и детей и себя самого) выражается в форме такой малодушной и *постыдной* судороги, такого зажмуриванья глаз. Пока я скажу тебе: ты ведешь себя как скверный мальчишка, надеющийся избежать ответственности. Вряд ли я заставлю тебя спасти меня от голода и болезней.* (Ты ведь сам болен и тяжело работаешь: жалею тебя), но знай, что ты перешел границу *простой* небрежности.

Я рад, что ты не испытал и не испытываешь и со-той доли того что суждено мне. (А как бы я тебе помогал! Здорово! Сам знаешь. Я бы *бредил* такой помо-

* По мнению врачей я могу еще немного «протянуть» при условии «полного покоя». Мы дошли до черной нищеты.

щью). Но ты человек трезвый и найдешь себе оправдание. Тяжко иметь брата-врача. Прощай доктор.

Ося.

Не посоветуешь ли ты мне разумное *нищенство*? Этот месяц мы живем на 100 р. на двоих.

№ 70. К Е. Э. Мандельштаму Воронеж, 4 февраля
[19]37 г.

Здравствуй брат. Впрочем — кажется уже не брат. Это — уже не брат. Это — что-то другое.

Ося.

№ 71. К В. Я. Хазиной [Начало 1937]

Дорогая Вера Яковлевна!

Обращаюсь к Вам с большой просьбой: приезжайте, поживите со мной. Дайте возможность Наденьке спокойно съездить [в Москву] по неотложным делам. Ехать ей придется на этот раз надолго. Почему я вас об этом прошу? Сейчас объясню.

Как только уезжает Надя, у меня начинается мучительное нервно-физическое заболевание. Оно сводится к следующему: за последние годы у меня развилось астматическое состояние. *Дыхание всегда затруднено*. Но при Наде это протекает мирно. Стоит ей уехать — я начинаю буквально задыхаться. Субъективно это невыносимо: ощущение конца. Каждая минута тянется вечностью. Один не могу сделать шага. Приблечьнуть нельзя. В прошлый отъезд (7 дней) со дня на день делалось хуже. Остаться со мной некому. Успокаивают меня только свои люди. А у нас и чужих знакомых по-

чти нет. В прошлый раз я перенес это как острую болезнь. Дошел накануне Надиного приезда до того, что хотел явиться в любую больницу. Цеплялся за людей. Сидел часами в чужих местах (в учреждении, среди рабочего дня) — лишь бы быть около кого-нибудь. Я тогда заклился, что больше этого не перенесу. Потом остается глубокий след.

Это заболевание имеет много глубоких причин. Что делать? Вся надежда на ваш приезд. В остальном я совершенно нормальный человек. Поверьте, что я не буду вам в тягость и вы даже не догадаетесь, не поверите мне, какую услугу вы оказываете мне и Наде.

Побыть со мной придется *минимум* две недели. Бытовые условия будут хорошие. Уютнейшая комната. Славная хозяйка. Лестницы нет. Все близко. Телефон рядом. Центр. Весна в Воронеже чудесная. Мы даже за город с вами поедем.

А без вас — болезнь и невыносимое по остроте и физическое и психическое состояние.

Я прошу вас не замалчивать моего письма. Прошу ответить на него немедленно телеграммой. Письмо покажите Евг[ению] Як[овлевичу] и Шуре. Они вам помогут выехать. Крепко верю в ваше желание нам помочь.

Ваш Ося.

№ 72. К К. И. Чуковскому

[Начало 1937?]

Дорогой Корней Иванович!

Я обращаюсь к Вам с весьма серьезной для меня просьбой: не могли бы прислать мне сколько-нибудь денег.

Я больше ничего не могу сделать, кроме как обратиться за помощью к людям, которые не хотят, чтобы я физически погиб.

Вы знаете, что я совсем болен, что жена напрасно искала работы. *Не только не могу лечиться, но жить не могу: не на что. Я прошу Вас, хотя мы с Вами совсем не близки.* Что же делать? Брат Ев[гений] Эм[ильевич] не дает ни гроша. Здесь на месте нельзя предпринять *абсолютно ничего.* Это — только место чтоб жить и *ничего* больше. Вы понимаете, что со мной делается?

Только одно еще: если не можете помочь — телеграфируйте отказ. Ждать и надеяться слишком мучительно.

О. Мандельштам.

Воронеж областной,
ул. 27 февр., д. 50, кв. 1.

№ 73. К К. И. Чуковскому

[Начало 1937]

Дорогой Корней Иванович!

То, что со мной делается — дальше продолжаться не может. Ни у меня, ни у моей жены нет больше сил длить этот ужас. Больше того, созрело твердое решение все это любыми средствами прекратить. Это не является «временным проживанием в Воронеже», «адм[инистративной] высылкой» и т. д. Это вот что: человек, прошедший через тягчайший психоз (точнее, изнурительное и мрачное сумасшествие), — сразу же после этой болезни, после покушений на самоубийство, физически искалеченный — стал на работу. Я сказал — правы меня осудившие. Нашел во всем исторический смысл. Хорошо. Я работал очертя голову. Меня за это били. Отталкивали. Создали нравственную пытку. Я все-таки работал. Отказался от самолюбия. Считал чудом, что меня допускают работать. Считал чудом всю

нашу жизнь. Через полтора года я стал инвалидом. К тому времени у меня безо всякой новой вины отняли все: право на жизнь, на труд, на лечение. Я поставлен в положение собаки, пса... Я тень. Меня нет. У меня есть только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство. В Союз писателей — обращаться бесполезно. Они умоют руки. Есть один только человек в мире, к которому по этому делу можно и должно обратиться. Ему пишут только тогда, когда считают своим долгом это сделать. Я за себя не поручитель, себе не оценщик. Не о моем письме речь. Если Вы хотите спасти меня от неотвратимой гибели — спасти двух человек — помогите, уговорите других написать. Смешно думать, что это может «ударить» по тем, кто это делает. Другого выхода нет. Это единственный исторический выход. Но поймите: мы отказываемся растягивать свою агонию. Каждый раз, отпуская жену, я нервно заболеваю. И страшно глядеть на нее — смотреть как она больна. Подумайте: ЗАЧЕМ она едет? На чем держится жизнь? Нового приговора к ссылке я не выполняю. Не могу.

О. Мандельштам.

Болезнь. Я не могу минуты остаться «один». Сейчас ко мне приехала мать жены — старушка. Если меня бросят одного — поместят в сумасшедший дом.

№ 74. К Ю. Н. Тынянову

21 января 1937. Воронеж.

Дорогой Юрий Николаевич!

Хочу Вас видеть. Что делать? Желание законное:

Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века,

как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе.

Не отвечать мне легко. Обосновать воздержание от письма или записки невозможно. Вы поступите, как захотите.

Ваш О. М.

№ 75. К Н. Я. Мандельштам.

19 апреля [1937]

Надюшенька!

Утром получил твое вокзальное письмо. Почтальон невероятно громко постучал в окно. Потом кошка прогнала Тому. Утром мама говорила о врожденности характера детей. Вчера история семьи Корнгольдов. Вчера мы оба, понадеявшись друг на друга, вышли в лавку без денег: дошли и вернулись. Бабушка погасила свет выключателем. Я нечаянно исправил.

Вчера мы с мамой пошли в дом Красой Армии. Я омолодился там в роскошной парикмахерской за 2р. 50 к. Концерт оказался бесплатным по особым пропускам. Я взял два — себе и маме. Но пришла Наташа — и ей не дали пропуска. И мама ушла домой (уступив свой Наташе) очень неохотно: так ей понравился дом Красной Армии. Себастьян плясал, как сириец, нубиец и фракиец плюс еврей. А играли очень хорошо.

Сейчас я заказал с утра срочный телефон Жени на 12 ч. ночи с предупреждением. И то не наверное. Надик, ты живи у нас дома, а то устанешь по гостям. Я буду стараться звонить по утрам, от 8 ч. 30 м. — до 9 ч. Если что невозможно, — телеграфируй. Дедушке скажи, что я хочу его видеть. Пусть он мне напишет. Болезнь «быть без Тебя» протекает довольно мирно (бла-

годаря маме), но все-таки болезнь. Считаю дни и минуты до возвращения Твоего. Если обстоятельства на это укажут, зайди в Знамя. А то и нет? Буду писать каждое утро. А ты телеграфируй, если звонить не удастся. Зайди к врачу обязательно. Целую тебя, моя родная. Ося, няня, твой...

№ 76. К Н. Я. Мандельштам

23 апреля [1937]

Родная Наденька: это второе письмо. Я конечно дурак — не так ли? — но я не понимаю, чего ты ждешь в Москве. Ну и пусть не понимаю. А если ты сидишь в Москве — значит нужно. Этот раз твой отъезд переносу трудно, но спокойнее. Мама твоя очень помогает — всем своим существом, вплоть до раздражающих моментов. Все это отрезвляет и прикрепляет к жизни. Мы не ссоримся. Я очень молчалив и ничего не могу поделывать, хотя знаю, что ей это неприятно. Много времени на воздухе. Хожу один возле дома. Стихи мои наверно гораздо хуже прежних. Ты не скрывай. Беда не велика. Перескочим через них. Будем жить — так и стихи будут. Здоровье мое хорошо, если бы не одышка. Но это настолько серьезно, что я могу только с тобой и при тебе. Вторая поездка меня очень смущает. А при тебе и одышка гораздо легче. Впрочем от воздуха облегчение несомненное. Читать почти не могу. Всякая книга неприятна. И читать могу только при тебе. Вопрос ясен: можем ли мы быть вместе? Остальное по-моему неважно. Никто не заходит. И Наташа была всего два раза.

Снова я равнодушен ко всему кроме твоего приезда. Выясни свою болезнь. Как можно тщательнее. Неделя кажется мне огромным сроком. Писем твоих нет. Го-

лос твой звучит как будто из недели выйдет две и т. д.

Не считай моего письма упадочным. Просто ты уехала и я притих. Все что мы с тобой говорили — правильно. Мы совсем не слабые люди. И в очень трудную минуту сумеем поступить так как нужно. Не рассчитывай на телефон. Москвы почти не дают. Каждый звонок — случайность. В случае заминки телеграфируй несколько слов. Шуре скажи: «То что он не ответил на мое письмо — непоправимо — может больше не тревожиться». Обязательно точно передай.

Ну, до свиданья, мой родной друг. Жду тебя. Люблю тебя. Твой Ося — Няня.

№ 77. К Н. Я. Мандельштам

26 апреля [1937]

Надик, здравствуй!

Мои новости: утром купаться ходил. От петуха раму вставили. Мама уступила мне заварку чая и обещала не трогать электрическую машину, которая в великолепной опасности: трещит и пахнет разноцветным жареным. Подметку мне армянин гвоздиком прибил. Держится. Не верь, когда хвалят гладкие стишки. Хвалитель у нас мелкий. Сады у нас зеленеют. Очень хорошо... через задворки соседний. Я там много брожу... Вообще стал сильный холодок. Небольшие маршруты гуляю один. Внешность после-курортная. С деньгами — осталось 40 р. Долгов нет. Пеллагее Герасимовне дал вперед 30 р. Девочка Рая пришла с жалобной запиской — ей 5 руб. Из 4-х телефонов — три срочные. Утром всегда срочные. Вот почему мало денег. Да еще прачке — 5 р. Да сапожнику — 4 р. Да, признаюсь, у Эмминой мамы взял вначале 15 р. — так и не отдал. Вот это плохо.

Надик, ты, кроме дел, в Москве живи. Смотри картины. Все, что я хочу видеть, — ты смотри. Даже в театр для курьеза пойди. Не скучай. Так или иначе, чтоб приехала освещенная. Ты что написала: «здесь» и зачеркнула? Кто, что здесь, то есть в Москве?

Вчера снова водил маму в концерт. Она сидела в ложе бенуара и была горда. Удивлялась, что так легко дали контрамарку. Последние дни она совсем спокойна и уютна.

Извел бутылку одеколона (с мамой вместе). Ячмень в сухом виде остался. Глаза здоровые. Если без очков. Теперь нет пыли. А то висели над степью космические тучи. Мама сегодня чинила брюки. Интересно и безобразно. Прошу тебя ничем не обольщаться. За подарки спасибо. Целую мою родненькую и жду ее. Ося.

Шурика целую. Ему подарок, чтоб от меня. Спроси его наедине. Он скажет, что.

Мама кричит: «Вы мне надоели!» и рвется одна опускать письмо. Я стремлюсь за ней.

№ 78. К Н. Я. Мандельштам

28 апр[еля] [1937]

Надик, дитенок мой!

Что письмо это тебе скажет? Его утром принесут или вечером найдешь? Так доброго утра, ангел мой, и покойной ночи и целую тебя сонную уставшую или вымытую свеженькую деловитую, вдохновенно убегающую по таким хитрым, умным хорошим делам. Я завидую всем, кто тебя видит. Ты моя Москва и Рим и маленький Давид. Я тебя наизусть знаю и ты всегда новая и всегда слышу тебя радость. Ау! Наденька!

А у нас тишь да гладь. И только я тихо киплю. Мне весело. Я жду тебя. Я ничего не хочу кроме тебя.

Я тебе петуха-красавца покажу, который восклицает 300 раз от 4 до 6 утра. И котенок Пушок всюду бегает. И вербочки зеленые.

Подметка чуть отстаёт уже на гвоздиках. Но дня три прохожу. Долгов у нас нет. Мы не растратчики. Только телефон много съел. Продержимся до 2-го мая. Вчера я гулял с Наташей в парке. Очень далеко забрался, дальше того павильона. Оттого подметка отвалилась.

Я видел на улице «дядю Леню», который воскрес и задыхаясь бегает. Я ему давал медиц[инские] советы, как товарищ по болезни.

На самом же деле я сейчас на редкость здоров и готов к жизни. Мы ее начнем куда бы и где бы ни бросила судьба. Сейчас я буду сильнее стихов. Довольно им помыкать нами. Давай-ка взбунтуемся! Тогда-то стихи запляшут по нашей дудке и пусть их никто не смеет хвалить. Целую твои умные ясные глаза, твой старенький молоденький лобик. Мама временами остроумна. Ей начинает нравиться наша жизнь. Какой ужас! Надик, приезжай к нам и не отпустим маму.

Целую детку мою и жду. Няня.

Ты не обиделась, что лобик стареньким назвал?

№ 79. К Н. Я. Мандельштам

30 апреля [1937]

Родненькая моя Наденька!

Посылаю выписку и заявление для передачи Ставскому.

Я здоров и спокоен. Ты приедешь, как только сделаешь все необходимое. Думаю, что дольше 5-го оставаться не надо. В крайнем случае приедешь без денег. Не все ли равно? Лишь бы маму отправить.

Заявление свое в Союз Сов[етских] Пис[ателей] я считаю крайне важным.

Но если Ставский найдет, что не стоит подымать вопроса по вздорному поводу — я соглашусь. Я — не склочник.

Во всяком случае — покажи ему. Важно то, что после этого в Воронеже оставаться физически невозможно. Это — объясни.

Целую тебя, мой родненький. Спешу отправить. Твой Ося.

А.

30 апр. 37 г.

Выписка из статьи О. Кретовой в газете «Коммуна» (Воронеж) от 23 апр. [19]37 г. (Отчет о Пленуме обл[астного] Отд[еления Союза Советских Писателей] и статья о задачах литературы).

...«За последние годы в организацию (воронежск[ого] обл[астного] отд. союза сов. писат[елей]) пытались проникнуть и оказать свое влияние троцкисты и другие классово-враждебные люди (Стефан, Айч, О. Мандельштам), но были разоблачены...» *

* «Совершенно иным было отношение Союза к людям, совершившим ошибки в прошлом, но старающимся честной работой их исправить (воронежские писатели Песков к Завадовский)».

О. Э. Мандельштам.

Б.

Тов. Ставскому.

30 апр. 37 г.

Прошу Вас обратить внимание руководства Союза Сов. Писат[елей] на безответственное обращение с моим именем Воронежского Обл. отд. Союза.

Союз напрасно приписывает себе мое разоблачение. Этого разоблачения *никогда* не бывало.

Союз отказался от сотрудничества со мной полтора года тому назад, мотивируя это «отсутствием директив».

Одновременно он выдал мне *общественную рекомендацию* (пост[ановление] правл[ения]: протокол) для получения мной работы. Выпады (второй печатный) — происходят задним числом.

Вор. Обл. Отд. Союза инкриминирует мне фактически то, что я искал в Союзе и через Союз советского и партийного мнения и руководства.

Включение же трех имен в одни скобки — с тем, чтобы читатель *произвольно* в них разобрался — абсолютно недопустимо.

О. Мандельштам.

№ 80. К Н. Я. Мандельштам

[Конец апреля 1937]

Родная моя доченька Надик!

Сейчас пришли твои сто рублей. А у нас еще было, и все на 1-е Мая было уже куплено. Новость: курица клюнула маму в щеку и поцарапала. Чуть-чуть. Сегодня я сам стоял в бакалейной очереди, а маму усадил на улице на скамейке. Утром отправил тебе выписку из статьи О. Кретовой в «Коммуне» от 23 апреля и заявление мое Ставскому по поводу воронежцев. На всякий случай посылаю в адрес Евгения Яковлевича вторую выписку и сокращенное заявление в Союз Советских Писателей.

Не знаю, как быть с обувью. Спрошу тебя. Будущее меня не смущает.

Приезжай не позже шестого. Можно без денег. Совершенно *все равно*.

Бесконечно жду Тебя.

Твой Ося.

№ 81. К Н. Я. Мандельштам

2 мая [1937]

Родная Наденька!

Прости, что пишу на обороте твоих списков. Сохрани листки и привези. Для общезначимости пришлось приписать Наташе старшего брата и сестру и постулировать характер будущего мужа. Но то, что я ее уговариваю выйти замуж, это вполне реально.

Как видишь, я занимаюсь вздором и далек от мрачных мыслей. Впрочем день на день не похож. Сегодня утром начали искать с мамой туфли на улице Сити (sity street — так?). Я купил страшные синие — 25 р. К ним хотел купить зеленые носки (при коричневых брюках), но мама не позволила. При этом старик приказчик поговорил со мной о музыке (концертный знакомый).

Неужели нашлись любители на «Солдата»? Я хочу поблагодарить лично этих добряков. У нас испортился штепсель от «машины» и Адриан Федорович приделал к ней сложную висюльку, которая тоже портится. Но свет вообще отсыхает, и я пишу при лампе и свече.

Родненькая, прости, что я болтаю, когда ты накануне напряжения и т. п. Мне кажется, что мы должны перестать *ждать*. Эта способность у нас иссякла. Все что угодно, кроме ожидания. Нам с тобой ничего не страшно. (Свет зажегся). Мы вместе бесконечно, и это

до такой степени растет и так грозно растет, что не боится *ничего*.

Целую тебя, мой вечный и ясный друг. Увижу тебя скоро, увижу и обниму.

Твой муж.

№ 82. К Н. Я. Мандельштам

4 мая [1937]

Надик, родной!

Приезжай поскорей. Дышать без тебя трудно. Весна не в радость. Приезжай скорей. Сегодня пришли два твоих письма от 29 и 30. У тебя сразу трое гостей. Почти как дома. Казалось, что я тоже? Да? И что я ругаю Эмму? Ты меня, дружок, не ругай: я все понимаю — только очень глупый. Детка моя, ты минуты лишней не останешься. В крайнем случае, еще поедешь (?) *Нет, не поедешь!* Неопределенно ты сидеть не будешь. Если переговоры примут бесформенный характер. Мне кажется: то что можно и хотят — сделают *сразу*.

Вчера ночью я сбежал от мамы как испанка от старой дуэньи. В 12 ч[асов] в окно постучали Наташа и ее Борис. Мама спала. Я тайком выкрался и пошли в «Бристоль». Борис поставил на троих одну свиную котлету, три апельсина и бутылку бордо. Я купил маме апельсин и положил под подушку. Она проснулась и сказала: я не маленькая. Она *не заметила*, что я уходил.

Только что пришло письмо от Рудакова. Разобрал его с колоссальным трудом. Он пишет (кажется?) что стихи неровные и что передать это можно только в разговоре. Большое новое идет от стихов о русской поэзии. Да!

Сейчас был в книжном магазине — большом. Там изумительные «Металлы Сассанидов» Эрмитажа — 50 р. Добрая продавщица мне отложила. Как видишь, я сумасшедший дурак. А эти блюдечки персов мы все-таки купим. Такие уж мы уроды. Деточка, приезжай скорее — няня без тебя задохнется. Он больше не может мотаться и ждать. Ау! Надик! Ау! Скорей!

Няня.

№ 83. К Н. Я. Мандельштам 4 мая (второе письмо) [1937]

Надик — солнышко! Только что пришел домой и сочинил безделицу. Ее прилагаю. Горько и пусто мне сочинять без тебя. Мама равнодушна к «квакушам», «Наташу» хвалит, «Черемуху» промолчала.

Дней десять назад я поссорился с хозяйкой (я кричал о петухе в пространство: — она приняла на свой счет... Очень деликатно, но все же говорила кислые слова) из-за петуха. Все это забыто. Деликатность удивительная. Денег не брали. Терпенье сверх меры.

По поводу же нападения курицы на маму. Никакой царапины серьезной нет. Шрам заживает. Черт знает, какой вздор пишу! Гоголь такого не выдумает!..

Солнышко мое, если неудача тебя постигнет, умоляю тебя, приезжай веселая. Помни, что нам отчаиваться стыдно. Кто его знает, что еще будет... Что-нибудь... Переживем. Вот как, дитя мое. И еще умоляю: если удержишься, не отказывай себе, не балуй нас.

Целую тебя, мою родную...

Надик, дитя мое родненькое!

Вчера пришло твое письмо от 4-го, сегодня от 2-го. Детка, да тебе там делать нечего. У тебя Москва пустая! Куда ты тычешься? Как время тянешь? А я совсем скис. И стихи побросал. И места себе не нахожу. Телефон взяли сегодня вечером под радио, а то бы услышал голос твой. Не хочу новостей. Хочу Надин голос. Последние дни я почти свободно выхожу один, изумляя воронежцев своей одинокой фигурой. Вчера раскачался даже к Наташе. Только в трамвае № 3 чуть-чуть испугался. На сватовские стихи Наташа говорит, что они «что-то знакомое — вроде Лермонтова», то есть вторичная литература. Маленький парк ценит. А «Железо» это и есть железо. Она работает сейчас по 10 часов и почти не заходит. Мы с мамой абсолютно одни. Мы да кошка с сыном. Мама разучилась со мной ссориться. Царапина от куриной лапы почти исчезла. Мама постирала мне синюю рубашку и твое бельишко. На персов я тоже облизываюсь. Ничему хорошему не верю. Так лучше. А твоя звездочка — у-у — очень как хороша. Все больше. Надик, привези мою прозу. Если будем жить — выучи меня английскому. 75 р. пришли сегодня. Прошлый раз телеграфист пил у нас чай. Надик, от письма легче: начинаю болтать и улыбаться. Я жду тебя, моя жена, моя дочка, мой друг, скорей, скорей. Твоя няня.

№ 85. К брату Александру Эмильевичу Мандельштаму
(и жене) [Двадцатые числа октября 1938]

Дорогой Шура! Я нахожусь — Владивосток, УСВИТЛ, 11 барак.

Получил 5 лет за к. р. д. по решению Осо. Из Москвы из Бутырок этап 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое, истощен до крайности, исхудал, незнаем почти, но посылать вещи, продукты и деньги — не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. очень мерзну без вещей.

Родная Наденька, жива ли ты, голубка моя? Ты, Шура, напиши мне о Наде сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.

Родные мои. Целую вас. Ося.

Шурочке, пишу еще. Последние дни ходили на работу. Это подняло настроение. Из лагеря нашего, как из транзитного, отправляют в постоянные. Я очевидно попал в «отсев» и надо готовиться к зимовке. И я прошу, пошлите мне радиogramму и деньги телеграфом.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ

**КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО ПИСАТЕЛЕЙ
В ЦК РКП(б)**

ПИСЬМО ГРУППЫ ПИСАТЕЛЕЙ В ОТДЕЛ ПЕЧАТИ ЦК РКП(б)

Мы, писатели, узнав, что Отдел печати ЦК РКП организует Собрание по вопросам литературной политики, считаем нужным довести до сведения Собрания нижеследующее:

Мы считаем, что пути современной русской литературы, — а стало быть, и наши — связаны с путями Советской послеоктябрьской России. Мы считаем, что литература должна быть отражателем той новой жизни, которая окружает нас, — в которой мы живем и работаем, — а с другой стороны, созданием индивидуального писательского лица, по-своему воспринимающего мир и по-своему его отражающего. Мы полагаем, что талант писателя и его соответствие эпохе — две основные ценности писателя: в таком понимании писательства с нами идет рука об руку целый ряд коммунистов — писателей и критиков. Мы приветствуем новых писателей, рабочих и крестьян, входящих сейчас в литературу. Мы ни в коей мере не противопоставляем себя им и не считаем их враждебными или чуждыми нам. Их труд и наш труд — единый труд современной русской литературы, идущей одним путем и к одной цели.

Новые пути новой, советской литературы — трудные пути, на которых неизбежны ошибки. И наши

ошибки тяжелее всего нам самим. Но мы протестуем против огульных нападок на нас. Тон таких журналов, как «На Посту», и их критика, выдаваемые притом ими за мнение РКП в целом, подходят к нашей литературной работе заведомо предвзято и неверно. Мы считаем нужным заявить, что такое отношение к литературе не достойно ни литературы, ни революции и деморализует писательские и читательские массы. Писатели Советской России, мы убеждены, что наш писательский труд и нужен, и полезен для нее.

П. Сакулин, Н. Никандров, Валентин Катаев, Александр Яковлев, Михаил Козырев, Бор. Пильняк, Сергей Клычков, Андрей Соболев, Сергей Есенин, Мих. Герасимов, В. Кириллов, Абрам Эфрос, Юрий Соболев, Вл. Лидин, О. МАНДЕЛЬШТАМ, В. Львов-Рогачевский, С. Поляков, И. Бабель, Ал. Толстой, Ефим Зозуля, Михаил Пришвин, Максимилиан Волошин, С. Федорченко, Петр Орешин, Вера Инбер, Н. Тихонов, М. Зощенко, Е. Полонская, М. Слонимский, В. Каверин, Вс. Иванов, Н. Никитин, Вяч. Шишков, А. Чапыгин, М. Шагинян, О. Форш.

[Май 1924]

ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ

**ПИСЬМА В. Я. ХАЗИНОЙ
К ДОЧЕРИ — Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ**

[1935—1936?]

Дорогая Наденька!

Сегодня получили твое письмо. И то хорошо к[а]к ты пишешь, [что вы] будете ближе к нам. Не помню сколько часов езды — но даже, если В[оронеж] то можно часто ездить. Хорошо что есть самовар. Вам пригодится. Деньги уходят не столько на еду, сколько на табак — 2 р.-3 р. в день на двух нас. Спечь пирожки и что другое и в тот же день повезти. Нав[ерное] 200 р. в м-ц — это уже бюджет. Из-за таких расходов — нельзя удержать бюджет — телеф[онные] переговоры. Теперь [он] уже говорит в долг — и нельзя иначе — Ося волновался до слез. Сегодня (6-го) остались без денег, но я имею всегда небольшой запас — крупы, муки, подсолнечного масла — все, что не любит О[ся]. Он пошел к Эм[м]иной мамаше, она зарезала курицу в кредит, сварила велик[олепный] бульон — нам на два дня и велик[олепная] курица; всем интересуется великолепная Эм[м]очка и бегаёт туда и обратно, я ей вывязала мешочек и воротничок, но надо детскую книжечку, ей 7-й год, ей родители читают, но еще не учат ее читать. Ей конфискуй у Жени пару книжечек. А Витьке достань книгу подешевле — он не стоит того. Но девочке надо привезти. М[ожет] б[ыть] Осипа Трамвай или Примус, или попроси Женю. Он кажется имеет бесплатное приложение [Жук?] Я т[а]к беспокоилась, что ты там ходишь в своем пальто розовом, но хозяйка сказала, что оно у нее в шкафу, чему я очень обрадовалась. — Здесь адский холод. Я думаю не больше 5-6°. Бабушка предсказывает гибель фруктов, они в самом цвету.

Осип сегодня в хорошем настроении, я тоже. Он меня еще ни разу не ругнул. И я тоже. Целую Женю, исполнил ли он то, о чем я писала ему?

Целую тебя крепко и желаю, чтобы пошла полоса хороших дней. Все мы перенесли за эти годы и болезни, и невзгоды — может быть нас ждет цепь лучших дней?

II

19/IV [1937]

Дорогая Наденька!

Особенных событий за день не было. Мы гуляем делаем покупки — у нас вооруженный нейтралитет. В хозяйственных взглядах мы не сходимся. А Ося уверен, что он такой же хороший хозяйственник, как поэт. Он любит все более дорогое, я тоже, но я заглядываю в кошелек и даю обет воздержания... Он не сдается, но бывает покорен, когда увидит дно кошелька.

Холодно, как в начале зимы, а пыль такая, что хватило бы на всю Москву. Не хватает блюдец. Возьмешь в шкаф худшие, лучшие оставишь. Не могу жить без картошки: 2 р. 10 штук. Привези хоть 10 кило в черном с розовым мешке, хоть Ося прикоснется к ней только пальцем и будет охать.

Он хотел, чтобы мы пошли на концерт, но я предпочла, чтобы пошла барышня с больной ногой...

В кухне, в шкафу стоит бутылка с маслом — привезешь и закутаешь в двадцать бумажек. Вчера сварила ему половину курицы за 4 р. 75 коп. Ему очень понравилось.

Может, перешьешь себе белое пальто? Посоветуйся с Леной.

Целую тебя и Женю.

ПРИЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОСВЯЩЕНИЯ

**
*

Публикуемый очерк поэта М. И. Цветаевой (1892—1941) «История одного посвящения» обращен к поэту О. Мандельштаму. Память о дружбе с ним, высокую и верную любовь к его творчеству Цветаева пронесла через всю свою жизнь. Знакомство их было непродолжительным — несколько встреч за два с небольшим года, — но оно подарило ревнителям русской поэзии такие прекрасные образцы лирики, как посвященные Цветаевой Мандельштаму стихотворения «Никто ничего не отнял...», «Собирая любимых в путь...», «Откуда такая нежность...» и другие (1916), как «Не веря воскресенья чуду...», «В разноголосице девического хора...», «На развалнях, уложенных соломой», написанных Мандельштамом Цветаевой.

Марина Цветаева и Осип Мандельштам познакомились зимой 1915—1916 г. в Петербурге. Вскоре после этого Мандельштам впервые приехал в столицу. «В эти дни, — вспоминала впоследствии Цветаева, — я дарила Мандельштаму Москву». Второй из ее «Стихов о Москве» начинается словами:

Из рук моих нерукотворный град

Прими, мой странный, мой прекрасный брат...

В июне 1916 г. Мандельштам гостил у сестер Цветаевых, в древней Александровской слободе Владимир-

Редакторы полностью перепечатывают вступительную заметку А. Саакянц из советского журнала «Литературная Армения» (1967, № 3), ввиду ряда интересных сведений, сообщенных в ней, и потому не сочли возможным изменить или смягчить текст автора.

ской области. Дальше пути обоих поэтов, скрестившись ненадолго в коктебельском доме Максимилиана Волошина и в старом московском домике, где жила Цветаева с семьей, разошлись навсегда. Гражданская война задержала Мандельштама в Крыму, Цветаева же вскоре покинула Москву, в которую вернулась из эмиграции лишь в 1939 году.

Находясь за границей, Цветаева почти ничего не знала о том, как сложилась жизнь ее «странного и прекрасного» брата по поэзии. В ее памяти он сохранился вечно молодым поэтом, у которого — вся жизнь впереди. И память ее не погрешила против истины: жизнь каждого настоящего поэта всегда впереди, ибо каждое новое поколение по-новому и заново открывает его для себя.

«Друг есть действие», — говорила Цветаева. И она умела *действенно* дружить — «через сотни разъединяющих верст», через все препоны времени и пространства, поверх запретов, мод и вкусов нынешнего, то есть давно уже вчерашнего — дня; умела оборонять отсутствующих, непонятых, незащитных — живых и ушедших из жизни. Многие ее очерки и воспоминания о поэтах — это акты защиты их от старорежимных «белокровных» толкователей-критиков, от воинствующих верхоглядов и пустозвонов, от обывателей, пошляков, завистников, окопавшихся в эмиграции.

Именно таким актом защиты и является публикуемый очерк. История этого очерка такова.

22 февраля 1930 года в парижской русской газете «Последние Новости» появился очерк «Китайские театры». Принадлежал он перу поэта-белоэмигранта Георгия Иванова (1894—1958), еще в 1921 году названного Александром Блоком «эпигонствующим» и «опустошенным». Не смущаясь ничем и менее всего заботясь о до-

стоверности своих «воспоминаний», Г. Иванов во второй половине «Китайских теней» описывал жизнь Мандельштама в Коктебеле. Наделяя поэта прозвищами то «чудака», то «ангела», то «комического персонажа», он щедро угощал читателя не только недостоверными, но и неприглядными, вульгарными подробностями, якобы характеризовавшими «быт» Мандельштама и его коктебельского окружения.

Год спустя после появления в печати «Китайских теней» Цветаева случайно обнаружила этот «опус» в своих бумагах и написала опровержение на него. Однако газета, охотно предоставившая два своих «подвала» клеветнику, отказалась опубликовать ответ Цветаевой, который так и не появился в печати при жизни автора.

Как это свойственно цветаевской прозе, «История одного посвящения» шире своей темы. Здесь Цветаева пишет и о себе самой, о своих близких, о самых первых своих шагах в поэзию. Но в центре «Истории», конечно, стоит ее «герой» — Осип Эмильевич Мандельштам.

«История одного посвящения» — это живое слово о живом человеке, притом — поэта о поэте. Ставшая аксиомой мысль, что для поэта не может быть мелочей, получила здесь блестящее подтверждение. Цветаева обладала даром показать человека в «повседневности» так, что любая деталь, как бы она ни была мелка, говорила о большом, как бы ни была незначительна — всегда выражала самую суть, сердцевину смысла, торжество живой жизни. Именно так и вылеплен образ Мандельштама. «Ничтожным» пытался нарисовать поэта Г. Иванов. У Цветаевой он — трогателен, человечен, незащищен, по-детски открыт и непосредствен.

«История одного посвящения» печатается по рукописи, хранящейся в цветаевском архиве в Москве. В

подготовке публикации принимала участие А. С. Цветаева-Эфрон. Помимо этого очерка и нескольких стихотворений, Цветаева посвятила Мандельштаму еще один очерк, написанный в 30-е годы и оставшийся без заглавия.

А. Саакянц

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОСВЯЩЕНИЯ

*Дорогому другу Е. А. И. — *
запоздалый свадебный подарок.*

М. Ц.

УНИЧТОЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ

Уезжала моя приятельница в дальний путь, замуж за море. Целые дни и вечера рвали с ней и жгли, днем рвали, вечером жгли, товарные составы, склады, трюмы писем и рукописей. Беловики писем. Черновики рукописей. — Это беречь? — Нет, жечь. — Это жечь? — Нет, беречь. «Жечь», естественно, принадлежало ей; «беречь» мне, — ведь уезжала она. Когда самой не жглось, давала мне. Тогда защитник становился исполнителем приговора.

* Очерк посвящен приятельнице М. И. Цветаевой, литературе и переводчице Е. А. Извольской.

Гори, гори ясно
Чтобы не погасло!
Глянь-ка на небо:
Птички летят!

Небо — черный свод камина, птички — черные лохмы истлевшей бумаги. Адовы птички. Небосвод, в аду, огнесвод.

Трещит очередной комок довоенной, что то же — навечной — и огонь не берет! — прохладной, как холст, скрипучей, как шелк, бумаги в кулаке, сначала в кулаке, потом в огне, еще выше растет, еще ниже оседает над и под каминной решеткой лохматая гора пепла.

— А какая разница: пепел и зола! Что чище? Что (сравнительная степень) последнее?

— Пепел, конечно, — золой еще удобряют.

— Так из этого, видите, черное? и видите, серое? что — пепел? и что — зола? что — что?

В горсти, черным по белому пустого бланка — «Министерство иностранных дел».

— Мы с вами сейчас министерство не иностранных, а внутренних!

— Не иностранных, а огненных! А еще, помните, в Москве: огневая сушка Прохоровых? ¹

Суши, суши сухо,
Чтобы не потухло!

Рвем. Жжем. Все круче комки, все шибче швырки, диалог усыхает. Беречь? Жечь? Знаю, что мне беречь уже пустая примолвка губ, знаю, что сожгу, жгу, не дождавшись: жечь! Что это я, ее или свое, ее или себя жгу? И — кто замуж выходит за море? Через красное

¹ Братья Прохоровы — известные в начале века московские торговцы сушеными фруктами.

море сожженного, сжигаемого, — сожженным быть — должного. Тихий океан — что! Canadian Pacific? ²

С места не встав: — Вы к жениху через огненное море едете!

«Когда ее подруги выходили замуж, она оплакивала их в свадебных песнях», — так я впервые услышала о той, первой, ³ от своего первого взрослого друга, переводчика Гераклита — рекшего: «В начале был огонь».

Брак—огонь—подруга—песня—было—будет—будет—будет.

Внезапно, как по команде, поворот всего тела и даже кресла: замечтавшись, вовремя не отвела колена. Руки знали свое, ноги — забыли, и вот, охлестнутая огнем, принохиваюсь, прожгла или нет то, что дороже кожи!

Папки, ящики, корзины, портфели, плакаты, полки. Ключья, ключья, ключья. Сначала белые, потом черные. Посередке решетки кавказское, с чернью, серебро: зола.

Брала истлевшие листы
И странно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело. ⁴

Тело писателя — рукописи. Горят годы работы. Та только письма — чужое вчерашнее сердце, мы — рукописи, восемнадцатилетний труд *своих* рук — жжем!

Но — то ли германское воспитание, то ли советское — чего не могу жесть, так белой бумаги. Чтобы понять (меня — другому), нужно только этому другому себе представить, что эта бумажка — денежный знак. И дарю я белую бумагу так же скрепя сердце, как иные —

² Пароходная компания.

³ Сафо, древнегреческая поэтесса (VI в. до нашей эры).

⁴ Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Она сидела на полу...»

деньги. Точно не тетрадку дарю, а все в ней написавшееся бы. Точно не пустую тетрадку дарю, а полную — бросаю в огонь! Точно именно от этой тетрадки зависела — никогда уже не имеющая быть — вещь.

«Вот деньги, пойдя и купи себе, а мою не трогай!» — под этот припев выросла моя дочь и вырастет сын. Впрочем, голод у меня на белую бумагу догерманский и досоветский: все мое детство, дошкольное, досеми-летнее, все мое младенчество — сплошной крик о белой бумаге. Утаенный крик. Больше взгляд, чем крик. Почему не давали? Потому что мать, музыкантша, хотела и меня такой же. Потому что считалось (шесть лет!), что пишу плохо — «и Пушкин писал вольными размерами, но у нее же никакого размера нет!» (NB! Не предвосхищение ли всей эмигрантской критики?).

Круглый стол. Семейный круг. На синем сервизном блюде воскресные пирожки от Бартельса. По одному на каждого.

— Дети! Берите же! — Хочу безз и беру эклэр. Смущенная яснозрящим взглядом матери, опускаю глаза и совсем проваливаю их, при:

Ты лети, мой конь ретивый,
Чрез моря и чрез луга,
И, потряхивая гривой,
Отнеси меня туда!

— Куда — туда? — Смеются: мать (торжествующе: не выйдет из меня поэта!), отец (добродушно), репетитор брата, студент-уралец (го-го-го), смеется на два года старший брат (вслед за репетитором) и на два года младшая сестра (вслед за матерью); не смеется только старшая сестра, семнадцатилетняя институтка Валерия — в пику мачехе (моей матери).

А я — я красная как пион, оглушенная и ослепленная ударившей и забившейся в висках кровью, сквозь

закипающие, еще не проливающиеся слезы — сначала молчу, потом ору: — Туда — далеко! Туда — туда! И очень стыдно воровать мою тетрадку и потом смеяться!

(Кстати, приведенный отрывок явно отзвук пушкинского: «Что ты ржешь, мой конь ретивый», с несомненным — моря и луга — копытным следом ершовского Конька-Горбунка. Что в нем мое? Туда).

Из-за таких стихов (мать, кроме всего, ужасалась содержанию, почти неизменно любовному) и не давали (бумаги). Не будет бумаги — не будет писать. Главное же то, что я потом делала с собой всю жизнь, — не давали потому, что очень хотелось. Как колбасы, на которую стоило нам взглянуть, чтобы заведомо не получить. Права на просьбу в нашем доме не было. Даже на просьбу глаз. Никогда не забуду, впрочем, единственного — потому и не забыла! — небывалого случая, просьбы моей четырехлетней сестры — матери, печатными буквами во весь лист рисовальной тетради (рисовать дозволялось).

— Мама! Сухих плодов пожалиста! — просьбы, безмолвно подsunутой ей под дверь запертого кабинета. Умиленная то ли орфографией, — то ли карамзинским звучанием (сухие плоды), то ли точностью перевода с французского (*fruits secs*), а скорее всего не умиленная, а потрясенная неслыханностью дерзания, — как-то сробевши — мать «плоды» дала. И дала не только просительнице (любимице, *Nesthäckchen*),⁵ но всем: нелюбимице — мне и лодырю-брату. Как сейчас помню: сухие груши. По половинке (половинки) на жаждущего (*un quart de poire pour la soif*).⁶

⁵ Здесь — птеник.

⁶ Четверть груши, чтоб утолить жажду.

Моя мать умерла в моем нынешнем возрасте.⁷ Узнаю во всем, кроме чужих просьб, — ее в себе, в каждом движении души и руки. Так же хочу, чтобы дочь была поэтом, а не художником (мать — музыкантом, а не поэтом), так же всего требую от своих и ничего от чужих, так же — если бы была книга, все строки бы совпадали.

Не могу не закончить заключительным (трагическим!) стихотворением первой моей детской тетради. Рисунок: я за письменным столом. Лицо — луна, в руке перо (гусиное) — и не перо, а целое крыло! — линия стола под самым подбородком, зато из-под стола аистовой длины и тонизны ноги в козловых (реализм!) сапогах с ушами. Под рисунком подпись: «Марина Цветаева за сочиненьями».

Конец моим милым сочиненьям
Едва ли снова их начну
Я буду помнить их с забвеньем
Я их люблю.

— Вы никогда не писали плохих стихов?

— Нет, писала: только — все мои плохие стихи написаны в дошкольном возрасте.

Плохие стихи — ведь это корь. Лучше отболеть в младенчестве.

Пустая тетрадь! Оду пустой тетради! Белый лист без ничего еще, с еще — всем!

Есть у немцев слово *Sehen*, с частым эпитетом *heiliges*, вроде священного трепета — непере译имое. Так именно это священное *Sehen* я по сей день испытываю при виде пустого листа. — Несмотря на пуды исписанных?

⁷ Мать М. И. Цветаевой, Мария Александровна Мейн, скончалась в 1906 году, 36 лет; М. И. Цветаевой в 1931 году было 39 лет.

Да. — С каждой новой тетрадью — я заново. Будет тетрадь — будут стихи. Не смогут не быть.

Мало того, каждая еще пустая тетрадь — живой укор, больше: приказ (Я-то — есть, а ты?). Хотите больших вещей — дарите большие тетради.

Но — бумажный голод младенчества! — по сей день не решаюсь писать в красивых, кожаных и цветочных, даримых знакомыми для «черновики». (Свои-то — знают!). Сколько у меня их, одних пражских, по старинным образцам, из драгоценной, с рваным краем, бумаги. Так и лежат, в ожидании чистовиков, никогда не осуществляемых по недостатку времени, с единственной надписью на первой странице — для чистовика...

Первое чувство: недостойна! Второе: в такой тетради ничего не напишу, — страх дурного глаза, паралича роскоши; третье, уже вполне мысленное: писать в сафьяне то же самое, что пахать в атласе — не дело, игра в дело, дилетантизм, безвкусие.

(Пари держу, что большинство плохих стихов написано в сафьяновых тетрадях, купленных — имущественное положение не при чем — может быть, на последние деньги, равно как и персидский халат, в котором это священнодействие совершается, — чтобы хоть чем-нибудь восполнить сплошную прореху дара.

А Пушкин писал в бане, на некрашенном столе. — Да. — И исписанные листы швырял под стол. Но — будь у вас и баня, и некрашенный стол, под который швырять, — и это не поможет. Придет Время и сметет метлой).

Словом, либо сафьян — либо я. Тот же отскок, что — от ни разу не надетых и еще до Революции неизвестно куда девавшихся бриллиантов. Так и лежат (сафьяны) в ожидании дня, когда я буду не я. А стопа синих, конторских, весом пуд — растет. В России, до Ре-

волюции, у меня были почтальонские, из сурового холста, с завязками (для расписок). В Революцию — самосшивные, из краденой (со службы) бумаги, красными английскими чернилами — тоже краденными.

Не знаю, как другие пишущие, — меня советский бумажный голод не потряс: как в младенчестве: вожделела и воровала.

Но из колыбели в горящий камин (именно в). В начале сожжения — ожесточенный торг. — Как — это — жечь? — Ну, конечно: первый черновик перевода Обломова! — Да я не о написанном, я о белой бумаге говорю! — На что она вам? Я, по кратчайшей правдоподобия: — Рисовать — Муру.⁸ Словом, к стыду — или не к стыду? — пишущего в себе, — не рукописи выручала — руками из огня, а белую бумагу. Возможность рукописи.

Сначала приятельница, принимая за шутку, оспаривала, но поняв наконец — по непривычной грубости моих интонаций: «Сожгли?! Сожгли?!» что никакой тут игры нет — присмирел — и из деликатности не выясняя — покорно стала откладывать в мою сторону все более или менее белое. — Жечь. Жечь. А вот это вам. — Иногда, с сомнением: — И чековую книжку вам? — Да, если пустая. — Но если каждый листок разбирать, мы никогда не кончим — и я никогда не выйду замуж! — Я, с равнодушием вышедшей: — Каждый листок.

Так, на живом опыте Е. А. И. — какая помеха иногда чужая помощь! — Какой тормоз брачному паровозу — руки дружбы!

Есть, впрочем, в этом бумагопоклонстве еще нечто кроме личной обиды детства. Простонародное: такому добру — да даром пропадать? Кто-то эту бумагу делал,

⁸ Мур — сын М. И. Цветаевой, Георгий Сергеевич Эфрон (1925—1941).

над ней старался, — этой бумаги не было — она стала. Для чего? чтобы через дерзкий швырок рук — опять, вспять — не быть? Кроме крестьянского, чисто потребительского ценения вещи — рабочий, творческий вопль против уничтожения ценностей. Защита — нет: самозащита труда.

И надо всем — не была, стала, не быть? — исконный бой поэта — небытию.

Я — страница твоему перу,
Всё приму: я белая страница.
Я — хранитель твоему добру;
Возращу и возвращу сторицей.
Я деревня, черная земля,
Ты мне луч и дождевая влага,
Ты — Господь и господин, а я —
Чернозем и белая бумага.

Сознавала ли я тогда, в 18-м году, что уподобляя себя самому смиренному (чернозем и белая бумага); я называла самое великое: недра (чернозем) и все возможности белого листа? Что я, в полной бесхитростности любящей, уподобляла себя просто всему? Сознавала ли я и — признавал ли он?

1918 г. — 1931 г. Одна поправка: так говорить должно только к Богу. Ведь это же молитва! Людям не молятся. 13 лет назад я этого еще — нет, знала! — упорно не хотела знать.

И — раз навсегда — все мои такие стихи, все вообще такие стихи обращены к Богу. (Недаром я — вовсе не из посмертной женской гордости, а из какой-то последней чистоты совести — никогда не проставляла посвящений). — Поверх голов — к Богу. По крайней мере — к ангелам. Хотя бы по одному тому, что ни одно из этих лиц их не приняло, — не присвоило, к себе не отнесло, в получке не расписалось. —

Так: все мои стихи — к Богу, если не обращены, то: возвращены . . .

— Ну, уж этого я вам хранить не дам! На что будет похож ваш дом, если каждую бумажку . . .

Это моя кроткая приятельница вознегодовала и, разом, полный передник . . . (мы обе в передниках, она — полугерманского происхождения, я вполне германского воспитания).

— Моё? Моё? — Да не ваше вовсе — и не моё — сочинения одного старичка, который прислал мне их, умоляя напечатать, — читала: ужасно! — и тут же умер . . .

— Каак? Вы мертвого старичка жжете? — Я десять лет их берегла, наследников нет, не везти же с собой замуж! И уверяю вас, Марина Ивановна, что даже белые листы из его сочинений *vous porteraient malheur!*⁹

— Ну, Бог со старичком! Если явится — так вам! А это что жжете? — . . .

— А это старушки одной, генеральши, перевод — для собственного удовольствия, лермонтовского Демона в прозе. Тоже «напечатать» . . . — Тоже померла? — Нет, жива, но совсем впала в детство . . . — Жечь старушку! —

— Передохнем? А то — пожар!

— Пусть дом сгорит — вашим свадебным факелом!

Дом, знаменитый в русской эмиграции (*Avenue de la Gare*,¹⁰ все эмигрантские казармы, по ночам светящиеся, как бал или больница, каждое окно своей бессонницей,

⁹ Принесли бы вам несчастье.

¹⁰ Улица в Медоне, в парижском предместье, где жила Цветаева в 30-е годы.

дом, со всех семи этажей которого позднему прохожему на плечи, — как ливень — музыка, из каждого окна своя). Vous ne dormez donc jamais? ¹¹ — струнная — духовая — хоровая — рояльная — сопранная — младенческая — русская разноголосица тоски. Дом, где каждый день умирают старые и рождаются новые... дом с живыми ступеньками ног, лестницами шагов...

... И с нами неладное — уже никаких беречь, и никаких жечь — просто жжем, не разбирая, даже не разрывая, полными горстями и листьями. Секундами — уколы того, что было совестью: а вдруг — нужное? Но и уколам конец. Непроницаемость каминного мрамора. Гляжу на ее лицо, пляшущее красными языками, как и собственное мое. И слышу рассказ владимирской няньки Нади:

— У нас, барыня, в деревне мужик был, все жег. Режут хлеб — счистит со стола крошки — и жгет. Курю щиплют — жгет. И всякий сор. А когда и не сор, когда очень даже нужное. Все жег. Богу — слава.

... Если огонь дикарь, то и мы дикари. Огонь огне-люкклонника уподобляет себе...

— Который час? Как? Да ведь мне год как нужно быть дома!

Насилу оторвавшись, бегу, огненных дел мастер — нет, с вертела сорвавшаяся дичь! — и копчено-оленьими коленями и лососинными ладонями, в дыму, пламени, золе и пепле чужой — чужих жизнью — ибо три

¹¹ Вы что же, так никогда и не спите?

поколения жжем (здесь жгем!) — слепая от огня и ликующая, как он сам, — бегу по — когда белому, когда черному, был день по лунно-затменному — Медону — домой, к тетрадям, к детям — к строительству жизни.

Но чего-то явно нехватает. Рукам нехватает. (И глазам! И ноздрям!) Что-то нужно сделать, скорее сделать, сейчас сделать. Писать? Отскок от стола. Обед варить? Тот же отскок от стола другого.

И — знаю.

Ибо не дано безнаказанно жечь чужую жизнь. Ибо — чужой жизни нет.

Мои папки, ящики, связки, корзинки, полки. То на полу, на коленях и локтях, то на столе, на носках, «пуантах». Руки то вгребаются, то, вытянутые, удерживают неудержимо ползущее в них сверху. Держу подбородком и коленом, потяжелевшая на пуд бумаги, соскакиваю с двухаршинной высоты, как в пропасть.

Мой советник, мой тайный советник — дочь. — Мама, не жгите! — Пусть, пусть горит! — Мама, вы что-то нужное жжете. Вырезка какая-то. Может быть о вас? — О мне так долго не пишут. Фельетон целый.¹² Что это может быть?

Подношу к глазам. Двустигшие. Губы, опережая глаза, — произносят:

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.¹³

¹² Здесь речь идет о воспоминаниях Георгия Иванова «Китайские тени», газ. «Последние Новости», 1930, 22 февр., Париж.

¹³ Из стихотворения О. Мандельштама «Не веря воскресенья чуду...» (1916).

ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Александров. 1916 г. Лето.

Город Александров Владимирской губ., он же Александровская Слобода, где Грозный убил сына.

Красные овраги, зеленые косогоры с красными на них телятами. Городок в черемухе, в плетнях, в шинелях. Шестнадцатый год. Народ идет на войну.

Город Александров Владимирской губернии, моей губернии, — Ильи Муромца губернии. Оттуда из села Талицы, близ города Шуи, наш цветаевский род. Священнический. Оттуда — Музей Александра III на Волхонке (деньги Мальцева, замысел и четырнадцатилетний безвозмездный труд отца),¹⁴ отсюда мои поэмы по две тысячи строк и черновики к ним — в двадцать тысяч, отсюда у моего сына голова, не вмещающаяся ни в один головной убор. Большеголовые все. *Наша* примета.

Оттуда — лучше, больше чем стихи (стихи от матери, как и остальные мои беды) — *воля* к ним, к ним и ко всему другому — от четверостишия до четырехпудового мешка, который нужно — поднять — что! — донести.

Оттуда — сердце, не аллегория, а анатомия, орган, сплошной мускул, сердце, несущее меня вскачь в гору две версты подряд — и больше, если нужно, оно же

¹⁴ Воспоминания М. И. Цветаевой об отце, проф. И. В. Цветаеве (1846—1913), основателе Московского музея изобразительных искусств им. Пушкина, см., в частности, в журнале «Простор», № 10, Алма-Ата, 1965.

падающее и опрокидывающее меня при первом выра-
же автомобиля. Сердце не поэта, а пешехода.

Пешее сердце только потому не мрущее на катя-
щихся лестницах и лифтах, что их обскакивающее. Пе-
шее сердце всех моих лесных предков от деда —
о. Владимира Цветаева до прапращура Ильи.

Оттуда — ноги, но здесь свидетельство очевидца.
Вандея, рыбный рынок, я с рыбного рынка, две рыбач-
ки. — *Comme elle court, mais comme elle court, cette dame?*
— *Laisse-la donc courir, elle finira bien par s'arrêter!*¹⁵

— С сердцем.

Оттуда (село Талицы Владимирской губ., где я ни-
когда не была), — оттуда — всё.

Город Александров Владимирской губ.

Домок на окраине (а что в таком городке — не за-
краина?), лицом, крыльцом в овраг. Домок деревянный,
бабы-ягинский. Зимой — сплошная печь (с ухватками, с
шестками), летом — сплошная дичь: зелени, прущей
в окна.

Балкон (так напоминающий плетень!), на балконе
на розовой «мещанской» скатерти (скатерке) громадное
блюдо клубники и тетрадь с двумя локтями. Клубника,
тетрадь, локти — мои.

1916 г. Лето. Пишу стихи к Блоку и впервые чи-
таю Ахматову.

Перед домом, за лохмами сада, площадь. На ней сол-
даты учатся — стрельбе.

Вот стихи того лета:

Белое солнце и низкие, низкие тучи,
Вдоль огородов — за белой стеною — погост,
И на песке вереницы соломенных чучел
Под перекладами в человеческий рост.

¹⁵ «Нет, ты только посмотри, как бежит эта дама!» — «Пусть
себе бежит, когда-нибудь да остановится!»

И перевесившись через заборные кольца,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд.
Старая баба — посыпанный крупною солью
Черный ломоть у калитки жует и жует.
Чем прогневили Тебя эти серые хаты,
Господи! — и для чего стольким простреливать
грудь?

Поезд прошел и завыл, и завывали солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь . . .
Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. — Ох, и поют же
Нынче солдаты! О Господи Боже ты мой!

(Александров, 3-го июля 1916 года).

Махали — мы — платками, нам — фуражками. Песенный вой с дымом паровоза ударял в лицо, когда последний вагон давно уже скрылся из глаз.

Помню, меньше чем год спустя (март 1917 г.), в том же Александрове, денщик мне: — Читал я вашу книжку, барыня. Все про аллеи, про любовь: а вы бы про нашу жизнь написали. Солдатскую. Крестьянскую.

— Но я не солдат и не крестьянин. Я пишу про что знаю, и вы пишете — про что знаете. Сами живете, сами и пишете.

(. . . Я тогда сказала глупость — не мужик был Некрасов, а «Коробушку» по сей день поют).

Город Александров. 1916 г. Лето. Наискосок от дома, под гору, кладбище. Любимая прогулка детей, трехлетних Али и Андрюши.¹⁶ Точка притяжения — проваленный склеп с из земли глядящими иконами. — Хочу в ту яму, где Боженка живет!

¹⁶ Аля — дочь М. Цветаевой, Андрюша — племянник.

Любимая детей и нелюбимая — Осипа Мандельштама. От этого склепа так скоро из Александрова и уехал. (Хотел — «всю жизнь!»).

— Зачем вы меня сюда привели? Мне страшно.

Мандельштам мой гость, но я и сама гость. Гощу у сестры, уехавшей в Москву, пасу ее сына. Муж сестры весь день на службе, семья — я, Аля, Андриуша, нянька Надя и Осип Мандельштам.

Мандельштаму в Александрове, после первых восторгов, неможется. Петербуржец и крымец — к моим косогорам не привык. Слишком много коров (дважды в день мимо-идущих и мимо-мычащих), слишком много крестов (слишком вечно стоящих). Корова может забодать. Мертвец — встать. — Взбеситься. — Присниться. — На кладбище я, по его словам, «рассеянная какая-то», забываю о нем, — Мандельштаме, и думаю о покойниках, читаю надписи (вместо стихов!), высчитываю сколько лет — лежащим и над ними растущим, словом: гляжу либо вверх, либо вниз... но неизменно от Мандельштама. Отвлекаюсь.

— Хорошо лежать! — Совсем не хорошо! Вы будете лежать, а по вас ходить. — А при жизни — не ходили? — Метафора! я о ногах, даже сапогах говорю. — Да не по вас же! Вы будете — душа. — Этого-то и боюсь! Из двух: голой души и разлагающегося тела, еще неизвестно, что страшней. — Чего же вы хотите? Жить вечно? Даже без надежды на конец? — Ах, я не знаю! Знаю только, что мне страшно и что хочу домой.

Бедные мертвые! Никто о вас не думает! Думают о себе, который бы мог лежать здесь и будет лежать там. О себе лежащем здесь. Мало, что у вас Богом отнята жизнь, людьми, Мандельштамом с его «страшно» и мною с моим «хорошо», — отнимается еще и смерть!

Мало того, что Богом — вся земля, — нами еще и три ваших последних ее аршина.

Одни на кладбище приходят — учиться, другие — бояться, третьи (я) — утешаться. Все — примерять. Мало нам всей земли со всеми ее холмами и домами, — нужен еще и ваш холм, ваш дом. Свыкаться, учиться, бояться, спасаться... Все — примерять. А потом невинно дивимся, когда на повороте дороги или коридора...

Если чему-нибудь дивиться, так это редкости ваших посещений, скромности их, совестливости их... Будь я на вашем месте...

Тихий ответ: «Будь мы на твоём...»

Вспоминаю другое слово, тоже поэта, тоже с Востока, тоже впервые видевшего со мною Москву — на кладбище Ново-Девичьего монастыря, под божественным его сводом:

— Стоит умереть, чтобы быть погребенным здесь.

Дома чай, приветственный визг Али и Андрюши. Монашка пришла — с рубашками.¹⁷ Мандельштам, шепотом: — Почему она такая черная? — Я, так же: — Потому что они такие белые!

Каждый раз, когда вижу монашку (монаха, священника, какое бы то ни было духовное лицо) — стыжусь. Стихов, вихров, окурков, обручального кольца — себя. Собственной низости (мирскости). И не монах, а я опускаю глаза.

У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? величие? тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голо-

¹⁷ Монашки принимали заказы на шитье и вышивание белья.

ва отброшена. Учитывая длину шеи, головная посадка верблюда. Трехлетний Андрюша — ему: «Дядя Ося, кто тебе так голову отвернул?» А хозяйка одного дома, куда впервые его привела, мне: «Бедный молодой человек! Такой молодой и уже ослеп?»

Но на монашку (у страха глаза велики!) покашивает. Даже пользуясь ее наклоном над рубашечной гладью, глаза распахивает. Распахнутые глаза у Мандельштама — звезды, с завитками ресниц, доходящими до бровей.

— А скоро она уйдет? Ведь это неудобно, наконец. Я совершенно достоверно ощущаю запах ладана. — Мандельштам, это вам кажется! — И обвалившийся склеп с костями — кажется? Я наконец хочу просто выпить чаю!

Монашка над рубашкой, как над покойником:

— А эту — венчиком . . . — Мандельштам за спиной монашки шипящим шепотом: — А вам не страшно будет носить эти рубашки? — Подождите, дружок! Вот помру и именно в этой — благо что ночная — к вам и явлюсь!

За чаем Мандельштам оттаивал.

— Может быть, это совсем уже не так страшно? Может быть, если каждый день ходить, — привыкнешь? Но лучше завтра туда не пойдем . . .

Назавтра неотвратно шли опять.

А однажды за нами погнался теленок. На косогоре. Красный бычок. Гуляли: дети, Мандельштам, я. Я вела Алю и Андрюшу, Мандельштам шел сам. Сначала все было хорошо, лежали на траве, копали глину. Норы. Прокапывались друг к другу и когда руки сходились, — хохотали, — собственно, он один. Я, как всегда, играла для него.

Солнце выедало у меня русость, у него — темность. — Солнце, единственная краска для волос, мною признаваемая! — Дети, пользуясь игрой взрослых, стягивали с голов полотняные грибы и устраивали ими ветер. Андрюша заезжал в лицо Але, Аля тихонько ныла. Тогда Андрюша, желая загладить, размазывал глиняными руками у нее по щекам голубоглазые слезы; — я, нахлобучив шапки, рассаживала. Мандельштам остервенело рыл очередной туннель и возмущался, что я не играю. Солнце жгло.

— До-о-мой!

Нужно сказать, что Мандельштаму с кладбища ли, с прогулки ли, с ярмарки ли, всегда, отовсюду хотелось домой. И всегда раньше, чем другому (мне). А из дому — непреложно — гулять. Думаю, юмор в сторону, что когда не писал (а не писал — всегда, то есть раз в три месяца по стиху!) томился. Мандельштаму без стихов на свете не сиделось, не ходилось, — не жилось.

Итак домой. И вдруг — галоп. Оглядываюсь — бычок. Красный. Хвост молнией, белая звезда во лбу. На нас.

Страх быков — древний страх. Быков и коров, без различия, боюсь дико, за остановившуюся кротость глаз. И все-таки, тоже, за рога. — «Возьмет да поднимет тебя на рога!» — кто из нас этим припевом не баюкан? А рассказы про мальчика — или мужика — или чьего-то деда, которого бык взял да и поднял? Русская колыбель — под *бычьим* рогом!

Но у меня сейчас на руках *две* колыбели! Дети не испугались вовсе, принимают за игру, летят на моих вытянутых руках, как на канатах гигантских шагов, не по земле, а над. Скок усиливается, близится, настигает. Не вынеся — оглядываюсь. Это Мандельштам скачет. Бычок давно отстал. Может — не гнался вовсе?

Теперь знаю: весь мой красный бычок оттуда,¹⁸ с той погони. Спал во мне с мая 1916 года и воскрес в 1929 году в Париже в предсмертном бреду эмигранта. Знаю, что его бычок был именно мой — наш — александровский — мой. И смех, которым он, умирающий, бычку смеялся — тот же смех Али и Андриюши: чистая радость бегу, игре, быку.

Смеясь, не знал, что смерть. И не 30-летним осколком несуществующей Армии, гражданином несуществующего государства, не на чужой земле столицы мира — нет! на своей, моей! — под всей защитой матери и родины — смеясь! — трехлетним — на бегу — умер.

— Барыня! чего это у нас Осип Емельич такие чудные? Кормлю нынче Андриюшу кашей, а они мне: «Счастливы у вас, Надя, Андриюша, завсегда ему каша готова, и все дырки на носках перештопаны. А меня, — говорят, — никто кашей не кормит, а мне, — говорят, — никто носков не штопает». И так тяжело-о вздохнули, сирота горькая.

Это Надя говорит, Андриюшина няня, тоже владимирская. Об этой Наде бы целую книгу, пока же от сестры, уехавшей и не взявшей, перешла ко мне и ушла от меня только в 1920 г., ушла насильно, кровохаркающая от голода (преданность) и обворовывая (традиция), заочно звала сестру Асей, меня Мариной, гордилась нами, ни у кого больше служить не могла. Приручившаяся волчиха. К мужчинам, независимо от сословия, относилась с высокомерной жалостью, все у нее были «жа-алкие какие-то».

Восемнадцатилетняя, крутосулая, желтолицая, брови углом, глаза как угли, вся — жила, вся — нерв. О нраве же: если «Осип Емельич» «чудной», она — ку-

¹⁸ Поэма М. Цветаевой «Красный бычок» (1928), одному из героев которой является смерть в образе «красного бычка».

да чуднее. Сестру же, впоследствии ее выгнавшую, любила с такой страстью ревности, что нарочно выдумывала у Андриюши всякие болезни, чтобы удержать дома. — Надя, я сейчас иду, вернусь поздно. — Хорошо, барыня, а что Андриюше дать, если опять градусник подыметя? — Как подыметя? Почему? — А разве я вам не говорила, он всю прогулку на головку жаловался... — И т. д. Ася, естественно, остается, Надя торжествует. И не благородная часто бывающая ревность няни к благополучию ребенка («Что за барыня такая, ребенка бросают» и т. д.), самая неблагородная, низкая, преступная ревность женщины — к тому, кого любит. Исступление, последний шаг которого — преступление. Врала или нет (врала — всегда, бесполезно и испугленно), но, уходя от меня (все равно — терять нечего! третьей сестры не было!), призналась, что часто кормила Андриюшу толченым стеклом (!) и нарочно, в Крыму, в эпидемию, поила сырой водой, чтобы заболел и этим Асю *прикрепил*, Асю, говоря со мной, всегда звала «наша барыня», колола мне ею глаза, — «а у нашей барыни» то-то так-то делается, иногда только в порыве умиления: «Ба-арыня! Я одну вещь заметила: как стирать — вы всё с себя снимаете! Аккурат наша барыня!» — Ко мне, на явный холод и голод, вопреки всем моим предостережениям (ни дров — ни хлеба — ни-ни), поступила исключительно из любви к сестре. Так вдовцы, не любя, любя ту, на сестре покойной женятся. И потом — всю жизнь — пока в гроб не вгонят — на не той вымещают.

В заключение — картинка. Тот же Александров. Сижу, после купанья, на песке. Рядом огромный неправдоподобно-лохматый пес. Надя: — Барыня, чудно на вас смотреть: на одном как будто слишком много надето, а другому нехватает!

Даровитость — то, за что ничего прощать не следовало бы, то, за что, всегда, прощаешь всё.

— ... А я им: а вы бы, Осип Емельич, женились. Ведь любая за вас барышня замуж пойдет. Хотите со сватаю? Поповну одну.

Я: — И вы, серьезно, Надя, думаете, что любая барышня? ..

— Да что вы, барыня, это я им для утешки, уж очень меня разжалобили. Не только что любая, а ни одна даже, разве уж сухоручка какая. Чудён больно!

— Что это у вас за Надя такая (это Мандельштам говорит), няня, а глаза волчьи. Я бы ей ни за что — не только ребенка, котенка бы не доверил! Стирает, а сама хохочет, одна в пустой кухне. Попросил ее чаю — вы тогда уходили с Алей — говорит, весь вышел. — Купите! — Не могу от Андрюши отойти. — Со мной оставьте. — С ва-ами! — И этот оскорбительный хохот. Глаза — щели, зубы громадные! Волк!

— Налила я им тогда, барыня, стакан типятку и несую. А они мне так жа-алобно: На-адя! А шоколадику нет? — Нет, говорю, варенье есть. А они как застонут: — Варенье, варенье, весь день варенье ем, не хочу я вашего варенья! Что за дом такой — шоколаду нет! — Есть, Осип Емельич, плиточка, только Андрюшина. — Андрюшина! Андрюшина! Печенье Андрюшино, шоколад Андрюшин, вчера хотел в кресло сесть — тоже Андрюшино! .. А вы отломите. — Отломить не отломлю, а вареньица принесу. Так и выпили типятку — с вареньем.

Отъезд произошел неожиданно — если не для меня с моим четырехмесячным опытом — с февраля по июнь — мандельштамовских приездов и отъездов (наездов и бегств), то для него, с его детской тоской по до-

му, от которого всегда бежал. Если человек говорит навек месту или другому смертному — это только значит, что ему здесь — или со мной, например, — сейчас очень хорошо. Так, а не иначе, должно слушать обеты. Так, а не иначе, по ним взыскивать. Словом, в одно — именно прекрасное! — утро к чаю вышел — готовый.

Ломая баранку, барственно: — А когда у вас поезд? — Поезд? У нас? Куда?

— В Крым. Необходимо сегодня же. — Почему? — Я — я — я — здесь больше не могу. И вообще пора все это прекратить.

Зная отъезжающего, уговаривать не стала. Помогла собраться: бритва и пустая тетрадка, кажется.

— Осип Емельич! Как же вы поедете? Белье сырое! — С великолепной беспечностью отъезжающего:

— Высохнет на крымском солнце! — Мне: — Вы, конечно, проводите меня на вокзал?

Вокзал. Слева, у меня над ухом, на верблюжьей шее взволнованный кадык — Александровым подавился как яблоком. Андрюша из рук Нади рвется под паровоз — «колесики». Лирическая Аля, видя, что уезжают, терпеливо катит слезы. — Он вернется? Он не совсем уезжает? Он только так? — Нянька Надя, блестя слезами и зубами, причитает: — Сказали бы с вечера, Осип Емельич, я бы вам на дорогу носки выштопала... пирог спекла...

Звонок. Первый. Второй. Третий... Нога на подножке. Оборот. — Марина Ивановна! Я, может быть, глупость делаю, что уезжаю? — Конечно, (спохватившись)... конечно, нет! Подумайте: Макс, Карадаг, Пра...¹⁹ И вы всегда можете вернуться...

¹⁹ Макс — поэт М. А. Волошин, Карадаг — гора в Крыму, Пра («праматерь») — мать М. А. Волошина.

— Марина Ивановна! (паровоз уже трогается) — я, *наверное*, глупость делаю! Мне здесь (иду вдоль движущихся колес), мне у вас было так, так... (вагон прибавляет ходу, прибавляю и я) — мне никогда ни с... — Бросив Мандельштама, бегу, опережая ход поезда и фразы. Конец платформы. Столб. Столбенею и я. Мимо-идущие вагоны: не он, не он, — он. Машу — как вчера еще с ним солдатам. Машет. Не одной — двумя. Отмахивается! С паровозной гривой относимый крик: — Мне так не хочется в Крым!

На другом конце платформы сиротливая кучка: плачущая Аля: — Я знала, что он не вернется! — Плачущая сквозь улыбку Надя — так и не выштопала ему носков! — ревуций Андрюша: — уехали его колесики!

ЗАЩИТА БЫВШЕГО

Медон. 1931 г. Весна. Разбор бумаг. В руке чуть было не уничтоженная газетная вырезка.

... Где обрывается Россия

Над морем черным и чужим.

— то есть как чужим? Глухим! Мне ли не знать. И, закрыв глаза:

Не веря воскресенья чуду,

На кладбище гуляли мы.

Ты знаешь, мне земля повсюду

Напоминает те холмы.

*(Выпадают две строки).*²⁰

Где обрывается Россия

²⁰ В первой публикации:

Я через овиди степные
Тянулся в каменистый Рим,
строки, в дальнейшем отброшенные Мандельштамом.

Над морем черным и глухим.
От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелось на юг.
Но в этой темной деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкой туманной
Остаться — значит быть беде.
Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю, он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
От бирюзового браслета *
Еще белеет полоса.
Тавриды огненное лето
Творит такие чудеса.
Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла.
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была!
Нам остается только имя,
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

Стихи ко мне Манделъштама, т. е. первое от него после тех проводов.

Столь памятный *моим* ладоням песок Коктебеля! Не песок даже — радужные камешки, между которыми и аметист и сердолик, — так что не таков уж нищ подарок! Коктебельские камешки, целый мешок которых хранится здесь в семье Кедровых, тоже коктебельцев.

* Впоследствии в «Tristia» неудачно замененное: «Целую кисть где от браслета» (Примечание М. Цветаевой).

1911 г. Я после кори стриженная. Лежу на берегу, рою, рядом роет Волошин Макс. — Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень.

— Марина! (Вкрадчивый голос Макса) — влюбленные, как тебе может быть известно, — глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом) . . . булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый камень.

— Макс! Я от всего умнею! Даже от любви!

А с камешками сбилось, ибо С. Я. Эфрон, за которого я, дождавшись его восемнадцатилетия, через полгода вышла замуж, чуть ли в первый день знакомства открыл и вручил мне — величайшая редкость! — генуэзскую сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной.

А с Мандельштамом мы впервые встретились летом 1915 года, в том же Коктебеле, т. е. за год до описанной мной гостьбы. Я шла к морю, — он с моря. В калитке волошинского сада — разминулись.

Читаю дальше:

«Так вот — это написано в Крыму, написано до беспамятства влюбленным поэтом».

— До беспамятства? Не сказала бы.

«Но поклонники Мандельштама, вообразив по этим данным (Крым, море, любовь, поэзия) картину достойную кисти Айвазовского — (есть, кстати, у Айвазовского такая картина и прескверная: «Пушкин прощается с морем») — поклонники эти несколько ошибутся».

Настороженная «влюбленным до беспамятства», читаю дальше: «Мандельштам жил в Крыму и так как он не платил за пансион и, несмотря на требования хозяев съехать или уплатить . . .»

Стой! Стой! Это каких хозяев требования, когда хо-

зьевами были Макс Волошин и его мать, замечательная старуха с профилем Гете, в детстве любимица ссыльного Шамиля за сходство с его младшим сыном. И какие требования, когда сдавали за гроши и им годами должны?

«... несмотря на требования хозяев съехать или заплатить, выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода пытка, возможная только в этом 'жилописном уголке Крыма', — ему не давали воды». (Макс и Елена Оттобальдовна — кому-нибудь не давали воды? Да еще поэту?). «Вода в Коктебель привозилась издалека и продавалась бочками — ни реки, ни колодца не было — и Мандельштам хитростями и угрозами с трудом добывался от сурового хозяина или мегеры-служанки...»

Да в Коктебеле, жила в нём с 1911 по 1917 годы, отродясь служанки не было, был полоумный, сухорукый слуга, — собственник дырявой лодки «Сократ», по ней и звавшийся, — всю дачу бы по первому требованию отдавший!..

«Кормили его объедками»...

Кто? Макс? Макс вообще никого не кормил, сам где мог подкармливался, кормила добродушнейшая женщина в мире, державшая за две версты от дачи на пустыре столовую. Что же касается «объедков» — в Коктебеле было только одно блюдо: баран, природный объедок и даже оглодок. Так что можно сказать в Коктебеле необъедков не было. Коктебель до всяких революций — голодное место, там и объедков не оставалось из-за угрожающего количества бродячих собак. Если же «объедками» — то всех.

«Когда на воскресенье в Коктебель приезжали гости, — Мандельштама выселяли из его комнаты — он ночевал в чулане...»

Не в чулане, а в мастерской у Макса с чудесами со всех сторон света, то есть месте, о котором иные и мечтать даже не смели!

«Простудившись однажды на такой ночевке...»

Это в Коктебеле-то, с его кипящим морем и трескающейся от жары землей! В Коктебеле, где все мы спали на воле, а чаще и вовсе не спали: смотрели на красный столб встающего Юпитера в воде или на башне у Макса читали стихи. От восхода Юпитера до захода Венеры... «... на такой ночевке он схватил ужасный флюс и ходил весь обвязанный, вымазанный йодом, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения 'живописного' уголка...»

Живописный — да, если вести от живописцев: художников, друзей Макса, там живших: (Богаевский, Лентулов, Кандауров, Нахман, Лев Бруни, Оболенская). Но живописный в кавычках, — нет. Голые скалы, моррена берега, ни кустика, ни ростка, зелень только высоко в горах (огромные, с детскую голову, дикие пионы), а так — ковыль, полынь, море, пустыня. Пустырь.

Автор, очевидно, Коктебель (Восточный Крым, Киммерия, родина Амазонок, вторая Греция) принял за Алупку, дачу поэта Волошина за «Профессорский уголок», где по вечерам Вяльцева в граммофон: «Наш уголок я убрала цвета-ами...»

Коктебель — никаких цветов. И сплошной острый угол скалы. (Там по преданию в одной из скал, достигаемой только вплавь — вход в Аид. Подплывала. Входила).

«Особенно, кстати, потешалась над ним 'она', та, которой он предлагал принять в залог вечной любви 'ладонями моими пересыпаемый песок'».

Потешалась — я? Над поэтом — я? Я, которой и в Коктебеле-то не было, от которой он и уехал в Крым?!

«Она очень хорошенькая (что?), немного вульгарная (что?), брюнетка (???), по профессии женщина-врач (что-о-о???)» . . .

« . . . вряд ли была расположена принимать подарки такого рода: в Коктебель ее привез ее содержатель . . . купец, жирный, черномазый. Привез и был очень доволен: наконец-то нашел место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать . . . »

Женщина-врач на содержании . . . купца — (помимо того, что этой данной женщины никогда не было) — не наши нравы! Еврейская, то есть русская женщина-врач, то есть интеллигентка, — сама зарабатывающая. У нас не так легко шли на содержание, особенно врачи! Да еще в 1916 г., в войну . . .

Вот что значит — 10 лет эмиграции. Не только Мандельштама забыл, — но и Россию.

«С флюсом, обиженный, некормленный Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке. Всклоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел по берегу, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы свиное ухо . . . »

Кстати, забавная ассоциация: пола — свиное ухо. Еврей в долгополом сюртуке, которому показывают свиное ухо. Но у автора воспоминаний мальчишки из полы делают свиное ухо. Из какой это полы? Мальчишки в рубашках, а у рубашки полы нет, есть подол. Пола у сюртука, у пальто, у чего-то длинного, что распахивается. Пола это половина. Автор и крымских мальчишек и крымское (50°) лето, и просто мальчишек и просто лето — забыл!

«Он шел к ларьку, где старушка-еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком» . . . (которое, в скобках, в Коктебеле, как по-всему Крыму, было ве-

личайшей редкостью. Бузой — да, ситро — да, «пеше-тепэ» — да, молоком — нет).

«Эта старушка» . . .

И не старушка-еврейка, а цветущих лет грек — владелец единственной во всем Коктебеле кофейни: барак «Бубны», расписанный приезжими художниками и поэтами — даже стишок помню — изображен белощтанный дачник с тростью и моноклем, и мы — все: кто в чем, а кто и ни в чем —

Стыдитесь, голые уроды!

Я скромный дачник, друг природы.

«Бубны», нищая кофейня «Бубны» с великодержавной, над бревенчатой дверью, надписью:

Славны Бубны за горами!

С Коктебелем-местом у автора воспоминаний произошло то же, что у Игоря Северянина с Коктебелем-словом: Игорь Северянин в дни молодости, прочтя у Волошина под стихами подпись: Коктебель — принял название места за название стихотворного размера (рондо, газель, ритурнель) и произвел от него «коктебли», нечто среднее между коктейлем и констэблем. Автор воспоминаний дикий Коктебель подменяет то дачной Алушкой, то местечком Западного Края с его лотками, старушками, долгополыми мальчишками и т. д.

«Эта старушка, единственное существо во всем Коктебеле, относилась к нему по-человечески . . .»

Позвольте, а мы все? Всегда уступавшие ему главное место на арбе и последний глоток воды из фляжки? Макс, его мать, я, сестра Ася, поэтесса Майя²¹ — что ни женщина, то нянька; что ни мужчина, то дядька — все женщины, жалевшие, все мужчины, восхищавшиеся, все мы, и жалевшие и восхищавшиеся, с утра

²¹ М. А. Кудашева-Кювилье, впоследствии жена Ромэна Ролана.

до ночи нянчившиеся и дядчившиеся... Мандельштам в Коктебеле был общим баловнем, может быть, единственным раз в жизни, когда поэту повезло, ибо он был окружен ушами — на стихи, и сердцами — на слабости.

«Старушка (может быть, он напоминал ей собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа) по доброте сердечной оказывала Мандельштаму 'кредит': разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока 'на книжку'. Она знала, конечно, что ни копейки не получит — но надо же поддержать молодого человека — такой симпатичный и должно быть больной: на прошлой неделе все кашлял и теперь вот флюс.

Иногда Мандельштам получал от нее и пачку папирос 2-го сорта, спичек, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся к чему-нибудь более ценному — коробке печенья или плитке шоколада, — добрая старушка, вежливо отстранив его руку, говорила грустно, но твердо: 'Извините, господин Мандельштам, — это вам не по средствам'».

А вот мой вариант, очевидно, неизвестный повествователю.

Поздней осенью 1915 года Мандельштам выехал из Коктебеля в собственном пальто хозяина Бубен, ибо по беспечности или иному чему, заложил или потерял свое. И когда, год спустя, в тех же Бубнах, грек — поэт: «А помните, господин Мандельштам, когда вы уезжали, шел дождь и я вам предложил свое пальто»; поэт — греку: «Вы можете быть счастливы: ваше пальто весь год служило поэту».

Не говоря уже о непрерывном шоколаде в кредит, — шоколаде баснословном. Так одного из русских лучших поэтов любило одно из лучших мест на земле: от поэта Максимилиана Волошина до полуграмотного хозяина нищей кофейни.

«Мандельштам шел по берегу, выжженному солнцем и выметенному постоянным унылым коктебельским ветром. Недовольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно-влюбленный в женщину-врача, подругу купца, которая сидит теперь на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе — вкусный жирный кофе, и ест горячие домашние булки, сколько угодно булок . . .»

Товарищ пишуций, я никогда не ходила в розовых прелестных капотах, я никогда не была ни очень хорошенькой, ни просто хорошенькой, ни немного, ни много вульгарной, я никогда не была женщиной-врачом, никогда меня не содержал купец, — в такую «меня» никогда не был бы до беспамятства влюблен поэт Осип Мандельштам.

Кроме того, повторяю, Коктебель — место пусто, в нем никогда не было жирных сливок, только художочное (с ковыля) и горьковатое (с полыни) козье молоко, никогда в нем не было горячих домашних булок, одни только сухие турецкие бублики, да и то не сколько угодно. И если поэт был голоден — виноват не «злой хозяин» Максимилиан Волошин, а наша общая хозяйка — земля.

Здесь — земля Восточного Крыма, где ваша, автора воспоминаний, нога никогда не была.

Вы, провозгласив эти стихи Мандельштама одними из лучших в русской литературе, в них ничего не поняли. «Крымские» стихи — написаны в Крыму, да, но по существу своему — Владимирские. Какие же в Крыму — «темные деревянные юродивые слободы»? какие «туманные монашки»? Стихи написаны фактически в Крыму, по существу же, изнутри владимирских просторов. Давайте по строкам:

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы.

Какие холмы? Так как две следующие строки выпадают — в тексте просто заменены точками — два возможных случая: либо он и здесь, на русском кладбище, вспоминает — с натяжкой — холмы Крыма, либо — что гораздо вероятнее — и здесь, в Крыму, не может забыть холмов Александрова. (За последнюю догадку двойная холмистость Александрова: холмы почвы и холмы кладбища).

Дальше, черным по белому:
От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелось на юг.
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкой туманной
Остаться, — значит быть беде.

Монашка, думается мне, составная: нянька Надя с ее юродивым смехом, настоящая монашка с рубашками и, наконец, я с моими вождениями на кладбище. Оттворящегося лица — туман. Но так или иначе — от этой монашки и уезжает в Крым.

Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю, он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
От бирюзового браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды огненное лето
Творит такие чудеса.

Еще белеет полоса, т. е. прошлого (1915 г.) коктейбельского лета. Таково солнце Крыма, что жжет на целый год. Если бы говорилось о крымской руке — при чем тут еще и какое бы чудо?

Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А строгою в Москве была.

Не «строгою», а *гордою* (см. *Tristia*).²² Ведь это же совершенно искажает смысл! Не отрываясь целовала — что? — распятие, конечно, перед которым в Москве, предположим, гордилась. Гордой по молодой глупости перед Богом еще можно быть, но строгой? Всякая монашка строга. В данной транскрипции получается, что «она» целовала не икону, а человека, что совершенно обесмысливает упоминание о Спасе и все четверостишие. Точно достаточно прийти к Богу, чтобы, не отрываясь, зацеловать человека.

Нам остается только имя,
Блаженный звук, короткий срок.

Не «блаженный звук, короткий срок», а (см. книгу *Tristia*):

Чудесный звук, на долгий срок.

Автор воспоминаний, очевидно, вместо на долгий прочел недолгий и сделал из него короткий. У поэтов не так-то коротка память! — Но можно ли так цитировать, когда *Tristia* продается в каждом книжном магазине?

Кончается фельетон цитатой:

Где обрывается Россия
Над морем черным и чужим.

²² Сборник стихотворений О. Мандельштама («Петрополис», Москва—Берлин, 1922).

Это пишущему, очевидно, — чужим; нам с Мандельштамом — родным. Коктебель для всех, кто в нем жил — вторая родина, для многих — месторождение духа. В данном же стихотворении:

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим
— глухо-шумящим, тем же из гениального стихотворения Мандельштама!

Бессонница, Гомер, тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины,
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладаю когда-то поднялся —
Как журавлиный крик в чужие рубежи!
На головах царей божественная пена.
Куда плывете вы, — когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море и Гомер — все движется любовью.
Кого же слушать мне? Но вот Гомер молчит,
И море Черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Во избежание могущих повториться недоразумений, оповещаю автора фельетона, что в книге «Тристыя» стихи «В разноголосице девического хора», «На розвальнях, уложенных соломой» принадлежат («нам остается только имя — чудесный звук, на долгий срок!») принадлежат мне, стихи же «Соломинка» и ряд последующих — Саломее Николаевне Гальперн, рожденной кн. Андрониковой, ныне здравствующей в Париже и столь же похожей на ту женщину-врача, как я.

Что весь тот период — от Германско-Славянского льна²³ до «На кладбище гуляли мы» — мой, чудесные дни с февраля по июнь 1916 г., дни, когда я Мандель-

²³ Из стихотворения О. Мандельштама «Зверинец», 1916.

штаму дарила Москву. Не так много мне в жизни писали хороших стихов, а главное: не так часто поэт вдохновляется поэтом, чтобы так даром, зря уступать это вдохновение первой небывшей подруге небывшего купца.

Эту собственность — отстаиваю.

Но не о мне одной речь, мне — что; что эта брюнетка с купцом — я, никто не поверит. Что эти стихи — ей — а не мне, если даже и поверят — мне что! В конце концов! Знает Мандельштам и знаю я.

И касайся это только меня, я бы только смеялась. А сейчас не смеюсь вовсе. Ибо дело, во-первых, в друге (моем и, как выясняется из фельетона, и автора. N. V! Если так помнят друзья, то как же помнят враги?), во-вторых, — в большом поэте, которого выводят пошляком (Мандельштам не только данной женщины не любил, но любить не мог), в-третьих, — в другом поэте — Волошине — которого выводят скрягой и извергом (не давать воды), и, в-четвертых — в том, что все это преподносится в виде поучения молодым поэтам.

Закончим началом фельетона, вскрывающим повод, причину и цель его написания:

«На одном из собраний парижской литературной молодежи я слышал по своему адресу упрек: 'Зачем вы искажаете образ Мандельштама, нашего любимого поэта? Зачем вы представляете его в своих воспоминаниях каким-то комическим чудаком? Разве он мог быть таким?'

Именно таким он был. Ни одного слова о Мандельштаме я не выдумывал».

В данном фельетоне, как доказано, выдуманы все.

«Я очень рад за Мандельштама, что молодые парижские стихотворцы его любят и еще больше рад за них: эта любовь многих из них больше приближает к поэзии, чем их собственные стихи. Но и я, право, чрезвычайно люблю поэзию Мандельштама и, кроме того, на моей стороне есть еще то преимущество, что я его самого, чудаковатого, смешного, странного, — неотделимого от его стихов, — люблю не меньше и очень давно, очень близко знаю. Были времена, когда мы были настолько неразлучны, что у нас имелась, должно быть единственная в мире, визитная карточка: 'такой-то и О. Мандельштам'».

«И разве не слышали наши 'молодые поэты', что высокое и смешное, самое высокое и самое смешное часто бывают переплетены так, что не разобрать, где начинается одно и кончается другое».

Высокое и смешное — да; высокое и пошлое — никогда.

«... Приведу для наглядности пример из жизни того же 'чудака', 'ангела', 'комического персонажа' — из жизни поэта Мандельштама...».

Цену примера — мы знаем.

Большой фельетон у литераторов зовется подвал. Здесь, — правильно. Киммерийские утесы и мои александровские холмы, весь Коктебель с его высоким ладом, весь Мандельштам с его высокой тоской здесь низведены до подвала — быта (никогда не бывшего!).

Не знаю, нужны ли вообще бытовые подстрочники к стихам: кто — когда — с кем — где — при каких обстоятельствах и т. д. — жил. Стихи быт перемололи и отбросили, и вот из уцелевших осколков, за которыми ползает вроде как на коленках, биограф тщится воссоздать бывшее. Нужно ли нам знать, что Пушкину, чтобы написать Русалку, пришлось соблазнить — затем

бросить — крепостную девушку? Не дана ли вся тоска ее — в русалке? Все раскаяние Пушкина — в князе? Воссоздавать реальную атмосферу поэзии — уничтожать — (не ее самоё, ибо она этому уничтожению не подвластна; убивает поэта не биограф, а время) — уничтожать всю предварительную работу по созданию.

Сколько Пушкину пришлось забыть и отбросить, от сколького очистить, чтобы дать Русалку, а его биограф — опять с дрызгами и грязью. К чему? Приблизить к нам живого Пушкина? Да разве он, биограф, не знает, что поэт — в стихах живой! «Все мы люди, все человеки» — да, играя в бильярд и пия водку, может быть даже соблазняя девушек — крепостных и иных; дальше — Пушкин, через князя в Русалке — несет покаяние, его собутыльники же . . . живут дальше.

.. Разоблачение великого — только соблазн малых сих идеей ложного и невозможного равенства. У поэта — все по-иному.

Но — так или иначе — официальное право у биографа на быль (*протокол*) — есть. И уж наше дело — извлечь из этого протокола соответствующий урок. Нам остаются — выводы.

Если хочешь писать быль — знай ее, если хочешь врать свое, жди 50 лет, или не называй имен. Не померли же мы все в самом деле! Живи автор фельетона на одной территории со своим героем — фельетона бы не было. А так . . . за тридцать земель . . . да может никогда больше не встретимся . . . А тут — соблазн анекдота, легкого успеха у тех, кто чтению стихов поэта предпочитает сплетню о нем. Безответственность разлуки и безнаказанность расстояния.

— А зачем же, не признавая бытового подстрочника, взяли да все это нам и рассказали? Зачем нам знать, как великий поэт Мандельштам по зеленому косогору скакал от невинного теленка?

На это отвечу:

На быль о Мандельштаме летом 1916 года я была вызвана вымыслом о Мандельштаме летом 1916 года. На свой подстрочник к стихотворению — подстрочником тем. Ведь нигде, никогда (1916—1931 гг.) я не утверждала этой собственности, пока на нее не напали. Оборона! — Когда у меня в революцию отняли деньги в банке, я их не оспаривала, ибо не чувствовала их своими... Эти стихи я — хотя бы одной своей заботой о поэте — заработала.

Еще одно: ограничившись одним опровержением вымысла, т. е. просто уличив, — я бы оказалась в самой ненавистной мне роли — прокурора. Противопоставив вымыслу живую жизнь — и не обаятелен ли мой Мандельштам, несмотря на страх покойников и страсть к шоколаду, а, может быть, и благодаря им? — утвердив жизнь, которая сама есть утверждение, я не выхожу из рожденного состояния поэта — защитника.

Медон, апрель-май 1931 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ОТРЫВКИ

Добавление к первому тому

492

... Но в Петербурге акмеист мне ближе,
Чем романтический Пьеро в Париже.

493

Архистратиг вошел в иконостас,
В ночной тиши запахло валерьяном.

Архистратиг мне задает вопросы,
К чему тебе косы
И плеч твоих сияющий атлас ...

494

Коллективное (с Н. С. Гумилевым)

Полковнику Белавенцу
Каждый дал по яйцу.
Полковник Белавенец
Съел много яец.

Пожалейте Белавенца,
Умеревшего от яйца.

[1919 или 1920]

Мир должно в черном теле брать.
Ему жестокий нужен брат.
От семиюродных уродов
Он не получит ясных всходов.

Май 1935

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЯТОЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

Большинство публикаций третьего тома собрания сочинений О. Э. Мандельштама основаны на копиях с авторских машинописей. Поэтому нами не всегда точно установлены даты и номера газет (особенно — провинциальных), в которых были опубликованы те или иные очерки и статьи. Такие газеты, как «Киевская Вечерняя Газета», «Киевский Пролетарий», «Советский Юг», ростовский «Молот», оказались нам недоступными, и мы не смогли ни сверить наших текстов с текстами публикаций, ни, как сказано выше, установить точную дату тех номеров газет, в которых эти произведения Мандельштама были опубликованы. В некоторых случаях, при наличии журнальной публикации, мы все же придерживались машинописного текста, причем оговаривали расхождения между ними только в том случае, если это расхождение имело существенное значение: пропуск в печатном тексте отдельных слов авторской машинописи, если он мог быть вызван частыми в органах периодической прессы чисто техническими сокращениями (или небрежностью набора), нами не указывается в примечаниях.

КИЕВ. Очерк опубликован в «Киевской Вечерней Газете», вероятно, в мае 1926. Публикуется по копии с авторской машинописи. «М а н д а т» — комедия Николая Эрдмана (р. 1902), поставленная Театром Вс. Мейерхольда и — в 1925—1928 гг. — шедшая в театрах большого количества городов СССР. Еврейский Камерный театр — основан, в качестве театральной студии, в 1919 г. в Петрограде, в 1921 г. реорганизован в Еврейский Камерный театр под руководством А. Грановского и переведен в Москву, затем переименован в Государственный Еврейский театр (Госет). Душой этого театра, закрытого в 1948 г., был С. М. Михозлс. Д у р о в — Владимир Леонидович Дуров (1863—1934), знаменитый клоун и дрессировщик животных. Много гаст-

ролировал по России и Европе. Коллегия Павла Галагана — закрытое среднее учебное заведение в Киеве, соответствующее четырем последним классам гимназии.

БАТУМ. Впервые — газета «Советский Юг», в конце января 1922. Затем перепечатано в ряде газет юга СССР и — в сокращенном виде — в «Правде», 3 февраля 1922 (в этой сокращенной — почти вдвое! — версии опубликовано во 2-м томе нашего собр. соч., 1966): в редакции «Правды» выпущена целиком вся вторая главка очерка; изъяты полностью 4-й («Спекулятивная иерархия Батума...») и два последних («Вот случай...» и «Я был на этом представлении...») абзаца первой главки; абзац 5-й («Если вечер грузинский...») главки третьей. Нами публикуется по копии с авторской машинописи. В 1918—1921 гг. Мандельштам, как и многие, вел кочевую жизнь — в поисках менее голодного города. В своих «Записках на манжетах» («Возрождение», альманах, том 2, изд. «Время», М., 1923; в извлечениях перепеч. в журн. «Звезда Востока», Ташкент, 1967, № 3, стр. 12) Мих. Булгаков повествует о том, как мечутся по России писатели — в поисках заработка, спокойствия, просто — хлеба: «Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один — из Керчи в Вологду, другой — из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится: — Вот не доедем, да и только! — Натурально, не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь! ... Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью: — Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас не покупают? — ... но денег не пла... — начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда...» В хронике библиографического берлинского журнала рассказывается, что Мандельштам «... жил в 1920 г. в Крыму, в Коктебеле, близ Феодосии. В настоящее время находится в Закавказье. Устраивал вместе с И. Эренбургом в Батуми и Тифлисе вечера стихов, на которых читал свои стихи...» («Русская Книга», 1921, № 1, стр. 25).

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Публикуется, очевидно, впервые по копии с авторской машинописи. Этот незаконченный очерк перекликается с автобиографическим очерком «Меньшевики в Грузии», опубликованным в журн. «Огонек», 1923, № 20, 12 августа (см. второй том наш. собр., 1966), в некоторых случаях (разговор с генералом, напр.) просто повторяя его. Возможно, «Возвращение» является первой редакцией «Меньшевиков в Грузии». «Вновь очутившись в Крыму в разгар гражданской войны, Мандельштам был арестован отступающими врангелевцами, которые сочли его большевистским шпионом. Лишь усилия Максимилиана Волошина спасли поэта от расстрела. Из Крыма Мандельштаму удалось выбраться в Батуми, где меньшевистские власти умудрились принять его уже за двойного агента — и Врангеля, и большевиков — и тоже засадили в тюрьму, из которой его вызволили опять-таки поэты — на этот раз грузинские, случайно приехавшие в Батуми и прочитавшие в газете сенсационную версию о 'двойном агенте'. Так очутился Мандельштам в Тбилиси»... (Георгий Маргвелашвили. Об Осипе Мандельштаме. «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 90). В Тбилиси с Осипом Мандельштамом и его братом Александром встретился Илья Эренбург: «Навстречу нам (т. е. Эренбургу и его жене «Любе», — ред.) по Головинскому проспекту шел Осип Эмильевич Мандельштам. Мы обрадовались ему, он — нам. Он уже чувствовал под ногами почву и деловито сказал: 'Сейчас мы пойдем к Тициану Табидзе, и он нас поведет в замечательный духан...'. Мандельштам рассказал нам о своих злоключениях. В Батуми опасались эпидемии чумы, и квартал, в котором нашли комнату Осип Эмильевич и его брат, был оцеплен. Мандельштам гадал, от чего он умрет: от романтической чумы или от вульгарного голода. Его размышления были прерваны меньшевистскими охранниками, которые отвели Осипа Эмильевича в тюрьму. Напрасно он пытался еще раз объяснить, что не создан для тюремного образа жизни, — это не произвело никакого впечатления. Он говорил, что он — Осип Мандельштам, автор книги 'Камень', а ему отвечали, что он агент генерала Врангеля и большевиков... Случайно в Батуми приехали грузинские поэты и читали в газете, что 'двойной агент Осип Мандельштам' выдает себя за поэта. Они добились освобождения Осипа Эмильевича.

Рассказав это, Мандельштам не стал философствовать над особенностями эпохи, а повел нас к Тициану Табидзе, который восторженно вскрикивал, обнимал всех, читал стихи, а потом побежал за своим другом Паоло Яшвили. Мы обомлели, увидев на столе духана различные яства, о существовании которых успели давно позабыть. ... На следующее утро я пошел с Мандельштамом в советское посольство. Нас ласково приняли, обещали переправить в Россию; придется, однако, подождать неделю-другую. Паоло устроил нас в старой, замызганной гостинице. Свободных комнат в городе не было, и нам пришлось поместиться в одном номере: братья Мандельштамы, Люба, Ядвига и я. Осип Эмильевич от кровати отказался — боялся клопов и микробов; спал он на высоком столе. ... Мы прожили в Тбилиси две недели; они показались мне лирическим отступлением. Каждый день мы обедали, — более того, каждый вечер ужинали. У Паоло и Тициана денег не было, но они нас принимали с роскошью средневековых князей, выбирали самые знаменитые духаны, потчевали изысканными блюдами. Порой мы шли из одного духана в другой — обед переходил в ужин. ... Мы проверяли, какое вино лучше — телиани или кварели. (Ср. стих. «Мне Тифлис горбатый снится» в первом томе наш. изд. — Ред.) ... Мы восхищались в духанах картинами Пиросманишвили, грузинского Руссо, художника-самоучки, который за шашлыки и вино расписывал стены погребков. Он был прост, поэтичен, поражал умелой композицией и полнотой цвета. ... В конце 1937 года я приехал из Испании, прямо из-под Теруэля, в Тбилиси ... Паоло и Тициана не было. ... Тициана арестовали, а Паоло, когда за ним пришли, застрелился из охотничьего ружья. ... Но я сейчас пишу всего-навсего о двух коротких неделях осени 1920 года, когда грузинские друзья приютили, пригрели нас. Друзей этих уже нет ... (Советский посол в Грузии) сказал мне, что я поеду из Тбилиси в Москву как дипломатический курьер. Это не было ни почетной синекурой, ни маскировкой, чтобы пересечь границу, нет, я должен был отвезти пакет с почтой и три огромных тюка, снабженных множеством печатей. Мне часто приходилось и приходится ездить за границу; если со мной едут другие товарищи, среди них обязательно имеется 'руководитель делегации'. А вот из Тбилиси я отправился

с семью лицами; одни из них в документе именовались 'сопровождающими' (Люба, Ядвига, братья Мандельштамы...), другие числились моей 'охраной'. — краснофлотец и молодой актер Художественного театра. ... Осип Эмильевич читал стихи нашим попутчицам. ... (По пути, за Владикавказом, когда) ... мы отъехали сорок или пятьдесят километров, поезд остановился. Мы услышали выстрелы. Затараторил пулемет. Военные сказали, что белые разобрали путь и собираются напасть на поезд; мы должны взять винтовки и стрелять. Все это вывело из себя Осипа Эмильевича, который чувствовал к любому виду оружия непреодолимое отвращение. В его голове созрел фантастический план: он с Любой уйдет в горы... Люба не поддавалась его увещаниям, а белых скоро отогнали. ... Где-то между Ростовом и Харьковом к поезду подошли махновцы. Я знал по опыту, что это значит... Все... обошлось. Мы доехали до Москвы. ... Осип Эмильевич уже успел с кем-то поговорить по телефону, нашел ночевку для себя и брата и объявил нам, что вечером мы должны прийти в Дом Печати на Никитском бульваре — там дают бутерброды. ... Вечером мы пошли в Дом Печати; я увидел многих знакомых. В буфете действительно давали крохотные ломтики черного хлеба с красной икрой и воблой; кроме того, там можно было получить чай, который благоухал не то яблоками, не то мятой, разумеется, без сахара. ... Несколько огорчил нас инцидент с Мандельштамом. Он сидел в другом углу комнаты. Вдруг вскочил Блюмкин и завопил: 'Я тебя сейчас застрелю!' Он направил револьвер на Мандельштама. Осип Эмильевич вскрикнул. Револьвер удалось вышибить из руки Блюмкина, и все кончилось благополучно». (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. — Собр. соч. в 9 тт., т. 8, ГИХЛ, М., 1966, стр. 319—329).

М а з у р к е в и ч — Владимир Александрович Мазуркевич (1871—1942) — стихотворец, автор популярных романсов («Дышала ночь восторгом сладострастья», и т. п.).

О СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ. Публикуется впервые по копии с авторского черновика. Два последних абзаца опубликованы в «Вопросах Литературы», 1968, № 4, стр. 199—200. «А л ь м а н а х М у з», изд. «Фелана», Петроград, 1916. В этом альманахе принимал участие и Мандельштам (стих.

наш. собр. №№ 44, 84, 85). Может быть, это и было причиной того, что статья «О современной поэзии» не была опубликована.

ПИСЬМО О РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Опубликовано в газете «Молот», Ростов-на Дону, 1922. Отрывок — об Ахматовой — цитировался в книге Л. Озерова «Работа поэта», М., 1963, стр. 185, и в ряде других книг и статей. Включен и во второй том наш. собр. сочинений, 1966.

КОЕ-ЧТО О ГРУЗИНСКОМ ИСКУССТВЕ. Опубликовано в ростовской газете «Молот» в январе 1922. «... Осенью 1920 года дружба Осипа Мандельштама с грузинскими поэтами завершилась довольно своеобразным конфликтом: Мандельштам, восхищенный неповторимым колоритом Тифлиса и ярким своеобразием жизни грузинской столицы, искренне недоумевал, почему друзья его, щедро заселяя свои стихи образами, навеянными европейской литературой, и славословя Париж, недостаточно пристально вглядывались стихом в образы родной земли. Для такого вывода поэзия грузинских символистов-голубороговцев той поры действительно давала известный повод. И Мандельштам, уже выехав из Грузии, написал и опубликовал очерк, в котором, быть может, слишком заострил эту тему, вызвав обиду друзей, выступивших даже с ответной полемической статьей. Позднее этот эпизод представлялся в ином, разумеется, свете — было забавно и даже приятно вспомнить, как русский поэт старался преподать урок патриотизма своим товарищам по перу...» (Г. Маргвелашвили. Об Осипе Мандельштаме. «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 92). **Нико Пироманишвили** (1860?—1918) — одареннейший художник-самоучка, писавший преимущественно на клеенках самодельными красками вывески и картины — пейзажи и жанровые, натюрморты и изображения животных. **Важа Пшавела** — о нем см. в первом томе наш. собр. соч.

РЕВОЛЮЦИОНЕР В ТЕАТРЕ. Опубликовано в журн. «Театр и Музыка», 1923, № 1-2, 5 января. **Эрнст Толлер** (1893—1939) — немецкий поэт, драматург, прозаик. Его пьесы «Человек-масса» (1921), «Освобожденный Вотан» (1923),

«Эуген Несчастный» 1923), «Гоп-ля, мы живем!» (1927) и др. ставились в 1920—1930-х гг. в театрах СССР.

ОГЮСТ БАРБЬЕ. Опубликовано в журн. «Прожектор», 1923, № 13. О Барбье см. в первом томе наш. собр. соч. Мандельштама, где опубликованы и переводы ряда стихотворений Барбье.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Опубликовано посмертно (публикация Н. Я. Мандельштам) в журн. «Детская Литература», 1967, № 6, стр. 64. У нас — по копии с машинописи автора.

«Детская литература» не могла быть опубликована в те годы (очевидно, 1928—1930), когда была написана автором. Это были годы официального гонения на сказку, гонения, возглавлявшегося вдовой Ленина — Н. К. Крупской, писавшей глупейшие статьи против сказки вообще и, в частности, против сказок Корнея Чуковского: «Крокодила» в особенности... Чуковский вспоминает о той поре в своей книге «От двух до пяти»: «Сказка 'Мойдодыр', например, была осуждена Главсоцвосом за то, что в ней я будто бы оскорбил... трубочистов. С этим приговором вполне согласилась обширная группа тогдашних писателей, в числе двадцати девяти (!) человек, которая так и заявила в 'Литературной Газете' в 'Открытом письме М. Горькому': 'Нельзя давать детям заучивать наизусть:

А нечистым трубочистам

Стыд и срам, стыд и срам! —

и в то же время внедрять в их сознание, что работа трубочиста так же важна и почетна, как и всякая другая'. С 'Крокодилом' обошлись еще проще: возвестили публично (в газетах и на многолюдных собраниях), будто я изобразил в этой сказке — что бы вы думали? — мятеж генерала Корнилова. То обстоятельство, что 'Крокодил' написан годом раньше, чем был поднят мятеж, не отменило этой неправдоподобной легенды. Запрещение 'Крокодила' в 1928 году вызвало протест ленинградских писателей и ученых. В моем архиве сохранилась бумага, обращенная к педагогической Комиссии ГУСа (Государственного ученого совета):... Под влиянием этого протеста было дано разрешение 'издать книгу небольшим тиражом', но через несколько месяцев разрешение было взято назад, несмотря даже на вме-

шательство Горького. А люди, подписавшие эту бумагу, были названы 'группой Чуковского'. Впрочем, 'Крокодил' был счастливчиком по сравнению с 'Мухой-цокотухой', от которой не раз и не два спасали советских детей. Раньше всего на том основании, что Муха (по остроумной догадке все той же Комиссии ГУСа) — 'переодетая принцесса', а Комар — 'переодетый принц'. В другой раз — за то, что в нее 'было протаскано' мною такое двустишие:

А жуки рогатые,
Мужики богатые, —

а это, по мнению Комиссии, свидетельствует, что я выражаю сочувствие кулацким элементам деревни. В третий раз злополучная 'Муха' подверглась осуждению за то, что она будто бы подрывает веру детей в торжество коллектива Тогда же в Москве состоялся диспут о детской книге. Об этом диспуте писатель Д. Кальм дал отчет в 'Литературной Газете' под таким заглавием: 'Оградим нашего ребенка от классово-чуждых влияний!'» (К. Чуковский. Собр. соч. в 6 тт., том 1, ГИХЛ, М., 1965, стр. 541—543). В журнале «Дошкольное Воспитание» (1929, № 4, стр. 74) говорилось, что «Мойдодыр» «. . . развивает суеверие и страхи», «Муха-цокотуха» «восхваляет кулацкое накопление», «Тараканище» и «Крокодил» «дают неправильное представление о мире животных и насекомых». В те же годы вышла книжка Э. Яновской «Сказка как фактор классового воспитания». А с одной из гонительниц сказок, коммунистом-педагогом Э. Станчинской, писавшей в одной из своих статей: «Предлагаем заменить народные нереальные, фантастические сказки простыми реальными рассказами из мира действительности и природы» («На Путиях к Новой Школе», 1924, № 1), — произошел курьезный случай, о котором рассказывает тот же Чуковский: «Как видно из ее дневника — а этот дневник напечатан, — ее маленький мальчик, словно в отместку за то, что у него отняли сказку, стал с утра до ночи предаваться самой буйной фантастике. То выдумает, что к нему в комнату приходил с визитом красный слон, то будто у него есть подруга — медведица Кора; и, пожалуйста, не садитесь на стул рядом с ним, потому что — разве вы не видите? — на этом стуле медведица . . .» (К. Чуковский, там же, стр. 544). Мы позволили себе дать столь пространные комментарии к столь не-

большому очерку Мандельштама только для того, чтобы показать его пародийный характер, прямо притом опирающийся на полемику о детской литературе тех лет...

ВЕЕР ГЕРЦОГИНИ. Опубликовано в газ «Киевский Пролетарий» в 1929 году. У нас — по копии с авторской машинописи. Алексей Владимирович Липецкий (1887—1942) — один из многочисленных идеологически выдержанных стиходелов и романоделов. Его роман «Наперекор» вышел в 1928 году. Роман Вениамина Александровича Катая (р. 1902) «Скандалист, или вечера на Васильевском острове» опубликован впервые в журн. «Звезда», №№ 2—7 за 1928 г. «Конец хазы» опубликован в альманахе «Ковш», кн. 1, 1925. «Растратчики», повесть Валентина Петровича Катаева (р. 1897), опубликована в 1926 г. «Двенадцать стульев» — юмористическая повесть Ильи Арнольдовича Ильфа (1897—1937) и Евгения Петровича Петрова (Катаева, 1903—1942), опубликована впервые в 1928 г. в журн. «30 дней».

ЖАК РОДИЛСЯ И УМЕР. Опубликовано в газ. «Киевский Пролетарий» в 1929 г. У нас — по копии с авторской машинописи. Эта статья примыкает к другим статьям Мандельштама, посвященным качеству советских переводов произведений иностранной литературы: «Потоки халтуры» («Известия», 7 апреля 1929) и «О переводах» («На Литературном Посту», 1929, № 13, июль). Обе статьи — см. второй том наш. собр. соч. Мандельштама, 1966.

ЮНОСТЬ ГЕТЕ. Текст радиопередачи, написанный Мандельштамом в 1935 г. Публикуется впервые. В письме (№ 56 — в этом томе), датированном предположительно весной 1935 г., Мандельштам писал жене: «Все не знаю, брать ли службу. Неудобно бросать и занят сочинением. И мало дадут... Ай, радио запущено. Помогите. Дайте материалы: к Шервинскому (молодость Гете)...». «Занят сочинением...». Судя по этому, предыдущим и последующим письмам 1935 года к жене, Мандельштам готовил книгу своих стихов и, одновременно, «подборку» стихов для воронежского журнала «Подъем».

Игорь Северянин. ГРОМОКИПЯЩИЙ КУБОК. Рецензия, опубликованная за подписью «О. М.», в журн. «Гиперборей», № 6, март 1913, стр. 28.

ЖАН РИШАР БЛОХ. — ЖОРЖ ДЮАМЕЛЬ. — СКИ-ПЕТР. АБЕЛЬ АРМАН. — ЛУИ ПЕРГО. РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ. «Внутренние» рецензии Мандельштама, т. е. рецензии, предназначенные не для печати, а для руководства тех или иных издательств, редакций журналов и т. д. На основании этих рецензий, написанных экспертом, редактор-руководитель издательства или журнала решает — следует ли заказывать тем или иным лицам перевод данной вещи для издания ее на русском языке, или эта вещь для издательства (или журнала) интереса не представляет. Мандельштам, вечно нуждавшийся в куске хлеба, почти не издававшийся, зарабатывал некоторое время на существование писанием подобных «внутренних» рецензий. «Жить в общем было не на что: какие-то полупереводы, полурецензии, поубещания». (Анна Ахматова. Мандельштам. Сочинения, том 2, изд. Международн. Литературн. Содружества, 1968, стр. 180). Это было время, когда Мандельштам «поступил на службу в газету 'Московский Комсомолец' прямо из караван-сарая Цекубу» (О. Мандельштам. Четвертая проза. См. второй том наш. изд., 1966). Но и раньше Мандельштам «подрабатывал» рецензиями. Так, в письме (№ 19 в этом томе) к жене, (от февраля 1926 г.), он писал: «Горлин поручил мне писать рецензии (на утверждение) для Москвы. Что пройдет — будет мое. Первая же утвержденная книга». Следовательно, Мандельштам старался для «внутренних» рецензий подобрать таких авторов, каких ему могли поручить переводить на русский язык. А. Н. Горлин работал в те годы, в частности, в издательстве «Земля и Фабрика» (ЗиФ). Писал Мандельштам «внутренние рецензии» и на книги советских авторов, поступающие в редакции издательств. Об этом глухо пишет поэт А. Коваленков («Письмо старому другу», в его кн. «Хорошие, разные...», М., 1966, стр. 10—11). Все указанные выше «внутренние» рецензии публикуются впервые. Жан Ришар Блох (правильно — Блок) — французский писатель (1884—1947), видный член коммунистической партии Франции, редактировавший вместе с Ромэн

Ролланом журнал «Европа». Первый раз приезжал в СССР на Первый всесоюзный съезд писателей СССР в 1934 году — и пробыл в Советском Союзе полгода. А с весны 1941 г. и до победы над Германией проживал в СССР. Ж о р ж Д ю а м е л ь (р. 1884) — французский писатель, примыкавший к унанимизму (см. об этом литературном движении статью Мандельштама о Жюле Ромэне во втором томе наш. изд., 1966).

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР И СЛОВО. Опубликовано в журн. «Театр и Музыка», М., 1923, № 36 (6 ноября).

БЕРЕЗИЛЬ. Опубликовано в ленинградской «Вечерней Красной Газете», 1926, № 140, 17 июля. Театр Б е р е з и л ь — один из немногих, может быть, единственный украинский театр на территории СССР, ломавший штампы и традиции старого украинского театра, искавший новые пути в театральном искусстве. Основан в 1922 г. в Киеве, в 1926 г. переведен в Харьков. Худож. руководитель — Лесь (Александр Степанович) Курбас (1887—1942). В начале тридцатых годов началась в печати и на собраниях травля Курбаса и «Березиля», в 1933 г. Курбас был изгнан из руководства театра, арестован и осужден на заключение в лагерях НКВД — в те же годы, погиб в лагерях и — в последние годы — «посмертно реабилитирован». В 1933 году театр «Березиль» «реорганизован» и переименован в Украинский драматический театр имени Т. Г. Шевченко, — попросту превращен в рутинный и реакционный театр обычного советского типа... «Д ж и м м и Х и г г и н с» — инсценировка романа (1919) Эптона Синклера (р. 1878), американского писателя, чрезвычайно популярного в СССР в двадцатых годах. «М а н д а т» (1925) — комедия Николая Робертовича Эрдмана (р. 1902). «В о з д у ш н ы й п и р о г» (1924; впервые — на сцене Моск. Театра Революции в феврале 1925) — комедия Бориса Сергеевича Ромашова (1895—1958).

МИХОЭЛС. Опубликовано (до абзаца «...и человек-то подбитый ветром...» — начиная с этого абзаца незаконченная вторая часть очерка, оставшаяся в черновике, публикуется нами впервые) в ленинградской «Вечерней Красной Газете», 10 августа 1926. Соломон Михайлович М и х о

элс (псевдоним; настоящая фамилия — Вовси; 1890—1948) — крупнейший еврейский актер, артист и — с 1929 г. — руководитель Гос. Еврейского театра (Госета). Театр разгромлен в середине 40-х годов. Михоэлс — убит «при невыясненных обстоятельствах», на самом деле — убит работниками органов безопасности Советского Союза.

ЯХОНТОВ. Опубликовано в журн. «Экран», М., 1927, № 31, стр. 15. Владимир Николаевич Я х о н т о в (1899—1945) — артист-чтец с 1922 г. (в 1924—1926 гг. — актер театра Мейерхольда), в 1927 г. создал театр одного актера «Современник», просуществовавший до 1935 г. Автор книги «Театр одного актера», М., 1958. В л а д и м и р с к и й С. Я. — режиссер театра «Современник» (вместе с Е. Е. Поповой-Яхонтовой).

КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ. Опубликовано в газ. «Киевский Пролетарий» в 1928 г. У нас — по копии с авторской машинописи. «К у к л а с м и л л и о н а м и» — фильм, выпущенный на экран в 1928 г. Автор сценария — Олег Леонидович Л е о н и д о в (1893—1951) — совместно с Ф. Оцедом. Столь красочно охарактеризованный Мандельштамом фильм посвящен, по словам советского К и н о с л о в а р я в 2 т т. (т. 1, М. 1966, столб. 929), «проблемам современности, новой морали советского общества». Режиссер фильма — Сергей Петрович К о м а р о в (1891—1957) — актер, режиссер, с 1935 г. Заслуженный артист РСФСР. Поставил, между прочим, картину с участием Мэри Пикфорд, Дугласа Фэрбенкса и Игоря Ильинского «Поцелуй Мэри Пикфорд», 1927. Кинооператор — Константин Андреевич К у з н е ц о в (р. 1899). В роли Поля Колли Игорь Владимирович И л ь и н с к и й (р. 1901). Художник фильма — Александр Михайлович Р о д ч е н к о (1891—1956), сотоварищ Маяковского по ЛЕФу, художник-конструктивист, создатель многих фотомонтажей. Г а с т е в Алексей Константинович (1882—1941), член партии с 1901 г., ссылавшийся и неоднократно сидевший в тюрьмах до революции, несколько раз бывавший в эмиграции до 1917 г., — поэт, публицист, один из главарей Пролеткульта. В 1920 г. создал в Москве Центральный институт труда при ВЦСПС (ЦИТ). В своих книгах проповедовал научную организацию труда (по Тэйлору). В 1938 г. арестован органами НКВД, пытан и заключен в

лагеря НКВД, где и погиб. Макс Линдер (настоящее имя — Габриель Лёвель, 1883—1925) — французский комический актер, всемирно прославившийся в фильмах Пате (снимался, начиная с 1905 г.). Апогей славы М. Линдера — 1910—1913 гг. Глупышкин — русская комическая кино-маска, созданная в подражание М. Линдеру. ЗАГС — отдел записи гражданского состояния, где в СССР регистрируются рождения, браки, разводы, смерти. Семашко Николай Александрович (1874—1949) — видный деятель коммунистической партии (с 1893 г.), первый народный комиссар здравоохранения РСФСР, академик. Подвойский Николай Ильич (1880—1948) — видный деятель коммунистической партии (с 1901 г.), один из организаторов и возглавителей Октябрьской революции в Петрограде (председатель Военно-революционного комитета). «Дом Герцена» — «Дом Печати» — организован в Москве в 1920 г. В первые годы его существования членами дома печати были 222 литератора, кандидатами в члены — 114. Дом этот фигурирует в «Четвертой прозе» Мандельштама. Упоминаемые в начале очерка создатели еженедельника «Огонек» (выходит в Москве с апреля 1923) — Михаил Ефимович Кольцов (1898—1942), писатель, журналист, член коммунистической партии с 1918 г., погиб в лагерях НКВД, куда был заключен в 1938 г.; Ефим Давыдович Зозуля (1891—1941), писатель, сатириконец, погиб на фронте в начале Второй мировой войны.

ГОСУДАРСТВО И РИТМ. Опубликовано в журн. «Пути Творчества», Харьков, 1920, № 6-7, стр. 74—76. Жак Далькроз (1865—1950) — композитор, создатель новой системы ритмической гимнастики. Одно время этой гимнастикой интересовались Блок, Пяст, Кузмин, Мандельштам, Вс. Рождественский. Даже сами участвовали на маскарадах, устраиваемых школами ритмической гимнастики. Так, Надежда Павлович вспоминает, как 11 января 1921 г. она была с Блоком на маскараде на Миллионной, в школе ритма Ауэр. Туда же собрались Рождественский, Пяст и Мандельштам. «Кому-то удалось выхлопотать, чтобы Театр оперы и балета (б. Мариинский) прислал нам маскарадные костюмы. Они были изрядно измяты, и надо было их поправлять и гладить. Гладильную доску приспособили в мо-

ей узкой и длинной комнате. Дом Искусств обслуживали бывшие лакеи и швейцары Елисеева. В этот вечер кто-то спросил у старого лакея Ефима, где сейчас Мандельштам, и получил изысканный ответ: 'Г-н Мандельштам у г-жи Павлович жабу гладят' (жабо). Это стало потом ходовым словом» (Н. Павлович. Воспоминания об Ал. Блоке. Б л о к о в с к и й с б о р н и к, Тарту, 1964, стр. 493). В тех же воспоминаниях Павлович (стр. 492) рассказывается о Мандельштаме в «Доме Искусств»: «По холодной лестнице, по уцелевшей бархатной елисеевской дорожке, полузакрыв глаза, спускается Мандельштам и бормочет: 'Зиянье аонид... зиянье аонид...' Сталкивается со мной: 'Надежда Александровна, а что такое 'аониды'?'» Там же (стр. 474) приводится сообщенная Пястом эпиграмма на Мандельштама:

За жизнь свою медной полушки не даст,
Кто зрел, как собираются в клуб
И Блок ледяной, и уродливый Пяст,
И ужас друзей — Златозуб.

«Зубов у него вообще не было. Зубы заменяли золотые лопаточки, ... скромно притаившиеся за довольно длинной верхней губой. За эти золотые лопаточки он и носил прозвание 'Златозуб'» (И. Одоевцева. На берегах Невы. Вашингтон, 1967, стр. 190). «Эпиграмма на Осипа:

Пепел на левом плече и молчи —
Ужас друзей, — Златозуб.

Это может быть даже Гумилев сочинил. Куря, Осип всегда стряхивал пепел как бы за плечо, однако, на плече обычно нарастала горка пепла» (А. Ахматова. Мандельштам. С о ч и н е н и я, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 2, 1968, стр. 168). В уже цитированных выше воспоминаниях Н. Павлович рассказывает о впечатлении от наружности Мандельштама тех лет: «5 октября открылся клуб поэтов. Мы получили помещение на Литейном в бывшем доме Мурузи. Наиболее интересен был вечер, на котором впервые после своего возвращения в Петроград выступал О. Э. Мандельштам. Он привез прекрасные стихи, и Блок слушал его с большим интересом, особенно его стихи о Венеции, напомнившие Александру Александровичу собственные венецианские впечатления. С первого взгляда лицо Мандельштама не поражало. Худой, с мелкими, неправильными чертами, он всем своим обликом напоминал персонажей

картин Шагала. Но вот он начал читать, нараспев и слегка ритмически покачиваясь. Мы с Блоком сидели рядом. Вдруг он тихонько тронул меня за рукав и показал глазами на лицо Осипа Эмильевича. Я никогда не видела, чтобы человеческое лицо так изменялось от вдохновения и самозабвения. Некрасивое, незначительное лицо Мандельштама стало лицом ясновидца и пророка. Это поразило и Александра Александровича» (Б л о к о в с к и й с б о р н и к, стр. 472—473). В начале двадцатых годов Мандельштам нередко бывал в студии ритмического движения (гимнастического танца) на Петроградской стороне в Петрограде-Ленинграде (по системе Далькроза), где нередкими гостями были Мих. Кузмин, Юрий Шапорин и др. Об этих годах см. также: Е. М. Тагер. О Мандельштаме. Воспоминания. Публикация и комментарий Г. П. Струве. (Нью-Йорк, 1966), стр. 16—17. (Ранее — «Новый Журнал», № 81, 1965).

КРОВАВАЯ МИСТЕРИЯ 9-го ЯНВАРЯ. Опубликовано в газ. «Советский Юг», 22 января 1922. Гапон, Георгий Аполлонович (1870—1906), — священник, организатор «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга», союза, преследовавшего защиту экономических требований рабочих, обслуживающего и культурные и просветительские нужды пролетариата. Союз объединял в 1903—1904 гг. много тысяч рабочих Петербурга и был весьма популярен, как был популярен и его организатор и возглавитель — о. Георгий Гапон. Гапон был связан и с Министерством внутренних дел, и с петербургским градоначальником, но рассматривать его столь элементарно, как это делается в советских источниках, отнюдь нельзя. Близко знавший обстановку тех лет В. А. Маклаков пишет: «Для пропаганды революционеров в народе создавалась ... новая благоприятная атмосфера. Власть начала понимать, что одной репрессией она не может с этой атмосферой справиться, и приемы своей борьбы изменила. Она старалась тоже проникать в 'народные массы' и создавать в них сторонников против революции. Так возникла и знаменитая 'зубатовщина' в рабочей среде. В результате ее разыгралась трагедия 9 января в Петербурге. Она всех захватила врасплох. Герой этого дня, священник Гапон, казался загадкой. Помню, как в Москве, на одном адвокатском собрании, под

председательством Малянтовича, нам делали доклад об этих событиях, и с каким почтением в голосе левый докладчик делал доклад о деятельности 'отца Георгия Гапона'. Потом Гапон оказался агентом полиции, был революционером обличен и повешен. В нем, как и в Азефе, как и в большинстве деятелей этого типа, было трудно провести грань между их двумя естествами. Но самое событие 9 января, поход толпы к государю с иконами и пением, которое кончилось расстрелом безоружных, произвело потрясающее на всех впечатление. Расстрел показал, насколько власть была сильнее безоружной толпы, но что зато самые основания власти стали шататься» (В. А. Маклаков. Из воспоминаний. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 319—320). О том, что в Гапоне было как бы две души — душа народолюбца-социалиста и душа охранителя-зубатовца, говорит и граф С. Ю. Витте, вообще бывший противником «зубатовских» рабочих организаций (под покровительством и присмотром полиции): «Когда, еще в 1903 г., началось смутное революционное брожение как на верхах, так и внизу, то, конечно, все рабочие организации прежде всего восприняли революционный дух и революционное настроение. Поп Гапон, если и хотел, то не мог бы удержать этого течения; но ему и не было никакого расчета удерживать, ибо, как я уже говорил, в то время все или во всяком случае большинство спятили с ума, требуя полного переустройства Российской империи на крайне демократических началах народного представительства. . . . Что же удивительного, что не устоял и бедный поп Гапон. . . . И вот Гапон должен был повести (9 января 1905, — ред.) всех этих рабочих, многие тысячи человек, на Дворцовую площадь бить челом Государю Императору, причем они представляли себе, что увидят Его Величество, вручат ему эту просьбу и затем спокойно удалятся. . . . Но дело разыгралось иначе. Все движение было для градоначальника Фулона совершенной неожиданностью; он относился к Гапону и ко всем его организациям крайне благодушно и уверял министра внутренних дел, что ничего серьезного произойти не может. . . .» (С. Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. Соцэкгиз, М., 1960, стр. 340—341). Одна из крупных деятельниц либерального крыла русского общества, писательница и журналистка А. В. Тыркова-Вильямс, тоже не представляет себе фигу-

ру Гапона простой и вполне ясной: «Не успела я пережить Порт Артур, как обрушилось другое событие — 9 января 1905 г. Событие более страшное по своим последствиям... О священнике Гапоне раньше никто не слышал, а тут его пламенные колдовские речи внезапно выбросили на поверхность русской политической жизни тысячи, десятки тысяч рабочих, еще вчера косных и неподвижных, и сразу дали им вождя. Что дало Гапону власть над ними? В рабочих не было ни задора, ни вызова. До Парижа (где находилась тогда — в эмиграции — А. В. Тыркова, — ред.) доносились с Путиловского завода голоса не мятежников, а верноподданных, ищущих защиты у своего государя. Какое же это революционное движение, если челобитчиками руководит поп, который ведет их не против царя, а к царю? Для интеллигенции, тем более революционной, человек в рясе был человек чужой, враждебный. Ну как тут разобраться? Гапоновское движение росло бурно, не по дням, а по часам. С трепетом, со страхом, со смутной надеждой ждали мы выступления рабочих. А вдруг произойдет чудо? Чудо мирного разрешения давно назревших противоречий между властью и подданными. Вдруг рабочие проложат путь к новой жизни? ... Чуда не произошло. Не суждено было Николаю II соприкоснуться с еще нетронутыми революционной яростью, еще мирными народными массами. Что-то страшное, дьявольское есть в этом священнике, у которого, как потом выяснилось, был билет охранника в кармане. Кому он служил? Чего добивалась полиция, когда допустила такую чудовищную провокацию, позволила ему поднять рабочих и повести их под расстрел? С этого дня к широкому лозунгу — Долой самодержавие — прибавился более узкий, более личный клич — долой Николая II» (А. Тыркова-Вильямс. На путях к свободе. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1952, стр. 195—196). После кровавого расстрела рабочей манифестации 9 января, возглавлявшейся им, Гапон бежал за границу, затем вернулся, вел переговоры с полицией, был разоблачен социалистом-революционером П. Рутенбергом и повешен группой рабочих, главным образом эсеров, на даче в Озерках под Петербургом. Проф. Т а р л е, Евгений Викторович (1875—1955), с 1927 г. — академик. Историк, публицист, популярный лектор, близкий уже в начале века к марксистским кругам.

ВОКРУГ НАТУРАЛИСТОВ. Опубликовано в газ. «За Коммунистическое Просвещение», М., 19 апреля 1932, посвящен очерк юбилею (50-летие со дня смерти) Дарвина. Иначе очерк назывался «Литературный стиль Дарвина». Нами публикуется по копии с авторской машинописи. Мандельштам остро интересовался естествознанием, в частности, эволюционной теорией. См. «Путешествие в Армению» и записные книжки к нему и к данной статье, стихотворение «Ламарк» и многие стихи воронежского периода. «В Москве Мандельштама никто не хотел знать, — вспоминает А. А. Ахматова, — кроме двух-трех молодых ученых-естественников, Осип Эмильевич ни с кем не дружил» (А. Ахматова. Соч., т. 2, 1968, стр. 178—179).

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ. ЗАМЕТКИ. ЧЕРНОВИКИ. Часть записей публикуется нами впервые — по копиям с авторских машинописей. Часть опубликована в журн. «Вопросы Литературы», 1968, № 4, стр. 181—204, и в примечаниях в кн. «Разговор о Данте», М., 1967 (в основном — черновые записи к этому произведению). В этом разделе отточиями обозначены нами пропуски в тексте. Часть пропусков объясняется тем, что опущены записи, вошедшие в тексты, опубликованные в печати. Но часть пропусков, несомненно, цензурного характера. Когда мы имели возможность — на основании тех списков с машинописей, которыми мы располагаем, — восстановить текст автора, — мы это делаем — и это не будет оговариваться в примечаниях. Так, например, в публикации «Вопросов Литературы», в отрывке «Первый урок армянского языка . . .» (стр. 183 журн.), пропущена фраза: «В начале советизации он состоял комиссаром в Эчмиадзине», т. к. в дальнейшем этот персонаж стал эмигрантом . . . «В общем, я ничему не научился», публикуется в журнале с отточиями (пропуском). А в рукописи: «В общем, я ничему не научился у древне-комсомольской царевны». Пропущены и фразы о последнем армянском католикосе. Но восстановить пропущенные по цензурным причинам места мы могли только в тех нечастых случаях, когда в нашем распоряжении были копии с соответствующих записных книжек и заметок Мандельштама. В прямых скобках в этом разделе заключены те слова, фразы и отдельные отрывки, которые в рукописи автора

вычеркнуты им. В угловых скобках [] — слова, введенные редакторами публикации в «Вопросах Литературы» «Разговора о Данте» (1967) и редакторами настоящего собрания сочинений. Все записи и заметки расположены — в пределах каждого раздела, относящегося к тому или иному произведению Мандельштама, — примерно в том порядке, в каком в печатном тексте этих произведений следуют соответствующие им места. «Фрагментарная запись — основа мандельштамовской прозы. Ее нельзя рассматривать только как заготовку для будущего развернутого описания. Отказ Мандельштама-прозаика от принципа 'сплошного' повествования входил в систему его эстетических воззрений, о чем в записных книжках 1931—1932 годов прямо идет речь» (Из вст. заметки И. Семенко — «Вопросы Литературы», 1968, № 4, стр. 181).

К СТАТЬЕ «ФРАНСУА ВИЛЛОН». Опубликовано в «Вопросах Литературы», 1968, № 4, стр. 199. *Huitain* — строфавосьмистишие.

К «ЗАМЕТКАМ О ШЕНЬЕ». Опубликовано там же, стр. 200—201. О *Eta, mont ennobli...* анализируется фрагмент из «Идиллий», описывающий самосожжение Геракла на горе Эта. См. вольный перевод Пушкина: «Из А. Шенье».

ЗАПИСИ 1931 ГОДА. Опубликовано там же, стр. 201—202. ПУТЕШЕСТВИЕ В АРМЕНИЮ (З а п и с н ы е к н и ж к и). Публикуется по списку с машинописи автора и по «Вопросам Литературы», 1968, № 4, стр. 181—194. Во вступительной заметке, предшествующей перепечатке мандельштамовского «Путешествия в Армению» в журн. «Литературная Армения» (1967, № 3, стр. 82—83), Геворк Эмин пишет: «... Подлинно библейский дух ощущается в посвященных Армении стихах Мандельштама — веяние библейского Арарата, скрещенное с духом народа, создавшего Библию. Мандельштам мечтал об Армении еще до приезда сюда, он писал о ней не только здесь, но и потом в Москве и Воронеже, до последних дней жизни. ... В творческую командировку в Армению Мандельштам приехал с женой в мае 1930 года и оставался здесь до ноября. Приехал он через Ленинакан, ...; а потом из Еревана ездил по Армении — в Ашта-

рак и Эчмиадзин, на Арагац и Севан... Июнь и июль Мандельштам провел на Севане и имел там возможность познакомиться со многими деятелями культуры. ... Мандельштам описывает трудную, полную восклицательных знаков Армению тридцатых годов, но на его мыслях и чувствах нет отпечатков календарного или парадного штампа; не скованные ничем, они свободны и самовластны — и это одна из его характерных особенностей. Может быть, именно по этой причине заметки эти, написанные по свежим следам конкретных событий, не устарели и сегодня. Влюбленный в Армению, Мандельштам еще в Москве стал изучать армянский язык, даже более того — древнеармянский язык, грабар. ... Мандельштам не только написал посвященный Армении цикл стихов, но и серьезно изучил армянскую легенду 'Аршак и Шапук', думая, вероятно, впоследствии также написать стихи на эту тему или по-своему переработать эту древнюю мудрую повесть...». В виде послесловия к «Путешествию в Армению» в том же номере «Литературной Армении» (стр. 99—101) опубликованы воспоминания о поездке в Армению Надежды Яковлевны Мандельштам. Приводим их:

Мы вернулись из Армении и прежде всего переименовали нашу подругу [А. А. Ахматову, — ред.]. Все прежние имена показались нам пресными: Аннушка, Анюта, Анна Андреевна. Последнее оставалось, конечно, всегда. Они познакомились совершенно желторотыми птенцами, а в их поколении юнцы всегда именовали друг друга по имени отчеству. Но новое имя приросло к ней, до самых последних дней я ее называла тем новым именем, так она подписывалась в письмах — Ануш. Имя Ануш напоминало нам Армению, о которой Мандельштам, как он всюду пишет, не переставал мечтать. Он запомнил стишок про прялку — я не решаюсь записать его в транскрипции: за столько лет, звуки перепутались, но армянская прялка жила с нами вместе с шубертовской.

Мандельштам учился армянскому языку, наслаждаясь сознанием, что ворочает губами настоящие индоевропейские корни. Он убеждал меня, что не утраченная армянская флексия — это и есть цветение языка, его творческий период. Я узнавала Гумбольдта

и, как настоящая потебнистка, доказывала, что современные языки лучше. Я и тогда подозревала, что древнеармянский, он, кажется, называется грабар, вытесняет у него крохи современного языка, которому он успел научиться. И это однажды подтвердилось. Наткнулись, гуляя, на мальчишку, который сидел в арыке, что ли, словом, в грязи. Мандельштам обожал детей, а на черноглазых живчиков Армении не мог налюбоваться. Ему захотелось проявить отцовскую заботу и объяснить мальчишке, как надо себя вести, а тот по-русски не знал. «Грязь, — сказал Мандельштам на неизвестном мне языке, — нельзя, нехорошо, грязь» . . . Мне он все это перевел на русский, а мальчишка вылупил глаза, услышав, вероятно, чем-то родные, но совсем незнакомые звуки: язык Моисея Хорнского, или я не знаю, кого из писателей и летописцев великой армянской литературы, которая дала так много счастья Мандельштаму.

Мы слушали одноголосые хоры Комитаса, и Мандельштам, очень музыкальный, вспоминал их потом и в Москве, и в Воронеже. О своем отношении к армянской архитектуре он рассказал сам.

Путешествие в Армению не туристская прихоть, не случайность, а, может быть, одна из самых глубоких струй Мандельштамовского историософского сознания. Он-то, разумеется, этого так не называл — для него это было бы слишком громко, и я сама поняла это через много лет после его смерти, роясь в записных книжках и дочитывая мысли и слова, которые мы не успели друг другу сказать. Традиция культуры для Мандельштама не прерывалась никогда: европейский мир и европейская мысль родилась в Средиземноморье — там началась та история, в которой он жил, и та поэзия, которой он существовал. Культуры Кавказа — Черноморье — та же книга, «по которой учились первые люди». Недаром в обращении к Ариосту он говорит: «В одно широкое и братское лазорье сольем твою лазурь и наше черноморье». Для Мандельштама приезд в Армению был возвращением в родное лоно — туда, где все началось, к отцам, к истокам, к источнику. После долгого молчания сти-

хи вернулись к нему в Армении и уже больше не покидали . . .

Мы много ездили по Армении и видели много, хотя, конечно, не все, что хотелось. Людей мы знали мало. Видели Сарьяна, чудного художника. Он пришел к нам еще в первый день в гостиницу, когда мы много часов подряд ждали, чтобы нам отвели номер, а гостеприимные хозяева — культурные деятели Армении — звонили по всем телефонам и победили под конец упрямого хозяина гостиницы-хюраноц. Были мы у Сарьяна потом в мастерской. Кажется, он показывал тогда свой «голубой период» — с тех пор прошло почти сорок лет, но такие вещи обычно запоминаются. Знали мы Таманяна и молодых архитекторов и слушали про их споры, которые всегда бывают в искусстве, когда оно живет и дышит. На Севане встретились с учеными — об этом рассказал сам Мандельштам, и он очень радовался высокому уровню армянской мысли и беседы.

Главная дружба ожидала нас в Тифлисе. В гостиницу к нам пришел Егише Чаренц, и мы провели с ним две или три недели, встречаясь почти ежедневно. Я понимаю, почему свободные дружеские отношения завязались в чужом для Чаренца Тифлисе, а не в Ереване, но не в этом дело . . . Я помню, как началось знакомство. Мандельштам прочел Чаренцу первые стихи об Армении — он их тогда только начал сочинять. Чаренц выслушал и сказал: «Из вас, кажется, лезет книга». Я запомнила эти слова точно, потому что Мандельштам мне потом сказал: «Ты слышала, как он сказал: это настоящий поэт». Я еще тогда не знала, что для поэта «книга» — это целостная форма, большое единство. Потом как-то Пастернак мне сказал про «чудо становления книги» и Анна Андреевна — Ануш — тоже. Это все сложилось вместе со словами Егише Чаренца, и мы всегда помнили, что в Ереване живет настоящий поэт. А больше я ничего не запомнила из его слов — ведь нельзя же записывать слова мужа или приятеля, с которым пьешь чай, гуляешь и ищешь, где бы купить папирос, — тогда вдруг случился папиросный кризис и мужчины завели знаком-

ство с целой толпой мадъчишек, потому что нельзя разговаривать без папирос, а они говорили много и подолгу. Может быть, слова Чаренца о том, что лезет книга, были тем дружеским приветом, без которого не может работать ни один поэт, а в нашей жизни получить его было не легко. Армения, Чаренц, университетские старики, дети, книги, прекрасная земля и выросшая из нее архитектура, одноголосое пение и весь строй жизни в этой стране — это то, что дало Мандельштаму «второе дыхание», с которым он дожил жизнь. В последний год жизни — в Воронеже — он снова вспомнил Армению и у него были стихи про людей «с глазами, вдолбленными в череп», которые лишились «холода тутовых ягод»... Эти стихи пропали. Но и так армянская тема пронизывает зрелый период его труда.

Шопен, Иван Иванович (1798—1870) — русский этнограф и историк-кавказовед, по происхождению француз. Главное произведение — «Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху присоединения ее к Российской Империи», СПб, 1852. **Для Нади** — для Н. Я. Мандельштам. **Безыменский, Александр Ильич** (р. 1898) — поэт, член коммунистич. партии с 1916. Один из первых комсомольских поэтов. Весьма плодовитый поэт, о котором Маяковский писал:

Ну, а что вот Безыменский?!

Так...

ничего...

морковный кофе.

(Полн. собр. соч. в 13 тт., т. 6, М., 1957, стр. 53).

Гибель — первозданного поэта — Маяковского. **РКИ** — Рабоче-Крестьянская Инспекция, советский контрольный орган. **Лакоба, Нестор Иванович** (1893—1936) — член коммунистич. партии с 1912. Абхазский советский деятель. В 1918 — один из руководителей восстания против меньшевицкого правительства в Абхазии, с февраля 1922 — председатель Совнаркома, а в 1930—1936 — председатель ЦИК ЗСФСР, член бюро ЦК КП Грузии. В 1936 расстрелян как «враг народа». Посмертно реабилитирован... **Ткварчелы** — город в Абхазии, на южных склонах Кодорского хребта, в 80 км к юго-востоку от Сухуми. Круп-

ный промышленный центр Грузии. Добыча каменного угля, ряд заводов. Самый спокойный памятник — памятник К. А. Тимирязеву в Москве. Паллас. Возможно, что О. Э. Мандельштам готовил особый очерк о Палласе. Так предполагает, как будто, и И. Семенко, подготовивший тексты записных книжек Мандельштама для журн. «Вопросы Литературы» (он условно озаглавил этот раздел заметок «Читая Палласа»).

/ИЗ ПИСЬМА/. Опубликовано в «Вопросах Литературы», 1968, № 4, стр. 191.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СТИЛЬ ДАРВИНА (К статье «Вокруг натуралистов»). Публикуется нами по тексту «Вопросов Литературы», 1968, № 4, стр. 194—199, дополненному по копии с авторской машинописи (эти дополнения публикуются впервые). «Философия зоологии» — основной труд Ламарка.

ЗАПИСЬ 1932 — ЗАПИСЬ ОБ АПОЛЛОНЕ ГРИГОРЬЕВЕ. Опубликовано в примечаниях, в кн. «Разговор о Данте», М., 1967. В заметке об Аполлоне Григорьеве имеется в виду его стихотворение «Комета»:

... Она

Из лопа отчего, из родника творенья
В созданья стройный круг борьбою послана,
Да совершит путем борьбы и испытанья
Цель очищения и цель самосозданья.

РАЗГОВОР О ДАНТЕ. Из первоначальной редакции, черновых записей и заметок. Опубликовано в примечаниях в кн. «Разговор о Данте», М., 1967. Часть заметок впервые опубликована во втором томе наш. собр. соч. Мандельштама, 1966. Часть заметок опубликована в «Вопросах Литературы», 1968, № 4, стр. 202—203. Часть заметок публикуется в этом томе впервые по копии с авторской машинописи. «Об отношении О. Э. Мандельштама к поэзии Данте свидетельствует Н. Я. Мандельштам: 'У О. Э. было настоящее формообразующее чтение — были книги, с которыми он как бы вступал в контакт, которые определяли период его жизни или всю жизнь... А про Данте он

почти сразу мне сказал, что это и есть самое главное'. (Примеч. в кн. «Разговор о Данте», М., 1967). *Da oggi a poi la cotidiana manna* — Да ниспошлется нам дневная манна (пер. М. Лозинского. Всюду — по кн. Данте Алигьери. Новая Жизнь. — Божественная Комедия. ГИХЛ, М., 1967). *Фальтерона* — горный хребет в Аппенинах. ... *gizi Fortuna la sua rota*... — Так пусть Фортуна колесом вращает, Как ей угодно, и киркой мужик. *Sta comè torre fermo, che non scolla*... — Как башня стой, которая вовек Не дрогнет, сколько ветры ни бушуй.

...ПРООБРАЗОМ ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ... — Впервые опубликовано во 2-м томе наш. собр. соч. Мандельштама, 1966. Затем — в примеч., в кн. «Разговор о Данте», М., 1967. Незаконченный отрывок («записан на одном отдельном листке», как отмечено на одной из копий рукописи).

ОТРЫВОК ИЗ НЕРАЗЫСКАННОЙ СТАТЬИ. Впервые — в статье А. Коваленкова «Письмо старому другу», опублик. в журн. «Знамя», 1957, № 7, стр. 168. Перепеч. в его кн. «Хорошие, разные...», М., 1966, стр. 11.

ЗАПИСИ 1935—1936 ГОДОВ. «Вопросы Литературы», 1968, № 4, стр. 204.

ПИСЬМА. Наши комментарии к письмам Мандельштама поневоле и неполны и недостаточно систематичны. Во-первых, еще не пришло время для более или менее полного освещения всех жизненных обстоятельств, затронутых в письмах, во-вторых, редакторы и не располагают достаточным количеством проверенных сведений об обстоятельствах жизни Мандельштама и о многих лицах, в письмах упоминаемых. Поэтому мы и ограничиваемся сведениями о том, что нам известно. Большинство писем без даты. Даты, поставленные нами в прямые скобки, установлены на основании ряда данных: упоминаемых в письмах переводов и книг Мандельштама, некоторых событий в его жизни,

даты которых известны, и т. д. Все письма, кроме нескольких, каждый раз оговоренных ниже, публикуются впервые. Как ни неполно это собрание писем Манделъштама, как оно ни неравномерно освещает разные годы жизни поэта (из общего числа в 85 писем — писем 1915 г. — 3, 1916 — 1, 1919 — 1, 1921 — 2, 1923-1924 — 2, 1925 — 3, 1926 — 36, 1928 — 1, 1930 — 4, 1930-х гг. — 1, 1935 — 9, 1936 — 6, 1937 — 15, 1938 — 1), — эти письма все-таки освещают достаточно ярко трагическую жизнь Манделъштама, и эпиграфом к ним мог бы быть следующий автобиографический отрывок из «Четвертой прозы» поэта:

Мальчик в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, с зачесанными височками стоит в окружении мамушек, бабушек, нянюшек, а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок — мальчишка из дворни. И вся эта свора сюсюкающих, улюлюкающих и пришепетывающих архангелов насаждает на барчука:

— Вдарь, Васенька, вдарь!

Сейчас Васенька вдарит, и старые девы, гнусные жабы, подталкивают друг друга и придерживают паршивого кучеренка:

— Вдарь, Васенька, вдарь, а мы покуда кучерявого придержим, мы покуда вокруг попляшем...

Что это? Жанровая картинка по Венецианову? Этюд крепостного живописца?

Нет, это тренировка вихрастого малютки комсомола под руководством агитмамушек, бабушек, нянюшек, чтобы он, Васенька, топнул, чтобы он, Васенька, вдарил, а мы покуда чернявого придержим, мы покуда вокруг попляшем...

— Вдарь, Васенька, вдарь...

№ 1. К ФЕДОРУ СОЛОГУБУ, 27 апреля 1915. Опубликовано впервые в кн. А. Волкова — «Поэзия русского империализма». ГИХЛ, М., 1935. Федор Сологуб — Федор Кузьмич Тетерников (1863—1927) — всегда высоко ценился акмеистами, в частности, Н. С. Гумилевым. «В письме к ... Сологубу, датированном 6 августа 1915 г., Гумилев писал: 'Я всегда Вас считал и считаю одним из лучших вождей того направления, в котором протекает мое творчество'. ... Возможно, что это письмо Гумилева свя-

зано с одним малоосвещенным эпизодом в петербургской литературной жизни, в результате которого произошла размолвка между Сологубом и соратником Гумилева по акмеизму, О. Э. Мандельштамом . . .» (Г. Струве. Неизданные материалы для биографии Гумилева и истории литературных течений. «Опыты», Нью-Йорк, № 1, 1953, стр. 187—188). Опубликовано и в собр. соч. Мандельштама, 1955, и в нашем втором томе, 1966.

№ 2. К С. К. МАКОВСКОМУ, 8 мая 1915. Опубликовано впервые в нашем втором томе собр. соч. Мандельштама, 1966. Сергей Константинович Маковский (1878—1962) — литературный и художественный критик, поэт, редактор-издатель журнала «Аполлон» (1909—1917, Петербург-Петроград), тесно связанного с акмеистами. «Безотрадная плеяда 'Русских Богатств' и всевозможных 'Вестников' настолько определила 'суконное общественническое лицо русской журналистики, что всякое отступление от отечественного образца принималось за вызов. Журнал-артист, журнал-европеец выглядел в этом стаде, как фрак и лакированные ботинки среди косовороток и смазных сапог. В СССР, где бывшие общественнические ценности поставлены под защиту закона — он давно занесен в проскрипции» (Н. Ульянов. Забытый бог. В его кн. «Диптих», Нью-Йорк, 1967, стр. 82). Так и писали об «Аполлоне» в советских книгах и энциклопедиях. Так, во втором изд. Большой Советской Энциклопедии (т. 2, 1950, стр. 557) прямо говорится: «Возникший в годы реакции после поражения революции 1905—1907, 'Аполлон' активно проводил линию, враждебную революционному движению и демократии. Упорно отстаивая 'аполитичную', а на самом деле реакционную теорию 'искусства для искусства', журнал с позиций воинствующего идеализма вел яростную борьбу против идейности и демократических реалистических традиций русского искусства. Раболепствуя перед упадочным искусством буржуазного Запада . . .», и т. д. В таком ультра-элементарном и глупейшем тоне писали не только об «Аполлоне», но и вообще о блестящем периоде русского искусства — о 1907—1917 гг. — советские «историки литературы и искусства». Статья Мандельштама «Петр Чаадаев» (см. 2-й том наш. собр.) — опубликована в журн. «Аполлон», 1915,

№ 6-7, стр. 57—62, под назв. «Чаадаев». С. К. Маковский в первые годы революции эмигрировал из Советской России и умер в Париже. В его книгах «Портреты современников», Нью-Йорк, 1955, и, отчасти, «На Парнасе серебряного века», Мюнхен, 1962, он рассказывает о Мандельштаме и его участии в журнале «Аполлон».

№№ 3 и 4. К МАТЕРИ. 20 июля 1915 и 20 июля 1916. Ш у р а — брат О. Э. Мандельштама — Алексей Эмильевич Мандельштам — врач гинеколог и акушер, с 1929 г. — профессор. «Человек добрый, вполне реальный, который не раз помогал и своему брату и нам», — как пишет о нем Илья Эренбург («Люди, годы, жизнь», — Собр. соч. в 9 тт., т. 8, ГИХЛ, М., 1966, стр. 307). Д а ч а В о л о ш и н о й — дача поэта Максимилиана Александровича Волошина (1878—1932) и его матери Елены Оттобальдовны в Коктебеле, близ Феодосии, в Крыму (ныне — поселок Планетарное). Как пишет о Волошине Цветаева, «он и свой коктебельский дом, таким трудом добытый, так выколоченный, такой заслуженный, такой его по духовному праву, кровный, внутренне-свой, как бы с ним сорожденный, похожий на него больше, чем его гипсовый слепок, — не ощущал своим, физически своим. Комнаты (по смехотворной цене) сдавала Елена Оттобальдовна. Макс физически не мог сдавать комнат друзьям. Еще меньше — чужим» (Марина Цветаева. Живое о живом. В ее книге — «Проза». Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953, стр. 157). О пребывании Мандельштама в Коктебеле — см. Приложение третье к этому тому — «Историю одного посвящения» М. Цветаевой. Ж е н я — брат О. Э. Мандельштама Евгений Эмильевич Мандельштам, инженер.

№ 5. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 5 декабря /1919/. Большинство писем в нашем собрании — к жене поэта, Надежде Яковлевне Мандельштам, урожденной Хазиной. М о ч у л ь с к и й, Константин Васильевич (1892—1948) — известный литературовед и критик, с 20-х гг. в эмиграции. М о р д к и н, Михаил Михайлович (1881—1944), известный артист балета и балетмейстер, артист балета Московского Большого театра, с 1924 — в США, где организовал театр «Балет Мордкина». Ф р о м а н — очевидно, Маргарита Пет-

ровна Фроман (р. 1890), балетная артистка, в 1909—1913 и 1917—1919 гг. артистка Московского Большого театра. С 1921 г. в Югославии, с 1950 — в США).

№ 9. К ОТСУ, [зима 1923—1924]. Евгений Яковлевич — Евгений Яковлевич «Хазин, «любимый брат» Н. Я. Мандельштам, как пишет в своих воспоминаниях А. А. Ахматова (о несколько более поздних годах жизни поэта): «Попытки устроиться в Ленинграде были неудачными. Надя не любила все, связанное с этим городом, и тянулась в Москву, где жил ее любимый брат Евгений Яковлевич Хазин. Осипу казалось, что его кто-то знает, кто-то ценит в Москве, а было как раз наоборот. В его биографии поражает одна частность: в то время (1933 г.) Осипа Эмильевича встречали в Ленинграде, как великого поэта, *persona grata*, и т. п., к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград (Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский...), и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет и вспоминают еще и сейчас (1962 год) ... В Москве Мандельштама никто не хотел знать ...» (Сочинения, т. 2, 1968, стр. 178). Но и в те годы в Москве Мандельштаму жилось очень несладко — и его тогда в Москве отнюдь не ценили так, как в Ленинграде. Вот как, например, описывает свое посещение Мандельштама летом 1922 г. — в Москве, в комнате на Тверском бульваре, 25 — флигеле «Дома Герцена» — Николай Чуковский: «Комната, в которой он жил, — большая и светлая, — была совершенно пуста. Ни стола, ни кровати. В углу большой высокий деревянный сундук с откинутой крышкой, а у раскрытого настежь окна — один венский стул. Вот и все предметы в комнате. На подоконнике горкой лежал табак. Он предложил мне свертывать и курить» (Н. Чуковский. Встречи с Мандельштамом. «Москва», 1964, № 8, стр. 150). «Литература» мне омерзительна — переводческая работа в издательстве «Всемирная Литература». Парнок — поэт, подлинное имя которого — Валентин Яковлевич Парнах. До 1922 г. проживал в эмиграции (в Париже), причем приехал в Париж еще до революции. В 1922 г. приехал в Советскую Россию. Автор

нескольких сборников стихов и книги о танце (*Histoire de la danse* [Paris, 1932]). См. о В. Парнахе во 2-м томе нашего издания и заметку «Валентин Парнах о Мандельштаме» в Приложении шестом к этому тому.

№ 10. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, /осень 1925/. Выгодский Давид — поэт и переводчик, литературный критик. Погиб в лагерях НКВД. «Прибой» — ленинградское издательство (Петроградского-Ленинградского комитета Коммунистич. партии). Существовало с 1922 по 1927 год. В из-ве «Прибой» вышла книга А. Даудистеля «Жертва», в переводе Мандельштама (1926). Лившиц, Бенедикт Константинович (1886—1939) — поэт и переводчик, автор книги воспоминаний «Полутораглазый стрелец», Ленинград, 1933, где немало говорится и о Мандельштаме. Под редакцией А. Н. Горлина (он также упоминается в письме), Б. Лифшица и О. Мандельштама — и в их обработке — выходило в издательстве «Земля и Фабрика» (Москва—Ленинград, 1928—1929) собрание романов Вальтер-Скотта. ГИЗ — Государственное издательство. Что за «Билль» или «Билли» — «сто строк» — установить не удалось. В 1926 г. вышла в переводе Мандельштама в из-ве «Сеятель» (в Ленинграде) книжка П. Милля «Китайцы» (47 стр.). Но имеет ли она отношения к «Биллям» — трудно сказать.

№ 11. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 5 октября 1925. «Красная» — Ленинградская Красная Газета (утренний и вечерний выпуски). 1002-я. ночь. Переведенная Мандельштамом книга: Ф. Геллер. Тысяча вторая ночь. Ленинградское отделение ГИЗа, 1926, 142 стр.

№ 14. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 2 февраля [1926]. «Звезда» — ленинградский ежемесячный журнал. Выходит с 1924 г.

№ 15. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [начало 1926]. Гурмэ — кондитерская. «Сеятель» — ленинградское издательство, для которого, как сказано выше, Мандельштам пере-

вел книжку: П. Милль. Китайцы. 1926, 47 стр. Бены — Бенедикт Лившиц (см. выше) с женой. Пунины — искусствовед и критик, в свое время сотрудник «Аполлона», затем сблизившийся с футуристами Николай Николаевич Пунин (1888—1953, был заключенным в застенках НКВД и в лагерях и ссылке), его жена Анна Андреевна Ахматова («старушка»). Георгий Владимирович Иванов (1894—1958, с 1923 в эмиграции) — поэт, близкий к гумилевскому «Цеху Поэтов», сотрудник «Аполлона». Его «страшные пашквили» на Ахматову и на Мандельштама — статьи в журналах и газетах, собранные затем в книгу: Г. Иванов. Петербургские зимы. Изд. «Родник», Париж, 1928 (переизданы изд. им. Чехова в Нью-Йорке в 1953 г.). Ахматова писала про эту книгу: «Все, что пишет о Мандельштаме в своих бульварных мемуарах 'Петербургские зимы' Георгий Иванов . . . , мелко, пусто и несущественно. Сочинение таких мемуаров дело немудреное. Не надо ни памяти, ни внимания, ни любви, ни чувства эпохи . . . » (Ахматова. Сочинения, т. 2, стр. 186). «Шум времени» вызвал «бурю» восторгов . . . в зарубежной печати — см. некоторые отзывы в примечаниях ко 2-му тому наш. издания, а также библиографию. Так, в рецензии на «Шум времени», кн. Д. Святополк-Мирский писал: «Не будет преувеличением сказать, что Шум времени одна из трех-четырёх самых значительных книг последнего времени, а по соединению значительности содержания с художественной интенсивностью едва ли ей не принадлежит первенство» («Современные Записки», Париж, кн. 25, 1925, стр. 542).

№ 16. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 7 февраля [1926]. Модрик — Московское общество драматических писателей и композиторов.

№ 17. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [февраль 1926]. Жена Пунина — Анна Андреевна Ахматова (далее в письме она просто «Анна Андреевна»). Шкловский, Виктор Борисович (р. 1893) — писатель, киносценарист, литературовед, критик. «Татьяка» — дочь Е. Э. Мандельштама. «Вечерняя» — ленинградская «Вечерняя Красная Газета». «Трамвай» — книга стихов для детей О. Э. Мандельштама «Два трамвая», с рисунками Б. Эндера. ГИЗ, Ленин-

град, 1925. В последнее время «реабилитация» Мандельштама зашла так далеко, что в статьях стали поминать даже его книжки стихов для детей. Так, А. Твардовский в статье «О поэзии Маршак» пишет об этой и другой книжке для детей Мандельштама — «Примус» (Ленинград, 1925): « Я назвал бы в этом ряду поэтов не менее сложного, чем даже Пастернак, О. Мандельштама, но вдруг обнаружил, чего никак нельзя было предположить, что он выпустил в первой половине двадцатых годов несколько детских книжек в стихах. Однако при всем том, что талантливый поэт, даже выступая в несвойственном ему роде, не может не обронить нескольких удачных строф, стихи эти оставляют впечатление принужденности и натянутости. Как будто оставлен был этот взрослый добрый и умный человек на весь день в городской квартире с маленькими детьми в отсутствие родителей и умаялся, стремясь занять их стихами о свойствах и назначениях предметов домашнего обихода: примус, кран, утюг, кастрюли и т. д., сочинил даже целую сказку о двух трамваях — Клике и Траме, но все это по необходимости, без подлинной увлеченности. Есть и 'полезные сведения', и юмор, и подмывающий ритмический изгибец:

Мне сырому, неученому
Простоквашей стать легко,
Говорило кипяченому
Сырое молоко . . .

Но все это скорее способно привлечь взрослых выразительностью исполнения, чем заинтересовать ребят. Попытки эти никак на дальнейшей работе поэта не отразились» («Новый Мир», 1968, № 2, стр. 238).

№ 19. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [февраль 1926]. Рецензии (на утверждение) для Москвы — так называемые «внутренние» рецензии — не для опубликования, а для руководства издательства, решающего — на основе этих рецензий — издавать ли эту книжку или нет, а если речь (как в данном случае) идет о книгах на иностранных языках, — то и поручать ли кому-нибудь перевести их на русский язык. Несколько таких «внутренних»

рецензий сохранилось — и включены нами в этот том. Даудистель — перевод Мандельштама книги этого автора «Жертва», вышедшей в ленинградском из-ве «Прибой» в 1926 г. (160 стр.). Вчера я сдал всю нашу работу — в работе над переводами, очевидно, принимала деятельное участие Н. Я. Мандельштам.

№ 24. К. Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 17 февраля [1926]. Шилейко, Владимир Казимирович (1891—1930), крупный ассириолог и специалист по культурам (особенно древнейшим) Передней Азии, проф. Ленинградского университета, поэт. Второй муж Анны Ахматовой. См. в первом томе эпиграмму Мандельштама на Шилейко. Маршак, Самуил Яковлевич (1887—1964) — поэт (главным образом, автор книг для детей), писатель, переводчик. Федин, Константин Александрович (р. 1892) — советский прозаик, ныне один из столпов «социалистического реализма». В те годы был одним из руководителей Ленинградского отделения Гос. издательства (ЛенГИЗа). Книга стихов — речь идет, конечно, о книге О. Мандельштама «Стихотворения», ГИЗ, 1928.

№ 26. К. Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [февраль 1926]. Проклятый немец — Ф. Геллерт. Его книгу «Тысяча вторая ночь» перевел Мандельштам. Вышла в ЛенГИЗе в 1926 г. А, может быть, — А. Даудистель. Его книгу «Жертва» — в переводе Мандельштама — издал «Прибой» в том же 1926 году. Груздев, Илья Александрович (1892—1960) — критик и литературовед. Входил в объединение «Серапионовых братьев». Работал в те годы в ЛенГИЗе.

№ 27. К. Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [февраль 1926]. Радловы — очевидно, Сергей Эрнестович Радлов (1892—1958), режиссер, художественный руководитель театров, и его жена — поэтесса и переводчица (в частности, Шекспира) — Анна Дмитриевна Радлова (1891—1951). «Шары» и «Кухня» — книги стихов для детей О. Э. Мандельштама: первая — с рисунками Н. Лапшина, ЛенГИЗ, 1926, вторая — с рис. В. Изенберга, изд. «Радуга», Ленинград, 1926.

№ 28. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [февраль 1926]. Книга стихов зарезана! — книга Мандельштама «Стихотворения» вышла в ЛенГИЗе только в 1928 г., а последние стихотворения в ней датированы 1925 годом... Следовательно, книгу задерживали более двух лет. Детский договор отвергнут. Не люблю Маршака! См. выше отзыв (уже теперешний!) Твардовского о детских стихах Мандельштама. С. Я. Маршак руководил в то время сектором детской литературы ЛенГИЗа.

№ 29. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [март 1926]. Клычков, Сергей Антонович (Лешенков, 1889—1940) — поэт и прозаик, примыкал к группе «крестьянских» поэтов. В 1937 г. арестован и погиб в лагерях НКВД. «Посмертно реабилитирован».

№ 30а. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ. Вышла книга Вагинова — в Ленинграде в 1926 году вышла книга стихов Вагинова, без названия (просто — «Константин Вагинов»), тиражом всего в 500 экз. (58 стр.). Константин Константинович Вагинов (1900—1934) — поэт и прозаик, член поэтического кружка «Звучащая Раковина». В 1920-х и начале 1930-х гг. был очень популярен в кругах литературной молодежи Ленинграда.

№ 32. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [март 1926]. Зубовский институт — Институт Истории Искусств в Ленинграде. Основан в 1912 г. графом Валентином Платоновичем Зубовым и до 1920 г. носил его имя. До 1925 г. — года отъезда за границу — во главе института стоял Зубов (р. 1885), ныне проживающий в Париже. Институт Истории Искусств, разгромленный в самом конце двадцатых гг., был цитаделью формалистов — Б. М. Эйхенбаума, Ю. Н. Тынянова и др. и — вместе с тем — последним оплотом серьезного, не-марксистского литературоведения и искусствоведения. В Институте — помимо учебной и научно-исследовательской работы — бывали выступления поэтов и прозаиков, открытые лекции. Институт выпускал свои Труды и Известия, отдельные книги. В своих воспоминаниях — «Институт Истории Искусств» — основатель института, В. Зубов, пишет: «Отделение истории словесных искусств требу-

ет наибольших объяснений. Уже до войны 1914 года в России начал обрисовываться иной подход к литературе, чем тот, которому учили нас в школе. Интересовало не содержание, а исключительно форма. Ряд исследователей занимался этими вопросами, и мысль о создании объединяющего центра носилась в воздухе, нужен был только толчок. Однажды вечером, не помню точно, в каком году, я был у Тамары Жуковской-Миклашевской-Красиной на Пушкинской улице. Тут же был Виктор М. Жирмунский; новорожденная дочь наркома Красина, Татарка, лежала в колыбели. Разговорились о формальном методе в литературе; я сказал Жирмунскому: 'Давайте устроим с вами отделение словесных искусств в моем институте'. Сказано — сделано: через короткое время отделение было на ногах. Я лично симпатизировал этому подходу к литературе, видя в нем родство с тем, который был моим в истории изобразительных искусств. Не будучи специалистом в этой области, я, конечно, ограничился первым импульсом, а затем отделение развивалось и жило собственной жизнью и не только достигло значительных научных результатов, но имело также влияние на литературное творчество того времени. Поэты и писатели участвовали в нем наряду с учеными, и таким образом наука и искусство взаимно обогащались. В качестве интересного опыта упомяну Кабинет изучения художественной речи... Там голоса поэтов регистрировались на цилиндрах фонографа, которые потом вертелись медленным темпом в соответствии с надобностями анализа. К сожалению в этом методе, к которому Наркомпрос сначала относился с благоволением, правительство впоследствии усмотрело противное догмам марксизма духовное направление. Уже в последние месяцы моего пребывания в России (я ее покинул летом 1925 года) возникали некоторые трения по этому поводу, а позже словесное отделение, объявленное гнездом буржуазного мировоззрения, создало опасность для существования всего института. Впоследствии... формальный метод был официально осужден партией и ученые, ему следовавшие, должны были публично каяться и заявлять о своем невежестве и ошибках. Председателем отделения был Виктор М. Жирмунский; из членов помню Мирона Жирмунского, двоюродного брата Виктора, Эйхенбаума, Виктора Шкловского, Михаила и Григория

Леонидовичей Лозинских, Модеста Гофмана, известного си-
нолога Алексея, Нестора Котляревского, Николая Степа-
новича Гумилева, Б. В. Томашевского, Юрия Тынянова;
студентами были тогда, ставшие впоследствии известными,
Николай Аркадьевич Коварский и Венъямин Каверин. Ко-
нечно, и это отделение много печатало, что не обходилось
без цензурных курьезов. Например, напечатали книжку, в
которой Бог был с большой буквы, — цензура не пропус-
кает. Надо, значит, уничтожить весь набор. Думали, дума-
ли, — решили в опечатках пометить: 'Бог след. чит. бог'.
Христос и Иисус должны были писаться с маленькой бук-
вы, а за одно и Пилат. Другой раз в какой-то переводной
книге было сказано, что негры неспособны к музыке. Так
это или не так, вопрос другой, но цензура обиделась за не-
гров...» («Мосты», Мюнхен, кн. 10, 1963, стр. 384—386). Ни-
колай Семенович Тихонов (р. 1896) — поэт и прозаик,
в те годы писавший яркие, талантливые произведения. «Ти-
хонов открывает собою очень короткую галерею крупных
послереволюционных поэтов, сумевших приспособиться.
Его ранние (и лучшие) сборники 'Орда' и 'Брага' — это
поэзия войны и мужества, в какой-то степени продолжаю-
щая линию раннего Гумилева, только Тихонов сдержан-
нее... Советского в них нет ничего, кроме разве романти-
ки гражданской войны в некоторых стихах 'Браги'. Потом
Тихонов устремляется в искания, проходит через влияния
Пастернака и Хлебникова, производит на свет много того,
что теперь называют 'формализмом', но в конце концов на-
чинает сочетать свой пафос с 'пафосом построения социа-
лизма на национальных окраинах Советского Союза', и —
хотя продолжает писать мастерски, — снижает первоначаль-
ный уровень своей поэзии. Правда, временами ему
удается создать даже совсем хорошие циклы ('Чудесная
тревога', 'Горы'), но все сознательно уравнивается (или
маскируется) откровенной дребеденью в необходимом ду-
хе. Временами задаешь себе вопрос: каким образом Тихо-
нов, со стальным героизмом его стихов, согнулся и пошел
в прихлебатели, в то время как тонкий, высокий, не от ми-
ра сего Мандельштам не сдался и умер героем» (Вл. Мар-
ков. Приглушённые голоса. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк,
1952, стр. 24—25).

№ 33. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [март 1926]. К у г е л ь, Александр Рафаилович (1864—1928) — литературный и, главным образом, театральный критик, драматург, режиссер. В 1908 г. — вместе с арт. З. В. Холмской основал театр сатиры и литературных пародий «Кривое Зеркало», которым руководил до 1928 г. В 1926 г. на сцене МХАТ была поставлена его пьеса «Николай I и декабристы». Щ е г о л е в, Павел Елисеевич (1877—1931) — историк, литературовед, киносценарист (сценарий — совместно с О. Д. Форш — фильма «Дворец и крепость», 1924), драматург (совместно с А. Н. Толстым — пьеса «Заговор императрицы», 1925), автор книг о Пушкине. К о м а р о в с к и й — граф Василий Алексеевич Комаровский (1881—1914) — поэт, высокую оценку стихам которого дали Гумилев, Ахматова (она посвятила ему и стихи), Сергей Маковский, Н. Пунин. Был сотрудником «Аполлона». Выпустил одну лишь книгу стихов: «Первая пристань», СПб, 1913 (84 стр.). А н н а А н д р е е в н а — Ахматова.

№ 37. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 16 марта [1926]. В о р о н с к и й, Александр Константинович (1884—1943) — публицист, литературный критик, писатель. Член коммунистической партии с 1904 г. В 1921—1927 гг. — редактор журн. «Красная Новь», редактор (1923—1927) журн. «Прожектор» и руководитель издательства «Круг». Воронежского травили, как «либерала», покровительствующего «попутчикам» и просто «чуждым элементам в литературе». В 1925—1928 гг. был исключен из партии по обвинению в принадлежности к троцкистской оппозиции. Арестован органами НКВД в 1937 г. и погиб в концентрационных лагерях. «Посмертно реабилитирован и восстановлен в партии» (Краткая Литер. Энциклопедия, т. 1, М., 1962, столб. 1047). В «Красной Нови» и в «Прожекторе» печатался в 1922—1923 гг. Мандельштам.

№ 38. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 17 марта [1926]. Н а р б у т, Владимир Иванович (1888—1938) — поэт, примыкавший к Цеху Поэтов — к акмеистам. После революции вступил в партию большевиков. Издавал в 1919—1920 гг. в Воронеже альманах «Сирена», где печатались Блок, Мандельштам, Ахматова. Играл видную роль в издательском и ли-

тературном мире в 1920-х гг. Арестован органами НКВД и погиб в заключении.

№ 39. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, осень 1926. Китайская — «Китайская деревня» (с Китайским театром) в Царском Селе, в парке дворца. Полуциркуль — там же — полуциркульный корпус Большого Дворца, в Царском (потом — «Детском» Селе, потом в Пушкине). В Царском Селе жили — в разное время — О. Э. и Н. Я. Мандельштамы. Об этом вспоминает А. А. Ахматова: «В 1925 году я жила с Мандельштамами в одном коридоре в пансионе Зайцева в Царском Селе. И Надя и я были тяжело больны, лежали, мерили температуру, которая была неизменно повышенной и, кажется, так и не гуляли ни разу в парке, который был рядом. Осип Эмильевич каждый день уезжал в Ленинград, пытаясь наладить работу, получить за что-то деньги. . . Там он диктовал мне свои воспоминания о Гумилеве. Одну зиму Мандельштамы (из-за Надиного здоровья) жили в Царском Селе, в Лицее. Я была у них несколько раз — приезжала кататься на лыжах. Жить они хотели в полуциркуле Большого Дворца, но там дымили печки и текли крыши. Таким образом возник Лицей. Жить там Осипу не нравилось» (Сочинения, т. 2, 1968, стр. 176—177). В этом письме «заходившая в Китайскую Анна Андреевна» — Ахматова. Войтовский, Лев Наумович (1876—1941) — критик-марксист, историк литературы, писатель. Миша Слонимский — Михаил Леонидович Слонимский (1897—) — прозаик, примыкавший к литературной группе «Серапионовых братьев». «Давидка» — Давид Выгодский — поэт, переводчик. Одно время (как раз начиная с 1926 г. — литературный редактор изд-ва «Прибой»).

№ 40. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [1926]. Макс — Максимилиан Александрович Волошин — см. о нем выше.

№ 49. К А. А. АХМАТОВОЙ, 25 августа 1928. Опубликовано впервые в очерке А. А. Ахматовой «Мандельштам» в нью-йоркском альманахе «Воздушные Пути», кн. IV, 1965, стр. 34; затем — во втором томе нашего собр. соч. Мандельштама, 1966, и втором томе сочинений А. Ахматовой, 1968,

стр. 177—178. Ахматова пишет: «В 1928 году Мандельштамы жили в Крыму. Вот письмо Осипа от 25 августа — день смерти Николая Степановича [Гумилева]... (Сочинения, т. 2. стр. 177). Павел Николаевич Лукницкий (р. 1900) — писатель. Печататься начал в 1923. Много странствовал по России — в том числе с этнографическими экспедициями.

№ 51. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [февраль 1930]. «Пионер» — детский журнал.

№ 52. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 24 февраля 1930. Лаповцы — члены писательского объединения ЛАПП — ленинградской ассоциации пролетарских писателей. «Комсомолец Востока» — газета. Ф О С П — Федерация объединения советских писателей (1929—1932). «Молодая Гвардия» — журнал ЦК Комсомола, выходит с 1922 г. в Москве. З и Ф — издательство «Земля и Фабрика», где, как указывалось выше, Мандельштамом, Лившицем и Горлиным редактировалось собрание романов Вальтер-Скотта — в 1928—1929 гг. В ЗиФе же вышел — под редакцией Мандельштама — роман де-Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле» (в 1928 г.), вызвавший травлю Мандельштама, расследование о нем и т. д. См. письма в редакцию во втором томе, 1966, и «Четвертую прозу» там же. О з е т — Общество (всесоюзное) по земельному устройству трудящихся евреев в СССР. Земли для евреев-земледельцев выделялись, в частности, в Северном Крыму. М а р г у л и с — см. мандельштамовские эпиграммы на него в первом томе — и примечания к ним. А с е е в, Николай Николаевич (1889—1965) — поэт, близкий одно время к Пастернаку, затем — долгие годы — к Маяковскому. А д у е в, Николай Альфредович (1895—1950) — поэт-сатирик, член коммунистич. партии с 1941 г. Л и д и н, Владимир Генрихович (р. 1894) — писатель. Составил также сборник автобиографий современных русских писателей.

№ 53. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [1930]. О с в а г — Осведомительное агентство, организация, ведавшая агитацией и пропагандой в Белой армии. И о н о в, Илья Ионович (Бернштейн, 1887—1942) — поэт, в 1920-х гг. заведовал ГИЗом

(Гос. издательством). Был репрессирован органами НКВД. Старый член коммунистической партии. «Московский Комсомолец» — газета, в которой работал в то время Мандельштам. Некоторые выражения и настроения этого письма перекликаются с «Четвертой прозой» Мандельштама.

№№55—56. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [весна 1935]. Речь в этих письмах идет о новой книге стихов Мандельштама, подготовлявшейся им в Воронеже («Воронежские тетради», как условно называются эти машинописные сборники). Так, в письмах упомянуты из этих тетрадей — «Чернозем», «Стрижка детей». Упоминается и радиоочерк Мандельштама «Юность Гете», публикуемый впервые в этом томе. Сергей Васильевич Шервинский (р. 1892) — поэт и переводчик.

№ 57. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 26 мая 1935. «Подъем» — воронежский литературный журнал. Видимо, Мандельштам хотел поместить там подборку своих новых стихов. Хотел поместить подборку своих стихов и в московских журналах или — еще желательнее — в «Литературной Газете» (включая «Стансы»). Левин — очевидно, Федор Маркович Левин (р. 1901), критик, литературовед, редакционный работник. Член партии с 1920 г. А может быть, Борис Михайлович Левин (1898—1940) — прозаик.

№ 60. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [конец 1935]. Щербakov, Александр Сергеевич (1901—1945). С 1932 — на работе в аппарате ЦК ВКП(б). С 1934 — секретарь Союза советских писателей (хотя решительно никакого отношения к писательству не имел)... Детгиз — Государственное издательство детской литературы. Эфрос, Абрам Маркович (1888—1954) — искусствовед, театровед, переводчик, в частности, Данте и Петрарки. Очевидно, шла речь о совместной книге переводов сонетов Петрарки. Сметанин, Григорий Александрович (1894—1952) — композитор, один из создателей Тамбовского Пролеткульта и хора при нем, автор произведений по преимуществу на темы советско-патриотические. В 1922—1950 гг. преподавал теоретические предметы в Тамбовском музыкальном училище.

№ 62. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [к о н е ц 1935]. Л у п о л, правильно — Л у п о л, Иван Капитонович (1896—1943) — литературовед, историк, философ-марксист. Член коммунистич. партии с 1920 г. С 1939 — академик. Арестован органами НКВД и погиб в лагерях. Посмертно реабилитирован. В и ш н е в с к и й, Всеволод Витальевич (1900—1951) — писатель-прозаик, драматург, киносценарист. Член коммунистической партии с 1937 г.

№ 66. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 3 я н в а р я [1936]. З е н к е в и ч, Михаил Александрович (1891—) — поэт и переводчик. Участник «Цеха Поэтов». В сущности, автор одной книги стихов — первой: «Дикой порфиры» (1912). Его позднейшее творчество представляет мало интереса. С 1947 г. — член коммунистической партии.

№№ 72—73. К К. И. ЧУКОВСКОМУ, [н а ч а л о 1937]. Опубликовано впервые в журн. «Грани», Франкфурт/М., № 63, 1967, стр. 29—30.

№ 74. К Ю. Н. ТЫНЯНОВУ, 21 я н в а р я 1937. Опубликовано впервые во втором томе нашего собр. соч. Мандельштама. 1966. Юрий Николаевич Тынянов (1894—1943) — писатель, литературовед, критик. Одно время его травили в печати, как «формалиста».

№ 75. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 19 а п р е л я [1937]. Н а т а ш а — Наталья Штемпель. См. примечание к стих. № 296 в первом томе наш. собрания, а также стихи Мандельштама, ей посвященные. «З н а м я» — московский ежемесячный журнал.

№ 79. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 30 а п р е л я [1937]. С т а в с к и й (Кирпичников), Владимир Петрович (1900—1943 — погиб на фронте) — писатель-очеркист, член коммунистической партии с 1918 г., с 1936 г. — после смерти М. Горького — генеральный секретарь Союза советских писателей.

№ 83. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 4 м а я [1937]. «К в а к у ш и». — стихотворение Мандельштама «Рим»: «Н а т а ш а» —

стихотворение «Клейкой клятвой пахнут почки». «Черемуха» — «На меня нацелилась груша да черемуха». Горько и пусто мне сочинять без тебя — «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не выходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах. Вообще я ничего подобного в жизни не видела. Сохранившиеся письма Мандельштама к жене полностью подтверждают это мое впечатление» (А. А. Ахматова. Мандельштам. Сочинения, т. 2, 1968, стр. 176).

№ 84. К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 7 мая [1937]. Сватовские стихи — «Клейкой клятвой пахнут почки».

№ 85. К А. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ, 20-е числа октября 1938. Опубликовано впервые в статье Г. Стукова «Еще о судьбе Мандельштама» в парижской газете «Русская Мысль», 5 февраля 1963. Затем — во втором томе собр. соч., 1966. С В И Т Л — Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь НКВД. О С О — Особое совещание НКВД.

ПИСЬМО ГРУППЫ ПИСАТЕЛЕЙ В ОТДЕЛ ПЕЧАТИ ЦК РКП(б). Опубликовано в кн. «К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе», М., 1925, стр. 106—107, и неоднократно перепечатывалось. Письмо направлено против той кампании систематической травли, какую вел журнал «На Посту» (1923—1925), орган наиболее агрессивных коммунизаторов литературы, вскоре (в 1925 г.) объединившихся в РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей), против писателей-«попутчиков».

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОСВЯЩЕНИЯ. Впервые опубликовано в журн. «Oxford Slavonic Papers», XI, 1964, pp. 114—136. Затем — с предисловием и примечаниями А. Саакянц — в журн. «Литературная Армения», 1966, № 1, стр. 52—69. Нами перепечатывается из «Лит. Армении» вместе с предисловием и примечаниями.

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ОТРЫВКИ

Добавление к первому тому

- № 492. **Но в Петербурге акмеист мне ближе.** Конец неразысканного нами стихотворения, посвященного Н. С. Гумилеву. Опубликовано впервые в очерке А. А. Ахматовой «Мандельштам» («Воздушные Пути», альм. IV, Нью-Йорк, 1965, стр. 27; затем — А. Ахматова. Сочинения под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, том 2, МЛС, 1968, стр. 170). «Гумилев рано и хорошо оценил Мандельштама. Они познакомились в Париже. См. конец стихотворения Осипа о Гумилеве. Там говорилось, что Николай Степанович был напудрен и в цилиндре: — — —» (А. Ахматова, Соч., т. 2, 1968, стр. 170).
- № 493. **Архистратиг вошел в иконостас.** Очевидно, отрывок из шуточного стихотворения, посвященного поэтессе (и переводчице Шекспира) Анне Дмитриевне Радловой (1891—1951). Опубликовано впервые в том же очерке А. А. Ахматовой («Воздушн. Пути», IV, 1965, стр. 29; А. Ахматова, Соч., т. 2, 1968, стр. 171). «Легенда о его увлечении Анной Радловой ни на чем не основана: 'Архистратиг вошел в иконостас — —'. Осип сочинил из веселого злорадства, а не *rag dépit* и с притворным ужасом шепнул мне: 'Архистратиг дошел', т. е. Радловой кто-то сообщил об этом стихотворении» (А. Ахматова. Соч., т. 2, 1968, стр. 171).
- № 494. **Полковнику Белавенцу.** Экспромт, сочиненный Н. С. Гумилевым совместно с Мандельштамом. Опубликован впервые в документальной повести Ольги Форш «Сумасшедший Корабль» (первоначально опубликована в журн. «Звезда», 1930, № 2, оконч. в № 12). Отдельн. изд. повести — Ленинград, 1931, в Издательстве Писателей в Ле-

нинграде (стихотворение это — на стр. 135). Преиздано со вступит. статьей Бориса Филиппова в Вашингтоне, в 1964 г., в издании Международного Литературного Содружества (стихотв. в этом издании на стр. 178). При этом у Ольги Форш не Белавенец, а Мелавенец. У нас — по публикации этого стихотворения в статье Корнея Чуковского «Что вспомнилось», в альманахе «Прометей», изд. «Молодая Гвардия», М., 1966, стр. 247. Ольга Форш приписывает этот экспромт одному Гумилеву: «Написался им как-то экспромт по одному смешному, прямо сказать 'личному случаю'. Из глухой, но еще сытой провинции неизвестный поклонник русской литературы прислал как-то в Сумасшедший Корабль (так называет Форш «Дом Искусств», организованный Горьким, в котором проживали тогда, в те голодные и холодные годы, и Гумилев, и Мандельштам, и сама Форш, и многие другие писатели. — Ред.) целый ящик яиц. По распределению пришлось по одной штуке на брата-писателя. Некий предприимчивый полковник Мелавенец... вспомнил кстати, что 'с миру по нитке — голому рубашка', справедливо доказуя писателям, что десять яиц — это чудесная яичница, а одно яйцо — пачкотня, он предложил каждому уступить ему свое скудное яичное право. Заполучив сотню яиц, предприимчивый полковник как в воду канул. Событие было запечатлено... так: (следуют стихи. Ред.) Замечательное определение последней строки было взято из одной поэмы ныне эмигрантского поэта, воспевшего некоего умеревшего офицера» (О. Форш. Сумасшедший Корабль. 1964, стр. 178—179). К. Чуковский рассказывает, что стихотворение создано совместно Гумилевым и Мандельштамом, а слово «умеревший» взято из стихов Николая Авдеевича Оцупа (1894—1959; с 1922 — в эмиграции). Но Белавенец (так он назван в публикации Чуковского) — по воспоминаниям Чуковского — не жуликоватый предприимчивый полков-

ник, а «один старичок . . . , составитель каких-то учебников», который «обратился к нам с жалобной просьбой — подарить ему все эти негодные яйца, авось он найдет хоть одно не совсем протухшее». «Мы охотно исполнили просьбу почтенного старца, а Гумилев совместно с Мандельштамом тут же сочинили для 'Чукоккалы' такие стихи: — — —» («Прометей», 1966, стр. 247). «Чукоккала» — знаменитый альбом К. Чуковского, в котором множество экспромтов поэтов и рисунков художников, записей прозаиков и литераторов всех жанров.

№ 495. Мир должно в черном теле брать. Публикуется впервые. Стихотворение это — из письма к Н. Я. Мандельштам [1935], опубликовано в этом томе под № 59.

ПРИЛОЖЕНИЕ ШЕСТОЕ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ
И
ПРИМЕЧАНИЯ
К ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ТОМАМ
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ
О. МАНДЕЛЬШТАМА**

ВАЛЕНТИН ПАРНАХ О МАНДЕЛЬШТАМЕ

В 1926 г. Парнах напечатал в одном весьма высокопробном американском трехмесячнике, издававшемся международной еврейской организации (*The Menorah Journal*) статью о русской литературе. Статья была напечатана в виде письма из Москвы, где Парнах в то время находился, но в редакционной справке об участниках номера было сказано, что он проживает в Париже (наши сведения о его возвращении в Россию в 1922 г. на постоянное жительство были, очевидно, неправильны, но в 1923—24 г. он жил еще в Советской России; о судьбе его после 1926 г. нам и посейчас неизвестно) и сотрудничает во французских литературных журналах. В своей статье, озаглавленной «В русском литературном мире», Парнах писал о роли евреев в новейшей русской литературе и останавливался на пяти писателях: недавно умершем М. О. Гершензоне, Борисе Пастернаке, Осипе Мандельштаме, Павле Антокольском и Борисе Лапине. Для Парнаха Пастернак стоял «в первом ряду русских поэтов». Он видел в нем сочетание футуризма с символизмом.

Говоря о Мандельштаме, Парнах отмечал, что он родился в Варшаве и был «потомком длинного ряда курляндских ювелиров» (хотя известно, что отец Мандельштама был торговцем кожами). Привезенный в Петербург в детстве, Мандельштам «был отдан в одну из лучших школ», писал Парнах. «Очарование этого прекрасного города, который некоторыми своими сторонами напоминает Рим, Венецию и Лондон, задело его на всю жизнь».

Упомянув поездку Мандельштама в Париж и его занятия, по возвращении, романской филологией, Парнах пишет: «Оторванный совершенно от общественных движений своего времени, он накануне революции забавлялся в фантастических стихах воспеванием России как будущего Ри-

ма и восхвалением архитектурных красот католичества. Обладая умственными свойствами талмудического порядка и пламенно любя прошлое Европы, он находил радость в сооружении самых странных литературных построек, в сочетании наново различных цивилизаций, в разрешении сложных проблем эстетической формы. Он делал смотр древней Греции, Риму Цицерона, Риму папскому, Лютеру, Парижу и т. д. В Европе он не видел ничего кроме огромного музея. Не имея прямой связи с действительной жизнью Запада, как истинный житель Петербурга он искал ее в книгах. Его стихотворения (К а м е н ь) высоко ценились интеллигенцией как в столице, так и в провинции. В свои школьные годы он участвовал в поэтическом движении, известном под именем 'акмеизма' — варианте символизма. Сильное влияние на него оказала патетическая манера французского ложноклассицизма, особенно Расина».

Парнах далее называл книги стихов Мандельштама, его «Шум времени» («Египетская марка» к тому времени еще не была напечатана) и некоторые переводы и писал: «В своей любви к прошлому Мандельштам больше европеец, чем сами европейцы. Но, будучи истинным сыном Петербурга, он принадлежит девятнадцатому веку, а иногда даже Средним Векам. Несмотря на попытки усвоить манеру Пастернака, он всегда отстает от времени».

Мы привели так подробно этот отзыв Парнаха о Мандельштаме, в котором верные замечания перемешаны с довольно нелепыми утверждениями, отчасти потому, что Парнах лично знал Мандельштама, и последний как-то использовал его фигуру, изображая героя своей «Египетской марки» (см. во 2-м томе нашего собрания примечания к этой повести, стр. 540—541), а отчасти потому, что это почти наверное — первый отзыв о Мандельштаме в американской печати. Не лишено интереса и то, что и в своем письме Мандельштам называет Парнаха «Парноком», а не так, как тот сам называл себя.

О НЕКОТОРЫХ ОБРАЗАХ МАНДЕЛЬШТАМА

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР

Творчество Мандельштама является лучшим подтверждением того, что изучение литературы никак не может быть изолированным — не только от жизни той или иной эпохи, но и от изучения произведений других искусств — изобразительных, архитектуры, музыки, театра. Мы уже немало говорили о музыкальных, архитектурных и живописных образах в творчестве Мандельштама. Сейчас скажем немного о таком — наиболее синтетическом — искусстве, как оперный театр, в творчестве поэта. Даже здания, сама архитектура оперных театров привлекает внимание Мандельштама. «Холодное лето» прямо и начинается с описания московского Большого театра: «Четверка коней Большого театра... Толстые дорические колонны... Площадь оперы...». Но особенно привлекает поэта Мариинский театр, нынешний Ленинградский Академический Театр Оперы и Балета. И хотя само здание и непривлекательно: «подъезжая с тылу к неприлично-ватерпруфному зданию Мариинской оперы...», — но внутренняя архитектура этого театра, как образцового театра оперы, заставляет Мандельштама воскликнуть: «— Обратите внимание: у античности был амфитеатр, а у нас — у новой Европы — ярус. И на фресках Страшного Суда и в опере». «Единое мироощущение», — резюмирует Мандельштам. И в той же «Египетской марке», откуда эти цитаты о Мариинской опере, где так много посвящено музыке вообще и опере в частности, — история и музыка соединяются воедино: «Дикая парабола соединяла Парнока с парадными анфиладами истории и музыки...». Мироздание и оперный театр — яру-

сы. Это и от Данте тоже: ярусы рая, чистилища, земной юдоли, ада. И оркестровая щель — почти что царство Персефоны, где «воинственная сложность скрипичного оркестра, запятанного в светящийся ров, где музыканты перепутались, как дриады, корнями и смычками . . .» («Ег. марка»). «. . . Я выхожу на площадь, еще слепой, глотая солнечный свет: мне ударяет в глаза величавая явь Революции и большая ария для сильного голоса покрывает гудки автомобилей . . .» («Холодное лето»). Опера (и вообще музыка) играла в жизни русской интеллигенции первых лет революции (да, пожалуй, до середины тридцатых годов) совершенно исключительную роль: если в драматический театр советская тематика, социалистический реализм и навязчивый социальный заказ стали внедряться уже в самом начале двадцатых годов, то опера (и балет) очень долго сопротивлялась наплыву советских полуфабрикатов, как оперных, так и балетных. А немногие попытки в этом направлении обычно проваливались на первых же представлениях. Поэтому опера, балет, симфоническая и камерная музыка были теми отдушинами, которые так ценились русской интеллигенцией в годы заущений и всяческих бед и притеснений. И еще: опера, оратория, своей торжественностью и героизмом, своим хоровым и оркестровым началом как-то отвечали — и более отвечали, чем драма, — тем тяжким и героическим годам, годам «сумерек свободы».

Перечислим некоторые из «оперных» («мариинских») реминисценций Мандельштама: «Летают Валькирии, поют смычки» (1913); «На театре и на праздном вече . . .» («Венецианской жизни мрачной и унылой», 1920). Ну, какое могло быть «вече» в Венеции? Но ведь здесь явно: «Садко» Римского-Корсакова — песнь Веденецкого Гостя . . . При одержимости Мандельштама музыкой это напрашивается само собою. Но особенно ярко запечатлелась в ряде стихотворений Мандельштама постановка в Мариинском театре «Орфея и Эвридики» Глюка. Поставленная еще в 1911 году, эта опера, в необычайных для того времени декорациях А. Я. Головина, ажурных, с применением внутрисценных занавесей, часто полупрозрачных, тюлевых, с условным расположением хора и балета как бы то спускающихся «в преисподняя земли», то вздымающихся «в поля елисейские» («ярусы» оперы и мироздания), была возобновлена в

тех же декорациях, в той же постановке балетмейстера М. М. Фокина, в 1919 году (прошла 7 раз), затем — два раза шла в 1920 году (в этом-то году и написаны стихотворения «Чуть мерцает призрачная сцена», «В Петербурге мы сойдемся снова» и «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг»). Особенно сильно отразило постановку «Орфея» стихотворение «Чуть мерцает призрачная сцена». Но дадим слово художнику постановки А. Я. Головину: «При постановке на Мариинской сцене можно было избрать один из двух путей: либо представить 'Орфея' в тех костюмах, в каких исполнялась эта трагедия на сценах Глюка, либо создать полную иллюзию античной действительности. Но ни то, ни другое толкование не казалось режиссеру и мне правильным, потому что, на наш взгляд, Глюк сочетал в едином плане элементы реальные, контрастные с условными, абстрактными. Вот почему мы решили подчинить всю постановку тому пониманию античности, какое было свойственно художникам XVIII века, т. е. мы рассматривали пьесу сквозь призму той эпохи, в которой жил и творил автор. Сцена была разделена на две строго разграниченные части: просцениум, где не было писанных декораций, а все было убрано только расшитыми тканями, и задний план, обработанный исключительно живописными приемами. Особенно важное значение было придано так называемым планировочным местам: пратикабли, поставленные на тех или иных местах, определили расположение групп и пути продвижения отдельных фигур. Например, во второй картине по сцене был проложен путь Орфея в ад с большой высоты вниз, а по сторонам этого пути, впереди его, помещены два больших скалистых выступа. При таком размещении планировочных мест фигура Орфея не сливалась с толпой фурий, а как бы господствовала над ними. Благодаря двум большим скалистым выступам по обеим сторонам сцены хор и балет располагались в виде двух групп, тянущихся из боковых кулис вверх. Картина преддверия ада синтетически выражала два борющихся движения: стремление Орфея вниз и движение фурий, сначала грозно встречавших Орфея, а потом смиряющихся. . . . Хор в Элизии был удален за кулисы. Это обстоятельство дало возможность устранить дисгармонию в движениях хора и балета, часто встречающуюся в оперной практике. Дело в

том, что в Элизиуме имеется однородная группа действующих лиц — „les ombres heureuses“, от которых требуется единая пластическая манера; если бы хор был оставлен на сцене, то невольно зрителю стало бы заметно, что одна группа поет, другая же танцует без пения. В третьем действии... когда Амур, Орфей и Евридика выступали на авансцену, сзади них главный занавес опускался...» (А. Я. Головин. Встречи и впечатления. Воспоминания художника. Изд. «Искусство», Л.—М., 1940, стр. 107—108). В стихотворении «Чуть мерцает призрачная сцена» «Орфей и Эвридика» также даны через восприятие современника: но не только автора — Глюка, но и зрителя нашего века, но и зимнего Петербурга. Не следует, думается, приводить строки, явно навеянные постановкой. Приведем из другого стихотворения первые две строки, навеянные хороводом теней в Элизиуме Глюка—Головина—Фокина: — «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг, с певучим именем вмешался»... Гораздо отдаленней, но все-таки ощутимы реминисценции «Орфея» в стих. «В Петербурге мы сойдемся снова».

ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ

Весьма устойчивый, частый образ Мандельштама: черное солнце, ночное солнце, солнце вчерашнее
И для матери влюбленной
Солнце черное взойдет.

...

Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уйдем.

(Как этих покрывал и этого убора, 1916).

У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.

...

Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян.

(Эта ночь неоправима, 1916).

Се черножелтый свет, се радость Иудей.
(Среди священников левитом молодым,
1917).

Это солнце ночное хоронит
Возбужденная играми чернь...
(Когда в темной ночи замирает, 1918?).

Человек умирает, песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.
(Сестры — тяжесть и нежность, 1920).

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем...

...

А ночного солнца не заметишь ты. (1920).

Отчасти примыкает к этому образу и черно-желтый денек декабрьского Петербурга-Ленинграда:

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток...

(Ленинград, 1930).

Ю. П. Иваск в своей статье (в этом томе) приводит интересную параллель — черное солнце Жерара де Нерваля. Но образ черного, ночного солнца — нередкий гость в мировой литературе, особенно религиозной. Приведем несколько примеров, из разных эпох и разных литератур.

Эллада. «Прежде всего Аполлона часто представляли и как бога-целителя и как бога-губителя, даже как бога смерти. ... Несомненно, богом смерти Аполлон является в мифах об Адмете и Алкестиде... 'Плутарх ... прямо говорит: У Аполлона и Ночи прорицалище в Дельфах общее' (Сервий)... «(А. Ф. Лосев. Античная мифология. М., 1957, стр. 290, 293, 315).

... Вдруг Менелаева кормщика Феб Аполлон невидимо
Тихой своею стрелой умертвил...

(Одиссея, пер. Жуковского, III, 279—280).

Дельфы, святилище и прорицалище Аполлона, названы в честь Дельфа, сына Аполлона. «Иные говорят, что его матерью была Мелена (Черная), дочь Кефиса...» (Павсаний. Описание Эллады. Том 2, М.—Л., 1940, стр. 413).

«Солнце, когда оно находится в верхней, т. е. в дневной

полусфере, называется Аполлоном. Когда же оно в нижней, т. е. в ночной, полусфере — то считается Дионисом, т. е. Либером-Отцом» (Макробий. Сатурналии).

Этот ярый (белый, дневной) и черный — ночной Аполлон — Феб и Дионис — невольно напоминают русско-славянских Белбога (Дажьбога) и Чернобога, как они представлялись русским романтикам — этнографам и писателям — первой половины прошлого века. И невольно вспоминается — опять оперная реминисценция! — песня Баяна из «Руслана и Людмилы» Глинки: «Природу вместе созидали Дажьбог и мрачный Чернобог». Но античная мифология говорит и о смерти Аполлона-Гелиоса, смерти солнца. Не во всех мифах Аполлон побеждает тьму, побеждает Пифона. Порфирий в «Жизни Пифагора» пишет об этом мудреце-поэте: «Когда он ближе подошел к Дельфам, он написал элегию на могиле Аполлона, высказавши в ней, что Аполлон был сыном Силена, что он был побежден Пифоном и что был похоронен в так называемом Триопеде, который получил свое наименование от того, что три дочери Триопа оплакали здесь Аполлона» (цитируем по указ. выше книге А. Ф. Лосева, стр. 355). Патриарх Евсевий (Об Евангельском приготовлении) также свидетельствует, что Гелиоса-Аполлона представляли, как «распределителя времен и мгновений . . . , правящего браздами зари и многозвездной ночи . . . » (там же, стр. 541).

Итак, Солнце — Аполлон, Гелиос, Феб — и бог светажизни, и бог ночи-смерти, и сам умирает, и его несут на погребальных черных носилках:

И вчерашнее солнце на черных носилках несут . . .
Эти же черные носилки в стихотворении «Венецкой жизни . . . »:

Всех кладут на кипарисные носилки . . .

Кстати, кипарис — дерево Аполлона-Феба. А похороны вчерашнего солнца:

Словно солнце мы похоронили в нем . . . (Петербурге).
И спутницы Аполлона — Аониды — представляются Мандельштаму не светлыми классическими музами, а хтоническими плакальщицами по жизни-солнцу:

. . . Я так боюсь рыданья Аонид . . .

(Я слово позабыл . . . , 1920).

Неоплатоники Ямвлих и император Юлиан Отступник (331—363) считали высшее трансцендентное единство — основу и первопричину всего Сущего — тождественным с Гелиосом-Солнцем, причем все другие боги — только эманации Солнца. Но оно же неизбежно включает в себя и свою противоположность — ночь, в силу «единства противоположностей». Для многих гностиков «вчерашним солнцем» и «сегодняшним солнцем» были образы круговращения бытия...

Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уйдем...

как страсти, которой ведает ночной Аполлон-Дионис. Дневной Аполлон-Феб отнюдь не покровитель любви. «Эрот... — он молод и — вдобавок к своей молодости — нежен...» (Платон. Пир. В кн. Платон. Избранные диалоги. ГИХЛ, М., 1965, стр. 147). Но — «сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы». И — чтобы избавиться от бремени любви (и легче снести времени время) — нужно принести себя в жертву «вчерашнему солнцу»: Страбон пишет о Левкаде, или «Белой Скале», острове близ берегов Акарннии: «Остров известен храмом Аполлона Левкаты и местом, прыжок с которого, по народному верованию, укрощает любовь. Так, Менандр говорит: "Там рассказывают, Сафо, пылая страстной любовью к надменному Фаону, первая бросилась с далековиднеющей скалы после молитвы к тебе, владыка-царь". Итак, по словам Менандра, Сафо прыгнула со скалы первая; но другие, более сведущие в древностях, называют первым Кефала, влюбленного в Птерела, сына Деионея. У левкадцев существовал издревле обычай, по которому ежегодно в жертву Аполлону одного из преступников бросали с высоты для отвращения гнева, причем прикрепляли к жертве предварительно всякого рода перья, привязывали птиц, чтобы летанием облегчить прыжок, а внизу принимали его лица, находившиеся в лодках, кругом расположенных, и охраняли по возможности принятого от всех опасностей, после чего удаляли за пределы страны». Приводя эту цитату, Лосев говорит, что сначала это было отнюдь не символическим, а подлинным жертвоприношением. «Во-вторых, самоубийство влюбленных, прыгающих с этой скалы в море, очевидно, считалось угодным Аполлону, враждебному обычным лю-

бовным переживаниям. В-третьих, еще у Гомера (Одиссея, XXIV, II) Левкадская скала помещалась за Океаном у входа в подземный мир, царство смерти. Если так, то свержение с Белой скалы в море есть символ схождения в Аид» (А. Ф. Лосев. Цит. соч., стр. 293—294). А море — символ жизни. Здесь, следовательно, нерасторжимость жизни, любви и смерти:

И море, и Гомер — все движется любовью...

(Бессонница. Гомер. Тугие паруса..., 1915). Любопытно — в свете приведенной выше цитаты из Страбона — вспомнить «тяжелые соты и нежные сети» — в стихотворении о любви и смерти: соты, пчелы, осы — спутники хтонического Аполлона. Сети улавливали бросавшихся с Левкадской скалы — во имя любви-нежности, в освобождение от тяжкой любви-страсти.

Византия. Русь. «Что же сказать о сущности самих солнечных лучей? Свет проистекает из Блага и является образом Благодати; и в прославлениях Благо именуется светом, ибо через образ является первообраз. ... Именно так же /обстоит дело/ с видимым образом божественной Благодати, т. е. с этим великим, всеосвящающим и всегда-светящим Солнцем, представляющим собой некое отражение Благого» (Псевдо-Дионисий Ареопагит. О божественных именах. Буэнос-Айрес, 1957, стр. 48—49). Но в Боге, говорит Дионисий, единство противоположностей. Протопоп Аввакум нередко в своем Жизнеописании ссылается на него. Так, он рассказывает: «Сей Дионисий еже не приидох в веру Христову, со учеником своим во время распятия Господа быв в Солнечном граде, и виде: солнце во тьму преложилося и луна в кровь, звезды в полудне на небеси явились черным видом. Он же ученику глагола: 'Или кончина веку приде, или Бог-Слово плотию стражет' (по тексту в книге: А. Н. Робинсон. Жизнеописания Аввакума и Епифания. АН СССР, М., 1963, стр. 140). Но уже в Апокалипсисе читаем: И когда Он /Агнец. — Ред./ снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь» (VI, 12).

Затмение солнца — черное солнце — предвестие гибели. «... Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ от не-

го вся своя воя прикрыты... . . . Солнце ему тьмою путь заступаше...» (Слово о полку Игореве).

На миниатюрах византийских и русских (переводных) космографий, в частности, на миниатюрах рукописей «Христианской топографии» Косьмы Индикоплова, нарисованы — с двух сторон — два солнца: светлое и «ночное» — темное (черное).

Количество примеров может быть увеличено бесконечно.

Талмуд. В Талмуде рассказывается, что когда Моисей должен был по Божьему приговору умереть, так и не увидя народ свой в Земле Обетованной, куда сорок лет вел он его, он, Моисей, возроптал и привел в свидетели своего права дожить до водворения в Земле Обетованной всех духов земли и неба, все светила небесные, — и все свидетели — вместе с Моисеем — утверждали, что несправедливо Моисею умирать сейчас, ибо «в Торе сказано: в тот же день отдай /наемнику/ плату его. И всплыли солнце и месяц с неба в Зебул /Третье Небо/ и сказали: — Владыка! Если Ты суд праведный совершишь над Бен-Амрамом /Моисеем/, мы далее будем светить; если же нет, мы светить не будем» (Агада. Часть первая. Изд. С. Д. Зальцман, Берлин, /1922?/, стр. 124). О пророке Самуиле: «Прежде чем закатиться солнцу одного праведника, Господь зажигает солнце другого праведника» (там же, стр. 139). У Мандельштама:

И вчерашнее солнце на черных носилках несут...
И, поскольку, по словам Ахматовой, тут речь идет о Пушкине, другие строки:

Стояло солнце Александра

Сто лет назад, сияло всем...

(К а с с а н д р е, 1917).

В той же Агаде рассказывается, как — ради пророка Иезекии — было задержано движение солнца «и вчерашний день вернулся назад к утру своему» (Агада, ч. 1, Берлин, 1922?, стр. 177). «Черно-желтый» свет, «черно-желтый» ритуал — реминисценции иудаизма, и они весьма своеобразно сочетаются воедино с «черным» и «вчерашним» солнцем, с солнцем ночным эллинской мифологии, с гностицизмом и византизмом, со славянскими пра-корнями и даже с «желтизной правительственных зданий» императорского

Петербурга, с императорским штандартом Дворцовой площади:

Только там, где твердь светла,
Черно-желтый лоскут зрится...

И — с трагическим пореволюционным, советским Петербургом-Ленинградом:

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток...

Наследник огромной — неподъем, казалось бы, одному человеку! — культуры Средиземноморья и России, Манделъштам глубоко чувствовал ее истоки. И когда Надежда Павлович в своих воспоминаниях, цитировавших уже нами, рассказывает, как он, Манделъштам, спрашивал ее: а кто такие Аониды?, — этот вопрос следует понимать отнюдь не в смысле справки из рядового энциклопедического словаря: Манделъштам доискивался не трафаретного образа, ходячего штампа антологической поэзии восемнадцатого-девятнадцатого века: его зияния, Персефоны и рыдающие Аониды — отзвук хтонических божеств Пра-Эллады. И не только там увидел он черное, смертельное, ночное, вчерашнее солнце: он увидел его и в черно-желтом свете Талмуда и Библии, и в византийских космографиях, и в иконах и повестях древней Руси. И, как всегда бывает, один образ, отягченный при этом не только личной поэтической интуицией, но и нагрузкой всех напластований великой культуры Эллады, Рима, Иудеи, Христианской Европы, — вызывает вереницу других образов: в мифографии Египта и Иудеи Солнце — Предвечный Свет — Бог изображается как «Всевидающее Око» — глаз в мистическом треугольнике (три стороны треугольника: прошлое, настоящее и будущее, для Бога сосуществующие в Единстве и Целостности). Этот образ перешел и в христианство. Итак — образ солнца-Бога — глаз. И образ единства времени, а, следовательно, и сверхвременности — глаз. У Манделъштама:

Кто веку поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших...

...

Два сонных яблока у века-властелина...

(1 января 1924, 1924).

Те же образы и те же строки в стихотворении «Нет, никогда ничей я не был современник» (1924). И г л а з н ы е

яблоки Солнца-Бога-Вседержителя времен и сроков невольно переходят в яблоко-державу, как знак всемирной Римской империи, вообще имперскости: «Два сонных яблока у века властелина . . .» А там — опять модификация Солнца-Бога-Вседержителя Времен и Вечности, обмирщенного в земную имперскость: подмораживающий зимний ветер, «пахнущий яблоком, как встарь». Это — от Леонтьева с его опаской: мир гниет, распадается в плохоразличимые, аморфные эгалитарности-ничтожества. Нужно его, мир этот, подморозить . . . А мороз в русском сознании (и литературе) часто пахнет крепким антоновским яблоком . . . Но от Вседержителя Времен и имперскости земной — один шаг к образу кругов-полушарий географической карты мира: «. . . карта полушарий Ильина. Парнок черпал в ней утешение. . . Аквамариновые и охраемые полушария, как два больших мяча, затянутые в сетку широт, . . . заключают в себе сгущенное пространство и расстояние . . .» («Египетская марка»).

О сопровождающих мандельштамовскую Персефону и Психею (а также хтонического Аполлона) осах и пчелах интересную статью написал К. Ф. Тарановский: «Пчелы и осы в поэзии Мандельштама: к вопросу о влиянии Вячеслава Иванова на Мандельштама» (в сборн. *То Honor Roman Jakobson*. Mouton, The Hague-Paris, 1967, pp. 1973—1995). Кстати, пчелы — не только спутники Аполлона, Персефоны, а и один из символов имперской власти: алые мантии, бархат алых тронных кресел Наполеона были расшиты золотыми пчелами . . . Это — тоже один из источников мандельштамовских поэтических реминисценций . . .

О ЩЕГЛАХ ВОРОНЕЖСКИХ СТИХОВ

В Воронежских стихах Мандельштама чрезвычайно большое место занимают стихи о щегле. Стихи виртуозные, использующие все приемы имитации, словесной игры, превосходно инструментированные. Часто они сопрягают щегла и ребенка. Можно предположить, что эти стихи — в списках, которые ходили по рукам, — были известны Н. А. Заболоцкому, так как одно из его стихотворений, датирован-

ное 1948 годом, является как бы поэтической полемикой с Мандельштамом. Заболоцкий очень высоко ценил поэзию Мандельштама. Мы — в примечаниях к первому тому — указывали на это, указывали и на некоторые параллели в стихах Мандельштама и Заболоцкого. Но стихотворение Заболоцкого (очень формально — для Заболоцкого — слабое) «Читая стихи» показывает, что поэт не принял и осудил «щеглов» Мандельштама:

Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти не похожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг.

И в бессмыслице скомканной речи
Изошренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечья
В жертву этим забавам принести?

И возможно ли русское слово
Превратить в щebetанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?

Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.

Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

(Николай Заболоцкий. Стихотворения. Под общ. ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. МЛС, 1965, стр. 132; несколько позднее — Н. А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. М.—Л., 1965, стр. 113).

Эта «полемика» интересна и потому, что здесь — полемика между двумя крупнейшими поэтами России 20—30-х годов, — и потому, что показывает два пути русских поэтов: от кларизма-классицизма к суггестивной образности и

сюрреализму или даже тому, что условно можно назвать русским футуризмом; и от «будетлянства» — футуризма — к классицизму. Приведенные выше стихи никак не похожи на изумительные «Столбцы» и «Торжество земледелия».

ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ В ПЕРВОМ ТОМЕ

Исправление

Стихотворение «Как из одной высокогорной щели» ошибочно отнесено редакторами как в первом, так и во втором издании первого тома — к оригинальным произведениям Мандельштама, в то время, как оно является вариантом последних шести строк перевода сонета Ф. Петрарки «Когда уснет земля и жар отпышет».

**АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ТРЕТЬЕМ ТОМЕ СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ**

	Страницы тек- при- ста меч- аний
Архистратиг вошел в иконостас	347 393
Батум	11 352
Березиль. (Из киевских впечатлений)	102 361
Веер герцогини	52 359
Возвращение	20 353
Вокруг натуралистов	133 368
Государство и ритм	123 363
Детская литература	50 357
Жак родился и умер	57 359
Жан Ришар Блох	84 360
Жорж Дюамель	87 360
Записи 1931 года (Записные книжки. Заметки. Черновики)	146 369
Записи и отрывки неизвестных лет (Записные книжки. Заметки. Черновики:	
... Прообразом исторического события...	191 375
... Я утверждаю, что множество моло- дых поэтов...	191 375
Записи 1935—1936 годов. (Зап. Книжки. Замет- ки. Черновики)	192 375
Записные книжки 1931—1932 годов (Зап. кни- жки. Заметки. Черновики):	
К «Путешествию в Армению»	147 369
/Из письма/	169 374

	Страницы тек- при- ста меч- аний	
Литературный стиль Дарвина (К статье «Вокруг натуралистов») .	169	374
Запись 1932 года. — Запись об Аполлоне Григорьеве (Зап. книжки. Заметки. Чернов.)	178	374
Игорь Северянин. Громокипящий Кубок (Рец.) .	83	360
/Из письма/ Зап. книжки. Заметки. Черновики)	169	374
К «Заметкам о Шенье» (Зап. книжки. Заметки. Черновики)	144	369
К «Путешествию в Армению» (Зап. книжки. Заметки. Черновики)	147	369
К статье «Франсуа Виллон» (Зап. книжки. Заметки. Черновики)	143	369
Киев	5	351
Кое-что о грузинском искусстве	36	356
Коллективное письмо писателей в Отдел печати ЦК РКП(б)	295	392
Кровавая мистерия 9-го января	128	365
Кукла с миллионами	115	362
Литературный стиль Дарвина (Зап. книжки. Заметки. Черновики. — К статье «Вокруг натуралистов»)	169	374
Луи Перго. Рассказы из жизни животных .	94	360
Мир должно в черном теле брать	348	395
Михоэлс	106	361
... Но в Петербурге акмеист мне ближе . . .	347	393
О современной поэзии (К выходу «Альманаха Муз»)	27	355
Огюст Барбье	45	357
П и с ь м а:		
№ 49. К А. А. Ахматовой	255	388
№ 2 К С. К. Маковскому	196	377
№№ 5—6, 10—48, 50—67, 75—84. К Н. Я. Мандельштам на стр.: текст		

— 197—198, 203—255, 256—275, 281		
—291; примеч. — 378, 380—388, 389		
—391, 391—392.		
№ 85. К А. Э. Мандельштаму (и жене)	292	392
№№ 68—70. К Е. Э. Мандельштаму	275—277	
№№ 3—4. К матери	196	378
№№ 8—9. К отцу	200—201	379
№ 1. Федору Сологубу	195	376
№ 74. К Ю. Н. Тынянову	280	391
№№ 7, 71. К В. Я. Хазиной	199, 277	
№№ 72—73. К К. И. Чуковскому	278—279	391
Письмо о русской поэзии	31	356
Полковнику Белавенцу	347	393
...Прообразом исторического события... (Зап. книжки. Заметки. Черновики)	191	375
Разговор о Данте. Из первоначальной редак- ции. Из черновых записей и заметок (Зап. книжки. Заметки. Черновики)	179	374
Революционер в театре	40	356
Скипетр. Абель Арман	90	360
Художественный театр и слово	99	361
Юность Гете	61	359
... Я утверждаю, что множество молодых по- этов... (Зап. книжки. Заметки. Черно- вики)	191	375
Яхонтов	111	362

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Иваск. Дитя Европы	I
Никита Струве. Судьба Мандельштама	XXII
Борис Филиппов. Неизвестный Мандельштам	XXXV
От редакторов	XLVII

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Воспоминания. Очерки

Киев	5
Батум	11
Возвращение	20

Статьи о литературе и искусстве

О современной поэзии (К выходу «Альманаха Муз»)	27
Письмо о русской поэзии	31
Кое-что о грузинском искусстве	36
Революционер в театре	40
Огюст Барбье	45
Детская литература	50
Веер герцогини	52
Жак родился и умер	57
Юность Гете	61

Рецензии и «внутренние рецензии»

Игорь Северянин. Громокипящий кубок	83
Жан Ришар Блох	84
Жорж Дюамель	87
Скипетр. — Абель Арман	90
Луи Перго. Рассказы из жизни животных	94

Статьи о театре и кино	
Художественный театр и слово	99
Березиль (Их киевских впечатлений)	102
Михоэлс	106
Яхонтов	111
Кукла с миллионами	115
Статьи на разные темы	
Государство и ритм	123
Кровавая мистерия 9-го января	128
Вокруг натуралистов	133
Записные книжки. Заметки. Черновики	
К статье «Франсуа Виллон»	143
К «Заметкам о Шенье»	144
Записи 1931 года	146
Записные книжки 1931—1932 годов:	
1. Путешествие в Армению	147
/Из письма/	169
2. Литературный стиль Дарвина	169
Запись 1932. Запись об Аполлоне Григорьеве	178
Разговор о Данте. Из первоначальной редакции, из черновых записей и заметок	
	179
Записи и отрывки неизвестных лет:	
... Прообразом исторического события...	191
Я утверждаю, что множество молодых поэтов...	191
Записи 1935—1936 годов	192
Письма	
1. К Федору Сологубу, 27 апреля 1915	195
2. К С. К. Маковскому, 8 мая 1915	196
3. К матери, 20 июля 1915	196
4. К матери, 20 июля 1916	196
5. К Н. Я. Мандельштам, 5 декабря /1919/	197
6. К Н. Я. Мандельштам, 9 марта 1921	198
7. К В. Я. /Хазиной/, /май-июнь/ 1921	199
8. К отцу, /ранняя весна 1923/	200
9. К отцу, /зима 1923—1924/	201
10. К Н. Я. Мандельштам, /осень 1925/	203
11. " " 5 октября 1925	204
12. " " /конец 1925?/	205

13.	К Н. Я. Мандельштам,	конец января 1926/	. . .	205
14.	„	„	2 февраля /1926/	. . . 206
15.	„	„	/начало 1926/	. . . 208
16.	„	„	7 февраля /1926/	. . . 209
17.	„	„	/февраль 1926/	. . . 211
18.	„	„	/февраль 1926/	. . . 212
19.	„	„	/февраль 1926/	. . . 213
20.	„	„	/февраль 1926/	. . . 214
21.	„	„	12 февраля /1926/	. . . 215
22.	„	„	/февраль 1926/	. . . 217
23.	„	„	/февраль 1926/	. . . 218
24.	„	„	17 февраля /1926/	. . . 220
25.	„	„	/февраль 1926/	. . . 222
26.	„	„	/февраль 1926/	. . . 223
27.	„	„	/февраль 1926/	. . . 225
28.	„	„	/февраль 1926/	. . . 227
29.	„	„	/март 1926/	. . . 229
30.	„	„	5 марта /1926/	. . . 230
30а.	„	„	(продолжение предыду- щего письма или отдель- ное письмо?)	. . . 232
31.	„	„	7 марта /1926/	. . . 232
32.	„	„	/март 1926/	. . . 233
33.	„	„	/март 1926/	. . . 235
34.	„	„	/март 1926/	. . . 237
35.	„	„	/март 1926/	. . . 238
36.	„	„	/март 1926/	. . . 240
37.	„	„	16 марта /1926/	. . . 240
38.	„	„	17 марта /1926/	. . . 241
39.	„	„	осень 1926	. . . 242
40.	„	„	/1926/	. . . 244
41.	„	„	/1926/	. . . 246
42.	„	„	/1926/	. . . 247
43.	„	„	/1926/	. . . 249
44.	„	„	/1926/	. . . 250
45.	„	„	/1926/	. . . 252
46.	„	„	/1926/	. . . 253
47.	„	„	/1926/	. . . 254
48.	„	„	15 октября 1926	. . . 255
49.	К А. А. Ахматовой,	25 августа 1928	. . .	255

50.	К Н. Я. Мандельштам,	/февраль 1930/	256
51.	„	„ /февраль 1930/	256
52.	„	„ 24 февраля 1930	257
53.	„	„ /1930/	260
54.	„	„ /1930-е гг./	262
55.	„	„ /весна 1935/	263
56.	„	„ /весна 1935/	263
57.	„	„ 26 мая 1935	264
58.	„	„ /1935/	265
59.	„	„ /1935/	265
60.	„	„ /конец 1935/	266
61.	„	„ /конец 1935/	268
62.	„	„ /конец 1935/	269
63.	„	„ /конец 1935/	270
64.	„	„ 1 января 1936	271
65.	„	„ 2 января /1936/	273
66.	„	„ 3 января /1936/	273
67.	„	„ /начало января 1936/	275
68.	К Е. Э. Мандельштаму,	8 января 1936	275
69.	К Е. Э. Мандельштаму,	/начало 1936/	276
70.	„	„ 4 февраля 1937	277
71.	К В. Я. Хазиной,	/начало 1937/	277
72.	К К. И. Чуковскому,	/начало 1937 ?/	278
73.	„	„ /начало 1937/	279
74.	К Ю. Н. Тынянову,	21 января 1937	280
75.	К Н. Я. Мандельштам,	19 апреля /1937/	281
76.	„	„ 23 апреля /1937/	282
77.	„	„ 26 апреля /1937/	283
78.	„	„ 28 апреля /1937/	284
79.	„	„ 30 апреля /1937/	285
80.	„	„ /конец апреля 1937/	287
81.	„	„ 2 мая /1937/	288
82.	„	„ 4 мая /1937/	289
83.	„	„ 4 мая (второе письмо)/1937/	290
84.	„	„ 7 мая /1937/	291
85.	К А. Е. Мандельштаму (и жене),	/20-е числа ок- тября 1938/	292

Приложение первое

Коллективное письмо писателей в ЦК РКП(б)	295
---	-----

Приложение второе

Письма В. Я. Хазиной к дочери — Н. Я. Мандельштам:	
I. /1935—1936 г./	299

II. /Январь 1937/	300
Приложение третье	
Марина Цветаева. История одного посвящения	
А. Саакянц. /Вступительная заметка/	303
М. Цветаева. История одного посвящения	306
Приложение четвертое	
Шуточные стихотворения, отрывки.	
492. ... Но в Петербурге акмеист мне ближе	347
493. Архистратиг вошел в иконостас	347
494. /К о л л е к т и в н о е — с Н. С. Г у м и л е в ы м/ Полковнику Белавенцу	347
495. Мир должно в черном теле брать	348
Приложение пятое	
Примечания	351
Приложение шестое	
Дополнительные заметки и примечания к первому и второму томам	
Валентин Парнах о Мандельштаме	399
О некоторых образах Мандельштама	401
Приложение седьмое	
Библиография	417
Алфавитный указатель произведений	
О. Э. Мандельштама	543

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

IV - дополнительный том

Под редакцией Г. Струве, Н. Струве и Б. Филипова

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne Ste-Geneviève, 75005 Paris

1981

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Собрание сочинений было закончено в 1971 г. вторым изданием второго тома, в который уже вошли первые дополнения к трехтомнику. С тех пор прошло десять лет; за это время были найдены новые тексты Мандельштама, затерявшиеся в редких современных изданиях или в архивах. Настоящий дополнительный том приближает Собрание к почти академической полноте.

Изучение Мандельштама за тот же десятилетний период обогатилось, как в России так и зарубежом, рядом монографий и научных статей. В виду их обилия, мы изменили в дополнительном томе принцип библиографии, ограничиваясь книгами и статьями, посвященными целиком или в значительной мере Мандельштаму. Перечислять работы, где Мандельштам только упоминается, нам показалось излишним.

Всем, кто помог нам в составлении этого тома мы приносим искреннюю благодарность, особенно главным вкладчикам, В. Швейцер и Ю. Иваску.

Н. Струве

СТИХИ

О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала,
 Колыхала мой челн, челн подвижный, игривый
и острый.

В водном плеске душа колыбельную негу слыхала,
 И поотдадь стояли пустынные скалы, как сестры.
 Отовсюду звучала старинная песнь — Калевала:
 Песнь железа и камня о скорбном порыве Титана.
 И песчанная отмель — добыча вечернего вала
 Как невеста белела на пурпуре водного стана.
 Как от пьяного солнца бесшумные падали стрелы,
 И на дно опускались и тихое дно зажигали;
 Как с небесного древа клонилось, как плод перезрелый,
 Слишком яркое солнце и первые звезды мигали; —
 Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый;
 И не знаю, как долго. не знаю кому я молился...
 Неоглядная Сайма струилась потоками лавы.
 Белый пар над водою тихонько вставал и клубился.

20-IV-1908

497.

Музыка твоих шагов
В тишине лесных снегов.

И, как медленная тень,
Ты сошла в морозный день

Глубока, как ночь, зима
Снег висит как бахрома.

Ворон на своем суку
Много видел на веку.

А встающая волна
Набегающего сна

Вдохновенно разобьет
Молодой и тонкий лед,

Тонкий лед моей души —
Созревающей в тиши.

[1908-09]

498.

В непринужденности творящего обмена,
Суровость Тютчева — с ребячеством Верлена
Скажите — кто бы мог искусно сочетать,
Соединению придав свою печать?
А русскому стиху так свойственно величье,
Где вешний поцелуй и щебетанье птичье!

[1908].

Довольно лукавить: я знаю,
 Что мне суждено умереть;
 И я ничего не скрываю:
 От Музы мне тайн не иметь...

И странно: мне любо сознание,
 Что я не умею дышать;
 Туманное очарование
 И таинство есть — умерать...

Я в зыбке качаюсь дремотно
 И мудро безмолвствую я:
 Решается бесповоротно
 Грядущая вечность моя!

[1908] или [1911]

500. ПИЛИГРИМ

Слишком легким плащом одетый,
 Повторяю свои обеты.

Ветер треплет края одежды —
 Не оставить ли нам надежды?

Плащ холодный — пускай скитальцы —
 Безотчётно сжимают пальцы.

Ветер веет неутомимо
 Веет вечно и веет мимо.

[1909]

501.

Сквозь восковую занавесь,
 Что нежно так сквозит,
 Кустарник из тумана весь
 Заплаканный глядит.

Простор, канвой окутанный,
 Безжизненной кулис,
 И месяц весь опутанный,
 Беспомощно повис.

Темнее занавестись;
 Все небо охватить:
 И пойманного месяца
 Совсем не отпустить.

1909.

502.

. коробки
 лучшие игрушки.
 . . . на пальмовой верхушке
 Отмечает листья ветер робкий.

Неразрывно сотканный с другими
 Каждый лист колеблется отдельно.
 Но в порывах ткани беспредельно
 И мирами вызвано иными —

Только то, что создано землею.
 Длинные, трепещущие нити,
 В тщетном ожидании наитий
 Шелестящие своей длиною.

[1910]

503.

Листьев сочувственный шорох
Угадывать сердцем привык,
В темных читаю узорах
Смиренного сердца язык.

Верные, четкие мысли —
Прозрачная, строгая ткань...
Острые листья исчисли —
Словами играть перестань.

К высям просвета какого
Уходит твой лиственный шум —
Темное дерево слова,
Ослепшее дерево... дум?

Гельсингфорс, май 1910

504.

В изголовьи черное распятие,
В сердце жир и в мыслях пустота —
И ложится тонкое проклятье —
Пыльный след — на дерево креста.

Ах, зачем на стеклах дым морозный
Так похож на мозаичный сон!
Ах, зачем молчанья голос грозный
Безнадежный негой растворен!

И слова евангельской латыни
Прозвучали, как морской прибор;
И волной нахлынувшей святыни
Поднят был корабль безумный мой.

431

Нет, не парус, распятый и серый,
С неизбежностью меня влечет —
Страшен мне «подводный камень веры»,*
Роковой ее круговорот!

Петербург, ноябрь 1910.

505.

Стрекозы быстрыми кругами
Тревожат черный блеск пруда
И вздрагивает, тростниками
Чуть окаймленная, вода.

То — пряжу за собою тянут;
И, словно, паутину ткут;
То — распластавшись — в омут канут —
И волны траур свой сомкнут.

И я, какой то невеселый,
Томлюсь и падаю в глуши —
Как будто чувствую уколы
И холод в тайниках души...

1911.

506.

Медленно урна пустая
Вращаясь над тусклой поляной
Сеет надменно мерца
Туманы в лазури ледяной.

* Тютчев.

Тянет, чарует и манит —
Непонят, невынут, нетронут —
Жребий — и небо обманет
И взоры в возможном потонут.

Что расскажу я о вечных,
Заочных, заоблачных странах:
Весь я в порывах конечных,
В соблазнах, изменах и ранах.

Выбор мой труден и беден
И тусклый простор безучастен.
Стыну — и взор мой победен
И круг мой обыденный страстен.

11 февраля 1911.

507.

Я знаю, что обман в видении немислим,
И ткань моей мечты прозрачна и прочна;
Что с дивной легкостью мы, сôзидавая, числим
И достигает звезд полет веретена.

Когда, овеяно потусторонним ветром,
Оно оторвалось от медленной земли,
И раскрывается неуловимым метром
Рай, распростертому в уныньи и в пыли.

Так ринемся скорей из области томленья —
По мановению эфирного гонца —
В край, где слагаются заоблачные звенья
И башни высятся заочного дворца!

Несозданных миров отмститель будь художник —
Несуществующим существованье дай;
Туманным облаком окутай свой треножник
И падающих звезд пойми летучий рай!

июль 1911.

508.

Когда подымаю,
Опускаю взор —
Я двух чаш встречаю
Зыбкий разговор.

И мукою в мире
Внесены мои
Тяжелые гири
Шаткая ладья.

Знают души наши
Отчаянья власть:
И поднятой чаше
Суждено упасть.

Есть в тяжести радость
И в паденьи есть
Колебаний сладость —
Острой стрелки месть.

июнь 1911.

509.

Дождик ласковый, тихий и тонкий
Осторожный, колючий, слепой,
Капли строгие скупы и звонки
И отточен их звук тишиной.

434

То — так счастливы счастием скромным,
Что упасть на стекло удалось;
То, как будто, подхвачена темным
Ветром, струя уносится вкось.

Тайный ропот, мольба о прощеньи:
Я люблю непонятный язык!
И сольются в одном ощущеньи
Вся жестокость, вся кротость, на миг.
В цепких лапах у царственной скуки
Сердце сжалось, как маленький мяч:
Полон музыки, музы и муки
Жизни тающей сладостный плач!

22 авг. 1911.

510.

Не спрашивай: ты знаешь,
Что нежность безотчетна
И как ты называешь
Мой трепет — все равно;

И для чего признание,
Когда бесповоротно
Мое существованье
Тобою решено?

Дай руку мне. Что страсти?
Танцующие змеи!
И таинство их власти
Убийственной молчит!

И змей тревожный танец,
Остановить не смея,
Я созерцаю глянец
Девических ланит.

7 августа 1911.

511.

В белом раю лежит богатырь:
Пахарь войны, пожилой мужик.
В серых глазах мировая ширь:
Великорусский державный лик.

Только святые умеют так
В благоуханном гробу лежать;
Выпростав руки, блаженства в знак,
Славу свою и покой вкушать.

Разве Россия не белый рай
И не веселые наши сны?
Радуйся, ратник, не умирай:
Внуки и правнуки спасены!

дек. 1914.

512.

Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!
Помоги мне в эту ночь
Солнце выручить из плена —
Помоги мне пышность тлена
Стройной песнью превозмочь,
Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!

1916.

513. ЖЕЛЕЗО

Идут года железными полками
И воздух полн железными шарами.
Оно бесцветное — в воде, железясь,
И розовое, на подушке грезясь.

Железная правда — живой на зависть
Железен пестик и железна завязь.
И железой поэзия в железе
Слезящаяся в родовом разрезе.

22 мая 1935.

514.

Тянули жилы, жили были
Не жили, не были нигде
Бетховен и Воронеж — или
Один или другой — злодей.

На базе тёмных отношений
Производили глухоту
Семидесяти стульев тени
На первомайском холоду.

В театре публики лежало
Не больше трёх карандашей
И дирижёр, стараясь мало,
Казался чортом средь людей.

май 1935.

515.

Ты должен мной повелевать,
А я обязан быть послушным.
На честь, на имя наплевать —
Я был больным и стал тщедушным.

Так пробуй выдуманный метод,
Напропалую, напрямик,
Я — беспартийный большевик,
Как все друзья, как недруг этот.

Воронеж, 1935

516.

Мир начинался страшен и велик:
Зеленой ночью папоротник черный.
Пластами боли поднят большевик —
Единый, продолжающий, бесспорный,
Упорствующий, дышащий в стене.
Привет тебе, скрепитель дальнотзоркий
Трудящихся. Твой угольный, твой горький
Могучий мозг, гори, гори стране.

апр. май 1935.

517. (СТИХИ О СТАЛИНЕ)

1.

Когда б я уголь взял для высшей похвалы —
Для радости рисунка непреложной, —
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно.
Чтоб настоящее в чертах отозвалось,
В искусстве с дерзостью гранича,
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Ста сорока народов чтя обычай.
Я б поднял брови малый уголок,
И поднял вновь и разрешил иначе:
Знать, Прометей раздул свой уголёк, —
Гляди, Эшил, как я, рисую, плачу!

2.

Я б несколько гремучих линий взял,
Все молодежавое его тысячелетье,
И мужество улыбкою связал
И развязал в ненапряженном свете,
И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему, — вдруг узнаёшь отца
И задыхаешься, почувяв мира близость.
И я хочу благодарить холмы,
Что эту кость и эту кисть развили:
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Хочу назвать его — не Сталин, — Джугашвили!

3.

Художник, береги и охраняй бойца:
В рост окружи его сырым и синим бором
Вниманья влажного. Не огорчить отца
Недобрым образом иль мыслей недобором,
Художник, помоги тому, кто весь с тобой,
Кто мыслит, чувствует и строит.
Не я и не другой — ему народ родной —
Народ-Гомер хвалу утроит.
Художник, береги и охраняй бойца:
Лес человечества за ним поет густея,
Само грядущее — дружина мудреца
И слушает его все чаще, все смелее.

4.

Он свесился с трибуны как с горы
В бугры голов. Должник сильнее иска.
Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко,
И я хотел бы стрелкой указать
На твердость рта — отца речей упрямых
Лепное, сложное, крутое веко, знать,
Работает из миллиона рамок.
Весь — откровенность, весь — признанья медь.
И зоркий слух, не терпящий сурдинки,
На всех готовых жить и умереть
Бегут играя хмурые морщинки.

5.

Сжимая уголёк, в котором все сошлось,
Рукою жадною одно лишь сходство клича,
Рукою хищною — ловить лишь сходства ось —
Я уголь искрошу, ища его обличья.

Я у него учусь не для себя учась.
Я у него учусь — к себе не зная пощады,
Несчастья скроют ли большого плана часть,
Я разыщу его в случайностях их чада...
Пусть недостоин я еще иметь друзей,
Пусть не насыщен я и желчью и слезами,
Он все мне чудится в шинели, в картузе,
На чудной площади с счастливыми глазами.

6.

Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина.
Как море без морщин, как завтра из вчера —
До солнца борозды от плуга-исполина.
Он улыбается улыбкою жнеца
Рукопожатий в разговоре,
Который начался и длится без конца
На шестиклятвенном просторе.
И каждое гумно и каждая копна
Сильна, убориста, умна — добро живое —
Чудо народное! Да будет жизнь крупна.
Ворочается счастье стержневое.

7.

И шестикратно я в сознании берегу
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы
Его огромный путь — через тайгу.
И ленинский октябрь — до выполненной клятвы.
Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит.

Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для доблести и стали.
Есть имя славное для сжатых губ чтеца —
Его мы слышали и мы его застали.

январь 1937.

518-530. ОТРЫВКИ И СТРОЧКИ ИЗ
УТЕРЯННЫХ СТИХОВ

518.

Поднять скрипучий верх соломенных корзин
[1908]

519.

.....
Я помню берег вековой
И скал глубокие морщины,
Где, покрывая шум морской,
Ваш раздавался голос львиный.

И Ваши бледные черты
И, в острых взорах византийца,
Огонь духовной красоты —
Запомнятся и будут сниться.

Вы чувствовали тайны нить,
Вы чуяли рожденье слова...
Лишь тот умеет похвалить
Чье осуждение сурово.

Берлин 1910.

520.

Не разбирайся, щелкай, милый Кодак,
Покуда глаз — хрусталик кравчей птицы,
А не стекляшко. Больше светотени
Еще! Еще — сетчатка голодна.

[1931]

521.

Из раковин кухонных хлещет кровь
И пальцы женщин пахнут керосином.

[1931]

522.

...И пламенный поляк ревнивец фортепьянный,
...Чайковского боюсь — он Моцарт на бобах,
...И маленький Рамо — кузнечик деревянный.

523.

В оцинкованном влажном Батуме,
По холерным базарам Ростова
И в фисташковом хитром Тифлисе
Над Курюю в ущелье балконном
Шили платье у тихой портнихи.

[Апрель 1934]

524.

На этом корабле есть для меня каюта

[1937]

525.

Там уж скоро третий год
Тень моя живет меж вами.

[1937]

526.

Но уже раскачали ворота молодые микенские львы

527.

В Париже площадь есть — ее зовут Звезда
... машин стада.

528.

Такие же люди как вы с глазами вдолбленными в череп,
Такие же судьи как вы лишили вас холода
тутовых ягод

[1937]

529.

И веером разложенная дранка
Непобедимых скатных крыш...

[1937]

530.

На высокие угёсы, Волга, хлынь

[1937]



ЭПИГРАММЫ, ШУТОЧНЫЕ СТИХИ

531.

Актеру, игравшему испанца

(«Загадка и разгадка»)

Испанец собирается порой
На похороны тетки в Сарагосу,
Но все же он не опускает носу
Пред теткой бездыханной, дорогой.
У гроба он закурит пахитосу
И быстро возвращается домой.
Любовника с испанкой молодой
Он застает, и хватъ его за косу!
Он говорит: не ездил я порой
На похороны тетки в Сарагосу.
Я тетки не имею никакой,
Я выкурил в Севилье пахитосу,
И вот я здесь, клянусь в том бородой
Бишбердоса и Бомбардоса!

[1909]

532.

Ubi bene, ibi patria,
Но имея другом Бена
Лившица, скажу обратное:
Ubi patria, ibi bene

[1930]

533-540. МАРГУЛЕТЫ

533.

Старик-Маргулис под сурдинку
Уговорил мою жену
Вступить на торную тропинку
В газету гнусную одну.

Такую причинить обиду
За небольшие барыши!
Так отслужу я панихиду
За ЗКП его души.

534.

У старика Маргулиса глаза
Преследуют мое воображение,
И с ужасом я в них читаю «За
Коммунистическое просвещение»!

535.

Я видел сон, мне бес его внушил:
Маргулис смокинг Бубнову пошил,
Но тут виденья вдруг перевернулись
И в смокинге Бубнова шел Маргулис.

536.

Старик Маргулис из Ростова
С рекомендацией Бубнова,
Друг Островера и Живова
И современник Казакова.

537.

Старик Маргулис на Востоке
Постиг истории истоки.
У Шагинян же Мариетт
Гораздо больше исторьетт.

538.

Звезды сияют ночью летней,
Марганец спит в сырой земле,
Но Маргулис тысячетный
Марганца мне и звезд милей.

539.

Старик Маргулис — разумея-ка!
Живет на Трубной у Семейки,
И пядей будучи семи
Живет с Семейкой без семьи.

540.

Старик Маргулис на бульваре
Нам пел Бетховена.....

[30-ые годы]

541. ЭПИГРАММА В ТЕРЦИНАХ

Есть на Большой Никитской некий дом —
Зоологическая камарилья,
К которой сопричастен был Вермель.

Он ученик Барбея д'Оревилльи.
И этот сноб, прославленный Барбей,
Запечатлелся в Вермелевом скарбе

И причинил немало он скорбей.
Кто может знать, как одевался Барбий?
Ведь англичанина не спросит внук,
Как говорилось: «дёрби», или «дарби»,
А Вермель влез в Барбеевый сюртук.

весна 1931.

542.

Ходит Вермель, тяжело дыша,
Ищет нежного зародыша.

Хорошо на книгу лѡжится
Человеческая кожица.

Снегом улицы заметены,
Люди в кожу переплетены —

Даже дети, даже женщины —
Как перчатки у военщины.

Дева-роза хочет дочь нести
С кожей особой прочности.

Душно... Вермель от эротики
Задохнулся в библиотеке.

октябрь 1932.

543.

Счастия почти отчаяв,
Едет в Гатчину Вермель.
Он почти что Чаадаев,
Но другая в жизни цель.

Он похитил из утробы
Милой братниной жены... —
Вы подумайте: кого бы?
И на что они нужны?

Из племянниковой кожи
То-то выйдет переплет!
И, как девушку в прихожей,
Вермель чорта ущипнет.

октябрь 1932.

544.

Какой-то гражданин,
Не то, чтоб слишком пьяный,
Но может быть в нетрезвом виде —
Он
В квартире у себя установил орган.
Инструмент заревел. Толпа жильцов в обиде.
За управдомом шлют. Тот гневом обуян.
И тотчас вызванный им дворник Себастьян
Бах-бах —
Машину смял
Мошеннику дал в зубы.
Не в том беда, что Себастьян — грубьян,
Но плохо то, что бах какой-то грубый.

нач. 1934.

545.

Источник слез замерз и весит пуд, оковы
Обдуманнных баллад Сергея Рудакова.

1937.

546.

Наташа, ах, как мне неловко,
Что я не Генрих Гейне:
К головке — переводчик ейный
Я б рифму закатил плутовка.

24 февр. 37.

547.

Наташа, ах, как мне неловко!
На Загоровского, на маму —
То-бишь не божию коровку
Заказывает эпиграмму!

548.

Наташа спит. Зефир летает.
Для девушки, как всякий знает
Сон утренний источник слез
Головомойку означает,
Но волосы ей осушает
Какой-то мощный пылесос
И перманентно иссякает
И вновь кипит источник слез.

24 февр. 37.

548^{bis}.

Эта книжка украдена Трошею с СХИ,
И резинкою Вадиной для Наташи она омоложена
И ей дадена в день посещения дядина.

37.

Переводы

Стефан Малларме

549.

La chair est triste, hélas...

Плоть опечалена и книги надоели...
Бежать... Я чувствую, как птицы опьянели
От новизны небес и вспененной воды.
Нет — ни в глазах моих старинные сады
Не остановят сердца, пляшущего, доле;
Ни с лампою в пустынном ореоле
На неисписанных и девственных листах
Ни молодая мать с ребёнком на руках.
.....

1910.

550. БИРНАМСКИЙ ЛЕС

Бирнамский лес. Призрак Халдеи.
Лорд Пьеро сутулится сильней.
Леди Макбет сидит, бледнея,
На коленях у пьяных гостей. -
Черти Рембо взвалили на плечи.
Он тянется к скрипке мертвой ногой.
Самоубийц пирует вече,
Шлет Моураву вызов свой.
Преследует желтого малайца —
За ним павлинов цветной ураган —
Паоло. Офелия шатается:
Пощечину Гамлету дал Валериан.
А на виселице построен
Полоумный воздушный храм...
Разлюбив, я в душе спокоен...
Всех мучительней Мери улыбается нам.
Коломбина... Кашель чахоточный пери...
И свистящий ноябрь запечатал двери.

1921.

551. ПЕСНЯ О РОЛАНДЕ

(отрывки)

1

ЗАПЕВКА

Карл всемогущий, император наш,
Шесть лет сполна в Испании пребывал —
До самых волн покорил горный край.
Замки пред ним склонились все подряд,
Не устояли ни крепость, ни вал,
Лишь Сарагоса, что с горы видна.
Там царь Марсиль, что с Богом не в ладах,
Чтит Магомета, Аполлону рад —
Не сохранит себя, погибнет сам.

2

*Роланд отказывается трубить в рог.
Турпин благословляет армию.*

«Роланд, мой друг, трубите в олифант,
Услышит вас Карл, что ущельем идет,
Верно говорю, французы будут здесь».
«Не допустит Бог, — отвечает Роланд. —
Про меня не должны говорить среди людей,
Что ради поганных трубил в мой рог.
Не хочу опозорить свою родню,
Вот, когда начнется великий бой,
Я ударю тысячу раз и еще семьсот —
Всем сверкнет Дюрандаля кровавая сталь.

Французы хорошие люди, сражаются правильно,
Ждет людей из страны испанской неминуемая смерть».

Говорит Оливье: «Тут рассуждать нечего.
Я видел сарацинов из страны испанской;
Ими усеяны холмы и долины
И все равнины и плоские земли.
Несметная сила у этих чужестранцев,
А у нас всего небольшая горстка».

Отвечает Роланд: «Это мне сил прибавит.
Не допустит Бог со святыми и ангелами,
Чтобы Франция из-за меня лишилась чести.
Лучше мне умереть, чем быть опозоренным.
Император нас любит за то, что сражаемся правильно».

Роланд храбр — Оливье мудр,
Одинаковой доблестью отличены оба.
Уж если они на коне и при оружьи,
Ради темного страха спиной не станут к битве.
Хороши князья с высокомерной речью.
Одурели язычники, коней пришпорили.

Говорит Оливье: «Друг Роланд, оглянитесь —
Трубите в олифант — сейчас вполне прилично.
Был бы здесь император — мы бы сразу окрепли, —
И для спутников наших ваша трубя не зазорна:
Взгляните на горы перед Аспрским ущельем —
Увидите войска печальное охвостье.
Я говорю правильно, другого не придумаешь».
«Бросьте, Оливье, советовать бесчестье.
Не на месте сердце сидит у малодушных,
Стреножим коней, выберем место битвы.
Приготовим большие удары и самые большие.

Когда Роланд увидел, что битва им предстоит,
Заиграл гордостью, стал как лев, как леопард,

Кличет французов, Оливье выговаривает:
«Товарищ мой ласковый, полно вам говорить;
Когда император приказал нам здесь быть.
Он так подобрал двадцать тысяч, один к другому,
Чтобы ни один не примазался к нам изменник.
Ради господина человек должен жестко спать
И терпеть большую стужу и великий жар,
Для него сложить голову и пролить кровь.
Ты бей копьём, а уж я Дюрандалью,
Доброй пашкой, подарочком императорским.
Если меня убьют, тот, кто возьмет пашку,
Скажет: «Она служила честному вассалу».

А с другой стороны Турпин, епископ,
Лошадь пришпорил, на холм въезжает,
Кличет французов, начинает проповедь.
«Господа бароны, Карл нам велел здесь быть.
Ради государя вам должно умереть.
Вы опора христианства, не дай Бог ему упасть!
Теперь вы видите: битва на носу.
Сарацины так близко, что можно глаз уколоть.
Сознавайтесь в грехах погромче, просите милости

Божьей!

А уж я отпущу вас — не пропадать же вашим душам
Если вы умрете — попадете в святые мученики,
Поставят для вас троны в наилучшем месте рая».
Французы спешили, сходят на землю.
Подает им епископ благословенье Божие,
В искупленье грехов советует сражаться.

Французы выровнялись, стали крепко на ноги,
Начисто отпущены, очистились от грехов.
Божью благодать им епископ шлет.
Потом влезают на лошадей сильных и быстрых,

Вооружены по всем правилам рыцарства
И к битве по всем правилам приготовлены.
Князь Роланд молвит к Оливье:
«Государь мой товарищ, вы говорите правильно,
Присудил нас к смерти этот Ганелон.
Собака взял золота, добра и динариев —
Ужо император за нас отомстит.
Король Марсиль нашу жизнь приторговал —
Под ударами сабель он будет платить».

3

СМЕРТЬ ОЛИВЬЕ

Роланд заглянул в лицо Оливье:
Как тот осунулся и посинел! —
Красною кровью истекает весь,
На землю падает крови ручей.
Князь воскликнул: «Боже, что делать мне!
Незадача вам, сир, товарищ-храбрец,
Не родился равный вам человек.
О, нежной Франции вдовый удел!
Без добрых вассалов и сыновей
Императору будет страшный вред». —
Так говоря, покачнулся в седле.

А-О-И.

Вот покачнулся в седле князь Роланд.
И Оливье от смертных ран ослаб,
Так обескровил, что слиплись глаза.
Как ни старается взглянуться вдаль —
Нет человека — нигде не видать.

Подвернулся ему товарищ в тьме —
Рубанул с плеча, самоцветный шлем
До переносья раскроил совсем,
Но с головы его сбить не сумел.
Ошеломленный Роланд поглядел,
Спросил его вежливо, с лаской всей.
— «Вы нарочно, сир товарищ, иль нет?
Ведь я Роланд вам преданный вполне,
И вы меня не предали ничем.»
Оливье, сказал: «Слышу вашу речь,
Я не узнал вас, Господом клянусь,
Ударил вас — простите мне вину.»
Роланд ответил: — «Я зла не таю,
Здесь перед Богом это вам прощу.»
Сказав, друг другу падают на грудь,
На прощанье друга ласкает друг.

Оливье почувал смертный исход,
Как смерть по жилам в голову течет,
Зренье теряет и совсем оглох.
Слезает с лошади, на землю лег.
Кается в грехах на весь мир кругом,
Руки ладонями к небу простер,
Просится к Богу на райский порог:
«Да спасется Франция и Карлон,
Роланд да спасется первый во всем.»
Всем телом лежит на земле ничком,
Перестал князь жить, не шелохнет бровь.
Храбрый Роланд жалеет, слезы льет,
Так не убивался еще никто.

СМЕРТЬ РОЛАНДА

Роланд размахнулся в черный камень гранит.
 Так сильно размахнулся, что сказать невозможно:
 Сабля зазвенела, не ломается, не гнется —
 Вверх отскочила к небесам с силой.
 Когда увидел князь, что она крепка навеки,
 Тихонько ей жалуется, сам с собой говорит:
 «Эй, Дюрандаль, моя сабля, освященная и прекрасная,
 В золоченной твоей рукояти довольно много реликвий:
 Зуб святого Петра, капля крови Василия-мученика
 И прядка волос Дионисия, покровителя моих дней,
 И еще кусочек платья пресвятой девы Марии.
 Нет такого права, чтоб язычник тобой владел,
 Потому что ты обязана обслуживать христиан.
 Весьма много земель ты нам покорила,
 Их держит Карл, чья борода цветет, как яблоня.
 Император от них разбогател и веселится храбростью.
 Не получит тебя человек, способный поступить низко.
 Боже, не допустите, для Франции такого урона!»

Чувствует Роланд: смерть берет верх —
 Вошла через голову ползет к сердцу вниз;
 Вскочил на резвые ноги, подбежал к высокой ели,
 На высокую траву бросился ничком.
 Положил рядом — совсем близко — и саблю и рог;
 Поворачивает голову к Испании, стране, которая
 славится.

Он неспроста так делает, а вот для чего:
 Чтобы сам Карл сказал и все его люди
 Про милого князя, что победил умирая.
 Кается в грехах скороговоркой и частой дрожью,
 Просит отпущенья у всемогущего Бога.

Чувствует Роланд — время его тает,
Лежит у входа в Испанию в глубоком рву.
Поднял руку, бьет себя в грудь:
«Господи, я грешник, призываю твою мощь
На все свои грехи, на большие и на мелочь.
С тех пор, как я родился, все дела моих рук
По сегодняшний день, как я на смерть ушиблен».
Перчатку в знак смирения снял с правой руки,
Обступили его ангелы, спустились с небес.

Князь Роланд прилег под елью отдохнуть,
К испанской стороне поворотил лицо.
Разная разность ему пришла на ум:
Различные земли, что войной он прошел,
И ласковая Франция, и весь его род,
И Карл Великий, чей вскормленник он был,
И все французы, которым он так люб.
Не может шелохнуться, ни звука проронить,
Но никак не может себя забыть.
На весь мир кричит свой грех, чтоб услышал Бог:
«Истинный отец, горящий правдой всей,
Воскресивший Лазаря, который был мертв,
И Даниила вырвавший из львиных лап —
Спаси мою душу от злых смертей,
Куда ее тащут мои грехи».
Протянул Богу перчатку, покорности знак,
И святой Гавриил у него ее взял.
К самой руке его склонил свой лик,
Руки скрестил на груди и отправился в вечный путь.
Бог его переправил в свой херувимский сонм.
И святой Михаил, возмущающий воду морей,
И Гавриил, его спутник, поспешили вместе притти.
Вынули душу из тела, доставили прямо в рай.
Роланд мертв, его душу держит Бог.

Император торопится, приходит в Ронсеваль —
Там нельзя ступить ни на одну тропинку:
Нет пустой земли ни локтя, ни аршина,
Чтоб не подвернулся француз или язычник.
Карл воскликнул: «Племянник мой, где вы?
Где архиепископ и князь Оливьер,
Где Герин и с ним Герье неразлучный,
Где князь От и князь Беранжер,
Ивон и Иворес, которых я ценю?
Куда запропастился гастонец Ангельер,
Самсон-начальник и гордый Ансеис?
Где Жиранд из Русильона, что от старости дремуч,
И все двенадцать перов, к которым я привык?»
Кто мог ему ответить? — Никто рта не раскрыл!
«Боже, — сказал император, — терзаться я буду теперь,
Зачем к началу битвы я вовремя не поспел!»
Тянет себя за бороду, как в ярости человек,
Плачет слезами из глаз он и весь его круг,
Двадцать тысяч на земле распростерто в прах...
Сильно их жалеет князь Наймон...

5

Прозрачна ночь и луна сияет,
Карл лег спать, о Роланде жалеет,
Об Оливье вспомнить ему тяжело,
О двенадцати пѣрах и французской рати.
В Ронсево своих людей оставил мертвых,
Места себе не находит, все плачет.
Молит Бога, чтоб приласкал их души.
Устал король, велико его горе,
И прикурнул, заснул, не может больше.
На всех лугах теперь спят французы.
И нет коня, который стал бы стоймя

И пощипал бы травку: лежа щиплет.
Кто горе мыкал — научится много.

А-О-И.

Карл спит, как человек усталый.
Бог к нему подослал Гавриила
И велел ему стеречь государя, —
Ангел всю ночь стоял в изголовьи
И возвестил ему сонным виденьем,
Что против него готовится битва,
Предупредил его знаменьем суровым.
Карл посмотрел на вышнее небо:
Громы рокочут, гуляет ветер с градом,
Сильные грозы и чудесные бури;
Пламя горит, — огонь приготовлен.
Падает пламя на голову людям,
Копья сжигает из яблони и дуба
И все щиты с золотым украшеньем.
Вдребезги древки этих острых копий:
Скрипят кольчуги и медные шлемы.
В страшной беде свое рыцарство видит:
Съесть их хотят леопарды, медведи,
Змеи, гиены, драконы и черти,
Одних грифонов больше, чем тридцать тысяч.
Нету француза, чтоб не ластился к небу.
И кричат французы: «Шарлемань, помогите!»
Обуяла Карла и скорбь и жалость —
Собрался помочь, но ему помешали:
Огромный лев из древесной чащи —
Со всех сторон ужасен, горд и страшен.
Прыгает лев, напал на тело Карла,
Между собой у них единоборство.
И неизвестно кто кого погубит.
А государь еще не проснулся.

А-О-И.

После они видит знаменье другое:
Будто стоит на крыльце в милом Айсе
И на двойной цепочке держат дога.
От Ардени спустились тридцать медведей —
Все говорят человеческой речью.
И говорят: «Сир, отдайте нам дога,
С вами ему оставаться негоже,
К родичам нашим мы спешим на помощь».
Спрыгнул с крылечка в толпу медвежью,
И напал на медведя великана,
Самого рослого на траве зеленой.
Видит король чудесное сраженье,
А кто кого победит — неизвестно.
Это — архангел показал баронам,
А Карл спит до самой денницы.

А-О-И.

В Сарагосу бежал король Марсиль.
Под оливой спешился, в тень прилег,
Саблю снимает и шлем, и бронь,
На зеленой траве безобразно лег.
Правую руку потерял совсем,
Мучится, корчится, кровью истек.
С ним стоит жена Бранимонд,
Плачет, кричит, кривит от боли рот.
С ним тридцать тысяч из поганых орд.
Клеплют на Францию и на карлов род.
К Аполлону прибежал в грот,
Оскорбляют его, ругают, клянут:
«Эй, дрянной бог, кто причинил нам стыд,
Это наш царь, зачем его прибил?
И мы тебе по заслугам дадим.»
За руки берут, вешают на столб:
И на землю бросают к ногам,

Сильно издеваются, палками бьют.
У Тервагана забрали карбункул,
И Магомета столкнули в яму —
Пусть его там кусают собаки.

А-О-И.

От сильных ран оправился Марсилий,
Перенесли его в сводчатую спальню
С камнем цветным и с росписью узорной.
Плачет над ним царица Бранимонда,
Волосы рвет, клянет свою участь,
Одно и тоже кричит, причитает:
«Эй, Сарагоса, ты теперь сиротка —
Власти лишилась милого Марсиля!
Сильно подвел нас изменник-идол:
Он допустил, что все погибли в битве.
Если хватит сердца у эмира,
С этими храбрыми он должен сразиться —
С лица они горды, не жалеют жизни.
Борода императора цветет, как яблонь,
Слуг у него много, еще больше доблесть:
Никогда не убежит с поля битвы.
Очень жалко, что его не убили.»

А-О-И.

По доброй воле могучий Карл
Семь круглых лет испанский вел поход,
Замков взял пропасть и тьму городов:
Сильно озабочен керель Марсиль,
К письмам своим печать приложил
И к Балигану послал в Вавилон —
Старый эмир и почтенный он,
Старше Вергилия и Гомера времен, —
Чтоб шел в Сарагосу на помощь барон.

Если нет, он бросит служить богам,
У всех своих идолов отнимет почет,
В христианскую веру сам перейдет,
Пред Карлом великим склонит свой лоб.
А тот далеко, ему трудно поспеть
В сорок за войском послал государств,
Верблюдов больших привезти приказал,
Много лодок и барок, и много галер.
В Александрию, корабельный порт,
Весь оснащенный согнал свой флот.
На дворе стоял май — первый теплый день.
Все войско качалось на морской волне.

А-О-И.

Огромное войско у поганных людей —
Парус крепят, направляют руль.
И на верхушках высоких мачт
Много карбункулов и фонарей:
Сверху такой разливают свет,
Что ночью море еще красивей.
И когда к испанской пристали земле,
Вся земля заискрилась от огней
И Марсиль услышал шум новостей.

А-О-И.

Нет утомону на племя язычников,
Вводят корабли в воду сладкую, пресную.
Миновали Марброзу, Марброзу проехали,
Вверх по Эбру корабли поворачивают,
Довольно на них фонарей и карбункулов,
Всю ночь от них пышет огромное полымя
Пришли они в Сарагосу.

А-О-И.

Ясный день и солнце прекрасно.
Вышел эмир из парусной барки,
За ним большая свита испанцев:
Семнадцать царей идут за ним сзади,
Князей и графов и считать не жалею.
И на лужайке посредине лагеря
На траве зеленой стелют белое полотнище,
Ставят кресло из кости слоновой.
Сел на него Балиган-язычник,
Другие не сели, ожидают стоя.
Самый главный взял слово первым:
«Слушайте, рыцари храброй породы!
Карл-государь, император французов,
Не сядет обедать без моего приказа,
По всей Испании громил меня войною —
До нежной Франции за ним я буду гнаться.
И до конца моих дней не успокоюсь,
Покуда он за меч не сможет взяться».
И колено бьет своей правой перчаткой.

А-О-И.

Когда сказал, объявились упрямыцы:
Не пойдут — посули им золотые горы,
Не пойдут с ним в Айс, где Карл решает тяжбы.
Утешают трусов и советуют люди.
Двух своих всадников вызвал эмир,
Одного — Кларифана, а другого — Кларьена:
«Вы сыновья короля Мальтраяна,
Он был всегда расторопный вестник.
Вам поручаю сходить в Сарагосу
И от меня передать Марсильону,
Что я иду к нему на подмогу.
Будет битва, если найдется место.

Златошвейную дайте ему перчатку:
Пусть примерит ее на правую руку.
И чистого золота унцию — крупицу:
Пусть узнает мстителя, узнает вассала.
Я во франкской земле изведу войной Карла,
Согну ему шею, поставлю на колени,
А не откажется от христовой веры,
Отрублю ему голову вместе с короной».
«Сир, — говорят язычники, — вы складно
говорите».

А-О-И.

Сказал Балиган: «Вот, рыцари-бароны,
Один возьмет палку, другой перчатку».
«Ласковый сир, — говорят они, — исполним».
Ехали верхом до самой Сарагосы,
Через десять ворот и мостов через сорок,
Через все улицы, где живут горожане.
Только приблизились к городу на вышке,
Слышат во дворце шум переполоха:
Сколько там было поганого сброду,
Плачут, кричат, без ума от печали
Жалеют богов — Тервагана и Магома
И Аполлона, который в ус не дует.
Один другому: «Что ждет нас, бедняжек?
Великая нас потрясла разруха,
Мы потеряли царя Марсильона —
Князь Роланд вчера отхватил ему руку.
Нет с нами Блуна и нет Журфалена,
Им бы владеть всею испанской округой.»
Вестники всходят вдвоем на крылечко.

А-О-И.

Своих лошадей привязали к оливе,
Бросили вожжи двум сарацинам
И под плащем несут письма и вещи.
Дальше идут на дворцовую вышку.
Выходят в комнату с каменным сводом,
Вежливо передают поклон поганым:
«Пусть Магомет, наш помощник в битве,
И Тервага с Аполлоном-сиром
Спасут государя и королеву!»
Говорит Брамимонда: «Слышу речь безумцев!
Наши боги на нас работать устали,
В Ронсево они совсем сплеховали,
Допустили убийство всадников наших,
Они подвели моего господина:
Кисть правой руки потерял: стал калекой.
Так рубанул его Роланд богатый.
Вся Испания будет вотчиной Карла.
Куда теперь денусь, в слезах, бедняжка?
Хоть бы кто горемычную прикончил!»

А-О-И.

«Госпожа, успокойтесь!, — сказал Кларьен, —
Нас к тебе прислал язычник Балиган, —
Пусть, говорит, не боится Марсильон —
Палку ему и перчатку прислал.
Но Эбре у нас пять тысяч барж стоит,
Лодочек, барок и разных галер;
С высокой кормой кораблей не счесть.
Наш адмирал богат и могуч —
Карла отыщет на франкских полях,
Живым или мертвым надеется взять».
Бранимунд в ответ: «Худой он выбрал час:
Французы недалеко — их не трудно сыскать;
Император могуч и сердцем храбр.»

Император вернулся из испанского похода.
 Возвратился в Айс — лучший французский город.
 Входит во дворец, вошел в жилые покои.
 Пришла к нему Альда, открывает рот,
 Говорит государю: «Где Роланд — вождь,
 Тот, что поклялся, что замуж меня берет?»
 Слышит Карл — у него в горле пересохло,
 Плачет слезами из глаз, щиплет свою бороду:
 «Сестра моя дорогая, ты спросила о мертвом.
 За него ты получишь выкуп хороший:
 Лучшее что есть во Франции — Хлодвига,
 От милой жены дитя мое родное.
 Он будет наследник всех моих угодий».
 Альда отвечает: «Странное вы молвили слово,
 Богу и святым ангелам не угодно,
 Чтоб я осталась жить, если нет Роланда живого».
 Закачалась, побледнела, как полотно суровое,
 Сразу умерла, Бог помилует душу новую!
 Бароны Франции плачут — опустили головы.

Прекрасная Альда нашла свою смерть.
 Думает государь — с ней обморок, не хочет верить,
 От жалости плачет император бедный,
 Берет ее за руки, подымает как следует,
 Голову к плечам своим прислонил напоследок.
 Когда увидел Карл, что это смерти дело,
 Четырех княгинь вызвал, велел стеречь ее тело.
 Велел монахиням в монастырь ее перенести.
 Стерegli ее всю ночь, вплоть до рассвета,
 Погребли прекрасно, в алтарном месте:
 Не поскупился император — оказал ей много чести.

552. ПАЛОМНИЧЕСТВО КАРЛА ВЕЛИКОГО В ИЕРУСАЛИМ И КОНСТАНТИНОПОЛЬ

(отрывки)

1

Переплыли воду реки Лалис,
Едут верхами вдоль страстной земли.
Видят: древний город Ерусалим.
День был прекрасен, к привалу пришли,
В монастырь явились дары сложить
И на ночлег гордецы разошлись.

Приготовил Карл чудные дары.
В сводчатый цветной пришел монастырь.
Там стоит алтарь: Отче наш святой,
Здесь апостолам Бог читал псалтырь.
Здесь двенадцать кафедр еще видны,
Тринадцатый трон — пуст, заперт на ключ.
Карл туда вошел, от радости ликует,
Как увидел кафедру, к ней подошел вплотную.
Сел император чуть-чуть отдохнуть.
Двенадцать пэров кольцом стали вкруг:
Здесь еще никто сидеть не дерзнул.
Карл поднял голову светел лицом.
На него взглянув, иудей вошел.
Взглянул на Карла — дрожь его берет,
Глядеть боится: слишком горд Карлон,
Чуть не споткнулся и выбежал вон.
По мраморной лестнице входит в дом,
Вошел к патриарху и речь повел:
«Идем в монастырь, готовьте купель,
Хочу креститься как можно скорей!
Вошли в монастырь двенадцать князей

С ним тринадцатый — всех красивей:
Сам, господь Бог, как я уразумел.
Господь с дюжиной апостолов всей.»
Услышал — ризу надел патриарх,
В белых стихарях клириков позвал,
Рясы, клобуки одеть приказал.
С пышным клиром к Карлу выходит сам.
Ему навстречу государь Карлон
Снял корону и наклонил свой лоб.
Облобызались, ведут разговор.
Сказал патриарх: — «Вы откуда, сир?
В мой монастырь никто не смел входить,
Разве я кого прикажу впустить.»
— «Сир, я зовусь Карл из франкской земли,
Дюжину царей к себе приманил,
Бога любя, пришел в Ерусалим, —
Крест и гробницу я пришел почтить.»
Патриарх ответил: — «Вы, сир, храбрец, —
Сядьте на кафедру, где Бог сидел,
Карлом Великим нарекайтесь днесь.»
Карл ответил: «Велик Бог пятьсот раз!
Честных реликвий нельзя ли мне дать?
Я бы их французам там показал.»
Патриарх ответил: «Берите хоть горсть.
Симеона руку берите вот,
Я пошлю за Лазаря головой
И Степана-мученика дам кровь.»
Карл благодарит, отвесил поклон.

Французам в палатах стелют постель —
Двенадцать пэров устроились все.
Гут-сильный велел им вина принесть.
Он силен, лукав, во зле закоснел.
В сводчатом зале в мраморном столбе

В головах у пэров Втируша сел,
В скважину за ними всю ночь глядел.
Свет от карбункула нельзя светлей,
И все было видно, как в майский день.
Гуг-король сильный уходит к жене,
А Карл и франки легли на ночлег:
Сейчас начнется бахвальство князей.

2

Государь, великий Карл, сказал:
«Моя похвальба впереди других.
Пусть выберет человека сильный король Гуг
Из всей своей челяди, чтоб был крепок и могуч,
Пусть напялит на себя две кольчуги и два закрытых
шлема
И сядет на коня тонконового, как ветер, —
И пусть король мне одолжит саблю с рукоятью
золотой резьбы, —
Я порублю оба шлема, там где ярче всего их блеск,
Пополам розобью кольчуги и шлемы с россыпью
заморских камней,
И седло с загривком тоже разрублю пополам.
Саблю загоню в землю и, если не выдерну сам,
Ни один человек из костей и мяса ее не вызовет вновь,
Пока не разроет землю в меру длины копья».
«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — Вы
могучи и крепко сложены.
Король Гуг поступил безумно, допустив вас под
свой кров.
Если я еще услышу этой ночью ваш дикий бред,
Завтра утром, чуть свет забрежжит, я вас
выпровожу вон».

И опять говорит император: «Похваляйтесь,
племянник Роланд.»

Роланд отвечает: «Охотно, государь, если есть
ваш приказ.

Попросите вы Гугона одолжить мне Олифант.
Я из города выйду в поле, стану посреди лугов.
Столько воздуха я выдую, такой ветер зашумит,
Что во всем этом городе — а он весьма велик —
Не останется ни ставенки, ни дверцы на петле,
Будь хоть медная литая, не в пример другим прочна,
Чтобы ветер не подхватил ее, не хлопнул одну к другой.
Я скажу: силен король Гуг, если он тогда устоит
И усов не потеряет, опалив их на огне.
А когда волчком завертится — с шеи лисий мех,
А когда совсем споткнется — горностаевый мех с плеч». «Клянусь Богом, — говорит Втируша, — мне
не нравится эта похвальба.

Король Гуг поступил, как безумный допустив
его под свой кров».

«Государь Оливьер, похваляйтесь», — говорит
вежливый Роланд.

Князь Оливье отвечает: «Охотно, лишь бы только
Карл мне разрешил».

«А вы государь епископ, не хотите ль загнуть
похвальбу?»

Турпин ответит: «Конечно, если воля Карла такова.
Пусть из своих конюшен выберет завтра король
Трех скакунов наилучших, выпустить в поле гулять.
Справа за ними я буду бежать и, на полном ходу
Пока не вскочу на среднюю лошадь, двух
других не коснусь.

Крупных четыре яблока я зажму в кулак, —
С руки на руку буду их перебрасывать и ловить,

Представив моей лошади свободу и самый
быстрый ход.

Если же хоть одно яблоко выскользнет из моей руки,
Карл, государь великий, пусть плюет мне железом
в глаза».

«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — эта
похвальба совсем хороша;
Не содержит ничего обидного для господина
моего короля».

Говорит Вильгельм из Оранжа: «Господа, дайте
мне хвастнуть».

Видите этот шар, огромное его не бывает, —
Сколько ушло на него золота, сколько наверчено
серебра!

Сдвинуть с места его бились, бывало, тридцать
человек,

Ничего не могли поделывать: такая тяжелая кладь.

Подыму его рано утром одной рукой,

А потом его выкачу на середину дворца

И в стене сделаю пробоину в сорок локтей».

«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — вам
верить нельзя».

Король Гуг поступил безумно, отказавшись
вас испытать».

Раньше, чем вы обуетесь, утром ему шепну».

И еще говорит император: «Пусть хорохорится Ожье,
Князь из Данемарка, мастер трудных дел».

«Хорошо, — сказал храбрый, — я вашу службу несущу.

Этот могучий свод колонны поддерживает весь дворец.

Ныне утром он так забавно вертелся вместе
с дворцом».

Завтра он будет трещать в моих могучих руках.

Затрещит столб могучий, упадет навзничь,

Зашатается дворец вместе с ним рухнет».

Подвернутся лодыжки — им не сдобровать.
Король Гугон будет глуп, если не спрячется в угол».
«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — этот
человек объелся белены.

Да не допустит Господь исполненья такой похвальбы!»
Говорит император: «Князь Наймон, похвалитесь
как следует.»

«Хорошо, — отвечает храбрый. — Я мастью сед.
Пусть мне подаст Гугон свою кольчугу темной меди.
Завтра, как получу, сейчас же ее одену:
Я так отряхнусь и сзади и спереди,
Что будь эта кольчуга из белой или черной меди,
Все равно, — как солома разлезутся ее петли».
«Клянусь Богом, — сказал Втируша, — вы стары
и седы,

Шерсть ваша белая, а мышцы для победы».

Император сказал: «Беранжер, вам тоже
нужно хвастнуть».

«Если есть на то ваша воля, — Беранжер
отвечает, — пусть.

Король может собрать сабли всех своих рыцарей
в горсть.

По самое горло из золота в глубокую землю врыть,
Чтоб в небо глядели щетиною одни лезвия вверх.
На верхний пролет башни я подымусь пеш,
И прямо на их сабли с высоты налечу, как смерч.
Рукояти погнутся, сабли рассыпятся вдребезги в сор,
Друг друга изрубят сабли, клинок зазубрит клинок.
Ни одна меня не поранит, я встану свеж и здоров:
Ни царапины, ни раны не увидите ничего!»
«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — человек
объелся белены.

Если правду говорить, как железо его плоть закалена».

И еще говорит император: «Теперь похваляйтесь,
Бернардс».

Князь отвечает: «Охотно, если есть на то ваш приказ.
Слышите этой обширной воды в берегах шум?
Завтре ее до капли выплесну из берегов,
Выведу на луговины у вас у всех на глазах,
Затоплю все подвалы, сколько их в городе есть.
Вымочу людей Гугона, пополощу их в воде,
На самую высокую башню самого заставлю влезть.
Он не раньше сползет на землю, чем я скажу
ему: «слезь».

«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — этот человек
одержим.

Король Гуг поступил безумно, сделав его гостем своим». Князь Бертран говорит: «Пусть хвалится мой дядя». Эрно из Жиронды сказал: «Я готов святой Троицы
ради.

Пусть возьмет король Гуг свинца четыре клады,
Вольет в один котел, растопит и расплавит.
Глубокое корыто велит поставить на пол.
Наполним до краев свинцовой жидкой лавой.
До девятого часа в нем я просижу, как сяду.
Когда, покрывшись коркой, затвердеет свинец,
Хорошенько осядет, я выйду из сплава
И свинец разломаю, как ни в чем не бывало.
Не прилипнет ко мне на Божию коровку ни
осколка сплава».

«Вот это похвальба! — говорит Втируша. —
Никогда не слыхал о таких толстокожих —
Если он не врет, у него железная кожа».

Говорит император: «Похваляйтесь теперь вы,
сударь Аймер».

Аймер отвечает: «Охотно, если есть на то ваш приказ.
Есть у меня шапочка алеманского шитья».

Подбитая мехом заморской рыбы большой.
Когда я нахлобучу эту шапочку на свой лоб
И Гут проголодавшись обедать сядет за стол,
Я съем всю его рыбу и светлый выпью кларет.
А потом размахнусь сзади и тресну его по голове,
Так тресну, что от боли он полезет под стол.
Тогда я вырву бороды и выщиплю всем усы». «Клянусь Богом, — сказал Втируша, — этот человек
сошел с ума,
Король Гут поступил, как безумный, допустив его
под свой кров».
«Сударь Бертран, похваляйтесь», — император говорит.
Князь отвечает: «Охотно, приятно вам послужить.
Принесите мне завтра утром два хороших
крепких щита.
Я выйду за город, в поле на старинный взберусь холм.
Там щиты я столкну вместе, в воздухе их потрясу,
Высоко их вверх подброшу, подыму такой
громкий вопль,
Что во всей окружной местности на четыре лье кругом
Все олени испугаются, разбегутся серны в лесах,
Неостанется нигде ни косули, ни лисицы,
ни дикой козы».
«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — мне не
нравится эта похвальба.
Это может не на шутку огорчить моего короля».
«Похваляйтесь, сударь Герин», — говорит
император Карл.
Князь отвечает: «Охотно. Завтра на людях
Принесите мне крепкое, годное к метанью копьё.
Пусть будет большое и неуклюжее, подстать
разве мужичью.
Древко длинной с яблоню, железный наконечник
в сажень».

На верхушке этой башни, на этот мраморный столб
Положите две денежки, два динария один на один.
Я же выйду за город в поле отмерю половину лье.
Вот тогда глядите в оба: увидите, как я метну копьё.
На прицел возьму башню, одну денежку собью
Так нежно и осторожно, что другая не зазвенит.
Так легко побегу обратно, так стремительно побегу,
Что бегом добежать успею на каменный этот порог
И копьё перехвачу рукою, прежде чем коснется
земли».

«Клянусь Богом, — говорит Втируша, — эта
похвальба стоит трех друг».

Ничего в ней нет постыдного для господина
моего короля».

Когда князья нахорохорились и заснули крепким сном,
Тихонько вышел из комнаты Втируша, что
слышал все.

Подошел к дверям той комнаты, где спал король Гуг,
Скользнул в дверь полуоткрытую, в головах
постели стал.

Император проснулся, волнуется, хочет новости
узнать:

«Ну как, что французы делают? И Карл, что с
лица горд?

Как промеж собой разговаривают и долго ль
будут гостить?»

«Ей Богу, — говорит Втируша, — об этом они ни гугу.
Всю ночь насмехались над вами, оскорбляли вас
всю ночь».

И похвальбы ему передал так, как он их
запомнить мог.

Гуг-король его выслушал, от печали потемнел:
«Клянусь Богом, — восклицает он, — король Карл
совсем одурел,

Когда слова шальные про меня говорил.
А я вчера в палату каменную пустил их ночевать!
Если завтра же не распутают похвальбы, что
ночью сплели,
Я снесу им всем головы мечом-колдуном!»

553. КОРОНОВАНИЕ ЛЮДОВИКА

(отрывок)

Не хотите ль, господа бароны, извлечь хороший урок
Из прекрасной складной песни, приятной на слух?
Когда Господь назначил девяносто девять царств,
Нежнейшее внимание он Франции подарил —
Лучший из государей носит имя — Карл,
Он Францию взял в руки и поднял выше всех.
И все другие земли к его державе льнут:
И баварская марка и алеманский круг.
Французские уделы Норман, Анжу, Бретань,
Ломбардское княжество и с Новарой Тоскань.
Царь, что носит корону французской земли,
Должен быть сердцем весел и в решеньях мудр.
Кто с ним поступит дурно, обидчик или тать,
Пушай он рыщет в роще, пусть убегает в гать,
Все равно будет пойман, живым иль мертвым взят.
Легко теряет Францию неотмщенный король, —
Так говорит преданье — он коронован зря!
Когда коронованье в Айсе пропел клир
И вывели из камня готовый монастырь,
Там двор образовался на весь христианский мир,
Во дворе дежурят графы, четырнадцать человек
И жалобщики ходят — бедных людишек тьма;
Всем проясняют дело и разбирают спор.

Не жалуется правый, виноватый молчит.
Вот была справедливость! Теперь такой уж нет:
Взятка решает дело и окривел судья.
Бог — человек мудрый, он нас судит и пасет,
Из-за него мы пачкаемся в грязном аду,
В этой зловонной яме, откуда нельзя уйти.
В этот день служили согласно восемнадцать епископов,
В этот день служили дружно восемнадцать
архиепископов,

Сам римский апостол обедню пел.
В этот день была служба такая сладкая и пышная,
Что другой такой службы во Франции не слышали,
Кто ее слышал, долго потом рассказывал.
В этот день служили согласно двадцать шесть
священников,

При том были четыре короля коронованных.
В этот день величали Людовика,
На алтаре корону приготовили, —
Император отец венчал свою кровь.
По лесенке на кафедру архиепископ влез,
Произнес проповедь на французском языке.
Он говорил: «Бароны, откройте мне ваш слух,
Наш государь великий, Карл, совсем одряхлел:
Время светской жизни ему не по душе,
И тяжела корона на его голове.
Есть у него сын — ему корона впору.»
Все развеселились, услышав такую радость,
Руки подняли к небу, где сияет Бог.
«Отец небесной славы! Тебя благодарим,
За то, что чужестранец к нам не придет владеть.
Наш император вызвал сына — ему корона впору!»
«Сын мой прекрасный, откройте мне ваш слух,
Взгляните на корону, что лежит на алтаре.
Не взяв с вас обещания, как вам ее отдать?

Бегите грехов плотских и всех прочих грехов.
Не утесняйте гневом и предательством людей.
Что у сирот осталось, храните, как свой глаз
Так угодишь ты Богу, меня развеселишь, —
Возьми мою корону и венчайся сейчас.
Если же вы не согласны, короны вам не видать,
И я вам запрещаю притрагиваться к ней!
Людовик, сын мой милый, на корону взгляни:
Хочешь быть императором всей римской земли?
Уведешь с собой войско в тысячу сто человек,
Перейдешь Жиронду-воду насильно и вброд,
Язычников рассеешь — неприятный народ!
Их поганую землю к рукам приберешь...
Если это вам нравится, хватай корону — бери,
А не нравится, не дам, не на кого пенять.
Незаконных поборов, сын, с людей не бери,
Избегай всех излишеств и дурных страстей,
Грехов роскошных плоти и худых затей.
Защити ребеночка от наследников злых
И вдовицы бедной четыре гроша.
Если хочешь в исусовой короне ходить,
Сын мой Людовик, ты должен ей служить.»
Слушает ребеночек, не смеет шагу ступить,
Пожилые рыцари за него плачут навзрыд,
Император же гневается, сердце его кипит.
— «Меня околпачили, горе мне — увы!
Видно с женой моей лежал негодяй,
Когда этот выродок был ими зачат.
Для такого в жизнь мою пальцем не шелохну!
С таким императором связываться грех!
Остричь ему волосы на маковке все,
Запереть уroda в этот монастырь,
Пускай доит колокол и будет пономарем,
Десятиной прокормится, с голоду не умрет!» —

Стоял близ императора из Арля Ансеис,
Упрямец и строптивец, не в меру самолюбив.
Сладкоречивой хитростью он Карла с толку сбил:
«Справедливый император, полно вам бұшевать,
Молодой государь еще молод, что такое пятнадцать
лет?

Ребенка сделайте рыцарем, он со страху умрет.
Это дело перемелется — поручите его мне:
За три года все изменится, много воды утечет,
Он оправится, он выравниется, станет рыцарь и муж.
Буду я за ним присматривать, а потом приведу к вам.
Округлю его земли тем временем, увеличу его доход.
«Это дело подходящее», — император говорит.
Рассыпаются в благодарности злоязычники-шептұны,
Ансеиса из Арля родственники поднимают радостный
шум.

Однажды к императору хочет притти Вильгельм,
Он в лесах охотился, с рогом зверя травил.
Бертран племянник маленький за стремением бежит,
Задыхается, лепечет, хочет много сказать:
«Государь мой дядя, не понравился мне монастырь:
Там людей обижают злоязычники-шептұны,
Там морочит наследника опекун Анесис.
А потом французы скажут: «Император виноват.»
«Император промахнулся», — сказал гордый
Вильгельм,

Нацепил на пояс саблю и пошел в монастырь сам,
Растолкал зевак праздных, там в густой толчее
Похваляется перед всадниками нарядный Ансеис.
Сгоряча обезглавить Ансеиса он хотел,
Но удержался немного, вспомнил кротость Отца небес:
Душе бессмертной вреден человекоубийства грех!
Сильно отдернул саблю, с шумом вложил в ножны
И пошел на Ансеиса, саблю вложив в ножны.

Опустил ему на темя тяжесть левой руки,
Опрокинул навзничь так, что хрустнули позвонки.
Позвоночник — столб жизни без намеренья сломал.
Мертвого на землю бросил, прямо к своим ногам,
Заметил, что тот не дышит, начинает его корить:
«Ах разбойник, ах жадина, разрази тебя Божий гром,
Ты зачем огорчал господина, клевал его зерно?
Ты бы должен его лелеять и ночью и днем,
Округлить его земли, увеличить его добро.
На полушку не разживешься от своих темных дел.
Я тебя только немножко хотел поучить,
А ты взял и совсем умер, не получишь ни гроша!»
К алтарю оборотился, где корона лежит,
Подошел к Луи ребенку, его короновал:
«Носите на здоровье, дитя мое государь,
Бог научит вас дела людские справедливо вершить»
На сына веселится император отец:
«Большое вам спасибо, государь Вильгельм.
Давайте породнимся, соединим наш род.
Сын мой прекрасный, сир Лоуис,
Возьми мою державу и царский скипетр.
Исполнить обещанье свое потрудись:
От жадных наследников ребеночка беречь
И вдовицы бедной четыре гроша.
Церкви нашей матери будь верный друг,
Чтобы не забрал вас в лапы дьявол, наш враг.
Еще держите в почести свой рыцарский круг
Он тебя поддержит тысячью услуг.
Всем ты будешь дорог, всем ты будешь мил!»

554. БЕРТА — БОЛЬШАЯ НОГА

В исходе апреля был ясный день,
Трава пробивалась, луг зеленел,
Деревцам хотелось листья надеть.
В эту пору, как известно мне,
В граде Париже был пятничный день.
Ради этой пятницы я решил
В Божий храм отправиться, в Сен-Дени,
Там монах был вежливый — Савари.
Он, спасибо Богу, мне угодил;
Показал и дал мне прочесть из книг
Историю Берты, Пепина стих,
Как львиный прыжок мог произойти.
Темный писец и жонглер ученик
Все переврали, не понять ни зги.
Там я до вторника остался жить,
Чтобы всю повесть с собой прихватить:
Как Берта в лес пошла одна бродить
И натерпелася страстей каких.
Так рифмы сплел, клянусь жизнью души,
Что непонятливый получит шиш,
Кто с пониманьем — отблагодарит.

Госпожа в лесу и плачет навзрыд.
Воют гиены и рыкают львы,
Громы гремят и молнии видны.
Дождь лил, как из ведра и ветер был.
Кличет святителей, Бога зовет:
— «Сир, — говорит она, — я помню все,
От девы родились вы под звездой,
Три царя к вам пришли, спасется тот,
Кто в черный день назовет трех волхвов.
Тот, кто принес мирру был Мельхиор,

Благовенье принес Гаспар, другой,
Третий был Бальтазар, с золотом волхв,
На коленях слушали ваши слова.
Тут все несомненно, и Божья власть,
Спаси бедняжку, что сойдет с ума».
Сказав молитву, закуталась в плащ
И врвчив себя Богу в лес пошла.
В лесу бродит дама, чей страх велик,
Что мудреного, если сердце болит?
Кто знает куда ведут?
Налево, направо часто глядит.
И вперед, и назад — отдохнет миг,
Станет на месте наинет нежный плач.
На голых коленках к земле припав,
Руки накрест, лежит на ложе трав,
И землю целуют ее уста.
Поднялась, тяжело вздохнула она,
Бланшефлор жалеет, царицу-мать.
«Как я мучусь — ты бы умерла!»
И к Создателю, руки протянув:
— «Сир, с вашего трона, вам видно.
Вы пошлите за мной в лесную глушь,
Ваша нежная мать меня сыщет пусть,
Чтоб моя плоть не досталась врагу.»
Пальцы ломает, не жалеет рук,
Зовет Божью мать, льнет к Богу-отцу.

Вечером даме — убогий ночлег:
Нет высокой спальни и крыши нет,
В головах нет подушки, негде лечь,
Нет дам — нет служанок, нет людей,
Нет ковра-одеяла, тело греть.
Разразилась слезами в темноте:
Ночь, ты длинна, я не верю тебе,

И все равно, когда настанет день,
Я опять заплутаю без путей:
Довольно причин волноваться мне.
Не миновать одной из трех вещей:
Или замерзну, иль жаждой умру,
Или меня до рассвета сожрут,
Хотя моя плоть — незавидный кус.
Сыну скажи, Божья мать, своему,
Что с ним в беде совет держать хочу.
Мне одной, Госпожа, неможоту.
На коленях целует земной луг:
Святой Юлиан, мне помощник будь.
Для Отче Наш не пожалела уст.
На правый бок примостилась уснуть,
Крестом укрывается, льнет к Отцу.
Спит, вся в слезах, Бог спасет как-нибудь.

555-557. НЕАПОЛИТАНСКИЕ ПЕСЕНКИ

555.

I

Правлю я честью
Трудное дело;
Вольно и смело
Дышит рыбак.

Невода петли
Крепко связала,
Заколдовала
Жажда любви.

Радуги арка
Ярко зажглась,
Милой в подарок
Рыба нашлась.

Ах, как увертлива
Нелла — рыбачка,
Неуловима
Нелла волна.

II

На поворотах
Лодка послушна,
Твердо направлен
Легкий разбег.

Хочешь на веслах,
Хочешь под парус,
Неукротимый
Плавает челн.

В омуте синем
Розовый бал,
Лишь бы почина
Я не проспал.

Ах, как увертилва
Нелла — рыбачка,
Неуловима
Нелла — волна.

III

Плавится в небе
Медленный полдень,
В солнечных стрелах
Искрится зыбь.

Вечером весла
Тяжесть теряют,
Дремлет Кияйя
Спит Позилиш.

Падают звезды
Море шумит,
Весь чешуюю
Невод кипит.

Ах, как увертлива
Нелла — рыбачка,
Неуловима
Нелла — волна.

IV

Я снаряжаю
Длинну полесу
Хитрой приманкой
Цепким крючком.

Рыбы глотают
Воздух подводный,
Жабрами дышат,
Быют плавники.

И просияет
Бедный рыбак,
Чудо! Удача!
Рыба — судьба!

Ах, как увертлива
Нелла — рыбачка,
Неуловима
Нелла — волна.

V

Я пробегаю
Взморья лазорье,
Якорь кидаю
В темной воде.

Море синее
Неба в апреле,
Нежной макрели
Нету нигде.

Трудно рыбачить —
Сердце не плачь,
Близится время
Новых удач.

Ах, как увертлива
Нелла — рыбачка,
Неуловима
Нелла — волна.

556. НИНА ИЗ СОРРЕНТО

1.

На гулянье в Пьедихотта
Посмотреть она решилась.
Ты явилась в лучшем платье
Мое счастье и проклятье.
Как послушна маме дочка —
Вся в оборочках, в кружочках.
Из Сорренто эта лента,
Эти черные глаза.
Здравствуй, Нина из Сорренто, —
Повторяют голоса.

2.

Закатился свет удачи,
Крови нет в моем загаре.
Спотыкаюсь, как незрячий
Не играю на гитаре.
Нет, ни ветер, сердца ярость
Раздувает скромный парус.
Не берет меня пучина —
Солоней слеза моя
А в Сорренто злая Нина
Ускользает от меня.

3.

А когда залив спокоен
Я боюсь его прогневать:
Под затишье роковое
Я с кормы гляжу на невод
И в прозрачности зеленой

И в пучине разъяренной —
Черных кружев паутина,
Лента красная плывет.
А в Сорренто злая Нина
Не узнает, не поймет.

4.

В пестрой ракушке улитка
Равнодушна поневоле.
Глухи розовые уши.
Не дождусь счастливой доли.
Закружился мрак воздушный
Гонит тучи ветер южный.
Содрогаются пучина,
Опрокинулась ладья.
А в Сорренто злая Нина —
Уверяет: я ничья.

557. КАНАТЕЛЛА

1.

Умоляю, Канателла,
Чернобровая, будь скромней! 2 раза
Мне смертельно надоела
Толчея молодых людей.
Чернобровая, будь скромней!
Канателла, будь смиренней!

2.

Веер карт различной масти —
Вереница разных лиц. 2 раза
Нет спасенья от напасти:
Слишком много в клетке птиц.
Чернобровая, будь скромней!
Канателла, будь смирней!

3.

Ты притопнешь, вскинешь бровью:
Что случилось? Пустяки! 2 раза
Я терпенье длил воловье,
Ревность сжала мне виски.
Чернобровая, будь скромней!
Канателла, будь смирней!

4.

Сговоримся, друг мятежный,
Жемчуг мой — мой острый нож: 2 раза
Отточь свой выбор нежный
Иль на кровь меня толкнешь.
Чернобровая, будь скромней!
Канателла, будь смирней!

Воронеж, лето 1935.

(11)

Ибо если в жизни смысла нет
Говорить о жизни нам не след.
Я еще довольно сердцем дик
Скучен мне понятный наш язык.

(48) АДМИРАЛТЕЙСТВО

Живая линия меняется как лебедь
Я с музой зодчего беседую опять.
Взор омывается, стихает жизни трепет, —
Мне все равно, когда и где существовать!

(181) РЕЙМС И КЕЛЬН

Шатались башни, колокол звучал —
Друг горожан, окрестностей отрада,
Епископ все молитвы прочитал,
И рухнула священная громада.

Здесь нужен Рóланд, чтоб трубить из рога,
Пока не разорвется олифан.
Нельзя судить бессмысленный таран
Или германцев, позабывших Бога.

(501)

Как будто хрупких тел томленье
И глянец тусклых вод — мое
До боли острое мгновенье
И неживое бытие.

(74) АББАТ

Переменилось все земное,
И лишь не сбросила земля
Сутану римского покроя
И ваше золото, поля.
И самый скромный современник,
Как жаворонок, Жамм поет, —
Ведь католический священник
Ему советы подает!

Священник слышит пенье птичье
И всякую живую весть.
Питает все его величье
Сияющей тонзуры честь.
Свет дивный от нее исходит,
Когда он вечером идет
Иль по утрам на рынке бродит
И милостыню подает.

Я поклонился, он ответил
Кивком учтивым головы,
И, говоря со мной, заметил:
«Католиком умрете вы!»
А в толщ унынья и безделья
Какой врезается алмаз,
Когда мы вспомним новоселье,
Что в Риме ожидает нас!

Там каноническое счастье.
Как солнце, стало на зенит,
И никакое самовластье
Ему сиять не запретит.

О жаворонок, гибкий пленник,
Кто лучше песнь свою поймет,
Чем католический священник
В июле, в урожайный год!

(82) ФЕДРА

- Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора!
- Собирается в Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда.
Вот она: какие речи
И какой ужасный вид!
Избегает с нею встречи,
Чуя правду, Иполит.
- О если б ненависть в груди моей кипела —
Но видите — само признание с уст слетело.
Черным факелом среди белого дня
К Иполиту любовью Федра зажглась
И сама погибла, сына виня,
У старой кормилицы учась.
Позабыла свой род и царский сан,
Возвела на юношу неправды тень,
Заманила охотника в капкан
По тебе будут плакать леса, олени!
- Любовью черною я солнце запятнала,
Смерть охладит мой пыл из чистого фиала.
- Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь.

Уязвленная Тезеем
На него напала ночь.
Мы же, песнью похоронной
Провожая мертвых в дом,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уйдем.

13 окт. 1915

(107)

Как пахнут тополя — мы пьяны
Когда качается земля,
Не ради смуты мы смутьяны
На черной площади Кремля.

Соборов восковые лики
Спят, и разбойничать привык
Без голоса Иван Великий,
Как виселица, прям и дик.

А в запечатленных соборах
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах
Играет русское вино.

Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский, зеленый,
И, мнится, заворкует вдруг.

Архангельский собор — виденье,
Успенский — если хочешь, тронь!
И всюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь.

апрель 1916, Москва

(266)

Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поучимся ж серьезности и чести
У стихотворца Христиана Клейста.

Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гёте не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И княжества топталися на месте.

Война — как плющ в беседке шоколадной,
И далека пока еще от Рейна
Косматая казацкая папаха.

И прямо со страницы альманаха
Он в бой сошел и умер так же складно,
Как пел рябину с кружкой мозельвейна.

8 августа 1932.

(338)

Ночь. Дорога. Сон первичный
Соблазнителен и нов.
Что мне снится? Рукавичный
Снегом пышущий Тамбов,
Или Цны — реки обычной
Белый, белый, бел-покров?

Или я в полях совхозных —
Воздух в рот и жизнь берет,

Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот?

Кроме хлеба, кроме дома
Снится мне глубокий сон:
Трудодень, подъятый дремой,
Превратился в синий Дон.

Анна, Россошь и Гремячье —
Процветут их имена, —
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна...

декабрь 1936.

(13)

Пусть за стеною, в дымке блеклой
Сухой, сухой, сухой мороз —
Слетит веселый рой на стекла
Алмазных, блестящих стрекоз.

Зима 1910

(503)

Юдольной жизнью не дорожи художник,
Росою бытия печаль свою считай.

(175)

И, вздыхая, лист, как гость недужный,
Прочь спешит покинуть праздник дружный.

(159)

Когда шарманщика терпенье
Чудовищно, и сквозь шпелень
Мелькает ящик, — наважденье
Осеннюю тревожит сень.

(70)

На священной памяти народа
Англичанин другом не слывет
Развалит Европу их свобода,
Альбиона каменный приход.

О Европа, новая Эллада,
Золотая житница гостей,
Ни любви, ни дружбы нам не надо
Альбиона каменных детей.

(72) ОДА БЕТХОВЕНУ

Тебя предчувствуя в темнице
Шенье достойно принял рок,
Когда на черной колеснице
Он просиял, как полубог.

(73)

Поведайте пустыне
О дереве креста,
В глубокой сердцевине
Какая красота!

Из дерева простого
Я смастерил челнок,
И ничего иного
Я выдумать не мог.

(79)

Обиженно уходят на холмы
Плебеи, и о Риме семихолмном
Тоскуют овцы и по черным волным
Земли кочуют в океане тьмы.

.....

Они покорны чуткой слепоте,
Они — руно косноязычной ноги,
Им солнца нет: слезящиеся очи
Им — зренья старца — светят в темноте.

(83) ЗВЕРИНЕЦ

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры.
Как на косматые пещеры
Мы променяли сей эфир?
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать;
Мы научились умирать,
Но разве этого хотели?

(86)

И к умирающим склоняясь в черной рясе,
Заиндевелых роз мы дышим белизной,
Что знает женщина одна о смертном часе?
Клубится полог, свет струится ледяной.

Как голубая кровь декабрьских роз разлита
И в саркофаге спит тяжелая Нева
Шуршит соломинка, соломинка убита —
Что если жалостью убиты все слова?

(94)

С глубокомысленной и нежною страной
Нас обручило постоянство.
Мерцает, как кольцо на дне реки чужой,
Обетованное гражданство.

(204)

Ломается мел, и крошится
Ребенка цветной карандаш
Мне утро армянское снится,
Когда выпекают лаваш.

И с хлебом играющий в жмурки
Их вешает булочник в ряд,
Чтобы высохли барсовы шкурки
До солнца убитых зверят.

Раздвинь осьмигранные плечи
Мужичьих своих крепостей,
В очаг вавилонских наречий
Открой мне дорогу скорей.

(218)

А не пора ли очнуться мне там,
Где обо мне ни слуху ни духу,
В городе, где выпрямляюсь по слуху,
Не по гвардейским его каблукам.

ПРОЗА

ШУБА

Хорошо мне в моей стариковской шубе, словно дом свой на себе носишь. — Спросят — холодно-ли сегодня на дворе и не знаешь, что ответить, может быть и холодно, а я то почему знаю.

Есть такие шубы, в них ходили попы и торговые старики, люди спокойные, несуетливые, себе на уме — чужого не возьмет, своего не уступит, шуба, что ряса, воротник стеной стоит, сукно тонкое, не лицеванное, без возрасту, шуба чистая, просторная, и носить бы ее, даром, что с чужого плеча, да не могу привыкнуть, пахнет чем то нехорошим, сундуком, да ладаном, духовным завещанием.

Купил я ее в Ростове, на улице, никогда не думал, что шубу куплю. Ходили мы все петербуржцы, народ подвижный и ветряный, европейского кроя в легоньких зимних, ватой подбитых, от Манделя, с детским воротничком, хорошо, если каракуль, полугрейках, ни то ни се. Да соблазнил меня Ростов шубным торгом, город дорогой, ни к чему не пиступишься, а шубы дешевле пареной репы.

Шубный товар в Ростове выносят на улицу перекупщики шубёники. Продают не спеша с норовом, с характером. Миллионов не называют. Большим числом брезгают. Спросят восемь, отдают за три. У них своя сторона, солнечная, на самой широкой улице. Там они расхаживают с утра до двух часов пополудни, с шубами в накидку на плечах, поверх тулупчика или никчемного пальтишки. На себя напялят самое невзрачное, негреющее, чтобы товар лицом показать, что бы мех выпушкой играл соблазнительней.

Покупать шубу, так в Ростове. Старый шубный митрополичий русский город. Здесь гуляют поповские гладкие

шубы без карманов: зачем попу карман, только знай за-
пахивайся, деньги не убегут.

Не дает мне покоя моя шуба, тянет меня в дорогу, в
Москву, да в Киев, — жалко зиму пропустить, пропадет
обнова. Хочется мне на Крещатик, на Арбат, на Пречи-
стенку. Хочется и в Харьков, на Сумскую, и в Петербург
на Большой проспект, на какую-нибудь Подрезову улицу.
Все города русские смешались в моей памяти и слиплись
в один большой, небывалый город, с вечно сонным путем,
где Крещатик выходит на Арбат, и Сумская на Большой
проспект.

Я люблю этот небывалый город, больше, чем настоя-
щие города порознь, люблю его словно в нем родился,
никогда из него не выезжал.

Отчего же беспокойно мне в моей шубе? Или страшно
мне в случайной вещи, — соскочила судьба с чужого плеча
на мое плечо и сидит на нем, ничего не говорит, пока что
устроилась.

Вспоминаю я сколько раз я замерзал в разных городах
за последние четыре года: и замерзание в Петербурге,
возвращение с обледенелым пайком в руках в комнату
Дома Искусств, жгучие железные перила черной лестни-
цы, без перчаток, никак до них не доберешься, чудом
поднимаешься на свой этаж, грохнешь паек на столик
в кухонку, к старушонке, понемногу оттаять, притти в
чувство.

Жили мы в убогой роскоши Дома Искусств, в Елисеев-
ском доме, что выходит на Морскую, Невский и на Мой-
ку, поэты, художники, ученые, странной семьей, полупо-
мешанные на пайках, одичалые и сонные. Не за что было
нас кормить государству и ничего мы не делали.

Впрочем молодые не унывали, особенно Виктор Бо-
рисович Шкловский, задорнейший и талантливейший ли-
тературный критик нового Петербурга, пришедший на
смену Чуковскому, настоящий литературный броневик,
весь буйное пламя, острое филологическое остроумие и
литературного темперамента на десятерых. Он, как на-
стоящий захватчик, утвердился революционным порядком
в Елисеевской спальне, с камином, двуспальной постелью,
киотом и окнами на Невский.

На него было любо смотреть; и Елисеевская бывшая челядь его уважала и боялась. Вот он возвращается с огромным мешком картона на спине из экспедиции по дрова. Комнаты нам не дотапливали, за то тут же в доме находились девственные залежи топлива: брошенный банк, около сорока пустых комнат, где по колено навалено толстых банковских картонов. Ходи кому не лень, но мы не решались, а Шкловский бывало пойдет в этот лес и вернется с несметной добычей. Затрещит затопленный канцелярским валежником камин, а хозяин разбрасает по глянцевитым ломберным елисеевским столам и на кровати, и на стульях и чуть ли не на полу листочки с записками из Розанова и начнет кленть свою удивительную теорию о том, что Розанов писал роман и основал новую литературную форму.

Приехала к нам и Мариетта Шагинян, прямо из Ростова, со своей монашеской глухотой, не от мира сего, вернее не от нашего Петербургского мира. Ее засмеяли, когда она, единственная из всего населения дома искусств вышла на чистку снега, скромную трудовую повинность, возложенную на нас советской властью и встреченную, конечно, снобическим саботажем.

Вспоминаю я моего соседа по Камчатке бывших меблированных комнат, куда сплавили нас за неимением места в хоромы дома Искусств, — поэта Владислава Ходасевича, автора «Счастливого Домика», чей негромкий, старческий, серебряный голос за двадцатилетие его поэтического труда подарил нам всего несколько стихотворений, пленительных, как цоканье соловья, неожиданных и звонких, как девический смех в морозную ночь.

Это была суровая и прекрасная зима 20-21 года. Последняя страдная зима Советской России и я жалею о ней, вспоминаю о ней с нежностью. Я люблю Невский пустой и черный как бочка, оживляемый только глазастыми автомобилями и редкими, редкими прохожими, взятыми на учет ночной пустыней. Тогда у Петербурга оставалась одна голова, одни нервы.

Тяжело мне в моей шубе, как тяжела сейчас всей Советской России случайная сытость, случайное тепло, нехорошее добро с чужого плеча. Я спешу пройти в ней

поскорее мимо окна гастрономического магазина, спешу рассказать знакомым, что заплатил за нее не дорого, но больше всего мне совестно за мою шубу перед старушонкой, что ютится на кухне нашей квартиры, которая нарочно ездила прошлой осенью в Москву за вещами после покойного сына, на обратном пути добрые люди посоветовали ей сдать вещи в багаж и у нее выкрали из багажа весь ее жалкий скарб, все, буквально все, заработанное за всю жизнь.

1922.

ГРОТЕСК

Когдаходишь в маленькую уютную теплую каюту Гротеска, сразу начинают щекотать ноздри воспоминанья, такой тонкий и приятный запах прошлого, словно весь Гротеск, как знаменитый Страсбургский пирог, только что доставлен, горячий и дымящийся, из кухни Петербургской «Бродячей Собаки» и «Дома Интермедий».

Здесь незримо присутствует «гений» Потемкина, автора великой англо-негритянской трагедии «Black в.....» (кстати, входит в репертуар «Гротеска»), и все семейство больших и маленьких «Вампук» перекочевало в этот хрупкий ковчег остроумия.

Гротеск не просто забавный неисхищенный маленький театр, это правнучек, кровный отпрыск семьи российского театрального Сатирикона, может не любимый бабушкин внучек, да что делать — бабушка постарела, приласкать некому.

Давно отшумел блестящий Петербургский 1913 год.

Камина красного тяжелый зимний жар,
Над черным кофеом встающий тонкий пар,
Веселость едкая литературной шутки.

Что это было, что это было! Из расплавленной остроумием атмосферы горячечного, тесного, шумного, как улей, не всегда порядочного, сдержанно беснующегося гробик-подвала в маленькие сенцы, заваленные шубами и шубками, где проходят последние объяснения, прямо в морозную ночь, на тихую Михайловскую площадь; взгля-

нешь на небо, и даже звезды покажутся сомнительными: остроумничают, ехидствуют, мерцают с подмигиванием.

И не освежает морозный воздух, не успокаивают звезды. Скрипит снег под легенькими полозьями извозчых санок, и как «бесы невидимкой при луне» в снежной пыли кувыркаются последние петербургские остроуты, нелепость последнего скэтча сливается с нежной нелепицей, и холодок остроумия, однажды попав в кровь «как льдинка в пенном вине» будет студить и леденить ее, пока не заморозит.

Да, я любила их те сборища ночные,
На маленьком столе стаканы ледяные.

В этом году театральное остроумие взвилось, как стоцветная ракета в темную ночь. «Дом Интермедий», «Кривое зеркало».

Би-ба-бо рассыпали холодный фейерверк гротеска, скэтча и пародии в воздухе, который был «предчувствием томим» для театральной публики; посвященная, она прошла через культуру остроумия, высшую школу издевательства, академию изысканной нелепости.

Простой петербуржец из трамвая, банка, министерства ничего не понимал в этом, но мы сходили с ума от факира, который, показывая бритву перед каким-то фокусом, пояснял, что она бреет растительность, «и даже на лице».

Дело было так. Из своеобразного ощущения исторической минуты родилось сильнейшее и острейшее чувство нелепости, возведенное в культ Кривозеркальцами и Сатириконцами. Это чувство нелепости положило начало позднему и утонченно-упадочному расцвету русского театрального Гротеска.

Настоящими участниками этой мистерии абсолютно нелепого могли быть только люди, дошедшие до «предела», у которых было что терять и которых толкала на путь сокрушительного творчества из нелепого внутреннего опустошенность, — предчувствие конца.

Появились перемены, выработались традиции, театр Гротеска вышел на улицу.

Иррациональный, нерассудочный элемент, заключенный в эстетической категории нелепого, должен был выветриться, уступить место простому остроумничанью, «Са-

тирикону»... То-то и печально, что в ростовском Гротеске господствует не тень Потемкина, который даже трезвый и приличный походил на отмытого негра, а изысканный Агнивцев с браслетами, щеночками и собачками, этот Кузмин на сахарине с маргариновым старым Петербургом, где стилизация не прячется в углах губ, а прет из каждой строчки, как лошадиное дышло.

В Гротеске кончилось творчество нелепого, все остроумно, мило, занятно. Но когда выходишь из Гротеска на морозную улицу, звезды не ехидствуют и снег не хрустит с усмешкой.

Антракты Гротеска, благодаря Курихину, острее, художественнее, гротескнее самого действия. Каждое слово — чистое золото нелепости:

«Вот позвольте представить, Мария Васильевна, самая красивая девушка Ростова и Нахичевани».

За это «и Нахичевани» можно все отдать.

В антрактах Курихина живет традиция творчества нелепого, он единственный из Джиммистов, составляющих ядро Гротеска, подлинный мастер иррационального, гротескного юмора тонкого упадочного театра, стоящего на грани пустоты.

1922.

КИСЛОВОДСК ВЕСНОЙ

Разные бывают солнца, но такого как в Кисловодске, нет, кажется, больше нигде. При высшей своей жгучести оно не палит, не жжет, а глубоко, насквозь пронизывает тело радостью...

Тоже и кисловодский воздух. Разные бывают воздуха — степной, морской, горный, но кисловодский — особенный; мало того, что он насыщен всякими там кислородами и озоном; мало того, что сам он отличается необычайной легкостью, необычайной способностью проникать в легкие, — он и тела делает легкими... Восьмипудовая какая-нибудь туша чувствует себя в Кисловодске пятипудовой, а пятипудовые гражданки носятся по горам, как перышки...

Тот самый гражданин, который здесь, в Москве, хирел от жиру, разгуливает по кисловодскому парку с улыбаю-

щейся физиономией. Сам воздух так поддерживает его подмышки. Ноги сами ходят, точно к щиколоткам привязаны крылышки, как у крылатого бога Гермеса.

Да, замечательные вещи — воздух и солнце в Кисловодске! Но еще замечательней — Нарзан. Это уж совсем что-то живое. Это как будто «просто углекислая вода, которая излечивает сердечные болезни, но это не так «просто». Это — шампанское, бьющее прямо из земли. Натуральное шампанское, — возбуждающее, чуть-чуть пьянящее...

Сядешь в ванну, и тело моментально покрывается пузырьками, — как бы серебряной чешуей. Струйками со дна поднимаются эти пузырьки, все больше и больше, — вода точно закипает от присутствия в ней человеческого тела, и кажется, что и тело в соединении с нарзаном начинает излучать теплоту, кипит в ласковых иглах нарзана, теплеет, розовеет...

Сидит в ванне человек, какой-нибудь такой седой, с печальными глазами, и улыбается. А выходит из ванны, тело оранжевое, — совсем Аврора!

Потом легко идет, бодро, перекинув простыню через плечо, в парк, в горы, к «Красному солнышку», к «Медовому водопаду» (много прекрасных уголков и замечательных окрестностей в Кисловодске!) — и чорт знает куда его еще носит, старого человека с седой бородой! Усталости не знаешь в Кисловодске, — с каждой новой ванной нарзанной как будто начинаешь снова жить...

Недаром горские народы зовут Нарзан «Нардсанном», что означает «богатырь-вода»...

Да, хорошо в Кисловодске. И летом хорошо главным образом тем, что не жарко. Часто выпадают дожди — моментальные ливни, быстро просыхающие. Но после такого дождя воздух еще лучше, солнце еще ярче.

И весной, и осенью, и зимой хорошо в Кисловодске.

Летом там слишком много людей. Не видно деревьев за людьми. Облеплены горы льдами. А осенью и весной свободнее, тише. Тишина звенит. Начинается игра красок...

В парке каждое утро на рассвете стелятся новые ковры. Выбежишь в парк, еще глаза не разлепились от сна,

и видишь — опять поселены новые ковры. И разные все — самых разнообразных оттенков! Парк виден насквозь далеко. Вон под липами — оранжевый ковер, а рядом — золотой под кленами покрыл весь бугор, и солнце играет уже рассыпанным золотом у подножья стволов, а дальше, где ясень и дуб, — темнокоричневый ковер с зелеными пятнами... И все дорогие узоры, — персидские, французские...

Разве только вдруг выпадет снег... Покроет моментально белыми пеленами горы... Лежит ослепительный на фоне ярко-синего неба в горах. Красив снег в Кисловодске!

Но лица вытягиваются, начинается «ропот»: «вот те на! Приехали!», — и не успевают, как следует, забрюзжать приехавшие, как солнце скатывает пелены... И опять тепло. Даже в декабре бывает днем 20 град. тепла. Ходят в летних платьях и принимают солнечные ванны...

И шампанское зимой все также бьет из недр земли, животворящий богатырь — Нарзан — лучшей марки шампанское.

Но как ни хорошо в Кисловодске зимой, осенью и летом, а лучше всего все-таки весной. Весна побивает рекорд. Со всех времен года она собирает в себе самые лучшие краски. И, как птицы и пчелы на яркий цветок, слетаются в Кисловодск люди отовсюду, со всех сторон.

1927

[Отрывок из статьи «Пушкин и Скрябин»]

Рим железным кольцом окружил Голгофу: нужно освободить этот холм ставший греческим и вселенским. Римский воин охраняет распятие и копьё наготове: сейчас потечет вода: нужно удалить римскую стражу... Бесплодная, безблагодатная часть Европы восстала на плодную, благодатную. Рим восстал на Элладу... Нужно спасти Элладу от Рима. Если победит Рим — победит даже не он, а иудейство — иудейство всегда стояло за его спиной и только ждет своего часа и восторжествует страшный противуестественный ход: история обратит течение времени — черное солнце Федры.

[1915]

[Отрывок из статьи о переводах]

Так называемый переводный язык — это могучее варварское наречие, дикий воляшок, имеющий свои законы и традицию. Он развивается параллельно с живым литературным языком и в свою очередь оказывает на него сильнейшее влияние. В моей редакторской практике я сталкивался с переводчиками, которые и не подозревали о существовании отглагольных прилагательных. Без единого деепричастия они списывали целые томы. Тот отвратительный вид, в котором сейчас выходят иностранные авторы, — это настоящее чудо в сравнении с тем сырьем, которое издательства подсовывают редакторам.

[1929 г.]

ТАТАРСКИЕ КОВБОИ

(Кино-рецензия)

Просмотр этой фильма в АРК'е можно уподобить раз необычайному зрелищу Илиады, говорящей сама о себе. Благодаря любезности творцов этого произведения, мы ознакомились с эпическими стихиями, обусловившими наслоения и напластования этой чудовищной фильмы.

Чебуречно-минаретный Крым сам по себе является заманчивой областью для кино-налетов и, несмотря на то, что смелые исследователи говорили о своей «экспедиции» с дрожью в голосе, с суровыми интонациями, словно об исследовании Тибетских недр — она не нуждается ни в объяснениях, ни в оправданиях.

Воистину, нужно быть каменным человеком, чтобы не испытать живейшего восторга перед очаровательно-нелепым воображением авторов «Песни на камне».

Так говорить о Крыме, о татарах, о моменте, отстоящем от нас на какие-нибудь 10-15 лет, может только иностранец. У нас создается впечатление, что сценарий составлен интеллигентным парагвайцем или аргентинцем, что элементарнейшее представление о царском Крыме, его социальных отношениях и т. д. искажены с причудливой экзотической дерзостью.

Татары охотятся на исправника и на индейцев с остревением настоящих индейцев. На мирном крымском шоссе на шею исправника накидывают лассо, тащат его куда-то вверх на скалу. Вооруженных всадников обезоруживают, как маленьких детей. Все это безнаказанно производится самым мирным и кротким из всех окраинных народов царской России, крымскими татарами, теми самыми, социальная пассивность которых была широко использована царской властью.

В прозаичнейшей курортной крымской Элладе автор отыскал какую-то пещеру и поселил в ней каких-то одичавших отшельников-ветеранов никогда не существовавшей татарской революции.

«С этим пистолетом я боролся еще с ханскими опричниками».

Эта изумительная надпись вводит нас в самую гущу экзотической фильма. Она реет над ней как великолепный лозунг. Из пистолетов по ханским (?) опричникам. Лассо на исправников. Бизонов в крымские прерии.

Авторы заявляют, что хотели дать бытовую фильму. Крым они упорно называют востоком, и нужно отдать им справедливость, они сделали все возможное, чтобы вытравить из реальной картины Крыма все, оскверняющее эту сомнительную экзотическую девственность. Попробуйте выйти на любое крымское шоссе, чтобы не встретить экипажа, автомобиля, каких-нибудь «европейцев», дачников, вообще, отнюдь не татар.

Где и когда видано, чтобы татары жили в Крыму с патриархальной замкнутостью, словно какие-нибудь горцы в саклях при Шамиле? Осторожные творцы странной фильма ограничили поле своих наблюдений, очевидно, одним Бахчисараем и, делая вылазки на побережье (понадобились волны), тщательно следили за тем, чтобы ничто постороннее не вторглось в чебуречно-овечий стиль.

Стерилизованные таким образом татары только и делают, что пляшут, борются на праздниках, продают друг другу чебуреки.

По заявлению режиссера, экспедиция в Крыму гнушалась воспроизведением и подделкой быта и пользовалась исключительно услугами местного населения, застав-

ляя его изображать интересные номера. Этот способ работы дал убогие и фальшивые плоды. Население, действительно, постаралось для высоких путешественников. Так подходя к сырому материалу, можно лишь выявить потенциально дремлющие в нем свойства плохих актеров.

Действительно опытная режиссерская рука чувствует-ся лишь в эпизоде похорон, порученном (по выражению авторов, отданном на откуп) — прекрасному постановщику, настоящему мулле. Мулла и его ритуальные помощники оказались профессионалами, и татарские похороны вышли у них не за страх, а за совесть.

Режиссеру, конечно, не удалось избежать кино-вампуки. Массовые сцены поражают своей безалаберностью и опереточной фальшью. Игра отдельных «актеров» безвкусна и трафаретна.

О технике этой фильма не хочется говорить, настолько приковывает внимание ее исключительно забавная композиционная нелепость. Зритель никогда не забудет граничащего с нервным шоком недоумения, которое он испытал, когда «татары» ни с того ни с сего замахали руками и с яростью набросились на пресловутого исправника, появившегося на народном празднике.

Незабываемый исправник с баками Аледсандра II и пистолет из татарской пещеры, к сожалению не одиноки.

Растет поколение, которое по таким фильмам будет создавать свое представление о вчерашнем дне. Стыдно перед детьми. И перед татарами.

ШПИГУН

(Кино-рецензия)

Верблюд фигура нейтральная. Он одинаково чужд и белым и красным. Хотя Шпиковский и заставляет верблюда чихнуть в лицо бывшему уряднику, осквернив его хлопьями пены — это неубедительно. Благородный зверь мог осквернить своим поганым чихом любого (и) красного командира. Верблуду все равно, на кого чихать — нельзя сделать его орудием политики. Верблуд здесь важен, как прием отстранения. Одна только мысль пустить героя на

верблюде по Украине уже сама по себе великолепный сценарий. Здесь, кстати, скажем: у киносценария есть свои необоримые физиологические законы. Зритель к ним чрезвычайно чуток, он требует развития именно этих стихийных элементов, заложенных в сценарии. Быть может прообраз(ом) всякого сценария была погоня, преследование, бегство. Для зрителя герой Шпиковского совсем не шкурник, а фантастически(й) полусказочный «верблюжий шпигун», как метко определил его, рапортую «его благородию», белый солдат в одной из отличных надписей фильма. Шпиковский сам не заметил, как вступил на путь сказки, а, между тем, он находится на несомненной фольклорной дорожке, с ее кружением вокруг одной неподвижной точки, с ее повторами, с ее здоровым лукавством.

Нет гибели на Ваньку-Встаньку, нет покровшки на Тартарен(а), нет извода верблюжьему шпигуну.

Чем совершеннее кино-язык, чем ближе он к тому еще никем неосуществленному мышлению будущего, которое мы называем кинопрозой с ее могучим синтаксисом, — тем большее значение получает в фильме работа оператора. С этой точки зрения работа Шпиковского, несмотря на свою скромную реалистическую внешность, — достижение очень высокой пробы.

Этот художник, не возлагая излишних надежд на актерскую игру, повествует подлинными зрительными образами, не повышая голоса, без крика, без высоких нот, без хриплого голоса, который хуже всякого крика. Трудно поверить, что большая вещь выдержана от начала до конца, выдержана без единого крупного плана. Мы слышим все время ровный, с логическими ударениями и небольшими паузами, голос чтеца. Шпиковский, я думаю, не сумел бы поставить натюр-морт. Он видит мир с высоты седла, с вагонной площадки или с артиллерийской двуколки — глазами среднего человека (щ), не напряженно (,) без символических причуд. В самом начале фильма он показывает землю, взрыхленную почву, какие-то черноземные бугры, но поворачивает плоскости с таким любовным мастерством, что зритель готов удивиться: как много на свете добротной земли, как похожа она на море.

(Лучшие куски шкурника: тощая артиллерия, проезд

жающая по узким улочкам городка, среди палисадников, колосья, подмятые бойцами, ржаное поле, разговаривающее,

Режиссер, как бы задался целью, отказавшись от выигрышных ударных мест, поднять средний уровень фильма) — *Забито*. Ю. Ф.

Влюбленный в средний украинский пейзаж, он не впадает в живописность. Тощая артиллерия, например, плетется змейкой по узким улочкам предместья, среди палисадников: если взять кадры отдельно, то скажешь: здесь засняты маневры, где-нибудь на Шулявке. Это кусок хроники. Только замечательное использование светотени, свойственное Шпиковскому, и «угол зрения» поднимают такие куски на уровень кино-прозы. Шпиковский умеет работать на среднем освещении. Его оператор должен был бы великолепно снимать хронику.

Если бы работа режиссера и оператора разворачивалась нормально по внутренним законам, если бы сценарист не побоялся фольклорной сказочной основы, с ее веселым озорством, — мы получили бы настоящего «верблюжьего шпигуна», легенду о верблюжьем тартаре. Очень жаль, что верблюд не чихнул на того, кто испортил сценарий Шпиковскому. Нынче шкурник 19 года — это уже кустарная игрушка, детская кукла. Ваньку-Встаньку не бьют, его щелкают. Степку-Растрепку не изобличают: с ним надобно играть. Я удивляюсь той громадной недооценке зрителя, которую проявляют все наши сценаристы и все опекуны кино. Вот, например, Шпиковский создал великолепную игрушку, игрушку «социального назначения» — верблюжьего шпигуна. Образ пластический, выдумки — прямо лесковской — точеную кустарную куклу с большим воспитательным смыслом. Так, нет же. Кому-то понадобилось отнять игрушки, сломать, подменить. По сказочному смыслу сценария на бедного шкурника должны были сыпаться шишки, как с белой, так и с красной стороны. Ему полагалось быть битым и на свадьбе, и на похоронах. Гибнуть ему вообще не полагалось. Ванька-Встанька непобедим и Тартарен вечен.

Между тем, (какой-то недобрый гений — *забито*. — Ю. Ф.) совершенно правильный инстинкт внушил Ши-

ковскому, что наряду с фольклорной темой верблюжьего шпигуна и даже в противовес ей, надо крепить и развивать тему труда и хозяйства. Я уже сказал, что в шкурнике разлит воздух мирного времени. Это не инсценировка гражданской войны, это мы, в двадцать девятом году, играем куклой шкурника.

Все дело в том, что здесь не было достаточно бережного, любовного отношения к анекдоту, к сказу, к малой фабуле. Вообще, в последних своих фильмах в ВФУКУ, и другие фабрики в плену у больших масштабов. Война, революция, фронты — это фон. Но нехорошо, когда этот фон глушит медными трубами голос рассказчика. Нехорошо, когда нет смычки между исторической тематикой и скромной повестью или сказкой. История, могучая хроника, глушит органические сюжетные ростки. Оттого все сценарии выходят похожи(ми) один на другого. Получается какой-то общесоветский Пудовкин — мать всех российских фильмов.

Зачем Шпиковский на каждом шагу роняет шкурника, забывает о нем. Отчего он не провел героя через лучшие, самые ответственные места своей съемки. Фабула у Шпиковского движется по одной линии, а съемка по другой. Это главный недостаток «Шкурника», его органический изъян. Всюду, где вещь пахнет инсценировкой, она слаба. Сцена дележки награбленных сокровищ в монастыре — прямая бутафория, корчма из «Годунова» в Госопере. Тут, кстати (,) и невнятина: зритель помнит (,) изъятие ценностей и решает, что монахов экспроприируют не то бандиты, не то комиссары. А надо понимать, что бандиты делятся с монахами. Центральный эпизод — ржаные поля, примятые бойцами — хорош, как съемка, но фабула здесь не причем. А ведь таких колючих, усатых, военных колосеев ржи, как у Шпиковского, — поискать надо. Сама по себе смена кадров — ржаное поле — поле битвы — великолепна. Но если б мужики поймали — в поле верблюжьего шпигуна и избили его за потраву — нам было бы интересней.

Основной закон сказочности — три ряда повторений, в «Шкурнике» все же соблюден: советская командировка на Овечий Брод с верблюдом, для восстановления транспор-

та, приключения в штабе у белых, где удивительно радуется метаморфоза бедного шпигуна в господина начальника Освага (английский френч, машинистки) и, наконец, опаснейшее знакомство с бандой. Даже в таких мелочах, как одновременное лужание семечек, игра на гармошке и ловля вшей (трое мешочников на вокзале), — едва ли не лучший кадр «Шкурника», — чувствуется фольклорная трюечность.

Нам жалко невинного «Шпигуна», загубленного ненужной агиткой, мы не верим в сусальный субботник на вокзале и в страшную кожаную комиссаршу. Изрытый копытами песок на овражке дает нам лучшее представление о гражданской войне, чем тела убитых во ржи. Мы хотели бы, чтобы верблюжий шпигун, со своим дромадером, воскрес в новой фильме Шпиковского — мастера светотени и спокойной, вдумчивой кино-прозы. Побольше озорства, побольше смелости, побольше доверия к зрителю (!) «Шкурник» в сказке должен быть наказан не расстрелами и скорпионами, а тем, чтобы как дополнительный паек на верблюда раздатчик вручит ему... шнурки для ботинок.

[1929]

О ПЬЕСЕ А. ЧЕХОВА «ДЯДЯ ВАНЯ»

(Набросок)

Чехов. Действующие лица «Дяди Вани», Серебряков, Александр Владимирович, отставной профессор. Елена Андреевна, его жена, 27 лет, Софья Александровна (Соня), его дочь от первого брака. Войницкая, Марья Васильевна, вдова тайного советника, мать первой жены профессора. Войницкий, Иван Петрович, ее сын. Астров, Михаил Львович, врач. Телегин, Илья Ильич, обедневший помещик. Марина, старая няня. Работник.

Чтобы понять внутренние отношения этих действующих лиц, как системы, нужно чеховский список наизусть выучить, зазубрить. Какая невыразительная и тусклая головоломка. Почему они все вместе? Кто кому тайный советник? Определите-ка свойство или родство Войниц-

кого, сына вдовы тайного советника, матери первой жены профессора, с Софьей Александровной — дочкой профессора от первого брака? Для того, чтобы установить, что кто-то кому-то приходится дядей, надо выучить целую табличку. Мне, например, легче понять воронкообразный чертеж дантовской Комедии, с ее кругами, маршрутами и сферической астрономией, чем эту мелко-паспортную галиматью.

Биолог назвал бы чеховский принцип — экологическим. Сожительство для Чехова решающее начало. Никакого действия в его драмах нет, а есть только соседство с вытекающими из него неприятностями.

Чехов забирает сачком пробу из человеческой «тины», которой никогда не бывало. Люди живут вместе и никак не могут разехаться. Вот и всё. Выдать им билеты — например, «трем сестрам» — и пьеса кончится.

Возьмите список действующих лиц хотя бы у Гольдони. Это виноградная гроздь с ягодами и листьями, это нечто живое и целое, что можно с удовольствием взять в руки: *personaggi*: Фабрицио — старик, горожанин; Евгения — племянница Фабриция; Фламиния, племянница Фабриция — вдова; Фүльгеницио — горожанин, влюбленный в Евгению; Клоринда, двоюродная сестра Фүльгениция; Роберт — дворянин и т. д. Тут мы имеем дело с цветущим соединением, с гибким и свободным сочетанием действующих сил на одной упругой ветке.

Но Чехов и упругость — понятия несовместимые.

В античном мире владыка афинский Эак, когда весь народ его умер от заразы, от порчи воздуха — из муравьев людей наделал. А и хорош же у нас Чехов: люди у него муравьями оборачиваются.

На-днях я пришел в «Воронежский Городской Театр» к третьему действию «Вишневого сада». Актеры гримировались и отдыхали в уборной. Ко мне подошла старая театральная девочка в черном платье с белой косыночкой. То была Варя. Кулак-Лопухин, только что купивший вишневый сад, еще усиливался сдерживать в чертах лица выражение хитрой, но чувствительной коммерческой шутки. На клетчатых своих коленках он тихонько укачивал серебро-лунного думного боярина из пьесы Алексея Толсто-

го, из той самой, которую написал полицейский пристав в сотрудничестве с Аполлоном Бельведерским, на этот раз мой Мстиславский был в долгополом «рассейском» сюртуке: помещик по фамилии Пищик.

В общем, развалины пьесы, ее, так сказать, тыл, были неплохи. Поиграв Чехова, актеры вышли как бы простуженные и немного виноватые.

Между театром и так называемой жизнью у Чехова соотношение простуды к здоровью.

(За несколько дней (до этого) театру был большой влёт: его изругала областная газета за то, что «Вишневый сад» был сыгран без настроения и обращен в удалую комедию.

Я испугался львицы, игравшей в пьесе главную барыню, и поболтал о том о сем с актером, исполнявшим роль конторщика Епиходова. В нем нельзя было не узнать философа, имущего места по объявлению в «Петербургском листке». В то время, как другие актеры всей осанкой своей говорили: «не мне, а имени моему», — в то время, как все они двигались, как недостойные иереи, словно ожидая, что кто-нибудь назовет их «ваше правдоподобие, и чмокнет в ручку, — один Епиходов знал свое место.)

Шумно вошла львица, игравшая в пьесе главную барыню. Номер ее обуви был слишком велик и в точности передавался голосом. У Епиходова дрожали усики.

(Выходец из суворинского Малого Театра, этот комический актер двадцать лет не видел родного города. «Петербургский листок». Место по объявлению. Кружка пива. Бутерброд с бужениной. Райские птицы галстуков в галантерейной лавке.)

1936

ИЗ РАДИО-ПЕРЕДАЧИ О ГЕТЕ

[Отрывки не вошедшие в основной текст]

Как хотел я еще раз взглянуть на кукольное представление. Но отец считал, что нельзя баловать ни старых, ни малых и чем даже доставлять детям радости, тем сильнее будет их впечатление.

Я обратил внимание, что в доме, еще необжитом, есть одна дверь, выходящая в столовую и всегда запертая на замок. Однажды утром мать забыла ключ в скважине. Я вошел в чулан и беглым взглядом окинув картонки, шкапки, мешки, ящики, стаканы и банки и всю запасную посуду. Отащив несколько сушеных яблок, я уже пробираюсь к двери, как вдруг заметил два рядом стоящих ящика, из которых торчало кукольное тряпье. Как я обрадовался убедившись, что в этих ящиках запакованы герои и реквизит моих трагедий. Я приподнял легкую крышку. На самом верху ящика лежала рукописная книжечка: это была комедия о Давиде. С тех пор все мысли мои сосредоточились на комедии, каждую свободную минуту я украдкой твердил стихи и в мыслях представлял себе как это выглядит на сцене...

Гремят барабаны на чистеньких площадях.

Под музыку церковных органов проповедуют ханжи и подхалимы.

Бродячие шарманки разносят по селам и городкам маленькую, рожденную в комнатной клетке, в отгороженном садике мещанскую грусть и радость.

Золоченые кареты под звуки фанфар развозят чваных посланников, занимающихся стиркой государственного белья.

Где же победа над косностью? Как же она произойдет?

Кто тобой, гений, пестуем —
Ни дожди тому, ни гром,
Страхом в сердце не дохнут.
Кто тобой, гений, пестуем
Тот заплечку дождей,
Тот гремучий град
Окликнет песней,
Словно жаворонок
Ты — ввыси!

Революция любит пение жаворонка, не нигде и никогда жаворонки не производили революцию.

*
**

Роза, я сломлю тебя,
Роза в чистом поле,
Мальчик уколою тебя,
Чтобы помнил ты меня.
Не стерплю я боли.
Роза, роза — алый цвет
Роза в чистом поле...

Он сорвал, забывши страх,
Розу в чистом поле,
Кровь алела на шипах
Но она — увы — ах
Не спаслась от боли.
Роза, Роза — алый цвет,
Роза в чистом поле.

Эмилия танцевала с ним менуэт.

Эмилия: — Люцинда больна. Она лежит в постели. Она говорит, что умирает, потому что вероломный друг сначала увлек, а потом покинул ее ради другой.

Гёте: — Но я не виноват, я никогда не увлекался Люциндой. Я знаю, кто может это подтвердить. Не вы ли, Эмилия?

Эмилия: — Отец говорит, что ему стыдно брать с вас деньги за уроки: вы уже знаете все танцы.

Гёте: — Эмилия, и это вы советуете мне покинуть вас?

Эмилия: — Вчера мы зазвали гадалку. Между вами и Люциндой лежала бубновая дама. А что если это я? Вернется мой жених — что скажет он? А Люцинда! Одна сестра несчастна из-за вашей любви, другая — из-за нашего равнодушия. Прощайте, — и в знак того что это последняя встреча...

Дверь распахнулась и в комнату вбежала Люцинда:

Люцинда: — А, ты его целуешь! Ты не одна простишься с ним.

Эмилия: — Такую сцену на театре могла бы исполнить только хорошая французская актриса.

Люцинда: — Это не первое сердце, которое ты у меня отнимаешь. А тот, с кем ты обручена, разве он не был моим? Я должна была все это вынести и вынесла. О, слезы мои, я проста и легковерна, я открыта и честна! А ты — ты хитрая, ты злая, ты скрытная.

Эмилия: — Уходите! Зачем вам это слушать.

Люцинда: — Постой. Я знаю: ты для меня потерян. Но тебе, сестра, он не достанется тоже. Прощай... первый и последний поцелуй... Эмилия, слушай: я проклинаю ту, которая после меня поцелует эти губы... Хочешь, попробуй; но берегись, не оберешься бед! А вы что здесь? Бегите! Бегите прочь! Скорей.

Гёте бежал, дав зарок никогда не возвращаться к танцмейстеру.

(Менуэтная музыка)

Когда попадаешь в новую местность, проследи по какому направлению текут реки и даже ручейки, — через это познаешь рельеф, геологическое строение местности.

Какие здесь цены на хлеб? Неисчерпаемые природные богатства — уголь, железо, квасцы, сера, а страна — под угрозой голода. Лавочник в Пфальзбурге отказался вчера продать нам хлеб.

Отчего этот запах серы и гари и дым из трещин земли?

Подземный пожар, охвативший отработанные штольни. Он длится уже десять лет.

Двухэтажный домик с белыми занавесками на окнах. Здесь, на горе, в рудничном районе живет «угольный философ» химик Штауф. Гёте, путешествуя по Саару, пришел поговорить с ним о хозяйстве страны и об использовании природных богатств.

— За то меня порадовала выработка проволоки. Это зрелище способно привести в восторг любого человека: тяжелый ручной труд заменен машиной. Она работает, как разумное существо.

Гёте положил на стол свой штейгерский молоток.

И Моцарт на воде, и Шуберт в птичьем гаме
И Гете свищущий на вьющейся тропе,

И Гамлет, мысливший пугливыми шагами
Считали пульс толпы и верили толпе...

Творческая тайна художника — как это хорошо, как это глубоко!

Мудрый совет, толкающий на полезное действие — как это прекрасно!

Но из этих двух — сошьют тайного советника — Гёте.

— Коршун исклевал печень богоборца Прометея.

— Корни мои подрублены, — воскликнул умирая Гец фон Берлихенген.

Черные глаза Лотты кажутся Вертеру пропастью, которая влечет его к безумию и смерти.

Эти трое, рожденные его фантазией, разбились, погибли. Однако тот, кто еще не научился ждать, кому еще знакома лихорадка ожидания — отталкивается от гибели.

Новому не рад я. С преизбытком
Этот род к земному приспособлен.
Только дню текущему он служит...

Чего же он ждет?

Придворная карета изволит не приезжать.

Карета, которую за ним обещали прислать Веймарские чиновники изволит опаздывать.

На страсбургском каретном дворе голубым штофом обивают спальный экипаж — так называемый дормез. Кузов его лакируют. Веймарский герб на дверцах золотят.

Страсбургские каретные мастера, не торопясь изготовляют тюрьму на колесах, лакированный гроб на рессорах, в котором величайшего поэта Германии должны доставить в карликовое государство — Герцогство Веймарское, — где он будет министром у помещика, чудом-юдом для показа гостям.

Из «внутренней» рецензии на книгу стихов А. Коваленкова «Зеленый берег».

...У Коваленкова есть начатки подлинной молодой советской лирики. Он говорит о революции:

Тихо сняла винтовку,
Стукнула в пол прикладом,
Зоркая и большая,
Стала со мной рядом.

Прекрасная сдержанная строфа, обдуманые глаголы. Военная точность и спокойствие и в то же время огромная взволнованность.

Вот еще строфа, которая могла быть сказана только о советском школьнике и только советским поэтом:

Вникай, озорной смысленыш
В жизнь, которой ты дышишь,
Видишь прозрачным глазом,
Розовым ухом слышишь...

Какая меткость, какой чудесный подбор простейших средств. В развернутом виде эти четыре стиха составят характеристику лучших качеств советской школы... Духовный мир советской учащейся молодежи не является чем-то абсолютно достоверным, открытым, лежащим на ладони. Большинство новых эмоций никем еще не выражено. Например, сотни тысяч юношей посещают стадионы, но только одному Коваленкову удалось сказать:

И холодок волнения гусиный
Опять со мной на цыпочки встает...

1934.

ПИСЬМА

№ 1.

К матери

Дорогая мамочка,

Получил, получил твое письмо. Что же это станется из нашей переписки, если неделями будем мы молчать... Этак всякое живое содержание из нее исчезнет и поневоле останутся одни общие места.

Была ты значит у В. В. Это хорошо... Жалею, что не послал для него письма... Любопытно мне что он скажет. Надеюсь об этом скоро узнать. Сейчас у меня настоящая весна, в самом полном значении этого слова... Период ожиданий и стихотворной горячки...

Время провожу так: утром гуляю в Люксембурге. После завтрака устраиваю у себя вечер — т. е. завешиваю окно и топлю камин и в этой обстановке провожу два-три часа... Потом прилив энергии, прогулка, иногда кафе для писания писем, а там и обед... После обеда у нас бывает общий разговор, который иногда затягивается до позднего вечера, это милая комедия. К последнему времени у нас составилось маленькое интернациональное общество из лиц, страстно жаждущих обучиться языку... и происходит невообразимая вакханалия слов, жестов и интонаций под председательством несчастной хозяйки...

Вчера, напромер, и до самого вечера говорил с неким молодым венгерским писателем о превыспренних материях, состязаясь с ним в искажении языка. Этот талантливый поэт настойчиво употребляет странное выражение: «мустар» для обозначения горчицы (мелко, но характерно).

Не слишком ли преждевременно будет теперь думать об университетских хлопотах? Ведь их и невозможно начать раньше осени? А если меня не примут — то я поступлю в один из немецких университетов... и согласую занятия литературой с занятиями философией.

Маленькая аномалия: «Тоску по родине» я испытываю не о России, а о Финляндии.

Вот еще стихи о Финляндии, а пока, мамочка, прощай.

Твой Ося.

Paris 20-IV-1908.

№ 2.

К С. З. Федорченко

9-7-1924.

Уважаемая Софья Захаровна!

Вчера Вы были так добры, что в первое же моё посещение занялись моей характеристикой и в кратком очерке прибегли к выражению «ничего, что он, т. е. я, — немного жулик...» Очевидно, говоря это, Вы полагали, что сообщите мне нечто естественное, к чему я привык, как к общественному положению и своего рода «званию». Иначе я не могу объяснить той лёгкости, с которой чудовищный эпитет сорвался у Вас с языка...

Вы очень ошибались: я не привык к подобным характеристикам, даже шутливым и дружелюбным. Вчера я не хотел углублять этой «темы» ради моей жены, — теперь же настойчиво прошу Вас указать мне источник гнусных сплетен, которым Вы, очевидно, поверили и чего не скрыли от меня, (считая, что это не повредит нашей дружбе).

Жена моя и я просим Вас, если Вы дорожите нашим уважением — определённо и точно сообщить, кто и что говорил Вам обо мне предосудительного. В случае же, если Ваши слова имеют своим источником Ваше личное от меня впечатление — положение совершенно непоправимо.

С искренним уважением

О. Мандельштам

Адрес: Б. Якиманка, д. 45, кв. 8

№ 3.

К Н. Я. Мандельштам

17.X.1925 Пятница

Надинька дорогая!

Сегодня утром я ходил с Сашей по делам, дал ей 15 р. и уладил с страхованием. Сегодня мне дважды звонили из Прибоя и просят сделать 4 листа Раблэ. Завтра ответ на мое условие: 160 р. (половина вперед). Купил калоши. Сейчас для благодушия лежу в постели и диктую последние страницы «коврика». Чувствую себя совершенно здоровым. В начале будущей недели надеюсь окончательно ликвидировать всё. Открыточку твою получил.

Надичка, где телеграмма из Ялты. Детуся моя, будь весела и не держи меня в неизвестности,

Ося. Няня.

Аня кланяется. Целую родную мою.

№ 4.

30.1.1926

Родная Надинька!

Сейчас приехал в Харьков. Завтра в Москве поезд стоит целый день. Ехать было очень скучно, но я встал только в 12 часов. Погода довольно тёплая — 5°. Завтра с Шурой обменяюсь палками и погуляю. Я спокоен, весел и здоров. Целую тебя, моя радость — завтра пишу подробно. Твой Няня.

№ 5.

25.9.1926

Родная моя Надинька,

У меня все хорошо, сейчас еду в Детское. Детка моя, не жалея на себя ничего — у меня хватит на мою родную. Ты знаешь, я снял квартиру Страховской. Мы ходили осматривать ее с Аней. 1 октября переедем. Вещей пока не продаю.

Надюшок мой Надик, как тебе там на пустом берегу?

Пиши мне подробно-подробно. Няня твой всегда с тобой.

Няня.

[на обороте купона денежного перевода в 40 рублей]

Родная моя Надинька,

Как нам с нашим котиком грустно. Мы пошли с Аней на базар. У нас до сих пор была крымская погода, а сегодня — бр.бр.! Два дня я был в городе, маялся с газетой (бухг. перепутала мой счет) — вырвал 50 рублей и еще получу. Был на съемке Совкино во дворе дома на Каменоостр. Родненькая моя, еще ни словечка от тебя не получил. Страховские выезжают в первых числах октября. Как только въеду в квартиру — сейчас же в Москву. Там поближе к тебе, Надик. Ты мой сыночек крымский. Вот что: слушай меня: покупай масло, яйца и много-много фруктов. Взвешивайся. Если будет холодно, телеграфируй: немедленно вышлю денег на Ялту.

Детка моя, до скорой встречи. Няня тебя целует, без тебя не может Няня.

№ 7.

[без даты]

Родная Надинька,

Вот уверенность. Скучаю. Жду. Скорей, скорей, скорей приезжай. Ну я работаю Мопассана очень сильно. Как ты, мой дружок? Когда я работаю, ты как будто здесь.

Приезжай же скорее.

Вот радость большая! Здоров. Целую.

№ 8.

[отрывок из письма к отцу]

...обедает (второй раз, после Госиздатского обеда). Сегодня он был чистенький, в новом черном костюме. Я в счет долга купил ему ботинки — скорохие (?). Он бритый. Новый галстук. Ему нужна кровать. Мечтаем устроить его хоть на ночлег, по соседству. Но ему будет на службу далеко. Он много работает и, хотя он всегда ноет и бредит «сокращеньем» — он прошел благополучно через сокращенье и его конечно ценят как очень добросовестного работника.

Наде Крым очень помог. Температура иногда еще скачет — но она живой человек, хозяйничает, не валяется весь день, ходит по городу — чудеса! Милый папочка! Скажи правду — ты приедешь к нам и когда? Мы тебя так примем, что лучше нельзя. Тебе должно понравиться. Что у тебя с раной? Не нужна ли тебе клиника в Москве? Я могу устроить. Береги себя. Берегись работы. Что такое ты затеял с трестом?

Можете приехать вместе с Женей. Если он уже будет здесь я выцарапаю деньги, пошлю М. Н. Пусть он отдыхает, поищет работы в Москве или через Москву...

[зима 1923]

№ 9.

К Е. И. Замятину

Дорогой Евгений Иванович,

Письмо Ваше получил сегодня утром. Согласие мое сообщил Людмиле Николаевне. Я прочту две-три пьесы из «Пламенного Круга». Было бы очень желательно, чтобы все приглашенные поэты не ограничились репертуаром неизданных стихов, а прибавили к нему хоть что-нибудь из старых. В этом чтении всем известных, старых стихов, в повторении давно всем знакомого — единственное оправданье участия поэтов в предполагаемом вечере. Кроме того мне кажется, что совершенно необходимо пригласить В. А. Пяста — одного из самых близких по духу и поколению к Ф. К., кровного поэта. Короткая память в отношении к Пясту наш общий грех.

Жму вашу руку

2/III/28

О. Мандельштам

№ 10.

К Венедиктову

Уважаемый тов. Венедиктов!

21-го текущего месяца в ЗИФе было получено адресованное тов. Шойхету мое письмо, содержащее просьбу приурочить к определенным срокам, в пределах, допу-

скаемых договорами, платежи по одному из томов Вальтер-Скотта «Антикварий» и по первому тому Майн-Рида «На дне трюма».

В отношении «Антиквария» ЗИФ очевидно не счел возможным уважить мою просьбу, ибо согласно сведениям, полученным от лица, наводившего справки, гонорар за него будет выплачен только 5-го июля, то есть в предельный по договору срок (через три недели после фактического получения рукописи).

Остается вопрос о Майн-Риде. Я поднимаю его заранее, поскольку он имеет насущнейшее значение для меня. Рукопись, о которой идет речь, будет получена Издательством в первых числах июля. По договору Издательство вправе ее оплатить немедленно после получения т. н. «одобрения».

Я убедительно прошу на этот раз пойти мне навстречу и, не затягивая процедуры, выплатить деньги примерно к 15-му июля. Выполняя для ЗИФа крупные работы, я отнюдь не ограничиваюсь формальными требованиями договоров и, нередко в ущерб себе, значительно усложняю литературное задание. Все мои опоздания и формальные неточности, неизбежные при массовой работе, объясняются этим отношением к качеству работы. Я имею полное основание ожидать, что в данном случае Вы удовлетворите мою просьбу, ни в коем случае не нарушающую договора. Поверьте, что я не оспариваю права бухгалтерии маневрировать в пределах льготного срока. Утруждать Вас специальными пожеланиями по поводу каждого сдаваемого тома я вовсе не собираюсь... Повторные и предварительные просьбы относительно первого тома Майн-Рида прошу считать исключением, хотя полагаю, что не в интересах издательства тормозить нашу и без того нелегкую работу, систематически отодвигая платежи на последний срок.

Хотел бы еще коснуться вопроса о переписке: мне было передано, что оплата ее задерживается до сдачи в набор. Этим самым соответствующий пункт договора аннулируется и снижается гонорар. Больше того, этим устанавливается своеобразный «штраф» на качество работы редактора: чем тщательнее проредактирована переписан-

ная на машинке рукопись, тем больше оснований ожидать, что переписку забракуют. На протяжении почти годичной работы над Вальтер-Скоттом у нас не было таких прецедентов; мы имеем дело с новшеством, и вряд ли удачным. Кроме того, по основному договору на Вальтер-Скотта и специально запротоколированному соглашению, подписанному тов. Нарбутом, переписка должна оплачиваться одновременно с редактурой. Крайне меня обяжете, сделав соответственное распоряжение.

Поскольку устные передачи через третье лицо, которое поддерживает мою связь с ЗИФом неточны и недостаточны, я бы очень просил Вас ответить мне по прилагаемому адресу.

Уважающий Вас...

29 июня 1928 г.

Ялта, Улица Коммунаров, пансион Лоланова.

№ 11.

К И. И. Ионову

[январь 1929]

Уважаемый г. Ионов!

Только что я получил извещение, что Вы, во-первых, объявили договор на Майн-Рида со мной и Лившицем расторгнутым, а во-вторых, заявили Лившицу, что работать с нами впредь вообще отказываетесь. Я не упоминивал Лившица о чем бы то ни было Вас просить и отнюдь не считаю, что вопрос о том или ином договоре может быть разрешен расторжением его в явочном порядке издательской стороной. Независимо от того, насколько этим затрагиваются мои и Лившица личные интересы, Ваше выступление в той форме, как мне о нем передавал Лившиц, является грубейшим общественно-литературным промахом. Я пишу Вам именно в этом плане.

Напоминаю Вам, что переводчик тот же писатель и что, заявляя переводчику о нежелании с ним работать,

закрывая перед ним двери крупнейшего, едва ли не монопольного советского художественного издательства, Вы берете на себя тяжелейшую ответственность, точно такую же, как если бы Вы принципиально закрыли Зиф или Госиздат тому или иному оригинальному автору. Для этого должны быть серьезнейшие основания. У Вас их нет и быть не может.

Постановку переводного дела в Зифе и других издательствах нельзя назвать иначе, как вопиющим хроническим безобразием. Перевод заранее и заведомо считается халтурой. Издательства делают все от них зависящее, чтобы снизить качество продукции. Вместо того, чтобы озаботиться подбором кадра квалифицированных переводчиков, использовать их по специальности и создать для их труда минимально благоприятную атмосферу, издательства — и в первую очередь Зиф — набирают переводчиков с бору по сосенке, превращая огромную отрасль производства не то в «собес»; не то в хаотическое кустарничество на потребу рынку.

Специфическое отличие в профессиональном положении переводчика от оригинального автора сводится к тому, что переводчик — лицо пассивное, то есть вынужден ждать, пока ему предложат ту или иную работу. Он не торгует Бальзаком или Майн-Ридом, а предлагает свой труд вообще. Всякого рода разговоры о том, что переводчики в условиях нашего производства выбирают себе работу, является... миндальничанием и лицемерием. Даже пять-шесть (да и столько-то не наберется) заслуженных и квалифицированных переводчиков-писателей, случайно затесавшихся...

..Несмотря на безобразно низкую оплату труда и полное равнодушие издательства к качеству работы, несмотря на грозившую заново после каждой сделанной книги безработицу (в связи с нежеланием маклерствовать и самому доставать «новиночки» с запада) моя переводческая деятельность сохраняла черты литературы на протяжении ряда лет исключительно благодаря высокой культурности А. Н. Горлина, крупнейшего специалиста по переводческому делу в нашей стране, сумевшего поднять переводческий отдел Ленинград-Гиза на должную высоту.

Уже в Ленинград-Гизе начинались халтурные тенденции издательств, параллельно с настоящей работой уже там по инициативе некоторых товарищей, своеобразно экономивших копейку, делались предложения «приспособить» за пять или десять рублей к печати абсолютно безграмотные переводы классиков, вроде Альфонса Доде, и находились люди, выполнявшие подобные заказы.

После Ленинград-Гиза с Госиздатом лучший в стране переводческий аппарат захирел и был фактически разгромлен. Для старых опытных работников наступила безработица. Центр тяжести переводного дела временно переместился в «Прибой».

Халтура «Прибоя» в иностранной литературе была беспрецедентна. Нельзя найти достаточно резких слов, чтобы заклеймить отношение т. Шумявского и его сотрудников к литераторам-переводчикам и к самому производству. Объявлялись конкурсы на скаковой рекорд по переводу пятнадцатилистных книг в десять дней, гонорар цинично задерживался вплоть до того, что ряд переводчиков вынужден был продать все свое имущество до последнего стула; с квалифицированными переводчиками велся рыночный торг, чтобы оттянуть у них копейку — с тенденцией снизить оплату за перевод, «не требующий редактуры», до двадцати пяти рублей с листа; в издательство, наконец, хлынула целая масса псевдо-переводчиков, никому не ведомых дилетантов, готовых на все условия.

Несмотря на безобразную постановку дела в «Прибое», моя работа в нем удерживалась на той же высоте, что и в Ленотгизе. Упомяну хотя бы книгу Даудистеля «Жертва» или «Тартарена» Доде — работы во многих отношениях показательные. Между закрывшимся «Прибоем», омертвевшим Ленотгизом и Зифом протянулась полоса абсолютной безработицы. Так осуществлялось право специалиста на труд.

В Зифе я впервые столкнулся с так называемой «массовой» работой, то есть с механизированным выпуском полных собраний сочинений иностранных авторов в до смешного маленькие «военные» сроки методом обработки или правки старых переводов, большей частью датированных самыми упадочными десятилетиями прошлого века.

Это был модус производства. Нужно только удивляться, как это Зиф не заказал в месячный срок перевода и обработки Божественной Комедии Данта по сорок рублей с листа, с уплатой через месяц по представлении рукописи и с удержанием переписки. Впрочем, Рабле по сходной цене был кому-то заказан. К чести моей и Лившица нужно сказать, что мы не соблазнились Рабле и Дантом, а занялись несравненно более скромным и в условиях Зифа единственно здоровым делом — обработкой для юношества устаревших по форме авторов, но сохранивших крупное историческое значение, как Вальтер-Скотт, или научно-воспитательное, как Майн-Рид...

...Самые договора Зифа являлись хитроумными юридическими ловушками: во избежание ответственности издательства перед труженниками 90-ых и 900-ых годов из договорных формул тщательно вытраивалось самое имя переводчика, замененное казуистическим термином — «редактор-переводчик». Само издательство выродилось в бездушную, уродливую канцелярию, на что я неоднократно указывал т. Нарбуту. Редакционного сектора, по существу, не было. Пораньше получить рукопись и попозже за нее заплатить — к этому сводилось все. Законом было полезное и удобное для издательства, а литературная продукция рассматривалась как собачье мясо, из которого все равно выйдет колбаса. Качество работы катастрофически снижалось. С одной стороны — террор квартальных планов, с другой — сопротивление никуда негодного сырья. Даже заикнуться о коренной ломке договора, то есть о заказе издательством новых переводов, и о том, чтобы растянуть годичный срок издания до трех-годового, — было немислимо. Вообще, с нами разговаривали только через прилавок: «Поскорее, молодцы, поторапливайтесь». За каждый лист обработанного Вальтер-Скотта уплачивалось наличными по 36 рублей; я утверждаю, что за эти деньги можно получить, заказав «охотникам» новые переводы, лишь дрянь и галиматью, хуже сойкинской или сытинской, неподдающуюся даже правке. Издательство это знало и не могло не знать, но сознательно закрывало глаза и, спекулируя на литературном умении и опытности Мандельштама и Лившица, все же получало, по меньшей

мере, удовлетворительные тексты, переделанные из старинки.

Вы расторгли — точнее выразили желание расторгнуть с нами договор на Майн-Рида, потому что мы якобы нарушили его, переводя с французского. Не мешало б вам еще до экспертизы, которая решит, является ли наш труд халтурным и недостойным Майн-Рида, заглянуть в самый договор, о котором идет речь, и сделать вывод, не ярчайшим ли образцом халтуры издательства является этот самый договор.

Издание Майн-Рида, автора с нулевым литературным значением, лишенным намека на самостоятельный стиль или форму, утопающего на каждом шагу в слащавости и банальной красивости, было задумано исключительно ради его жанровых, приключенческих достоинств, все выявление которых падало на обработчиков. Оно оправдывалось лишь богатством естествоведческого и этнографического материала и волевым жизненным подъемом, которые нужны нашей молодежи, пока у нас нет своего Майн-Рида. За переделку Эдгара По можно казнить без суда, но относиться с пиететом к тексту Майн-Рида может только дореформенный учитель чистописания. Позволяю себе заметить, что мои и вообще современные представления о прозе, даже для юношества, несколько расходятся с Майн-Ридом.

Неужели же блестящие по точности, авторизованные французские переводы в руках Мандельштама и Лившица могли дать худший результат, чем случайная стряпня с английского? Кто этому поверит? Для опыта мною были заказаны переводы с английского переводчикам, рекомендованным Зифом. То, что они мне представили, и то, что мне пришлось потом обламывать с громадной потерей времени и труда, было убогим лепетом, полуграмотной канителью, кишащей нелепостями, и в результате правки было несомненно бледнее и беднее моего перевода с французского. Но это и есть то, не вызывающее сомнений «сырье», из которого у нас изготавливаются переводные книги: сначала полуголодный, пришибленный переводчик (точнее, деклассированный, безработный интеллигент, ни в коем случае не литератор) полуграмотно перевирает

подлинник, а потом «редактор» корпит над его стряпней и приводит ее в мало-мальски человеческий вид, уж, конечно, не заглядывая в подлинник, в лучшем случае сообразуясь с грамматикой и здравым смыслом. Я утверждаю, что так у нас выходят сотни книг, почти все; это называется «переводом с французского» или «переводом с английского» под редакцией «такого-то». Впрочем, имя редактора чаще всего опускается.

Возвращаюсь к нелепой структуре Майн-Ридовского договора. Издательство выплачивало пятьдесят пять рублей наличными с печатного листа. И этим обязательства его кончаются. Тираж издания неограниченный, астрономический. А вот список наших обязанностей: «редактора-обработчики», в понимании договора низведенные до подрядчиков, обязуются, во-первых, заказать и оплатить...

№ 12.

В Федерацию Сов. Писателей

Уважаемые товарищи!

то, что случилось у меня и Лившица с Ильей Ионовичем Ионовым, я не могу назвать иначе как катастрофой. Выпад Ионова переворачивает все наши представления об уважении к писательскому труду: грубый писательский окрик, град тяжелых безответственных обвинений, абсолютное презрение к личности и заслугам двух работников, которые отдали годы труда советской книге. Это была крутая домашняя расправа — в четырех стенах, без свидетелей, но с таким результатом, как ломка жизни, конец профессии, уничтожение в одну минуту писательской репутации. Ионов выдал мне и Лившицу волчий билет.

После его декларации мне и Лившицу остается стоять в очередь на Биржу Труда. Впрочем, Ионов разрешил Лившицу подать на него в суд или куда угодно, не считаясь с его положением. Разрешение излишне. Напрасно Ионов думает, что мы нуждаемся в подобной санкции...

...Не думайте, товарищи, что я ограничусь вопросом о повышении гонорарных ставок для переводчиков-редак-

торов. Как ни важен этот вопрос, но он далеко не все. Но оплата задает тон всей работе. Оплата постыдно снижает качество. Оплата, самый ее способ, вызывает дикую спешку. Оплата отшибает от дела все талантливое, живое и нужное. Выходит так, что громадная культурная функция как правило выполняется калеками, недотепами, бездарными и случайными искателями заработка.

Хотя так называемые переводчики и зарегистрированы в писательских союзах, образуют даже самостоятельные секции, к этим случайным группам случайных людей, быть может ни в чем и неповинных, нельзя апеллировать в таком важном деле. Соблюдая всю мягкость и осторожность, надо провести переквалификацию действующих работников, щадя их самолюбие, считаясь с возможностями личных трагедий на почве судьбы этих работников, соблазненных издательствами, которые не постеснялись вовлечь их в невыгодную сделку, выставим на позорище перед обществом и читателями, в поисках дешевого мозга и дешевого труда.

Чтобы больше не возвращаться к вопросу о гонорах, изображу вам выпукло и наглядно, во что выливается оплата периодического труда. Возьмем среднюю ставку 35 рублей. Предположим, что переводчик получает наличными 20. Он работает не по конвейеру — том за томом. Сплошные перебои, безработица, поиски книжки, хлопоты, мытарства. Недоплаченные 15 рублей для него манна небесная. Из бюджета они выпадают. В них переводчик не верит. Но у него есть еще тяжелые производственные траты, в которых издательства, начиная с Гиза до последнего частника, с циничным упрямством отказываются участвовать. Из нищенского гонорара, похожего скорей на подачку, переводчик вынужден по букве договора оплачивать переписку на машинке (минимально 3 рубля с печатного листа). Значит у него остается, считая расход на бумагу, а также ленту, которую его заставляют оплачивать машинистки, всего 16 наличных рублей. Но это еще не все. Никакой переписки на самом деле не бывает: на самом деле бывает диктовка, а диктовка гораздо дороже — уже не 3, а 5-6 рублей с печатного листа. Таким образом «подачка» наличными...

...К самому переводу относятся как к пересыпанию зерна из мешка в мешок. Чтобы переводчик не утаил, не украл зерна при пересыпке текста, по методу лабазного контроля оплачивается с русского текста, и не с подлинника, и вот годами по этой ничтожной причине книги пухнут, болеют водянкой. Белые негры нагоняют «листаж», чтобы как-нибудь свести концы с концами. Вся трудовая атмосфера в данной области насквозь больная. Деморализация отчаянная. Как позорно, как больно видеть взрослого человека, семьянина, иногда с сединой в волосах, униженно лебезящего в редакторской приемной, домогаясь «работки». Не один, так другой. Дублеров сколько угодно. Переводчик — это попросту безработный. Вдумайтесь только, что означает выражение «дама-переводчица». Ведь только на базаре у нас еще говорят «мадам». Но вокруг иностранной книги кормятся сотни никому не ведомых полуграмотных женщин, имеющих заручку, знакомство, связи в издательствах. Переводят «дамы», домашние хозяйки, имевшие в детстве гувернантку-француженку, спекулянтки-негродержательницы, наконец, жены, родственницы, протезе влиятельных работников.

Перевод — один из самых трудных и ответственных видов литературной работы. По существу, это создание самостоятельного речевого строя на основе чужого материала. Переключение этого материала на русский строй требует громадного напряженного внимания и воли, богатой изобретательности, умственной свежести, филологического чутья...

№ 13.

Заявление

В Московский Губернский суд
(по гражданско-судебному отделению)

Соответчика Мандельштама
Осипа Эмильевича.

Совершенно исключительное значение для дела в связи с заявлением юриконсульта ЗИФа имеют свидетельские показания тов. Шойхета Абрама Мойсеевича, проживаю-

щего Б. Грузинская ул. № 19 кв. 14, и Колесникова Леонида Иосифовича, находящегося в редакции «Вечерняя Москва», бывших — первого — Пом. зав. редиздата ЗИФа, второго — штатного редактора ЗИФа. Эти свидетели могут подтвердить, что ЗИФу было известно, что я при своей редакторской работе при обработке «Уленшпигеля» пользовался переводом Карякина, тогда как ЗИФ теперь это отрицает. Поэтому прошу вызвать указанных свидетелей в суд, выдав мне повестки на руки.

8 июня 1929 г.

О. Э. Мандельштам

№ 14.

Советским писателям

(отрывок)

.....

...пройти мимо подобной гнусности. Неужели вы могли подумать, что я буду дальше разгуливать с этим пятном в вашей среде только потому, что зачинщики травли оставили меня в покое?

Если бы вы потрудились меня запросить, вы бы узнали о грязных махинациях издательства ЗИФ, о чиновниках-лжесвидетелях, исполнявших волю начальства, о том, как Федерация писателей, то есть вы сами, длительно и упорно подготовляла против меня уголовный процесс, покрывая негодяя Заславского, и получила пощечину от Губсуда и от Верховного Суда Республики; вы бы узнали о жалкой роли 15 писателей, тихонечко и «на всякий случай» отступившихся от этого чудовищного дела.

Очевидно, это было недоразумением. Я спрашиваю в упор: за кого вы меня принимали? Какая цена вашим рукопожатиям?

Теперь я с горечью оглядываюсь на весь свой жизненный путь. Собачий юбилей был мне наградой. Какой пример уважения к труду и к личности работника даете вы, писатели, нашей стране. Не в том беда, что вы надвое

переломили мою жизнь, варварски разрушили мою работу, отравили мой воздух и мой хлеб, а в том, что вы умудрились этого не заметить.

Я договариваю за вас: я делаю то, что вы поленились или побоялись сделать. Больше вам не придется «защищать достоинство советской литературы от Мандельштама» (подлинное выражение из всесоюзной писательской грамоты, изготовленной в Доме Герцена)...

№ 15. Открытое письмо советским писателям

Я заявляю в лицо Федерации Советских писателей, что она запятнала себя гнуснейшим преследованием писателя, использовав для этой цели неслыханные средства, прибегла к обману и подтасовкам, замалчивала факты, фабриковала заведомо липовые документы, пользовалась услугами лжесвидетелей, с позорной трусостью покрывала и покрывает своих аппаратчиков, замалчивала и покрывала своим авторитетом издательские безобразия, и на первую в СССР попытку писателя вмешаться в издательское дело ответила инсценировкой скандального уголовного процесса.

Писательская общественность, допуская превращение своих органов в застенки, где безнаказанно шельмуют работу и честь писателя, становится тем самым реальной угрозой для каждого писателя.

Я не принадлежу ни к одному из литературных объединений и не вхожу формально в ФОСП. Я никогда не прибегал к органам Федерации с просьбой рассудить меня с кем-либо и не давал никакого согласия на разбирательство моих гражданских дел в конфликтных комиссиях ФОСПа. Теперь я вижу, что доверять свою честь судебным и третейским органам ФОСПа было бы по меньшей мере опрометчиво. Сделавшись невольным клиентом этих судулиц, я убедился, что они отличаются такой малограмотностью, такой юридической и общественной бездарностью, такой подозрительной гибкостью и восприимчивостью ко всякого рода давлениям, что любой профес-

сиональный суд, любую судебную инстанцию нашей не совершенной и строящейся страны следует предпочесть писательскому трибуналу.

Мне и в голову не приходит смотреть на писателя как на высшее существо и видеть в нем образец гражданских добродетелей, но никто не давал права писателю стоять ниже среднего уровня культуры и эпохи, никто не позволял ему оскорблять правосознание современника и глумиться над здравым смыслом.

Между тем со мной, например, поступили как с проституткой, долгие годы гулявшей по желтому билету и наконец-то пойманной за дебош. Проституция же заключалась в многолетнем труде, а дебош в хорошей и по закону исполненной работе. Разбойное нападение среди бела дня на страницах Литгазеты — обвинительный акт, шулер-фельетонист в роли прокурора, редактор запачканной газеты — председатель суда, лабазные молодцы из редакторской лавки ЗИФа — услужливые свидетели наемные стряпчие-крючкотворы из приказов того же ФОСПа — юридические закройщики незамысловатого суда.

Когда писатель требует, чтобы его судили сообразно с законами страны, с обычными нормами данной отрасли промышленности и теми условиями, в которых протекает труд его товарищей по профессии, когда писатель требует, чтобы ему ответили, почему он и вот эта, а не другая работа заносится на черную доску, — Федерация бормочет: «Данный инцидент является следствием не частного, а общего явления, характеризующего положение в СССР...»

Когда издательство, внезапно меняя точку зрения на свой договор, начинает легонько по сигналу Литгазеты подталкивать своего сотрудника к скамье подсудимых, Федерация деликатно ему помогает.

Далее Федерация прибегает к бесчестнейшему трюку, подменяя уголовные обвинения литературной критикой по Горнфельду. Дело принимает вид фонарика с разноцветными стеклами: когда нужно — плагиат, когда нужно — халтура.

Когда Федерацию спрашивают, почему за плохие повести, несверенные с действительностью, и за плохие стихи, развращающие вкус, она не судит своих членов, а

за плохую, пусть ужасную обработку Уленшпигеля находит возможным судить «товарищеским» судом, Федерация лепечет что-то невнятное о «сверке с подлинником».

Мне известно, что на конфликтной комиссии от 21-го июня говорилось о позорном пятнышке на моих ризах и о том, что с меня за мое лирическое сладкогласие следует взыскать построже. Я слов не нахожу, чтобы заклеить всю лицемерную гнусность этих ханжеских речей. Я, дорогие товарищи, не ангел в ризах, накрахмаленных Львовым-Рогачевским, но труженик, чернорабочий слова, переводчик. Я чернорабочий и глыбы книг ворочал своими руками. Какие там к чорту ризы! Я чернорабочий, я издательский негр, но не вам клеймить меня плоским именем халтурщика, котрое вы с такой легкостью выговариваете и которое означает не просто плохой работник, не просто обманщик и лентяй, но означает — холоп, батрак, наймит, работающий сдельщину на ненавистного хозяина и случайно оступившийся, не сумевший потрафить, перепутавший свой каторжный урок. Мой труд никогда не был рабьим трудом, и я с пеной у рта отстаиваю свое право на неудачу, право на срыв.

Матерщина — это детский лепет в сравнении с тем, что вытерпели стены Дома Герцена и пасторские седины Канатчикова. Зифовские молодцы же были вытолкнуты в шею, когда с их грязного языка слетело имя жены писателя в сочетании с абортom. Уличенные во лжи молодцы изворачивались под руководством старца Канатчикова:

«...Халтура... скрывается от милиции... не прописывается...»

Стенографистки не было, в протокол не занесено, но свидетели были, были... Мне кажется, что целесообразнее доверить управление делами Федерации королю из свежей карточной колоды, нежели гражданину Канатчикову.

За несколько месяцев фельетон Заславского дал молодые побеги. Радуйтесь, советские писатели, Мандельштам не только литературный вор и плагиатор, но также маклер, жучок, посредник, ловкий проныра, затащивший к себе в трупобу Горнфельда и Карякина. Отпустив с миром ловких скупщиков краденого в их издательскую хазу,

именуемую ЗИФом, Фередация выдает мне справку, что я не халтурщик. Я сохранию эту справку. Я бережно ее пронесу. Я буду заглядывать в нее каждый раз, когда, очнувшись от тошнотворного угара, в котором как бред мелькают совесть, труд, письма в редакцию, суды, чиновничьи маски столоначальников из страшного и последнего департамента литературы — Заславские, Канатчиковы, Рогачевские с мочалкой, я найду в себе силы приняться за прерванный жизненный труд. И тогда неизменно мне представится одна картина — Заславский, Горнфельд и Канатчиков, склоненные над красным комочком — над сердцем Уленшпигеля — и над моим, писательским сердцем.

Судопроизводство в руках ФОСПа я вынужден признать социально-опасным орудием. Ваша организация, присваивая себе функции настоящего суда с уголовной амплитудой, пренебрегает всеми нормами и гарантиями нормального процесса.

1) Тягчайшие обвинения предъявляются человеку публично, в печати, без всякого предварительного расследования — в форме бранного шулерского фельетона.

2) На основе этого фельетона человек путем оглашения в печати передается публичному суду без формулировки обвинения, без обвинительного акта, уже после разоблачения клеветника.

3) Абсурдное обвинение Исполбюро отменяет «дело» ценой полного игнорирования фельетона и характера предъявленных мне обвинений.

4) Несмотря на отмену дела Исполбюро, под каким-то казуистическим предлогом созывается судебная комиссия под председательством заинтересованной стороны, в задачи которой входит в чем угодно обвинить Мандельштама, чтобы спасти престиж Литгазеты.

5) Трибунал, именующий себя «конфликтной комиссией» строится по методу: «Все, кроме подсудимого — полноценные прокуроры», не замечает грубейших противоречий в их показаниях, отказывает в вызове свидетелей, не требует фактов, не формулирует обвинений и выносит юридически безграмотный инсинуирующий приговор.

6) Высший орган ФОСПа — Исполбюро — заслушав это решение, принимает его к сведению, утверждает и запрещает печатать.

7) Из приговора не делают никаких общественных выводов относительно осужденного, не исключают его из организации и не сообщают о его деяниях прокурору.

(Для характеристики «общественной» установки Федерации: когда в «Правде» появился фельетон Заславского «Жучки и негры», комментирующий решение конфликтной комиссии ФОСПа от 21 июня, причем в фельетоне всякими словами утверждалось, что все переводческое дело в СССР построено на эксплуатации полуграмотных негров, которых нанимают за себя писатели с крупными именами, Федерация обошла этот фельетон полным молчанием и не сделала из него никаких выводов).

8) В августе Федерация объявляет печатно о пересмотре дела ввиду наличия «формальных» к тому поводов, но в течение 5-ти месяцев от пересмотра уклоняется.

9) В декабре Федерация внезапно выделяет комиссию, именуемую уже не конфликтной, но «Комиссией для разбора обвинений, предъявленных Мандельштаму Литгазетой». Та комиссия, так же как и первая, отказывается от всякой следственной процедуры, от формулировки обвинений, от оглашения материалов и от вызова свидетелей. Упомянув вскользь о травле и «о тягчайших обвинениях, лишенных всякого основания» (формулировка комиссии), комиссия признает помещенные фельетона в Литгазете ошибкой, но на Мандельштама возлагает моральную ответственность за производственную практику советских издательств, о которой ни одним словом не упоминалось в фельетоне.

Все ваши постановления шиты гнилыми нитками, не сводят концов с концами, сами себе противоречат. В них нет настоящего товарищеского голоса, нет настоящего честного, прямого осуждения, ни рукопожатия, ни удара, ни оправдания — ничего этого в них нет. Ваши постановления — это настоящий блуд, приправленный кисленькой размазней прописной морали. Мне стыдно за вас. Мне стыдно уличать старых людей в безграмотности и недобро-

совестности, мне стыдно за молодежь, которая не имеет мужества в нужный момент возвысить голос и сказать свое слово.

Какой извращенный иезуитизм, какую даже не чиновничью, а поповскую жестокость надо было иметь, чтобы после года дикой травли, пахнувшей кровью, вырезав у человека год жизни с мясом и нервами, объявить его «морально ответственным» и даже словом не обмолвится по существу дела.

Вы произносите в своем постановлении страшное слово «травля» — так, между прочим, как какой-то пустячок. Где травили, кто травил, когда, какими способами?.. Укажите виновников или молчите, или вы не смеете говорить о травле...

Мне стыдно, что я как нищий месяцами умолял вас о расследовании. Если это общественность, я бегу от нее как от чумы. Вы умеете не слышать, вы умеете не отвечать на прямые вопросы, вы умеете отводить заявления. Если собрать все, что я вам писал за эти месяцы, то получится настоящая книга — убийственная, позорная для нас всех. В историю советской литературы вы вписали главу, которая пахнет трупным разложением.

Я ухожу из Федерации Советских писателей, я запрещаю себе отныне быть писателем, потому что я морально ответственен за то, что делаете вы.

Спасибо, товарищи, за обезьяний процесс. А ну-ка поставим в дискуссионном порядке, кто из нас вор... Выходи, кто следующий!... Но меня на этом вороньем празднике не будет.

Дорогие товарищи, в этом деле нет никакой розовой водички, никакой литературности, никаких тонких самолюбий, никаких изошренных цветочков писательской этики. Это тяжелое и трудное, громоздкое и страшное общественное дело, то, о чем мы ежедневно читаем в газетах — это злостный удар по работнику, это сворачиванье ему шеи — не на жизнь, а на смерть, где все средства хороши, где все пути дозволены: клевета, лжесвидетельство, крючкотворчество, фельетонная передержка, где все для безнаказанности одобрено разговорчиками о «писательской этике»; это одно из бесчисленных дел, когда не-

угодного работника снимают с поля деятельности бесчестными способами.

Для полноты картины я должен вас информировать о том, что «товарищеское» разбирательство в Федерации было лишь мостиком к уголовному преследованию писателя, о чем было отлично известно ФОСПу. Издательство ЗИФ по сигналу Литгазеты привлекло меня соответчиком по гражданскому делу, причем само спровоцировало этот иск. В гражданских камерах Губсуда и Верховного Суда издательство всеми способами добивалось моего привлечения по 177 ст. Уг. Код., ссылаясь как на главный аргумент на статью Литгазеты и на решение ФОСПа от 21-го июня. На судах дело сорвалось, и поведение Литгазеты было заклеено особым пунктом в решении Верх. Суда.

Итак, товарищи, дело, которое вы называете «претензией ЗИФа и Горнфельда» к Мандельштаму и которое вы сводите к фельтону Заславского, явилось травлей довольно крупного масштаба и от начала до конца делом рук самого ФОСПа.

В данную минуту Федерация готова признать, что травля писателя Мандельштама нанесла объективный ущерб издательской реформе, которой добивался Мандельштам. Но Федерация стыдливо умалчивает о том, что травила Мандельштама она сама, а не кто-нибудь другой, и что преследования были прямым ответом на общественное выступление Мандельштама. Такого рода «увязка» травли с тем, что у нас называется самокритикой, является тягчайшим с советской точки зрения преступлением, но для Федерации Советских Писателей советский закон очевидно не писан, и никакой ответственности за свои позорные деяния она не чувствует и, надо думать, не понесет.

Злоупотребления так называемой юрисдикцией, то есть правом организации судить своих членов — граничит в данном случае с моральным убийством и с общественным вредительством. Предание меня суду Федерацией Писателей в тысячу раз серьезнее, чем самый фельетон. Именно это предание суду я считаю преступлением Федерации по отношению ко мне. Поведение всех моих товарищей — советских писателей — которые, скрестив руки,

готовились к интересному зрелищу — как Мандельштам будет изворачиваться перед Федерацией по обвинению в краже и мошенничестве — пальцем не шевельнули, чтобы предотвратить эту гнусную комедию, я считаю полным основанием для разрыва со всеми вами.

Для Мандельштама Федерация Советских Писателей оказалась полицейским участком, куда его потянули, как никаких объяснений, настойчиво повторяя Мандельштама публично обыскивали в Доме Герцена, и руки всех советских писателей, в том числе и ваши, раз вы входите в Федерацию, шарили по его карманам.

20 лет работы не застраховали меня от нападения организованного писательства. Я допускаю, чт для меня лично начинается с 40 лет работы. Но советское писательство остается по-прежнему организованным, а я, будучи только Мандельштамом, не располагаю аппаратом для самозащиты на второе двадцатилетие — до наступления предполагаемоготета, считаю благоразумным выключить себя из организованной писательской общественности

№ 16. К тов. Гронскому

В течение последних лет литературные организации оказывают упорное сопротивление моему жилищному устройству.

1) С января 31-го года по январь 32-го, то есть в течение года, бездомного человека, не имеющего нигде никакой площади, держали на улице. За это время раздали сотни квартир и комнат, улучшая жилищные условия других писателей.

2) Несмотря на тяжелую болезнь жены, принимавшую в то время угрожающий для жизни оборот, в январе 31-го года отменили решение жилищной комиссии горкома писателей о предоставлении мне даже одной комнаты.

3) Когда это решение под давлением извне было восстановлено, упорно саботировали въезд в дом, так что

физическое вселение удалось осуществить лишь благодаря энергичному вмешательству председателя горкома — т. Ляшкевича.

4) Назначенной мне в этом флигеле комнаты я сразу не получил, а был временно вселен в каморку в 10 метров, где и провел всю зиму. Когда назначенная мне комната освободилась, она была по чьей-то инициативе опечатана, к ней приставили караул из дворника, и мне объявили, что я эту комнату не получу. Лишь благодаря вмешательству авторитетных организаций мне удалось переменить первоначальную каморку на соседнюю с ней, несколько более сухую и просторную комнату.

6) В ответ на мои многократные заявления, что жизнь кучей в одной комнате исключает всякую возможность работать, я был, наконец, на этих днях приглашен на заседание жилищно-хозяйственной тройки в составе Россовского, Павленко и Уткина, причем эта комиссия в моем присутствии вынесла постановление предоставить мне вторую соседнюю комнату в 10 метров. Однако это постановление было сейчас же вслед за этим взято обратно со ссылкой на «объективные причины».

[1932]

№ 17. В Горком писателей

Выслушав позорящий советскую общественность приговор товарищеского суда от 13/IX/32 над Саргиджаном и приняв во внимание, что этот суд организован Горкомом, считаю своим долгом немедленно выйти из Горкома как из организации, допустившей столь беспримерное безобразие. При сем прилагаю.....

№ 18. [Отрывок из письма к М. С. Шагинян]

... Личностью его пропитана и моя новенькая проза, и весь последний период моей работы. Ему и только ему я обязан тем, что внес в литературу период т. н. «зрелого Мандельштама».

5 апреля 1933

№ 19. К В. Д. Бонч-Бруевичу

1934 март 21

Уважаемый Владимир Дмитриевич!

Поскольку наш телефонный разговор вышел из обычных деловых границ, я считаю необходимым заявить, что в этом были повинны исключительно вы. Назначать за мои рукописи любую цену — ваше право. Мое дело — согласиться или отказаться. Между тем, вы почему-то сочли нужным сообщить мне развернутую мотивировку вашего неуважения к моим трудам. Таким образом покупку писательского архива вы превратили в карикатуру на посмертную оценку. Безо всякого повода с моей стороны вы заговорили со мной так, как если бы я принес на утильпункт никому не нужное барахло, скупаемое с неизвестной целью. Все это прозвучало тем более дико, что Литературный музей обнаружил в данном случае самую простую и наивную неосведомленность.

Мне, как писателю, конечно, неприятно, что ошибки, подобные этой, могут подорвать авторитет Литературного Музея Наркомпроса, но ваш способ заставлять выслушивать вами же приглашенное лицо совершенно ненужные ему домыслы и откровенности — вызывает во мне справедливое негодование.

О. Манделъштам.

№ 20. К Б. Л. Пастернаку

Дорогой Борис Леонидович,

Спасибо, что обо мне вспомнили и подали голос. Это для меня ценнее всякой реальной помощи, то есть — реальнее. Я действительно очень болен и вряд ли что-либо может мне помочь: примерно с декабря неуклонно слабею и сейчас уже трудно выходить из комнаты. Тем, что моя «вторая жизнь» еще длится, я всецело обязан моему единственному и неопенимому другу — моей жене. Как бы ни развивалась дальше моя физическая болезнь — я

хотел бы сохранить сознание. Должен вам сказать, что временами оно тускнеет и меня это пугает. Вынужденное пребывание в Воронеже, в силу болезни превратившееся для меня в мертвую точку, может оказаться в этом смысле роковым. Одной из наиболее для меня тягостных мыслей является то, что я не увижу вас никогда. Не приходит ли вам в голову, что вы могли бы ко мне приехать? Мне кажется, что самое большое и единственно важное, что вы могли бы для меня сделать.

Привет Зинаиде Николаевне

Ваш Мандельштам

28/IV/36.

Воронеж.

№ 21. К Б. Л. Пастернаку

2/1/37.

С новым годом!

Дорогой Борис Леонидович.

Когда вспоминаешь весь великий объем вашей жизненной работы, весь ее несравненный жизненный охват — для благодарности не найдешь слов.

Я хочу, чтоб ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены — рвалась дальше, к миру, к народу, к детям...

Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за все и за то, что это «все» — еще «не все».

Простите, что я пишу вам, как будто юбилей. Я сам знаю, что совсем не юбилей: просто вы нянчите жизнь и в ней меня, недостойного вас, бесконечно вас любящего.

О. Мандельштам

№ 22. К Е. Я. Хазину

[Воронеж, без даты, 1936; май?]

Простите, Евгений Яковлевич, что вас тревожу: положение таково, что я должен вас известить.

Во-первых, Надя уже 2 недели болеет печенью. Она не выходит. Боли не унимаются.

Во-вторых, наше денежное положение очень плохое, а в основе этого вообще и реально очень плохое положение. В театре я получаю почти н и ч е г о. У меня удерживают 100 р. и еще касса взаимопомощи хочет 50 в месяц, а вся зарплата 225 руб. в месяц. Потом я болен, все время волнуюсь, делаю очень много лишних шагов. Но в буквальном смысле я ходить без провожатого не могу. Так напряжены мы оба, что больше не можем. Мы совсем одни. Союз Писателей говорит, что дал мне работу в театре, а я там не работаю. Все время страх и тревога и страшная мертвая точка. На днях с трибуны облпленума писателей было здесь произнесено, что я «пустое место и пишу будуарные (бу-ду-ар-ны-е) стишки и что возиться со мной довольно». Наде дали в газете письма писать, но перестали платить, пока не отработает 200 рублей за мою болезнь. Надя написала две статьи и один очерк (ходила в школу), все не подошло. Она написала уже 150 писем и у нее кружится голова. Это такой ад, что нельзя больше выдержать и не с кем сказать слова. Помогите, потому что нам будет очень худо. Дайте независимый домашний заработок. Просить больше не можем.

О. М.

Отвечайте что угодно, телеграммой дайте любой ответ.

№ 23. К Е. Я. Хазину

[Воронеж] 10/IV/37

Еще раз вам сообщаю, что Надя больна. Ежедневная температура 37,6-9, очень резкое исхудание. Кроме того ежедневно по несколько часов резкие боли в области печени, принуждающие лежать.

Как это ни странно, врачу Надя не показывалась. Чуть ей лучше — забывает. А большей частью нет 20 рублей на профессора, а в амбулаторию ходить не стоит: мы знаем как там внимательны.

До последнего дня Надя температуру от меня скрывала или неправильно объясняла.

Денег у нас на 2-3 дня еще есть. Т.е. попросту 25 рублей. Какое же тут лечение? 10 р. в день на двоих — это минимум, исключающий всякую диету, режим, платного врача и т.д. Что же делать?

Завтра я думаю свести Надю к профессору. Что же касается до Москвы — страшно ее отпускать. Боюсь, как бы не расхворалась, не слегла и мы бы не очутились отрезаны друг от друга. Прежде всего я выясню, что с Надей и что ей объективно требуется, и срочно вам сообщу, — без всяких «скидок» на наше положение. А пока сообщаю одно: больничная клиническая помощь в Воронеже не приемлема (кроме хирургической). Больницы переполнены (терапевтические). Как мне говорил пр. Берке [?] — иногда дают в день до 12 отказов острейшим больным (восп. легких и т.д.) и ни одного приёма. Лежат в коридорах. Индивидуальный уход — минимальный. Значит — или дома, в воронежской комнате — или отправить куда-нибудь на серьезное настоящее лечение. Я прошу вас немедленно поговорить с кем-нибудь из Надиных подруг, нельзя ли ради нее, забыв обо мне, серьезно ей помочь. Сделайте это не дожидаясь диагноза. Состояние так или иначе очень плохое. Образ жизни исключает всякий шанс на поправку. Виды на будущее — скорее отрицательные. Не лишнее вам сообщить, что на днях получили письмо от «Знамени», письмо вполне товарищеское, но с отклонением стихов. Это весьма отраднo. Потому что явилось просветом в беспредельной покинутости. Может это хоть немного подымет ваше настроение и поможет вам что-нибудь предпринять для Нади. Поговорите только о ней.

В Воронеже мы начисто изолированы. С 13 числа средства на жизнь, т.е. чай, хлеб, кашу, яичницу — иссякают. Занять не у кого. Надо думать только о Наде. Я готов, как вам уже говорил по телефону, расстаться с ней на какой угодно срок ради подлинного ее лечения, но не ради деловой поездки, которая ей не под силу и может кончиться нашим с ней разобщением. Т.к. Надя похожа сейчас на свою тень. И я не преувеличиваю. Прошу вас поговорить с кем-нибудь из авторитетных людей. И дать мне телеграмму, получив это письмо. Я знаю, вы

и в Москве беспомощны. Но все-таки это Москва. И этим все сказано. На Надю нам нельзя сейчас возлагать никакого бремени. Ее активность сама собою прекращается.

Жду вашего ответа: предварительной ориентировочной телеграммой.

Ваш О. Мандельштам

P.S. Еще сегодня я просил Шуру ускорить Надин отъезд и выезд В. Як. Но после этого узнал о постоянном повышении температуры — и в связи с общей слабостью Нади понял, что ехать ей нельзя. Эта непоследовательность не должна снижать в ваших глазах серьезность моих сообщений. Здоровье Нади, вернее ее болезнь, весьма и весьма запущены, потому что все кажется ничего нельзя сделать (она не все и делает). Но сейчас надо сделать для нее буквально невозможное.

О. М.

№ 24. В редакцию «Знамя»

Посылаю стихотворение «Неизвестный солдат» в доработанном и развернутом виде.

Прилагаемым текстом отменяется ранее мной присланный.

Прошу учесть эти изменения при обсуждении моих стихов.

О. Мандельштам

11 марта 37

№ 25. В Секретариат Союза Советских Писателей

[30 апр. 37 г.]

Уважаемый тов. Ставский,

Прошу Союз Советских Писателей расследовать и проверить позорящие меня высказывания воронежского областного отделения союза.

Вопреки утверждениям обл. отд. союза моя воронежская деятельность н и к о г д а не была разоблачена обл. отд., но лишь голословно опорочена задним числом.

При первом же контакте с Союзом я со всей беспощадностью охарактеризовал свое политическое преступление, а не «ошибку», приведшее меня к адм. высылке.

За весь короткий период моего контакта с Союзом (с октября 34 г. — по август 35 г.) и до последних дней я настойчиво добивался в Союзе и через Союз советского партийного руководства своей работой, но получал его лишь урывками, при постоянной уклончивости руководителей обл. отделения. Последние полтора года Союз вообще отказывается рассматривать мою работу и входить со мной в переговоры.

Если как художник (поэт) я могу оказать «влияние» на окружающих — то в этом нет моей вины, а между тем это единственное, что мне ставится в вину обл. отд. и кладется в основу убийственных политических обвинений, выводимых из моей воронежской деятельности поэта и литработника.

Располагая моим заявлением к минскому пленуму, содержащим ряд серьезных политических высказываний — Союз, который это заявление принял и переслал в Москву, до сих пор не объявил его двуручническим, что является признаком непоследовательности.

Принципиальное устранение меня от общения с Союзом никогда не имело места. Летом 35 года мне было заявлено: «мы вас не считаем врагом, ни в чем не упрекаем, но не знаем, как относится к вам писательский центр, а потому воздерживаемся от дальнейшего сотрудничества». После этого Союз рекомендовал меня (протоколом правления) на работу в городской театр.

Считаю нужным прибавить, что моя работа по другим линиям (театр, радиокомитет) не вызвала никаких общественных осуждений и была неоднократно и серьезно использована после соотв. политической проверки. Пресеклась она моей болезнью.

Называя три фамилии (Стефан, Айч, Мандельштам), автор статьи от имени Союза предоставляет читателю и заинтересованным организациям самим разбираться: кто из трех троцкист. Три человека не дифференцированы, но названы: «троцкисты и другие классово-враждебные элементы».

Я считаю такой метод разоблачения недопустимым.

В результате меня позорят не за мою прошлую вину, а за то положительное, что я пытался сделать после, чтобы искупить ее и возродить себя к новой работе.

Фактически мне инкриминируется то, что я хотел себя поставить под контроль советской писательской организации.

О. Мандельштам

№ 26. К В. П. Ставскому

[июнь 1937]

Уважаемый тов. Ставский!

Вынужден вам сообщить, что на запрос о моем здоровье вы получили от аппарата Литфонда неверные сведения.

Характеристика: «средне-тяжелый хронический больной» не передает состояния.

По существу это значит «не безнадежный» — и только.

Эти сведения резко противоречат письменным справкам пяти врачей от Литфонда и районной городской амбулатории.

Прилагаю подлинные документы и ставлю вопрос: хочу жить и работать; стоит ли сделать минимум реального для моего восстановления?

Если не теперь — то когда?

О. Мандельштам

P.S. Фактически по медицинской линии Литфонда произошло следующее: меня обследовали (в течение трех недель), причем врачи нашли тяжело больным и — постановили воздержаться от лечебной помощи.

Даже ряд исследований, предписанных проф. Роменковой (терапевт) не был произведен. Окончательный диагноз не поставлен. Меры к лечению не указаны. В лечебной помощи отказано.

БАЛЛАДА О ГОРЛИНКАХ

Восстал на царство Короленки
Ионов, Гиз, Авессалом:
— Лутературы — вырожденки
Не признаем, не признаем!
Но не серебряные пенки,
Советского червонца лом,
И не бумажные керенки —
Мы только горлинки берем!

Кто упадет на четверенки?
(Двум Александрам тесен дом.)
Блондинки, рыжие, шатенки
Вздохнут о ком, вздохнут о ком?
Кто будет мучиться в застенке,
Доставлен в Госиздат живьем?
Воздерживаюсь от оценки:
Мы только горлинки берем!

Гордятся патриотки-венки
Своим слабительным питьем —
С лица Всемирки-Современки
Не воду пьем, не воду пьем!
К чему нам различать оттенки?
Не нам кичиться этажом.
Нам — гусь, тебе — бульон и гренки, —
Мы только горлинки берем!

Envoi:

Князь Гиза, слышишь: к переменке
Поет бухгалтер соловьем:
«Кто на кредитки пялит зенки?
Мы только горлинки берем!»

Бенедикт Лившиц
Вместе с О. Мандельштамом
в ночь на 25.XII.1924

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

(1937 г.)

На откосы Волга хлынь, Волга хлынь,
Гром ударь в тесины новые,
Крупный град по стеклам двинь, — грянь
и двинь, —

А в Москве ты чернобровая
Выше голову закинь.

Чародей мешал тайком с молоком
Розы черные лиловые
И жемчужным порошком и пушком
Вызвал щеки холодовые
Вызвал губы шепотком...

Как досталась — развяжи, развяжи, —
Красота такая галочья
От индейского раджи, от раджи —
Алексею что-ль Михайлычу, —
Волга, вызнай и скажи.

Против друга — за грехи, за грехи —
Берега стоят неровные,
И летают по верхам, по верхам
Ястреба тяжелокровные —
За коньковых изб верхи...

Ах, я видеть не могу, не могу
Берега серо-зеленые:
Словно ходят по лугу, по лугу
Косари умалищенные...
Косит ливень луг в дугу.

Савелово 4 июля
37.



С примесью ворона голуби
Завороненные волосы.
Здравствуй, моя нежнолобая,
Дай мне сказать тебе голоса,
Как я люблю твои волоса
Душные черноглубые.

В губы горячие вложено
Все, чем Москва омоложена,
Чем молодая расширена,
Чем мировая встревожена,
Грозная утихомирена ...

Тени лица восхитительны
Синие, черные, белые
И на груди удивительны
Эти две родинки смелые.
В пальцах тепло неслучайное,
Сила лежит фортепьянная,
Сила приказа желанная
Биться за дело нетленное.

Мчится, летит с нами едучи
Сам ноготок холодающий,
Мчится судьбу свою знаючи
Сам ноготок холодающий.

Славная вся безусловная,
Здравствуй, моя оживленная.
Ночь в рукавах и просторное
Круглое горло упорное.

Слава моя чернобровая,
Бровью вяжи меня вязкою,
К жизни и смерти готовая
Произносящая ласково
Сталина имя громовое
С клятвенной нежностью, с ласкою.

[1937].

ДАГЕСТАНСКАЯ АНТОЛОГИЯ: аварцы, даргинцы, кумыки, лаки, лезгины, турки, таты, ногайцы. Составил и комментировал Эффенди Капиев, ГИХЛ, стр. 256.

Книга составлена в историческом разрезе: безыменное народное творчество, знаменитые певцы прошлого века, гремевшие далеко за пределами родного аула, но доверявшие свою поэзию только памяти односельчан, потому что родная речь не имела грамоты, дальше — поэты и литераторы буржуазно-просветительной эпохи, выбившиеся «в люди», живавшие и учившиеся в столицах, дальше — изумительное по революционной жизненности и верности родному народу поколение молодых писателей-революционеров с незабываемым Гарун Саидовым во главе; наконец, сегодняшняя советская литература Дагестана, созидаемая участниками и организаторами стройки, усвоившими большевистскую теорию, людьми, совмещающими, как, например, лакский поэт Черинов, интерес к мировой литературе, работу над Пушкиным и Шекспиром с сельскохозяйственной научной подготовкой.

Восемь глав сборника: аварцы, даргинцы, кумыки, лаки и т. д. — это ущелья, по которым обособленно развивалось творчество народов Дагестана.

Для составителей книги, знающих главные языки Дагестана и чувствующих форму каждого поэта, такое деление кажется закономерным, но в сглаживающем русском переводе читатель, восемь раз окунаемый в прошлое и восемь раз переживающий революционный перелом, невольно пугается и устает.

Если в старом Дагестане были замечательные поэты: например — аварец Махмуд и даргинец Бажирай (предисл. Эф. Капиева), то надобно было бы их выделить, поручив перевод мастерам русского стиха, чтоб сохранился размер, напев и словесный узор. Того же Махмуда Дзахо Гатүев излагает частью свободным стихом, частью зарифмованной прозой. Получается как бы длинная выписка изречений в арабско-персидском вкусе. Между тем, дагестан-

скому народному творчеству свойственна энергия и узорность, сближающая поэтов с золото-кузнецами — оружейниками.

Каждой насечке узора соответствуют удар, искра. Слово в горской песне берется в тиски для выпрямления, скребком очищается от окалины, куется на подвижной наковальне, чеканится не только снаружи, но и изнутри, как сосуд.

Большинство стихов дагестанского сборника в русской передаче лишены материальности, словесной активности. Даже неловко выписывать такие строчки, как «соловей поет зарею, беззаботно и игриво» (перевод Вугаевского из Етим Эмина — крупнейшего лезгинского поэта, о котором готовит монографию Дагестанский научно-исследовательский институт).

В самом начале книги радуют прекрасные переводы Андрея Глобы «Тюрьма царская проклятая» и «Салтинский мост».

Если б цепь порвать!
Если б дверь сломать!
Если б аргмак мой
Подо мной опять!

Составители не сочли нужным сообщить, связаны ли переводчики наказом приближаться к точной форме подлинника или работают по вдохновению, натягивая текст подстрочника на более удобную для них русскую колодку. Поэтому о пьесах Глобы можно лишь сказать, что в них удачно скрестилась новая советская лирика с народной дагестанской темой.

Гей, почему все черешни в цвету
И скворцы поют?
Гей, почему на Салтинском мосту
Барабаны бьют?

Глубоко впечатляющую песнь хунзахских партизан «Смерть большевика Муссы Кундховы» перевел Александр Шпирт. Вот доказательство, как много может сделать даже лишенный особых лирических данных переводчик, если он уважает свой материал.

В селенье Цацан-Юрт приехал ты
И на субботник шел, наш друг Мусса,

И на дороге встретили тебя
Отравленные мезтью кулаки.
Большевику хотели обмануть,
Пожатьем рук хотели обмануть,
Чтоб руки вывернуть, чтоб повалить, —
Уловкой взять хотели храбреца.

Хунзахская песня — высокий образец революционного чувства: нежность к погибшему товарищу, горе, просветленное уверенностью в победе, наивная сила крестьянской речи — так кстати, так по-агитационному умно подчеркивающей конкретное в биографии Муссы — открывают этой пьесе дорогу в широкий массовый репертуар, несмотря на большие стилистические срывы.

Однако, я сейчас же оговорюсь, что в дагестанском сборнике очень немного стихов, достойных войти в русский литературный обиход, и это тем более досадно, что большинство дагестанских лириков распевает свои сочинения, владеет голосом, как поэтическим оружием, и органически не может создавать мертвых вещей.

Политические лозунги дагестанская лирика всегда поворачивает к родной стране, национально окрашивает, бережно доводя их содержание до вчера еще неграмотного, жадного слушателя. Никакой риторики и строения образа у дагестанских поэтов нет, а в переводах она есть.

Когда поэт Шамсудин говорит: «Светлая свобода с мудрыми порядками, мощная и стройная, как в русле река», — нужно иметь в виду, что мощная и плавная река для горца — новый образ, уводящий его из домашнего кругозора. Горная речка узкая и стеснена скалами. Вот почему, говоря о партии, которая принесла в тесный аул мировую революцию, дагестанский лирик начинает свежим для него образом равнинной реки.

В переводе, очевидно, все сдвинуто, смещено: у реки завелись порядки, ей приписан невозможный строй, а величавое ее течение техническими средствами стиха не передается.

Сытое великодержавное невежество мешало дагестанцев в одну кучу с кавказцами вообще. В громадном и нищенском ауле Кубачи работали чеканщики в бараньих шапках. В городах европейской России ютились кустари-

отходники — выходцы из маленькой дагестанской народности лаки — лудильщики по профессии. В губернском городе они продолжали трагедию домашнего существования: неуменше помочь друг другу, так прекрасно характеризованное в песне Гаджи Ахтинского:

Мы слова, нужного двоим,
Вдвоем не сложим, Дагестан.

Бедняки-лудильщики становились хозяйчиками поневоле и били по голове учеников-подростков, выжимая из них «прибавочную стоимость», чтобы спасти саклю от продажи с публичных торгов, и кинжал с узорной насечкой находил свое место в трагедии. Обезумевшие, забитые подмастерья обкрадывали хозяев. Дело шло к развязке, деньги оборачивались кровью: «Эй... Голова моя в огне... Это не я, не я убил... Держите. Шестьсот тысяч рублей... Держите. Люди, где вы, люди?.. Смилуйтесь. Эй, мальчик. Иди. Иди, укажи мне дорогу в Багдад...»

Об этом рассказывает лакский драматург Гарун Саидов — студент Коммерческого института, вернувшийся в Дагестан делать революцию и зарубленный контрреволюционными бандитами в 1919 году в расцвете замечательных творческих сил.

В пьесе Гарун Саидова роль трагического вестника исполняет почтальон с телеграммой, которую никто не может прочесть, потому что все неграмотны.

Надо ли удивляться, что в дагестанской фольклорной, только на днях сложенной песне о культштурме говорится:

О, желанной, как солнце красное,
Грамоте будем петь...

Переводчик Зайцев правильно понял свадебную заповку этого стихотворения.

Не следует подходить к поэзии современного Дагестана с укороченной, облегченной меркой. У дагестанских авторов за плечами большая словесная культура родного народа. У них взыскательные и творчески одаренные слушатели.

«Писатели переключаются на отображение величественных процессов, меняющих лик страны. Наиболее зна-

чительным произведением, рисующим развернутый образ горца, пришедшего на завод, является поэма лезгинского писателя А. Фатахова «Ударник Гассан» (цитирую предисловие Капиева). В этой поэме пейзаж дан набором готовых линияло-акварельных красок: «В голубой, небесной чаще звезд сияющая россыпь», речь по газетному очерку: «план четвертого квартала выполнен наполовину». Сюжет строится по способу благополучного развития: премированный колхозник-ударник на заводе. Лирическая поэма превращается в какой-то разжевывающий аппарат. Читательский интерес убывает по мере развития темы.

Поэма Фатахова — быть может, почетная для молодого лезгинского писателя неудача, но все же срыв. Если даже ее обесцветил переводчик, — остается мертвенность сюжетной композиции.

Дагестанской прозы составители сборника как будто стесняются и называют ее схематичной. В этом они глубоко не правы. В дагестанской прозе большое скованное, оригинальное и недоразвитое мастерство. Молодые авторы, о которых идет речь, правильно угадали, что прозаическое искусство состоит в извлечении максимального общего эффекта из подробностей, из частных. Их внешне бессюжетные вещи без натяжки детальны, без дробности подробны, что редко случается с нашими молодыми прозаиками.

«По густо-синему небу с коротким клетотом, чертя зигзаги, вился стервятник. Он парил от одного хребта к другому, словно штопал невидимыми нитями зияющую между горами пропасть» (Шахабудны Михайлов).

«На засаленной жирной странице журнала крестики посещаемости напоминают жирную баранту...»

«Мертвые каменные переулки...» «Пышные воротники шуб...»

Надо поблагодарить тов. Эффенди Капиева и Дзахо Гатуева за прекрасно задуманный сборник и глубоко проработанный материал. Несомненно, они сделали все от них зависящее для прочного знакомства нашего читателя с дагестанской поэзией. Но следовало бы отвести наиболее равнодушных и слишком ловких переводчиков, сообщить в предисловии принципы перевода, вкратце сказать о ладе и музыкальном сопровождении дагестанской на-

родной песни (не упомянуты даже инструменты) и, наконец, кроме ценнейших сведений, вкрапленных в биографические справки, дать общую характеристику советской дагестанской литературы, как содружества и как организации.

СТИХИ О МЕТРО. Сборник литкружковцев Метростроя. Гослитиздат, 1935 г. 87 стр.

В одной из шахт Метростроя на Смоленской площади работали люди 34 профессий (резинщики, химики, формовщики, мебельщики и др.) — так велика была тяга к работе на Метрострое.

В другом участке работы пом. директора кинофабрики обучал пришедших к ним на Метрострой киноработников тоннельному мастерству: так бесконечно много давала квалификация на Метрострое, общение с этим университетом социалистического труда.

Один из строителей — бывший чернорабочий, четырнадцатилетним мальчиком спустившийся в шахты Донбасса, — пройдя метростроевский стаж, заговорил в печати о «стиле работы».

Почти каждый выступающий на страницах прессы участник Метростроя считает нужным сближать социалистический труд с художественным творчеством, и нередко о труде говорят в терминах искусства.

В шахте под Свердловской площадью комсомолка Пяня напевает, работая, арию: «Не счесть алмазов в каменных пещерах», и, быть может, в двух шагах, в Большом театре, звучит та же ария — поразительное было бы совпадение.

«Кто первым дорвется до юрских глин?» — интересный лозунг соревнования. Вдумайтесь в него: строители метро научно разбираются в геологических пластах и эпохах. В толщу времени эти люди, озабоченные тем, чтобы построенные их руками тоннели выдержали давление грядущих веков, вторгаются, как полновластные хозяева: изучить строение породы, победить ее сопротивление, выр-

вать у нее свободное пространство, залить его светом, наполнить движением, социалистической радостью.

«Большое дело, громадное дело соорудил. Вынуть сто тысяч кубометров одного грунта и уложить двадцать тысяч кубов одного бетона, не считая облицовки и других работ. И вот получается роскошная станция — Крымская площадь. Мрамор, Свет. Колонны. Рельсы, сверкая, уходят вдаль... А ведь подумать, каждый из нас стоял на своем маленьком участке, борясь с водой, с пливунами, — каждый в отдельности кажется таким беспомощным! Метро — это победа коллектива».

К лирическому сборнику «Стихи о метро» нельзя подобрать лучшего эпиграфа, чем эти слова. В них дан ключ к пониманию лирики метростроевцев.

Первая встреча бригады с «непонятной, тяжелой землей», «тихий, но строгий бетон» (его нужно укладывать по два куба в день), и через три года — подземные дворцы, в описании которых созидавшие их поэты теряются, проявляют беспомощность, потому что старые слова для описания роскоши и великолепия здесь неприменимы, потому что в самосозерцание здесь входит новый элемент, момент новой эстетики: эти предметы созданы нами.

Стихи о метро подобраны любовно, внутренне спаяны и стоят примерно на одном уровне выполнения. Отдельные строки и стихотворения выделяются особо над этим уровнем, но у читателя все же преобладает впечатление, что сборник написан одним автором, но в разных манерах. (Наиболее четкая поэтическая индивидуальность у тов. Кострова). Тематика книги: организаторский энтузиазм, размах работы, связь с партией, ценность законченного труда, углубление товарищеской солидарности, трудность работы, ответственность перед будущим («тоннелям надо выдержать века»), ощущение работы, как памятника, который коллектив воздвигает себе в эпохе.

... Поэты-метростроевцы ни на минуту не забывают, что им помогла строить вся страна, что вне первой и продолжающей ее второй пятилетки Метрострой был бы невымыслим, превратился бы в утопию...

Звонил, находясь на Урале,
Молнировал из Сибири...

И в шахту спускался прямо,
Окончив дела в ЦК.

Здесь в четырех отлично выверенных строчках передан размах огромной политической работы, даны связанные между собой географические дистанции, показана техника рабочего дня ... работника ЦК и выражен стиль этой работы.

И вот я обращаю внимание на то, как хороши, как уместны в этом маленьком отрывке глаголы — т. е. носители действия: звонил, молнировал, спускался.

Поэт, забывший о глаголе, все равно что летчик или шофер, заснувший у руля.

Сложные технические процессы, то и дело упоминаемые поэтами, слиты с душевными переживаниями « будь то сознание исторической ответственности величия работы, радость напряжения творческих сил, будь то личное чувство — к девушке — товарищу по бригаде.

Не сказал я, что, когда с тобою
Мы носили гравий на замесы,
Брался я за ручки так, что вдвое
Для тебя был ящик легковесней.

(Бахтюков)

Лирической вершиной этой маленькой книжки «Стихи о метро» я считаю одно стихотворение Кострова:

Да здравствуют
Товарищи мои,
Ведущие подземные бои,
Идущие сквозь пливуны
И камень,
Сквось толщи глин,
Прессованных веками;
Сквозь черный сумрак
Неживых ночей!
Товарищи, несущие в ночах
Большое дело
На своих плечах.
.
Работники
Простого благородства,

Художники труда
И производства,
Ведущие великие мои, —
Да здравствуют
Товарищи мои!
Товарищи,
Чьих дел глубокий след
Останется в земле
На сотни лет.

Много в русской поэзии прекрасных задравных стихов, начиная с пушкинского «Да здравствуют музы, да здравствует разум» и хмельных языковских здравниц, но этот изумительный трезвый тост, этот дифирамб живым и здравствующим товарищам, этот бокал с черной землей из шахты Метростроя, поднятый над советской Москвой, радуют даже самый взыскательный слух. Поздравляем товарища Кострова с отдельной удачей и тут же оговоримся, что он наделал в сборнике Метро множество поэтических ошибок.

Потери такой
Нам нисколько не жаль,
Ты был работником средним.

Напрасно Костров думает, что о средних работниках нужно писать плохо и вяло. Этот вид соответствия формы и содержания поэзию не устраивает.

Следует отметить, что книга метростроевцев содержит ряд свежих стихов о Москве. И это естественно, потому что метростроевцы, выходя «на-гора» и сменив спецовки на обычный костюм, напряженнее чем когда-либо вслушивались в биение жизни города, вглядывались в толпы, в улицы, и после грохота кессонных работ старый знакомец — «трамвайный язык», как говорил Маяковский, был им люб и дорог. «Ползет вода — змеистая, кривая, сверкучая от желтого луча» (Смирнов); у него же: «осеннее чувиньканье синиц».

Бахтюков держит поэтическую связь с Метростроем даже тогда, когда говорит откуда-то с черноземов:

Как широко распахнуты просторы,
Какое море смелой тишины!

Лирическим героем стихов о метро является, в сущности бригада, а не отдельный человек. Вера Лихтерман говорит именно о бригаде с той детальной зоркостью и внимательностью, которую старая поэзия применяла только к отдельным людям:

Переливчато звенит
Просеиваемый гранит.
На ресницах иней пыли,
Глянь, — бригада вся седая.

Побольше внимания к деталям словесной работы литкружковцев...

Не замечая этих маленьких удач, не называя по имени их авторов, мы обескуражем поэтов: поэты хиреют от суммарных оценок, они становятся беспризорны от невнимательно рассеянной критической ласки.

Если бы лирики метро в стихах своих работали по большому и дальнозорному плану, как у себя на производстве, если б работа их ощущалась ими самими, как литературный цех Метростроя, они достигли бы больших результатов. Как на формальные недостатки их работы следует указать на недостаточную емкость строфы, а также на однообразие и автоматичность ритмов. В словарном отношении книжка богаче, чем большинство аналогичных сборников, и это признак культурного роста.

Можно также пожелать поэтам большей свободы в построении образа и в развитии лирической темы. Ведь для советского поэта работа над лирическим стихотворением также является ударной стройкой, и материал для этой стройки, как бы обслуживая ее, доставляет вся страна, вся социалистическая действительность, понятая как целое.

Г. САННИКОВ. ВОСТОК. Стихи и поэмы 1924-35 г. Москва. ГИХЛ, 1935 г.

В посвящении книга определяется самим автором как пока еще неполное собрание сочинений.

Санников, бывший участник поэтической группы «Кузница», с первых шагов прекрасно овладел техникой куль-

турного традиционного стиха, обновленного и омоложенного усилиями лучших символистов.

При этом у Санникова наблюдается учет достижений футуристической поэзии. Новое звучит у него приглушенно, под сурдинку, в мягкой оболочке старого. Первый раздел книги Санникова хронологически совпадает с романтическими выпадами Н. Тихонова и Багрицкого. Уже значительно позднее, в одном из лирических отступлений в поэме «Египтяне», Санников говорит, характеризуя этот свой период:

Я вместе с Байроном угрюм,
На бурю променяв покой,
Запоем пил из звездных рюмок
Ночей тропических настой.

По земному шару, который Маяковский обошел почти весь и всерьез, Санников начал весьма рискованное путешествие с Чайльд Гарольдовской командировкой, давно утратившей всякий конкретный исторический смысл.

В этих стихах 26-27-го года стучат машины океанских пароходов, волчьей шкурой сереет вздыбленная вода. Радио трубит в ответ стонущим путешественникам фокстроты, шимми и чарльстоны. Океаны бессмысленны и дики — они не наши, чужие. Следующий отдел «Пески и Розы». Язвы Востока прикрыты классической поэзией, мозаикой мечетей. Жалкая, постыдная жизнь и певучие сказочные узорные ковры:

Я тебе расскажу, красавица,
Только ты не хитри, не клянись,
Красота твоя очень славится,
Но ни к черту не годна жизнь.

В подражаниях персидскому Санников удачно воспроизводит скупую лирику классиков пустыни, певцов небытия:

Поднимается ветер,
Заметет следы,
Не будешь и ты.

А в совсем недавнем (34 г.) обращении к Фердоуси говорит:

Мы в твой народный славы гул
Поэзии вплетаем ветви
И при твоём тысячилетии
Несем почетный караул.

«Песнь о городе Тавризе» посвящена тегеранскому восстанию 1908 года: тегеранские базары, море барашковых папах...

Когда поэт показывает свою лабораторию, это может быть и ценно и интересно: мысль борется с новым материалом. Но я решительно отказываюсь назвать «поэтической лабораторией» большую часть опытов Санникова, посвященных росту народного хозяйства и технологии; скорее это кухня, не умеющая обращаться с продуктами.

Я имею в виду самые интересные по замыслу, деловые главы «Каучука» и «Египтян».

Должны быть созданы нормы —
Научно обоснованная монополия...

.
Вопрос о длине волокна
Для пролетарского государства
не безразличен.

Санников злоупотребляет свойством всякой разумной речи распадаться на смысловые единицы: обыкновенные части фразы он выдает за стихи... «Комиссия ... в акте, на месте происшествия написанном, установила объективно...»

Хочется лишь выправить расстановку слов в таких стихах, как это сделал бы любой газетный корректор.

Это тем более досадно, что Санников стремится расширить область поэзии и чувствует огромную ответственность перед нашей современностью.

Он прощается с самодовлеющими, условными формами лирики, в которых мог спокойно преуспевать на радость эстетам. Но такая тематика, как наука — революционная практика — борьба и жизнь масс, требует творчества, а не списывания, хотя бы из блестящей газетной статьи или учебника химии.

В лучших отрывках своих поэм Санников достигает «сложной простоты» — редкое умение, которое всегда радуется в лирике.

Ничто не нарушает сна,
Повсюду шерстяные тени.
И. кажется голые колени
Над городом луна.

В «Каучуке» Санников говорит о горном каучуконосном растении тау-сагызе, словно о романтическом кавказском герое эпохи Марлинского:

При шапке крупного размера
Листвы игольчатой с лица
Он выглядел довольно дико...

Блеском романтического костра озарено случайное открытие каучуконосного растения.

Здесь не что иное, как черпанье новизны при помощи старого ковша или искусное омоложение дряхлеющего литературного канона; иногда стихи Санникова звучат, как дурная копия с «Эды» Баратынского, переложенного на хлопок.

Между тем автора горячо интересует стык между наукой и классово-борьбой. Каждая поэма изображает цикл классовых боев, протекающих в трудной и своеобразной обстановке среднеазиатских республик, и надо признать, что с расширением тематики лирическое дыхание автора заметно окрепло: «Песня комсомолки» в «Египтянах», баллада о коврике Пенде Гюль, который пламенеет в клубе рика с портретом В. И. Ленина, замечательные ткацкие баллады, фрагмент «в невеселом городе Тавризе, где сады, сады, полюбил я лирику Гафиза и простую мудрость Саади», — все это обязано своим рождением перевороту, перелому, наступившему в творчестве Санникова. Дело теперь для поэта уже не в узорности, не в орнаментике, как в таковой, не в изошренности так называемого восточного искусства, которое в «Египтянах» иронически названо супрематистским. Шерсть, из которой ткются ковры, прополоскана в коровьей моче. В цветных нитях бегут труды и дни дехканства.

Но читатель вправе спросить, удалась ли Санникову его основная задача.

Необходимо указать, что в «Каучуке», несмотря на его перегруженность научными формулами, несмотря на песню шелестящих шин, настойчиво требующих труда, изобретательства, социального творчества, основное дей-

ствии, т. е. борьба за советский каучук в обстановке классовых боев, дано сквозь дымку условной романтической поэмы. Байская дочь Рейхан, у которой отца раскулачили и отправили в Караганду, — «казачка, похожая на Офелию». И в этом последнем обстоятельстве, конечно, никакой беды нет, но плохо то, что функционально, в силу нагрузки образа, эта кулацкая Офелия, поднимающая Алаш-орду против Кызыл-аскеров с феодальным знаменем, на котором начертан старый закон — Адат, оказывается героиней второй поэмы, просвечивающей сквозь первую.

Крепнущие кадры всевозможных специальностей, которые так дороги Санникову, не могут быть поэтически характеризованы с помощью переключки сегодняшнего героя и, например, Алеко из пушкинских «Цыган». Для того, чтобы связать диалектическую часть «Египтян» с романтической подосновой, Санников охотно прибегает к пародии, к едкой лирической иронии. Так сравнивает он растерявшегося от личных и общественных неудач Кречетова с тенью Петрарки, вздыхающего по Лауре в долине реки Сарги, и говорит о «кречетовской луне». Подобными нитками, однако, не заштопаешь разрыва.

В «Египтянах» не существует второй просвечивающей поэмы. Восстание басмачей здесь не опоэтизировано по Марлинскому, как авантюра Рейхан в «Каучуке». Разрыв идет по другой линии: между изобретательной и деловой частью поэмы — «куполообразная, беспамятная, старая, окаменелая мечеть Тимура». Тут же рядом бешенное и сложное движение:

Шумная тачанка
Гражданская подруга
Ухарство и лихость
Махновских ночей.
Тронулся навстречу
Город полукругом...

Санников великолепно понимает огромное историческое значение советской химии. Он сознает всю глубокую связь между творческими поисками этой революционнейшей отрасли нашего научного мышления и методами поэзии. Однако он только учится химии на глазах у чита-

теля, сдает свои зачеты: «Углерод четырехвалентен; одновалентен всегда водород». «Полимеризация даст переворот — диметилдивинил элементов. Диметилдивинил или $\text{CH}^2 = \text{C}(\text{CH}^3) = \text{CH}^2$ ». Все это правильно и к поэзии (здесь мы расходимся с любителями «изящного», как такового) имеет самое близкое отношение: но здесь ровно ничего не сделано для взаимного сближения поэтической и химической мысли. Научный термин — только словесный знак, насыщенный понятиями. Водород — самый подвижный элемент в органической химии. Перемещаясь, вступая в соединения, он работает с удивительной дерзостью, как гимнаст на трапезии. Санников же работает на узорчатом персидском коврике. Высоту тимуровой мечети он изображает хорошо, а дерзость органической химии передает экзаменационным лепетом.

Иногда с поэтом случаются курьезы, потому что для социально ценного содержания он не умеет найти естественной поэтической формы.

Для промышленного применения
Через колбы, реторты и сетки
Достижения советского гения,
Не предусмотренного пятилеткой.

Настоящий балаганный раешник, речь ярмарочного зазывалы с бойкой и нелепой рифмовкой отвлеченных слов.

Традиционно прозрачные «бахчисарайские» строфы перемежаются с многоярусными формулами социологии и химии, грубо уложенными в стихи. Автор на одной странице бывает красноречив и многоязычен, традиционен, как старообразный школьник, и лихорадочно современен, как мастер революционного репортажа. Зрелость, косность, подражательность и новизна удивительно совмещаются в одном поэте.

Поэмы «Каучук» и «Египтяне» похожи на ранние географические карты с неосвоенными пространствами. Санников, например, берет в типографскую рамку интересные цифровые сводки, нумеруя их как строфы. Цифры сами по себе замечательно выпуклы. Но какое здесь неуважение к числу, непонимание образной творческой природы числового мышления. Чтобы цифры советской статисти-

ческой науки заговорили поэтическим языком, надо и над ними проделать такую же положительную работу, как и над словом. Голое цитирование даже самого замечательного факта — только типографский прием. Никакой дерзости и новизны в этом приеме нет. Гораздо важнее то, что происходит внутри поэтического хозяйства Санникова, т. е. внутренняя сдача позиций белому пятну поэтически не освоенного факта. При этом всегда условно сохраняется видимость, и только видимость оживленного лиро-эпического рассказа, и больше того: манера автора всякий раз в таких случаях приобретает невероятную бойкость. Образное оживление таких мест идет за счет воспоминаний из древней истории: «по Геродоту, солдаты Ксеркса были в хлопковых одеждах, Искандер, прободая Персию, видел муслины нежные»...

Но как только дело доходит до прозаического мяса, до упорствующего сырья, — Санников решительно перестает изобретать, но стучит на пишущей машинке:

А дело в том, что добровольно
Никто не вызвался поехать
На саранчевый фронт возглавить
Борьбу за хлопок многопольный.

Метрически однозначные девятисложные строчки являются здесь обыкновенными единицами прозаической речи, притом очень дурно построенной, т. к. естественная живая проза не терпит однообразия: абсолютно однородные части не соединяются в ткань.

Сотрудничество советского поэта с широчайшими кадрами строителей социализма, с работниками науки, с колхозниками, с красноармейцами должно быть поэтически образующей силой, должно найти свое прямое отражение в самой структуре произведения, в каждой клетке поэтической ткани. Когда Санников заканчивает: «Египтянин победил», т. е. высокосортный, культурный хлопок засеял сотни тысяч колхозных гектаров — с исторической необходимостью, несмотря на все происки врага, то хозяйственная победа является здесь последним звеном поэтической композиции.

Однако нельзя передоверять своей поэтической работе даже рожденном в коллективных усилиях жизненно-

му факту, нельзя украшаться этим фактом, только регистрируя его.

Научная формула должна претворяться в дышащее слово, сложнейшие элементы строительства — в поэтическую химию — в единый и целеустремленный стиль. Партийная мысль должна быть не изложена, а продолжена в поэтическом порыве.

АДАЛИС. ВЛАСТЬ. Стихи. Советский писатель. Москва, 1934 г.

Пишет Адалис так легко и лихорадочно, как будто карандашом на открытках, начав на одной и продолжая на другой. Кажется, она стоит в зале телеграфа, дожидаясь, пока освободится расщепленное перо на веревочке, или же из междугородной будки, задыхаясь, передает лирическую телефонограмму:

— Достать стихи. Узнать, отчего происходят стихи. Подойти как можно ближе к тем людям и делам, ради которых и благодаря которым пишутся стихи.

Прежде всего необходимо дышать не для себя, не для своей грудной клетки, а для других, для многих, в пределе — для всех. Воздух, который мы в себя вобрали, нам же не принадлежит, и меньше всего тогда, когда он находится в наших легких.

Второе, и это второе очевидно первее первого, это то, что я назвал бы убежденностью поэтического дыхания или выбором того воздуха, которым хочешь дышать.

И вот мы получили книжечку стихов — сестрински-нежных и матерински-гордых, товарищески-открытых и в то же время деловитых, служебных, озабоченных, командировочно-спешных стихов, которые требуют помощи и сами хотят помочь.

Мы должны быть благодарны Адалис за то, что у нее нет собственнического отношения к теме.

Лирическое себялюбие мертво, даже в лучших своих проявлениях. Оно всегда обедняет поэта.

Когда я читал книжку Адалис, у меня было ощущение, будто я одновременно нахожусь и в степи, где по

жесткой смете, «на базе бурого угля» строится новый город, и в Армении на голубых рудниках Арагаца, и на улице Архангельска, где «рабочая ночь» пахнет озоном и северолесом, и в совхозе «Бурное», где сидят в полумраке на соломенных тюфячках за удивительной беседой о социализме и скрипке Гварнери. Адалис говорит:

Так дико я близок с чужими людьми и делами,
Что часто мне кажется, мир есть мое продолженье.

Прелесть стихов Адалис почти осязаемая, почти зрительная в том, что на них видно, как действительность, только проектируемая, только задуманная, только начертанная, только начерченная, набегаёт, наплывает на действительность уже материальную.

В литературе и в кино это соответствует сквозному плану, когда через контур сюжета или картины уже просвечивает то, что должно наступить.

В лирике это соответствует состоянию человека, который набрел на правильную мысль, уверен, что ее выскажет, именно поэтому боится ее потерять и всех окружающих убедил и заразил своим волнением.

Море приобретает глубокий цвет синей кальки чертежника.

Граница, отделяющая страну от хищных соседей, отмечена и характеризуется мирными новостройками.

Сады, гитары и моря Италии идут на описание шахтерского городка, который возникает чуть южнее завода.

Сон, виданный в раннем детстве, запах бузины, жары и орехов, красные шары на спинках выгнутых мостов — вытряхиваются из памяти через десятки лет и продолжают, как свежая работа: населяются каменщиками из Тамбова и Торжка, получают прививку минуринского винограда, оглашаются «безбрежным влажным пением» во время обеда и отдыха трудящихся.

Дитя не вернется в утробу,
И хлеб не вместится в зерно,
Как слива не втянется в завязь, —
И в этом их тайная честь.
Мы больше не можем обратно
В звериные норы пролезть.

Даже мысль о том, что лирическая работа совершается только поэтами, дика и чужда Адалис. Это — тоже звериная нора, куда нельзя залезть обратно.

И вот Адалис всеми силами старается доказать, что за нее лирически думают и чувствуют все те, кого она называет товарищами, друзьями. Как заводы для обогащения руды — руды социального переживания, поставлены у Адалис встречи и в еще более глубоком ряду стоят рассказы встречных о тех других, с кем сталкивались они. Трое товарищей, которых кто-то приволок к себе в комнату читать бюллетени о взятии южанами Шанхая, и мимоза, бросавшая в этой комнате тени на крутящийся потолок, — потолок крутящийся, потому что на улице в это время пробегали фары первых автомобилей «Амо», — и купленный на радостях для четверых литр столового, чей вкус запомнился вместе с мимозой и Шанхаем, — все эти элементы не составляют никакой цепи, никакого искусственного сцепления и могут рассыпаться в любую минуту, потому что сейчас же соберутся в другом месте, в другом сгустке, в других сочетаниях, потому что ничто социально пережитое не пропадет.

И это качество новой лирики, избавляющее ее от необходимости дрожать за то, что порвется хрупкая нить ассоциаций, что выпадает петелька из кружева, что в развитие темы проникает что-нибудь чужеродное, нарушающее строй, — это качество выступает у Адалис, как доверие к жизни во всей ее перекатной полноте.

Цель поэта только создать и поставить перед читателями образ, но также соединить впечатления, кровно принадлежащие читателю, но о связи которых он, читатель, живой носитель этой связи, еще не догадывается, хотя чувствует ее...

Дорога на Балаклаву на автобусе, столы, накрытые в саду (быть может, на курорте, а быть может, и в совхозе), стеклянные шары нагретого степного воздуха, радость футбола и радость яблока получают у Адалис эмоциональную округленность, единство — внутреннюю форму, социальную спайку.

Адалис рассказывает о неумении своих современников бросать начатую работу — единственном из неумений, которое составляет наше богатство и наше счастье.

Книжка ее одновременно и гордая, и робкая — одна из первых ласточек социалистической лирики, избавляющей поэта, т. е. лирически работающего конкретного человека, от хищнической эксплуатации собственных чувств, снимающей с него ревнивую заботу о поддержании своей исключительности.

Стихи заняты, стихи озабочены. Им некогда любоваться собой...

А мастерство?

Послушайте, что говорит Адалис о Багрицком.

Нам голос умершего друга
В глубокую полночь звучал...
По радио передавалась
Былая повадка сполна.
Едва выносимая жалость
Шатала меня, как волна...
Сердитый, смешной и знакомый
Он громко дышал и хрипел,
Он громко о жизни зеленой
О воинской свежести пел...

Это и есть мастерство.

М. ТАРЛОВСКИЙ. РОЖДЕНИЕ РОДИНЫ. Стихи. Гослитиздат. 1935 г.

Для характеристики поэта очень важен его инвентарь: круг предметов, привлекающих его внимание. Не менее важно и то, что говорит поэт об этих вещах. Но самый простой и сухой перечень явлений, остановивших на себе внимание художника, определяет профиль его творчества.

Вообразим невероятный случай: поэт пишет только о саксонском старом фарфоре, окружает его размышлениями глубоко идейного порядка, делает исторические выводы и перебрасывает от кофейного сервиза тематический мостик к современности. Но без блюдечка с цветочками и ободочками он шагу ступить не может. Все у него начинается от бабушкиного кофейника. Как бы «идеоло-

гически» ни пыжился этот воображаемый уродливый поэт, ясно, что у него получится чепуха, что он перелицованный пассеист, что он насквозь фальшив.

Случай Тарловского гораздо сложнее. Книжка его называется «Рождение родины». Тема — преодоление архаики во имя будущего. Посмотрим, чем же интересуется Тарловский, куда тяготеют его живые вкусы, что он видит в современности.

В Москве роют землю для метро. Тарловскому уже становится интересно. Почему? Вырыли кость мамонта, нашли кусок кладбищенской парчи, докопались до петровской шпаги, а в конечном счете добрались до помойной ямы Ивана Калиты. «Конечно, мы были бы рады, разрезав Москву пополам (?), найти в ее профиле клады, зарытые некогда там, — алмазы, червонцы, лампы»...

Дальше для нейтрализации лампадной рухляди — метро само по себе объявляется кладом и зарокотом (?).

Настоящей исторической наукой, геологическими или палеонтологическими интересами в этих стихах даже не пахнет: поэтический мир Тарловского — это паноптикум, т. е. ненаучное собрание курьезов и т. п. редкостей, грубо и бессмысленно щекочущих естественный интерес к прошлому, раздражающих дешевой пряностью и лишенных всякой познавательной ценности.

Протест против музейной чехарды и чертовщины, в которой упражняется Тарловский, следовало бы заявить от имени исторической науки. Поэт говорит: «Старина ни в чем недопустима; Русь — татары? — мимо, мимо, мимо: останавливаться, как в кино, строго-настрога запрещено». Эти возмутительные ухарские строчки, призывающие к невежеству, написаны в то время, когда углубленное преподавание истории становится одной из основных задач советской школы.

Тарловскому нужен между прочим «гиньоль» — театр ужасов. О Пугачеве он обмолвился: «где, катом подъятый с размаху, деленный (?) мигнул Пугачев». Извращенно-гурманский намек на четвертование. Безвкусное смакование техники этого акта. Петр женил стрельцов на тугой пеньковой девке; они влезли в эту даму головами и держались в ней до утра. Не знаешь, что отвратительнее — сама петровская казнь или развязность, с которой о ней

повествует Тарловский. Но поэт с головой залез в собственный словарь. Абсолютно чуждым нашей культуре языком перестраивающегося сноба-гробокопателя и смакователя старины он пробует передать свое отношение к современности, и получаются такие перлы, как например: «рослый советский детина».

Тарловский на речном трамвае плывет по Москве-реке. Вот его поэтический маршрут: удельная Рязань, удельный Суздаль, пепел — тишайший царь, «самозванный» стяг, кремли, струги. Все это поминается для того, чтобы сейчас же отплеваться, и сейчас же переход к действительности: девочка-подросток Маша, грамотная только первый год, читает по складам вывеску: «Машин, но строительный завод». Мало того, что здесь нелепое сюсюканье: в Москве в 31-м году очень трудно было найти подростка, грамотного только первый год. Тарловский бессознательно искажает факты.

Если он расскажет про обсерваторию, то противовесом к ней или дополнением обязательно является старая мечеть. Для Тарловского это две половинки одного ореха. Механистический стих Тарловского — продукт разложения и распада акмеистических приемов. Поэт настолько лишен чутья и вкуса, что способен зарифмовать «парикмахер» и «пахарь».

Тарловский обладает поэтическим темпераментом, упрямством, изобретательностью, но ему необходимо стать в простые, ясные, свободные от бутафории отношения к жизненной правде.

Только тогда он освободится от эстетического хлама и перестанет любоваться историческим мусором.

В этом смысле наиболее типичны вещи «Бог войны» и «Вопрос о родине». В первой пьесе «бог войны» — с «бердышом (?)» и с сигарой забрался на ресторанный поплавок и заказывает «человеку» шашлык из человеческого мяса. Во второй — боги японского олимпа лишают загробного олимпа белогвардейского прохвоста за то, что он вредил своей родине. Стремление к хлесткости, к дешевому версификаторскому блеску мешает Тарловскому серьезно развить большую тему. Даже наиболее заостренные вещи страдают ломкостью, хрупкостью или перегружены эстрадностью и пряной анекдотичностью.

Примечания

Принятые сокращения:

ВРСХД — Вестник Русского Студенческого Христианского Движения (Париж, Нью-Йорк, Москва).

ВРХД — Вестник Русского Христианского Движения (Париж, Нью-Йорк, Москва).

БП — Осип Манделъштам, Стихотворения, Библиотека поэта, Москва 1973.

496. *О, красавица Сайма*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974 и одновременно в БП. Приложено к письму к матери (см. стр. 109) от марта 1908 г., где сказано «маленькая аномалия: «Тоску по родине» я испытываю не о России, а о Финляндии. Вот еще стихи о Финляндии.»
497. *Музыка твоих шагов*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974. Без даты, конец 1908 г.
498. *В непринужденности творящего обмена*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974 и в составе примечаний в БП, стр. 255. «Своеобразная поэтическая декларация молодого Мандельштама» (Н. Харджиев). Вдохновляясь им или отталкиваясь от него, Мандельштам всю жизнь благоговел перед Тютчевым. О Верлене Мандельштам упоминает впервые в письме из Парижа к В. В. Гиппиус: «Кроме Верлена я написал о Роденбахе и Сологубе...» (март 1908 г.). По свидетельству М. Карповича, М. читал ему вслух, с большим воодушевлением, стихи Верлена, и тогда же перевел стихотворение «Je suis venu calme orphelin...». В декабре 1909 г. посылая Вячеславу Иванову стихотворение «На темном небе как узор» М. пишет, что оно хотело бы быть «гопансе sans parole» (Dans l'interminable eppui...). Наконец более подробно о Верлене говорится в статье 1910 г. посвященной Франсуа Виллону: «...Верлен разбил *serres chaudes* символизма», а также в стихотворении ему посвященному («Старик»). В 30-х годах М. «заново купил Верлена, Бодлера, Рембо» (Н. Мандельштам).
499. *Довольно лукавить: я знаю*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974, без даты, конец 1908-начало 1909 г.
500. *Пилигрим*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974, без даты.
501. *Сквозь восковую занавесь*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974.
502. *...коробки*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974. По всей вероятности стихотворение не было окончено.
503. *Листьев сочувственный шорох*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974 и одновременно в БП.

504. *В изголовьи черное распятие*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974. В предпоследнем стихе цитата из стихотворения Тютчева «Наполеон».

Он был земной, не божий пламень,
Он гордо плыл — презритель волн, —
Но о подводный веры камень
В щепы разбился углый челн.

(1836)

505. *Стрекозы быстрыми кругами*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974.
506. *Медленно урна пустая*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974.
507. *Я знаю, что обман в видении немислим*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974 и одновременно в БП.
508. *Когда поднимаю*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974.
509. *Дождик ласковый, тихий и тонкий*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974. Разночтение: стих 1, *мелкий* и *тонкий*.
510. *Не спрашивай: ты знаешь*. Впервые в ВРСХД, 111, I, 1974 и одновременно в БП. Разночтение: стих 12, *убийственный магнит*.
511. *В белом раю лежит богатырь*. Впервые в составе публикации А. Морозова «О. Мандельштам в записях С. Каблукова», ВРХД, 129, II, 1979.
512. *Дочь Андроника Комнена*. Впервые в БП в составе примечаний «Соломинка». Посвящено Саломее Николаевне Андрониковой. Упоминается в записях С. Каблукова как мадригал, который «скоро будет опубликован».
513. *Железо*. Впервые в ВРХД, 118, II, 1976. Об этом стихотворении Мандельштам упоминает дважды в письмах к жене: «Хорошо ли железась?» (№ 55). «К подборке прибавь «Стансы» плюс «Железо» (№ 57 от 26 мая 1935).
514. *Тянули жилы, жили были*. Впервые в ВРХД, 118, II, 1976.
515. *Ты должен мной повелевать*. Публикуется впервые. Сообщил Ю. П. Иваск.
516. *Мир начинался страшен и велик*. *Russian Literature*, V, 3, July 1977. Разночтенья, по списку хранящемуся в архиве:
с. 6 добровольный.
с. 7 твой каменноугольный.
517. *(Стихи о Сталине)*. Полностью впервые по списку сохранившемуся в архиве. С пропуском одной строки напечатано в *Scando-Slavica*, t. 22, Copenhagen, 1976, pp. 35-41. С тем же пропуском и без последних четырех строк в *Slavic*

Review, vol. 34, № 4, december 1975. Подробно об этой «Оде Сталину» пишет Н. Я. Мандельштам в *Воспоминаниях*, стр. 216-220.

«Перед ним стала дилемма: пассивно дожидаться гибели или сделать попытку спастись. 12-го января 1937 года — переломный момент — и конец щеглиных стихов, и начало нового цикла, выросшего вокруг «Оды»...

У окна в портнихиной комнате стоял квадратный обеденный стол, служивший нам для всего на свете. О. М. завладел столом и разложил на нем карандаши и бумагу. Ничего подобного он никогда не делал: бумага и карандаши ведь требовались только в конце работы. Но ради «Оды» он решил изменить свои привычки...

...Искусственно задуманное стихотворение, в которое О. М. решил вложить весь будущий в нем материал, стало ниткой целого цикла противоположно направленных, враждебных ему стихов. Этот цикл открывается стихотворением «Дрожжи мира» и идет до конца «Второй Тетради»...

...«Ода» все же была написана, но своего назначения не выполнила и О. М. не спасла... Начало 37 года прошло у О. М. в диком эксперименте над самим собой. Взвинчивая и настраивая себя для «Оды» он сам разрушил свою психику. «Теперь я понимаю, — сказал он Анне Андреевне, — это была болезнь»...

...Уезжая из Воронежа, О. М. просил Наташу (Штемпель) уничтожить «Оду». Многие советуют мне скрыть её, будто ничего подобного никогда не было. Но я этого не делаю, потому что правда была бы неполной: двойное бытие — абсолютный факт нашей эпохи, и никто его не избежал. Только другие сочиняли эти оды в своих квартирах и дачах и получали за них награды. Только О. М. сделал это с веревкой на шее... Ахматова — когда веревку стягивали на шее у ее сына. Кто осудит их за эти стихи?!...»

Строки 73-76 были ошибочно напечатаны в *Собрании Сочинений* как самостоятельный отрывок.

518. Приводится в статье М. Карповича «Мое знакомство с Мандельштамом», *Новый Журнал*, 49, 1957, стр. 258-261.
519. Живя в Берлине, Мандельштам хотел ответить на письмо старшего своего друга С. Каблукова стихотворением, которое не удалось. Мандельштам запомнил из него строфы, которые Каблуков приводит в своем дневнике под датой 24 октября 1910 г. См. публикацию А. Морозова в ВРХД, 129, 11, 1979.

520. Печатается по архиву. Примыкает к «Отрывкам из уничтоженных стихов», № 239. Ср. у J. Baines «Mandelstam: the later poetry», Cambridge, 1976, p. 39.
521. Сообщено Н. Я. Мандельштам J. Baines. Примыкает к «Отрывкам из уничтоженных стихов».
522. Печатается по архиву. Разрозненные строчки.
523. Печатается по архиву. См. Н. Мандельштам, *Вторая книга*, Париж, 1972, стр. 87.
- 524-527. Приводится со слов Н. Я. Мандельштам J. Baines в её книге о позднем Мандельштаме (*op. cit.*).
- 528-530. Сообщено А. А. Морозовым.

Эпиграммы, шуточные стихи.

Общую характеристику шуточных стихов дает Н. Я. Мандельштам в своих воспоминаниях.

«Шутка Мандельштама построена на абсурде. Это домашнее озорство и дразнилка лишь изредка с политической направленностью, но чаще всего обращенная к Моргулису, ко мне и Ахматовой». (*Вторая книга*, Париж, 1972, стр. 144-145).

531. Печатается впервые. Обращено к актеру С. И. Антимонову. «Загадка и разгадка» — пьеса «из испанской жизни» В. Трахтенберга, исполнявшаяся в «Кривом Зеркале».
532. Печатается впервые.
- 533-540. *Маргулеты*. А. О. Моргулис, переводчик, член правления Союза писателей. «Близкое знакомство с О. Э., пишет вдова А. Моргулиса, произошло уже в Ленинграде (1925-1927), тогда Мандельштамы жили в Лицее, мы часто бывали у них, они — у нас. И после переезда Мандельштамов в Москву наши отношения не прервались — мой муж чуть ли не еженедельно бывал в Москве по ходу работы. О. Э. очень нежно любил моего мужа. Как мне помнится, таким же нежным взглядом он смотрел на своего младшего брата Шуру. У нас Мандельштам как-то смягчался, его внутренняя напряженность разряжалась; кроме того, он очень доверял литературному вкусу моего мужа. О. Э. постоянно читал нам стихи. Сам очень радовался рождению каждой «Маргулеты». ВРХД, 129, II, 1979. Во всех «маргулетах» Моргулис, вероятно по ошибке, пишется через «а».
- В первом томе Собрания Сочинений напечатаны две «маргулеты» под №№ 434-435.

- 533-535. Впервые Н. Я. Мандельштам, *Вторая книга*, Париж, 1972, стр. 144-145.
- 536-540. Впервые в составе публикации А. Григорьева и Н. Петрова. «Мандельштам на пороге 30-х годов», *Russian Literature*, V, 1977.
541. Печатается впервые. Сообщено Ю. Иваск. Юлий Магфевич Вермель, зоолог, двоюродный брат филолога Д. Усова.
542. Печатается впервые. Сообщено Ю. Иваск.
543. Печатается впервые. Сообщено Ю. Иваск. «Он почти что Чаадаев» — намёк на родство с Е. С. Норовой.
544. Печатается впервые по архиву.
545. Печатается впервые по архиву. Сергей Рудаков, любитель стихов и сам сочинитель, пользовался в 30-х годах доверием О. Мандельштама, по свидетельству Ахматовой, не вполне оправданным (была, как будто, попытка выдать стихи Мандельштама за свои). Погиб на фронте.
- 546-547-548. Экспромты посвящённые Наташе Штемпель, с которой Мандельштам дружил в Воронеже. См. № 448 в первом томе *Собрания Сочинений*.
- 548^{bis}. Впервые в Осип Мандельштам, *Воронежские тетради*, Ardis 1980, стр. 116.

Переводы

549. Этот перевод только половины знаменитого стихотворения Малларме «*La chair est triste, hélas...*» был подклеен С. Каблуковым к сборнику «Камень». В Дневнике от 18.8.1910, Каблуков пишет: «я вполне соглашаюсь с некоторыми его суждениями об Анненском и Малларме, как о великих поэтах».
- Н. Я. Мандельштам: «В юности он как-то пробовал переводить Малларме — ему посоветовал Анненский: учись на переводах. Но ничего из этого не вышло и О. М. убеждал меня, что Малларме просто шутник. И еще — Гумилев и Георгий Иванов будто дразнили его такой строчкой: и молодая мать — кормящая сосна, то есть со сна» (*Вторая книга*, стр. 258). Вероятно, это был первый вариант перевода «*Et ni la jeune femme allaitant son enfant*», где «со сна» могло рифмовать со словом «белизна» (*ni le vide parier que la blancheur défend*). Во всяком случае образ кормящей матери не сохранен в переводе.

550. Мандельштам познакомился с Тицианом Табидзе в 1921 году, в Тифлисе. Вероятно этот перевод был сделан тогда же и был опубликован в сборнике Н. Мицишвили в 1921 г.

551. Сообщено Викторией Швейцер, которая в 1968 г. подготовила сборник переводов Мандельштама для выходящей в издательстве «Прогресс» серии «Мастера поэтического перевода», но книга не вышла.

«Избранные отрывки из старо-французского эпоса» были предложены Госиздату Мандельштамом в мае 1922 г., но были отвергнуты по трём причинам:

1. Неизвестно, на какого читателя рассчитана.
2. Отрывки мало показательны.
3. Перевод слаб.

Из старо-французского эпоса Мандельштам напечатал при жизни лишь отрывки «Сыновья Аймона» (сначала в «России», а затем в сборнике «Камень» 1923 г.). В первом томе *Собрания Сочинений* появились два других отрывка «Жизнь святого Алексея» и «Алисканс».

Мандельштам выбрал из «Песни о Роланде» наиболее драматические места: отказ Роланда трубить в рог (от стиха 1070 по стих 1151), смерть Оливье (от стиха 1978 по стих 2023), смерть Роланда (от стиха 2338 по стих 2417), сон Карла (от стиха 2512 до стиха 2740) и поход язычников (от стиха 2512 до стиха 2740), смерть Альбы, невесты Роланда (от стиха 3705 до 3733).

Отказ Госиздата конечно был вызван повышенной религиозностью выбранных Мандельштамом отрывков. «Песнь о Роланде», сочиненная вероятно в XI веке, была высоко оценена в XIX веке почти всеми историками литературы, за исключением Брюнетьера.

«Ничего преднамеренного, никакой заботы об эффекте не нарушает предельную простоту рассказа. Стиль... не вклиняется между действием и стихом: нет словесного изобретения, нет личной субъективности в передаче фактов... Не читаешь, а видишь» (Густав Лансон).

«Во всех 4000 стихах имеется лишь одно сравнение... Но настоящая поэзия не состоит из одного этого элемента, и надо принять во внимание красочность, ритм а, главное, возвышенность мысли» (Пети де Жюлевил).

Мандельштам прекрасно передал строгим, но живым стихом возвышенную простоту «Песни». И не случайно он выбрал места, повествующие о чести не взирающей на

страх, о подвиге мужественном и веселом, не ради славы, а ради любви к своему Богу и людям.

552. *Паломничество Карла* одна из самых старинных французских песен, не лишенная юмора и пародийности.

553. *Коронование Людовика*. Сын Карла Великого, Людовик был императором Запада с 814 по 840 год.

554. *Берта — большая нога*. Мать Карла Великого умерла в 738 г.

555-557. Впервые в ВРХД, 115, I, 1975, стр. 183-187.

«В Воронеже он вольно перевел Неаполитанские песни для ссыльной певицы с низким голосом» (Н. Мандельштам, *Воспоминания*, Нью-Йорк, 1970, стр. 148).

Нами был разыскан сборник, с которого, вероятно, переводил Мандельштам: «150 celebri canzoni popolari napoletane per canto e pianoforte colla traduzione italiana. Raccolte del Maestro Vincenzo de Meglio».

Песни написаны на неаполитанском наречии.

546. *La Marenarella*, musica di G. Torrente.

Разночтение, стих 23-24 С солнцем и с бурей
Дружен челнок.

547. *La vera sorrentina*.

Разночтения, стих 3 В черно-красном, с галунами
В лучшем платье появилась

стих 4 Всех милее нарядилась

стих 11 Где звезда моей удачи

стих 20 Говорит: причем здесь я?
Ускользает как змея

стих 35-36 Горе мне не видно суши
С маяка звонят все глуше

стих 40 Не скучает без меня
Равнодушна, смерть моя.

548. *Cannetella*. Приводим здесь первые строки песни в оригинале:

Non mme fa la nremprecella
Cannetella oje Cannetè.
Daje audienza a sto schefienza,
Scui che sta sempe attuorno a te!
Cannetella oje Cannetella,
Cannetella Cannetè.

В переводе неаполитанских песен Мандельштам придерживался ровно обратных принципов по сравнению с

работой над древне-французским эпосом: здесь его интересовало передать особую фонетику южно-итальянских песен и их эмоциональную образность. Для этой цели он позволял себе смелые отклонения от буквального смысла оригинала.

Отброшенные строфы.

Нумерация дана по *Собранию Сочинений*.

(505) БП, стр. 307. Стояло между строфами 2 и 3.

(11) Печатается по автографу находящемуся в архиве. Стояло после первого двустишия.

(48) В беловом автографе служила заключительной строфой. (БП, стр. 261).

(181) БП, стр. 309, где напечатано по беловому автографу из архива Лозинского с его пометой: «О. Э. Мандельштам, недовольный первой редакцией стихотворения, свел его к восьмистишию, отбросив две начальные строфы».

Первоначальные редакции

Восстановлены по вариантам, приводимым Н. Харджиевым в БП. Нумерация дана по *Собранию Сочинений*.

(74) Аббат. БП, стр. 267.

(82) Федра. БП, стр. 269-270.

(107) БП, стр. 311.

(266) БП, стр. 294.

(338) БП, стр. 301.

Варианты отдельных строф.

Нумерация дана по *Собранию Сочинений*. Варианты № 13, 175, 218 печатаются по архиву. Остальные — из комментария Н. Харджиева в БП.

Шуба. Впервые в «Советском юге», 1922, 1-го февр. Очерк долго считался утерянным. Как пишет Кларенс Броун со слов Н. Я. Мандельштам, сестра бывшего украинского премьера Христиана Георгиевича Раковского организовала в Харькове частное издательство «Истоки», для которого просила О. Мандельштама написать критический этюд (статья «О природе слова» появилась отдельной брошюрой) и воспоминания о Петербурге. Издательство вскоре закрылось. От ненаписанных тогда воспоминаний остался только этот отрывок. Над статьей, в виде шапки вероятно от редакции, заглавие: «Дневник сменовеховца».

Образ Шубы, переосмысленный и значительно расширенный, лег в основу заключительной главы «Шум времени», озаглавленной «В не по чину барственной шубе». В ней Мандельштам перекидывает свою шубу на плечи В. В. Гишпиус, затем К. Леонтьева и наконец облакает в нее всю русскую литературу XIX века.

В газете «Советский Юг» издававшейся в Ростове, Мандельштам напечатал ряд очерков: «Батум», «Письмо о русской поэзии», «Кое-что о грузинском искусстве», «19 января».

Возможно, этот очерк был первым толчком к книге воспоминаний «Шум времени», где «Шуба» стала заключительным аккордом.

С В. Б. Шкловским Мандельштам в 20-х годах находился в приятельских, если не дружеских отношениях.

Гротеск. Впервые в «Обзрение театров гг. Ростова и Нахичевани н/Д.», 1922, № 5 (10), 25-28 янв. Мандельштам приводит стихи А. Ахматовой по памяти, путая строчки и некоторые слова.

Кисловодск весной. Впервые в журнале «Экран», 12, 1927. О пребывании Мандельштама в Кисловодске ничего не известно.

Отрывок из статьи «Пушкин и Скрябин». Печатается впервые по единственному черновику, хранящемуся в архиве (Принстон). В черновике этот абзац перечеркнут. Публикация в *Собрании Сочинений* требует исправлений:

стр. 317, второй параграф, следует читать:

Христианская, я определил бы точнее католическая радость Бетховена...

стр. 318, третий параграф, следует читать:

и через это получает глубокий религиозный смысл

стр. 319, третья строка сверху, следует читать:

Православная мистика энергично отвергает

восьмая строка, продолжается:

архитектоника звучного мгновения, великолепная архитектоника в полуночном разрезе звучности и почти аскетическое пренебрежение к формам...

Отрывок из «Статьи о переводах». Впервые в ВРХД, 120, где дан ошибочно более пространственный отрывок, который на самом деле является вариантом из Статьи о переводах (*Собрание сочинений*, стр. 428, пятый параграф).

стр. 428, седьмая строка снизу, вариант:

«К ответу ГИЗ, ЗИФ, «Молодую Гвардию», «Прибой». Пусть немедленно выскажется в печати тов. Халатов. Пусть федерация Писателей сигнализирует тревогу. Пусть профсоюзы с их мощной библиотечной сетью поддержат кампанию, которую мы сейчас начинаем, не в виде голословного ханжества, не в виде мелких щипков, от которых повизгивают злополучные переводчицы и даже не почесываются работники ГИЗ'а, а в виде крупной реформы, ревизии, революции в этом деле, которое должно пройти все стадии чистки, ревизии и ломки...».

Этот вариант вероятно был отброшен как слишком резкий.

Татарские ковбои. Впервые в «Советском Экране» № 14, 6 апреля, 1926 г., с. 4. Редакция журнала снабдила эту рецензию следующим примечанием:

«В этой статье дается чрезвычайно резкая оценка одной из наших «экспедиционных» картин. Не будучи, в общем, высокого мнения об этой постановке, редакция, однако, в силу своего нескрываемого пристрастия к советскому кинопроизводству, была бы очень рада, если бы знатоки Крыма могли смягчить жестокость вынесенного тов. Мандельштамом приговора.

Поэтому мы пока не считаем этой оценки решающей и окончательной. В ближайших номерах «Советского Экрана» мы продолжим обсуждение этой фильма.»

Шпигун. Впервые в *Russian Literature*, V, 1977. (Публикация Ю. Фрейдина).

Кинорецензия на фильм «Шкурник», он же «Знакомое лицо», по рассказу В. Охрименкс «Цыбала», работы режиссёра

Шпиковского. Николай Григорьевич Шпиковский (род. в 1897) режиссировал художественные фильмы до конца 30-х гг., потом стал документалистом.

О пьесе А. Чехова «Дядя Ваня». Впервые в ВРХД, 120, по рукописи, написанной рукою Н. Я. Мандельштам и без последних четырех параграфов, зачеркнутых. Затем в Russian Literature, V, 1977, с заметками Ю. Н. Левина. «Интересно ... отметить, что Чехов — если не считать этого наброска, практически не упоминается у М.: есть одно лишь случайное безоценочное упоминание в Шуме времени (*Собр. Соч.*, т. II, стр. 95) да еще в статье о художественном театре (т. III, стр. 99.)». «Для М., основой мировосприятия которого были категории единства, ценности и цели, начала и конца, роста и цветения, внутрличностной и социальной организации как предпосылки свободы, задача, решаемая Чеховым, неестественна и невозможна ...».

Из радиопередачи о Гёте. Отрывки не вошедшие в основную публикацию. Печатается впервые по машинописи из архива.

Из внутренней рецензии на книгу А. Коваленкова.

Отрывок напечатан в составе статьи К. Ваншенкина «Лица и голоса», «Вопросы Литературы», 3, 1977, стр. 128. Судя по всему, к той же рецензии относится отрывок, напечатанный в т. III, стр. 191-192.

Письма

- № 1. Впервые по рукописи из архива в ВРХД. Стихи о Финляндии см. в настоящем сборнике под № 492.
- № 2. Печатается впервые. «До нас постоянно доходили непристойные рассказы из Коктебеля, распространяемые поклонницами Волошина, и Мандельштам очень резко на них реагировал. Сохранилось его письмо к Федорченко, побывавшей в Коктебеле и послушавшей тамошних рассказов». (Н. Мандельштам, *Вторая книга*, стр. 100).
- № 3-7. Впервые в ВРХД, 120, I, 1977, в составе большой публикации под редакцией Н. А. Струве «Материалы к биографии Осипа Мандельштама».

Большинство сохранившихся писем Мандельштама написано к жене, Надежде Яковлевне Хазиной (род. в 1900 г.). В редкие периоды вынужденной разлуки Осип Мандельштам писал жене чуть ли не каждый день, помимо частых звонков и телеграмм. Самая долгая разлу-

ка тянулась с перерывами больше года, с октября 1925 по декабрь 1926 года, когда Надежда Яковлевна для поправления здоровья жила в Крыму. Чтобы платить за пансион, Мандельштаму пришлось закабалить себя переводческой работой так, «что даже передохнуть не мог. При этом каждый перевод выдирался ногтями. Об этом лучше расскажут письма, где Мандельштам бесстыдно врёт, как хорошо складываются дела и со всех сторон льются золотые ручьи. Он успокаивал меня, чтобы удержаться в Ялте» (Н. Мандельштам, *Вторая книга*, 1972, стр. 269).

В *Собрании Сочинений*, т. III, напечатано 39 писем, относящихся к этому времени.

- № 3. Открытка. Дата по штемпелю. Примыкает к письму № 11 в *Собрание Сочинений*. ...*контракт на Рабле* — этот контракт не состоялся (см. ниже письмо к Ионову).
последние страницы «коврика» — возможно, речь идет о первой попытке прозы, о которой Н. Мандельштам рассказала в своих воспоминаниях. Мандельштам сначала влюбился в ковер, купленный на толкучке, затем опомнился и «убеждал меня, что в нашем быту нет места для огромного музейного ковра... Ковер исчез из нашей жизни, а Мандельштам, тоскуя, начал что-то царапать на бумаге. Это был рассказ о ковре в московской трущобе. Он быстро оборвался, листочки канули в сундук и пропали в тот час, когда им было положено» (*Вторая книга*, стр. 214-215).
- № 4. Открытка. Дата по штемпелю. О. Мандельштам прожил в Крыму с 15 ноября 1925 г. до конца января. В *Собрании Сочинений* есть письмо, написанное накануне в Севастополе на вокзале: «...Все время буду писать с дороги» (№ 14).
- № 5. На купоне денежного перевода. Дата по штемпелю. Весной 1926 г. Мандельштамы вместе жили в Царском Селе, но осенью Надежда Яковлевна вернулась в Крым: «Зачем я тебя сослал к морю, как Овидия какого-нибудь?» (№ 39).
- № 6. Открытка. Дата по штемпелю.
маялся с газетой — вероятно ленинградская «Вечерняя Красная Газета», в которой Мандельштам напечатал два очерка.
Надежда Яковлевна вернулась только в декабре 1926 г.
- № 7. Письмо. Дата не установлена.
- № 8. К ОТЦУ. Печатается впервые по рукописи из Архива. Первый лист утерян. *Сегодня обедает ...* речь идет вероятно о брате Александре Эмильевиче.

М. Н. — Марья Николаевна Дармолатова, мать покойной жены Евгения Эмильевича.
с Женей — брат Евгений Эмильевич.

№ 9. Печатается впервые. Речь идет о вечере памяти поэта Ф. К. Сологуба, умершего 5 декабря 1927.

Людмила Николаевна — жена писателя Е. Замятина.

Пламенный Круг — восьмая книга стихов Ф. К. Сологуба, вышедшая в 1908 году.

В. А. Пяст — (188 -1940) русский поэт символист.

№ 9-15. Все эти общественные письма касаются переводческой деятельности О. Мандельштама. Впервые напечатаны в ВРХД, 120, I, 1977 стр. 240-255.

Переводческая деятельность О. Мандельштама еще мало изучена. Список переведенных, вернее, обработанных им книг, напечатанный в *Собрании Сочинений*, далеко не полный. Переводами, разумеется, Мандельштам занимался ради заработка, но подходил к ним, как к одному «из самых трудных и ответственных видов литературной работы». «По существу, писал он, это создание самостоятельного речевого строя на основе чужого материала».

Однако условия работы, ее малооплачиваемость и срочность, скоро привели поэта к столкновениям с заказчиками, а затем и к открытому разрыву.

Письма к Венедиктову и Ионову, а также первое обращение в Федерацию писателей отображают эту борьбу Мандельштама за достойные условия перевода.

№ 10. К ВЕНЕДИКТОВУ.

Венедиктов — член правления издательства ЗИФ.
тов. Нарбутом — Нарбут Владимир Иванович (1880-1944, погиб в лагере) поэт-акмеист, после революции работал в советской печати, был директором организованного им издательства «Земля и Фабрика».

«Антикварий» — т. VI Собрания романов Вальтер-Скота под редакцией и в обработке Б. Лившица и О. Мандельштама вышел в 1928 г. (536 стр.).

«На дне трюма» Майн-Рида в переводе и под редакцией и с примечаниями О. Мандельштама вышел в 1929 в количестве 10.000 экземпляров. Примечания носят сугубо технический характер, в основном, они посвящены описанию разных пород рыб, птиц и животных. В подробном описании вредности крыс есть и такой более современный штрих: «В дни гражданской войны, во время интервенции 1921 года, когда в Батуме появились чумные заболелания, англичане взяв город под карантин, уничтожили всех крыс».

Всего в этом томе имеется сорок примечаний. Мандельштам перевел еще четыре тома из собрания сочинений Майн-Рида (см. *Собрание Сочинений*, т. III, стр. 699).

№ 11. К И. И. ИОНОВУ.

Письмо сохранилось в машинописной копии, страницы разрозненные. Ответа на него не последовало. В марте через Я. З. Черняка Ионов объявил Мандельштаму, что никакого соглашения на почве этого письма быть не может.

Ионов — псевдоним Ильи Ионовича Бернштейна (1887-1942, репрессирован), член КПСС, издатель, заведовал ГИЗом.

Лившиц Бенедикт Константинович (1887-1939, погиб в лагере) поэт, критик, теоретик футуризма, автор воспоминаний «Полутороглазый стрелец» (1928). Как сопереводчик Майн-Рида на титульном листе не упоминается.

Упомяну хотя бы Даудистеля «Жертва» или «Таргарена» — Мандельштам перевел эти книги в 1926 и 1927 в издательстве «Прибой».

№ 13. Заявление связано с третейским судом, перед которые предстал Мандельштам по обвинению в плагиате. Мандельштаму было поручено издательством ЗИФ обработать и проредактировать старые переводы «Уленшпигеля» А. Горнфельда и В. Карякина. На титульном листе нового издания издательство самовольно поставило имя Мандельштама как единственного переводчика. Хотя и не виновный в этой оплошности, Мандельштам «считал себя морально ответственным перед товарищем по переводной работе... первый известил ничего не подозревавшего Горнфельда и заявил, что отвечает за его гонорар всеми своими литературными заработками» (Письмо в «Вечернюю Москву» в № 288, перепечатанное в *Собрании Сочинений*, т. III, стр. 477). А. Горнфельд все же решил в открытом письме в «Вечернюю Красную Газету» обвинить Мандельштама в литературном воровстве. Вероятно по указаниям свыше, это обвинение подхватил журналист Давид Заславский, поместивший грубую статью в «Литературной Газете» от 7-го мая 1929 г. (30 лет спустя тот же Заславский будет участвовать в заушении Пастернака.)

№ 15. Это общественное письмо, сохранившееся в поврежденной редакции, послужило материалом для «Четвёртой Прозы».

Разбойное нападение среди бела дня — речь идет о фельетоне Д. Заславского в «Литературной Газете» от 7 мая 1929 г.

не ангел в ризах, накрахмаленных Львовым-Рогачевским — Львов-Рогачевский (Василий Львович Рогачевский, 1873-1930). Критик и литературовед, меньшевик, после Революции стал на позиции марксизма и «вульгарно-социологических объяснений литературных явлений». *пасторские седины Канатчикова* — Семен Иванович, род. в 1879. Большевик с 1903, примкнул к литературному движению в 1924, был секретарем ФОСПа и редактором «Литературной Газеты» с 1929 по 1931.

№ 16. Впервые в ВРХД, 120, I, 1977, стр. 255-256.

О жилищных трудностях Н. Я. Мандельштам написала жалобу самому председателю Совнаркома В. Молотову: «Все эти годы, у нас не было средств, чтобы купить себе квартиру. Уезжая в Армению, мы потеряли свое жилье и остались буквально на улице. Та работа, на которой может быть использован Мандельштам, не может дать ему квартиры. Нигде, ни в одном городе нельзя получить жилплощади. Мандельштам оказался беспризорным во всесоюзном масштабе.

Но существует же какой-то жилищный фонд, и нужные люди у нас не остаются на улице. Один раз нужно счастье не спеша таким человеком, а поэта, чтобы он не метался из города в город, ища пристанища. Если это невозможно в Москве, то нужно устроить Мандельштама хотя бы в одном из южных городов.

Я повторяю, что это не просто бытовые неувязки, а вопрос о праве на жизнь. Позади — долгие годы борьбы и труда; не под силу изворачиваться, искать мелких заработков, бегать по редакционным прихожим за работишкой. А именно это предстоит Мандельштаму, если не будет решительного вмешательства в его судьбу. Ему помогли оправиться от болезни, но причины, приведшие к заболеванию, не устранены... Если раз навсегда не устроить Мандельштама, то каждый год его будет загонять в тупик и роскошные санатории будут чередоваться с настоящим бродяжничеством». (Сборник *Память*, I, Нью-Йорк 1978).

Квартиру Мандельштам получил, наконец, в ноябре 1933 г. и проклял ее в стихах как подачку верноподанным писателям:

...Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель —
Такую ухлопает моль...

...И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Но пользоваться ему пришлось ею недолго: в марте 1934 года Мандельштам был арестован, а затем сослан. Так до второго ареста и смерти снова потянулись годы «беспризорности во всесоюзном масштабе».

№ 17. Печатается впервые.

Саргиджан — Сергей Петрович Бородин, род. в 1902, до 1941 выступал под псевдонимом Амир Саргиджан, с 1943 член КПСС, автор исторических романов. Бородин вместе с некоей Татьяной Дубинской жил в том же доме Герцена, что и Мандельштам, и, по свидетельству Н. Я., им было поручено следить за связями Мандельштамов. После одной стычки во дворе, Бородин ворвался в квартиру Мандельштамов и сильно ударил Надежду Яковлевну. О. Э. обратился к товарищескому суду Горкома писателей, который, под председательством А. Толстого, вынес двусмысленный приговор, осуждавший обе стороны, при чем Толстой сослался на полученные приказания свыше (Clarence Brown, *Mandelstam*, Cambridge 1963, p. 127).

Весной 1934, в Ленинграде, Мандельштам отомстил А. Толстому, ударив его по лицу. Считалось, что арест 1934 связан и с этим инцидентом.

№ 18. Печатается по БФ, стр. 294.

Личностью его — имеется в виду Борис Сергеевич Кузин, биолог (1903-1973), с которым Мандельштам подружился в 30-м году. К Б. С. Кузину относится стих: «Я дружкой был, как выстрелом, разбужен». В конце 1932 Б. С. Кузин был арестован, но через два месяца освобожден. Впоследствии арестовывался вторично. Личность Б. Кузина описана О. Мандельштамом в «Путешествии в Армению».

№ 19. К В. А. БОНЧ-БРУЕВИЧУ. Впервые в сборнике *Память*, II, Париж 1979, стр. 435-436. Публикация И. Флаттерова.

Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873-1955) партийный деятель, создатель и первый директор Государственного Литературного Музея, собрания архивов, легшего в основу ЦГАЛИ.

После предложения продать в Музей архив, между В. Бонч-Бруевичем и Мандельштамом состоялся телефонный разговор, реакцией на который и явилось это письмо.

На письмо Мандельштама В. Бонч-Бруевич ответил месяц спустя 24 марта: «...Мы все Вас любим и уважаем,

но никак не можем Вас ставить на одну доску с классиками нашей поэзии. Каждому дано свое».

13 мая Мандельштам был арестован.

№ 20-21. К Б. Л. ПАСТЕРНАКУ. Из сборника *Память, IV*, Умса-Press, 1981, где будут напечатаны письма Б. Пастернака к О. Мандельштаму и пространный комментарий.

№ 22-23. К Е. Я. ХАЗИНУ. Впервые в ВРХД, 120, I, 1977, стр. 257-260.

Письма к Евгению Яковлевичу Хазину, брату Надежды Яковлевны написаны в апреле 1937 г., когда материальное и общественное положение казалось совершенно безнадежным. Тогда же, обращаясь за помощью к К. И. Чуковскому, Мандельштам писал: «Я поставлен в положение собаки, пса... Меня нет. Я — тень. У меня только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство... Есть один только человек в мире, к которому по этому делу можно и должно обратиться... Каждый раз отпуская жену, я нервно заболеваю. И страшно глядеть на неё — смотреть, как она больна. Подумайте: зачем она едет? на чем держится жизнь? Нового приговора к ссылке я не вынесу. Не могу». (*Собрание Сочинений*, т. III, стр. 280).

Болезнь, в итоге, не помешала Надежде Яковлевне поехать в Москву вновь в деловую поездку, раздобывать заработки и безуспешно стучаться в редакции журналов. Жить с Мандельштамом, который не мог оставаться один, приехала мать Н. Я., Вера Яковлевна Хазина.

№ 24. В редакцию журнала «Знамя». Впервые в Осип Мандельштам, *Воронежские тетради*, Ardis 1980, стр. 122. Ранняя редакция стихотворения была намного менее крамольной последней, посланной вместе с этим письмом.

№ 25-26. К СТАВСКОМУ. Впервые в ВРХД, 120, I, 1977, стр. 260-262.

Заявление Ставскому (Кирпичников Владимир Петрович (1900-1943), погиб на фронте, после смерти Горького стал генеральным секретарем Союза Советских Писателей) вызвано опубликованием в Воронежской газете «Коммуна» разоблачительной статьи О. Кретовой со следующей угрожающей характеристикой:

«...За последние годы в организации воронежского обл. отдела союза сов. писателей пытались проникнуть и оказать свое влияние троцкисты и другие классово-враждебные люди (Стефан, Айч, О. Мандельштам), но были разоблачены...»

В условиях 1937 г. такое разоблачение предвещало новый арест. Возможно, что заявление Ставскому возымело временную силу.

ДОПОЛНЕНИЕ.

Баллада о горlinkах (коллективное).

Опубликовано в книге: ЧУКОККАЛА. Рукописный альманах Корнея Чуковского. Изд «Искусство», М., 1979, стр. 236-238 (стр. 237 — автограф стихов).

«Когда *Всемирная Литература* была закрыта, служащий в Гослите третьестепенный переводчик Александр Николаевич Горлин счел возможным совместить в своем лице всю научную коллегию *Всемирной Литературы*. Гонорары шли теперь от него, и те деньги, которые выдавались по его распоряжению в Гослите, стали называться горlinkами. Наше отношение к новому порядку вещей выразили два поэта — Осип Мандельштам и Бенедикт Лившиц».

«Гиз — сокращенное название Государственного издательства». «Литературные вырожденки — Ионов и Горлин объявили ту литературу, которая издавалась во *Всемирной*, упадочнической. Остальные намеки, заключающиеся в этой балладе, ныне стали для меня непонятными. Прошло всего полвека, но я успел позабыть подспудное значение многих стихов». «Двум Александрам тесен дом — намек на Александра Тихонова и Александра Горлина.» (Комментарий К. Чуковского).

На откосы Волга хлынь. Впервые в «Вопросах Литературы» № 12, 1980, в составе публикации Эммы Герштейн. Из архива Б. Рудакова, в котором хранится ряд писем О. Мандельштама. Обращено к Еликонице Ефимовне Поповой, жене известного актера Владимира Яхонтова.

С примесью ворона голуби. Впервые в *Russian Literature*, V, 3, July 1977 по копии рукой адресата (ЦГАЛИ). Посвящено Еликонице Поповой.

Рецензии 1935 г. Впервые в «Подъеме» № 5 и № 6 за 1935 г. Перепечатано Э. Герштейн в «Вопросах Литературы», № 12, 1980. О Г. Санникове (1899-1969) О. Мандельштам писал Б. Рудакову: «Мы [с Белым] не в том, что другие видим матерство» и «Что за чистоплюйство! Мы не можем из книжек в 1000 стихов выбрать 300 прекрасных; хотим, чтобы была гладенькая обструганная книга. Я не могу швыряться поэтами, отмахиваться» (Письма от 20 и 23 июня 1935 г. к Б. Рудакову).

Библиография

I. КНИГИ МАНДЕЛЬШТАМА

- СТИХОТВОРЕНИЯ.** Вступительная статья А. Дымшица. Составление, подготовка текста и примечания Н. И. Харджиева. Библиотека поэта, Советский Писатель, Л., 1973, 334 стр.
- TRISTIA.** Факсимиле с издания 1922 г. Ardis, 1972.
- ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА.** Факсимиле с издания 1928 г. Ardis, 1976.
- КАМЕНЬ.** Факсимиле с издания 1913 г. Ardis, 1979.
- ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ.** Подготовка текста, примечания и послесловие В. Швейцер. Ardis, 1980, 142 стр.

II. КНИГИ О МАНДЕЛЬШТАМЕ

- BAINES** Jennifer. Mandelstam : The later poetry. Cambridge University Press, 1976, 252 p.
- BLOT** Jean. Ossip Mandelstam. Poètes d'aujourd'hui, n° 206, Seghers, Paris, 1972, 188 p.
- BROWN** Clarence. Mandelstam. Cambridge University Press, 1973, 320 p.
- BROYDE** Steven. Osip Mandelstam and his age. A commentary of the themes of war and revolution in the poetry 1913-1923. Harvard Slavic Monographs, 1, 1975, 245 p.
- COHEN** Arthur. O.E. Mandelstam. An essay in antiphon. Ardis, 1974, 74 p.
- KOUBOURLIS** D. A concordance to the poems of Osip Mandelstam (with a foreword by Clarence Brown). Cornell University Press, 1974, Ithaca, 674 p.
- NILSSON** Nils. Osip Mandelstam : Five poems. Uppsala, 1974, 87 p.

STRUVE Nikita. Ossip Mandelstam. Poésie et religion face à l'Etat. Thèse de doctorat Paris-Nanterre, 1979, 300 p. A paraître en automne 1981 à l'Institut d'Etudes Slaves.

TARANOVSKY Kiril. Essays on Mandelstam. Harvard University Press, 1976, 180 p.

III. СТАТЪИ О МАНДЕЛЪШТАМЕ

BAINES Jennifer. Mandelstam's « Grifelnaja Oda ». A commentary in the light of the unpublished rough drafts. « Oxford Slavonic Papers », New Series, vol. V, 1972.

BROYDE Steven. Osip Mandelstam's « Nasedsij podkovu ». « Slavic Poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky », La Haye, 1973, p. 49-66.

BUXSTAB Boris. The poetry of Mandelstam. « Russian Literature Triquarterly », I, 1971, p. 27.

FREYDIN G. The whisper of history and the noise of time in the writings of Osip Mandelstam. « Russian Review », vol. 37, 4, octobre 1978.

FRIOUX Claude. Deux épopées. « Action poétique », 63, 1975, p. 32-36.

HENRY Hélène. Etude de fonctionnement d'un poème de Mandelstam. « Action poétique », 63, 1975, p. 21-31.

MALMSTAD John E. A note on Mandelstam's « V Peterburge my sojdemlja snova ». « Russian Literature » V-2 April 1977, p. 193-199.

MARTINEZ Louis. Le noir et le blanc. A propos de trois poèmes de Mandelstam. « Cahiers de linguistique d'Orientalisme et de Slavistique », 3-4, août-décembre 1974, Université de Provence, p. 118-137.

MONAS Sydney. An Introduction to Mandelstam. In « Complete Poetry of O. Mandelstam ». State University of New York, 1973, p. 1-28.

RANFIELD Donald. A. Winter in Moscow (Osip Mandelstam's poems of 1933-1934). « Stand », vol. 14, n° 1, p. 18-23.

- RONEN Omry. A beam upon the axe : some antecedents of Osip Mandelstam's « Umyvalsja noc'ju na dvore ». « Slavica Hierosolymitana », vol. 1, Jérusalem, 1977, p. 158-176.
- SOLA Agnès. Mandelstam, poéticien formaliste ? « Revue des Etudes Slaves », t. L, fasc. 1, Paris, 1977, p. 37-54.
- STEINER P. Poem as manifesto : Mandelstam's « Notre-Dame ». « Russian Literature », V-3, juillet 1977 (Special issue Osip Mandelstam II), p. 239-256.
- STRUVE Gleb. Osip Mandelstam and Auguste Barbier. Some notes on Mandelstam's versions of Iambs. « California Slavic Studies », vol. VIII, 1975, p. 131-166.
- STRUVE Nikita. Les thèmes chrétiens dans l'œuvre d'Osip Mandelstam. « Essays in honor of Georges Forovsky », vol. II : « The religion world of russian culture. Russia and orthodoxy », Mouton, 1975, p. 305-313.
- STRUVE Nikita. « Le bruit du temps » dans l'œuvre de Mandelstam. Préface à la traduction d'Edith Scherrer, « Le bruit du temps », L'Age d'homme, 1972, p. I-VIII.
- TERRAS Victor and WEIMAR Karl S. Mandelstam and Celan : Affinities and echoes. « Germano-Slavica », fall 1974, 4, 11-29.
- TODDES E. Mandelstam, Tjutcev. « International Journal of Slavic linguistics and poetics », 17, 1974, p. 3-29.
- VAN DER ENG-LIEDMEIER Jeanne. Mandelstam's poem « V Peterburge my sojdemsja snova ». « Russian Literature », p. 181-201.
- ГРИГОРЬЕВ А. и ПЕТРОВ. Мандельштам на пороге 30-х годов. « Russian Literature », V-2, апрель 1977, стр. 181-192.
- ИВАНОВ Вячеслав. Два примера анаграмматических построений в стихах позднего Мандельштама. « Russian Literature », 3, 1972, стр. 81-87.
- ИВАСК Юрий. Три лирические молитвы. «Записки русской академической группы», т. X, New York, 1976, стр. 254.
- КАГАНСКАЯ Мая. Осип Мандельштам — поэт иудейский. «Сион», 20, 1977, стр. 174-195.

- КАМНЕВА Т. О статье М. Каганской «Осип Манделъштам — поэт иудейский», «22», 1978, стр. 218-223.
- КАРАБЧИЕВСКИЙ Ю. Улица Манделъштама. «Вестник Р.Х.Д.», № 111, 1974, стр. 136-170.
- КЛИМОВА Алла. Блаженное наследство О. Манделъштама. «Новый Журнал», 117, 1974, стр. 134-146.
- ЛЕВИН Юрий. О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах. Материалы к изучению поэтики О. Манделъштама. «International Journal of Slavic linguistics and poetics», XII, 1969, стр. 106-164.
- ЛЕВИН Ю. Семантический анализ стихотворения. «Теория поэтической речи и поэтическая лексикография». Шадринск, 1971, стр. 13-23.
- ЛЕВИН Ю. Заметки к «Разговору о Данте» О. Манделъштама. «International Journal of Slavic linguistics and poetics», 15, 1972.
- ЛЕВИН Ю. Разбор двух стихотворений Манделъштама. «Russian Literature», 2, 1973, стр. 37.
- ЛЕВИН Ю. Разбор одного стихотворения Манделъштама. «Slavic Poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky», Mouton, La Haye, 1973, стр. 267-276.
- ЛЕВИН Ю. О частотном словаре языка поэта: имена существительные у О. Манделъштама. «Russian Literature», 10/11, 1975, стр. 147-172.
- ЛЕВИН Ю. О соотношении между семантикой поэтического текста и внетекстовой реальности. «Russian Literature», 10/11, 1975, стр. 147-172.
- ЛЕВИН Ю. Заметки о «Крымско-эллинических» стихах О. Манделъштама. «Russian Literature», 10/11, 1975, стр. 5-31.
- ЛЕВИН Ю. Разбор одного стихотворения О. Манделъштама. «Russian Literature», V-2, 1977, special issue Osip Mandelstam (1), стр. 115-122.
- ЛЕВИН Ю. Заметки к статье Манделъштама о Чехове. «Russian Literature», V-2, 1977, стр. 174-175
- ЛЕВИН Ю. Заметки о поэзии О. Манделъштама тридцатых годов (1). «Slavica Hierosolymitana», III, 1978, стр. 110-173.

- ЛЕВИНТОН. На каменных отрогах Пиэрии Мандельштама: материалы к анализу. « Russian Literature », V-2, 1977, стр. 123-170; V-3, 1977, стр. 201-236.
- МАНДЕЛЬШТАМ Надежда. Моцарт и Сальери. «Вестник Р.С.Х.Д.», 103, 1972, стр. 237-178.
- ПШИБЫЛЬСКИЙ Ричард. Осип Мандельштам и музыка. « Russian Literature », 2, 1972.
- ПШИБЫЛЬСКИЙ Ричард. Рим Осипа Мандельштама. «Россия», 1, 1974, стр. 144-184.
- РОНЕН Омри. К истории акмеистических текстов. Опущенные строфы и подтекст. « Slavica Hierosolymitana », III, 1978, стр. 71-73.
- РОНЕН Омри. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама. « Slavic Poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky », La Haye, 1973, стр. 367-385.
- СЕГАЛ Д. Наблюдения над семантической структурой поэтического мышления « International Journal of Slavic linguistics and poetics », XI, 1968, стр. 151-171.
- СЕГАЛ Д. О некоторых аспектах смысловой структуры «Грифельной оды» О. Мандельштама. « Russian Literature », V, 1972, стр. 49-102.
- СЕГАЛ Д. Память зренья и память сердца (опыт семантической поэтики, предварительные заметки). « Russian Literature », 7/8, 1974, стр. 122-131.
- СЕГАЛ Д. Микросемантика одного стихотворения. « Slavic Poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky », La Haye, 1978, стр. 345-405.
- СЕГАЛ Д. Фрагмент семантической поэтики О. Э. Мандельштама. « Russian Literature », 10/11, 1975, стр. 59-146.
- СЕГАЛ Д. Еще один неизвестный текст Мандельштама. « Slavica Hierosolymitana », III, 1978.
- СЕДУРО В. О Петербурге Мандельштама. «Новый Журнал», 134, стр. 84-91.
- СЕМЕНКО Ирина. Мандельштам — переводчик Петрарки. «Вопросы Литературы», 10, 1970, стр. 153-168.
- СТРУВЕ Никита. Осип Мандельштам в библиотеке поэта. «Вестник Р.С.Х.Д.», 111, 1974, стр. 181-184.

- ТЕРРАС Виктор. Осип Мандельштам и его философия слова. « Slavic Poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky », La Haye, 1973, стр. 455-460.
- ТИМЕНЧИК Р. Заметки об акмеизме. « Russian Literature », 7/8, 1974, стр. 23-46.
- ХАРДЖИЕВ Н. Восстановленный Мандельштам. « Russian Literature », 7/8, 1974,
- ЭТКИНД Ефим. «Раковина», стихотворение Осипа Мандельштама. «Форма как содержание», Würzburg, 1977, стр. 203-204.
- ЭТКИНД Ефим. Цветы как метафоры. «Форма как содержание», Würzburg, 1977, стр. 205-209.
- ФЛЕЙШМАН Л. Эпизод с Безыменским в «Путешествии в Армению». « Slavica Hierosolymitana », III, 1978, стр. 193-197.
- ФУСТЕР Людмила. Некоторые лексические и семантические особенности сборника *Tristia* Осипа Мандельштама. « Slavic Poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky », La Haye, 1973, стр. 125-133.

IV. ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАНДЕЛЬШТАМА

а) На английский язык

- COMPLETE POETRY OF MANDELSTAM. Translated by Burton Raffel and Alla Burago, Introduction and Notes by Sidney Monas. State University of New York Press, Albany, 1973, p. 1-350.
- O. MANDELSTAM. *Selected Poems*. A bilingual edition, translated and with an introduction by David McDuff. Farrar, Straus & Giroux, New York 1974, 182 p. N° N° 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 42, 62, 81, 88, 89, 92, 103, 105, 111, 112, 113, 118, 121, 123, 125, 127, 137, 140, 144, 203-215, 221, 224, 227, 237-246, 268, 275, 278, 279, 281, 286, 341, 350, 352, 354, 355, 358, 361, 362, 365, 366, 367, 374, 376.

Osip MANDELSTAM. Poems chosen and translated by James Greene. Forewords by Nadeshda Mandelstam and Donald Davie. Schambala, 1978, 80 p. N° N° 1, 3, 4, 6, 8, 9, *11, *14, 15, 19, *20, 21, 26, 30, 31, 32, *33, *34, 37, 38, *39, 54, 65, 78, 80, *165, *178, 82, *84, 89, 90, 92, 93, 104, *108, 112, *113, 116, 117, 119, 121, *123, *126, 127, *131, *132, 135, *136, *203, 227, 235, 307, 341, 347, *349, 351, 352, 353, 354, 357, 358, *362, *365, 366, 367, 368, 370, *372, *374, *380, *383, 384, 385, *387, 388, *393, 394.

SIX POEMS OF OSIP MANDELSTAM, translated by W.S. Merwin and Clarence Brown. The New York Review of Books, January 25, 1973. N° N° 360, 366, 380, 383, 387, 385.

OSIP MANDELSTAM. A Poem, translated by Max Hayward and Jon Stallworthy. The Times Literary Supplement, London, April 30, 1971, p. 492. N° 233.

RUSSIAN LITERATURE TRIQUARTERLY, Editors Carl R. Proffer and Ellendrea Proffer, Ann Arbor, 4 (Fall 1972), p. 63. N° 288.

FIVE POEMS, translated by Clarence Brown and W.S. Merwin. Antaeus, Tangier, Morocco, Summer 1972, pp. 92-98. N° N° 24, 111, 312, 317, 375.

б) На французский язык

Action poétique n° 50, 1972.

N° N° 146, 63, 88, 192, 125, 126, 133, 197, 144, 303, 343, 349, 355, 354, 362. Traduits et présentés par Serge Andrieux.

Action poétique N° 63, 1975.

N° N° 2, 8, 18, 21, 22, 28, 29, 104, 108, 119, 113, 140, 141, 281, 299, 306, 313, 352, 360, 372, (traductions d'Hélène Henry et de M. Regnault), 420, 423 (traductions de Léon Robel).

OSSIP MANDELSTAM. *Tristia et autres poèmes*. Choisis et traduits du russe par François Kérel, Gallimard, 1973. N° N° 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 62, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 89, 91, 93, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125,

126, 127, 128, 135, 136, 137, 140, 141, 144, 203,
215, 221, 227, 229, 232, 235, 251, 254, 260, 261,
265, 267, 270, 271, 272, 275-285, 286, 288, 289,
290, 291, 296, 299, 305-306, 308-310, 312, 313,
341, 350, 351, 352, 354, 356, 358, 359, 365, 366,
367, 374, 378, 382, 387, 388, 394.

OSSIP E. MANDELSTAM. Le Bruit du temps. Traduit et annoté par Edith Scherrer. L'Age d'Homme, 1972, 130 p.

OSSIP E. MANDELSTAM. Voyage en Arménie. Traduit par Claude Levenson. L'Age d'Homme, 1973, 90 p.

OSSIP E. MANDELSTAM. Entretien sur Dante. Traduit par Louis Martinez. L'Age d'Homme, 1977, 86 p.

OSSIP MANDELSTAM. La Quatrième Prose. Traduit et préfacé par Christian Mouze. Le Nyctalope, Paris 1980, 32 p.

V. ГОЛОС О. МАНДЕЛЬШТАМА

О. Мандельштам читает:

«Нет никогда ничей я не был современник»
«Цыганка» (Сегодня ночью не солгу)

Голоса зазвучавшие вновь, 1908-1956, Мелодия, М-90-39637-8 (1978)

«Я по лесенке приставной»

Голоса зазвучавшие вновь, 1908-1956, Мелодия, М-40-39857 (1978)

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
От составителя	424
СТИХИ	427
496. О, красавица Сайма	428
497. Музыка твоих шагов	428
498. В непринужденности творящего обмена	429
499. Довольно лукавить: я знаю	429
500. Пилигрим	430
501. Сквозь восковую занавесь	430
502. ... коробки	431
503. Листьев сочувственный шорох	431
504. В изголовьи черное распятие	432
505. Стрекозы быстрыми кругами	432
506. Медленно урна пустая	433
507. Я знаю, что обман в видении немислим	434
508. Когда подымаю	434
504. Дождик ласковый, тихий и тонкий	435
510. Не спрашивай: ты знаешь	436
511. В белом раю лежит богатырь	436
512. Дочь Андроника Комнена	437
513. Железо	437
514. Тянули жилы, жили были	438
514. Ты должен мной повелевать	438
516. Мир начинался страшен и велик	439
517. (Стихи о Сталине)	439
518-530. Отрывки и строчки из утерянных стихов	442

Эпиграммы, шуточные стихи

531. Актеру, игравшему испанца	445
532. Ubi bene, ibi patria	445
533-540. Маргүлеты	446
541. Эпиграмма в терцинах	447
542. Ходит Вермель, тяжело дыша	448
543. Счастья почти отчаяв	448
544. Какой-то гражданин	449
545. Источник слез замерз	449
546-548 ^{bis} . Экспромты Наташе Штемпель	450

Переводы

549. Плоть опечалена и книги надоели (С. Малларме)	453
550. Бирнамский лес (Т. Табидзе)	454
551. Песня о Роланде	455
552. Паломничество Карла Великого в Иерусалим и Константинополь	471
553. Коронование Людовика	480
554. Берта — большая нога	485
555-557. Неаполитанские песенки	487

Отброшенные строфы 495**Первоначальные редакции**

Аббат	496
Федра	497
Как пахнут тополя — мы пьяны	498
Есть между нами похвала без лести	499
Ночь. Дорога. Сон первичный	499

Варианты отдельных строф 501**ПРОЗА**

Шуба	507
Гротеск	510
Кисловодск весной	512
Отрывок из статьи «Пушкин и Скрябин»	514

	Стр.
Отрывок из статьи о переводах	515
Татарские ковбои	515
Шпигун	517
О пьесе А. Чехова «Дядя Ваня»	521
Из радио-передачи о Гёте	523
Из внутренней рецензии на книги стихов А. Коваленкова	528
 ПИСЬМА	
№ 1. К Матери	529
№ 2. К С. З. Федорченко	530
№ 3-7. К Н. Я. Мандельштам	531
№ 8. Отрывок из письма к отцу	532
№ 9. К Ев. Замятину	533
№ 10. К Венедиктову	533
№ 11. К И. И. Ионову	535
№ 12. В Федерацию Сов. Писателей	540
№ 13. Заявление	542
№ 14. Советским писателям (отрывок)	543
№ 15. Открытое письмо советским писателям	544
№ 16. К тов. Гронскому	551
№ 17. В Горком писателей	552
№ 18. Отрывок из письма к М. С. Шагинян	552
№ 19. К В. Д. Бонч-Бруевичу	553
№ 20. К Б. Л. Пастернаку	553
№ 21. К Б. Л. Пастернаку	554
№ 22. К Е. Я. Хазину	554
№ 23. К Е. Я. Хазину	555
№ 24. В редакцию журнала «Знамя»	557
№ 25. В Секретариат Союза Советских Писателей	557
№ 26. К В. П. Ставскому	559
Дополнение	560
ПРИМЕЧАНИЯ	585

ББК 84 P7
М 23

О. Мандельштам
М 23 Собрание сочинений в четырех томах. Том III и IV. – М.:
ТЕРРА, 1991. – 607 с.

ISBN 5-85255-044-2 общ.
ISBN 5-85255-047-7

ББК 84P7

О. МАНДЕЛЬШТАМ
Собрание сочинений в четырех томах
Т о м I I I и I V
Репринтное воспроизведение издания 1967 г.

Художественный редактор *И. Сайко*
Технический редактор *Г. Смирнова*

Подписано к печати 12.3.91. Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ.л. 35,28. Усл. кр.-отт. 35,28. Уч.-изд.л. 26,9. Тираж 100 000 экз.
Заказ 347. Цена 18 руб.

Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и организаций.
Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская ул., 10, а/я 73.
Отпечатано на Можайском полиграфическом комбинате В/О «Совэкспорткнига»
Государственного комитета СССР по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

ISBN 5-85255-044-2 общ.
ISBN 5-85255-047-7

©Международное литературное содружество,
1967
©Оформление. Издательский центр «ТЕРРА»,
1991

